

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ —
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

И. М. Савельева, А. В. Полетаев

ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Учебное пособие



С.-ПЕТЕРБУРГ

2007

ББК 63
С12

Рецензенты: д-р ист. наук, проф. *Л. И. Бородкин* (МГУ им. М. В. Ломоносова), д-р ист. наук, проф. *Г. И. Зверева* (РГГУ)

Савельева И. М., Полетаев А. В.

С12 Теория исторического знания: Учеб. пособие. — СПб.: Изд-во «Алетейя. Историческая книга», 2007. — 523 с.
ISBN 978-5-91419-059-7

В учебном пособии анализируется эволюция теоретических подходов к историческому знанию от античности до наших дней, основные методологические проблемы историографии и способы их решения в современной исторической науке. Авторы рассматривают трактовку исторического пространства и времени, исторической истины, понятий события и структуры макро- и микроистории. Значительное место уделено вопросам становления метода исторического исследования в западной историографии. В книге отражены многочисленные трудности, возникшие в связи с разграничением областей исторического и социального знаний, которые разрешала историческая мысль на протяжении XIX–XX вв. Особый раздел посвящен взаимоотношению общества и исторической науки в современном мире.

Книга предназначена для преподавателей-историков, культурологов, социологов, обществоведов, аспирантов и студентов исторических факультетов.

ББК 63

ISBN 978-5-91419-059-7

© И. М. Савельева, А. В. Полетаев, 2007

© Издательство «Алетейя.
Историческая книга», 2007

Оглавление

Предисловие	6
-------------------	---

Раздел I. ИСТОРИЯ И ВРЕМЯ

Глава 1. Значения и смыслы «истории»	11
1. Античность: формирование значений	16
2. Средние века: эволюция смыслов	27
3. Новое время: смена приоритетов	38
4. Новейшее время (XX в.)	49
Глава 2. Понятие прошлого	60
1. Образы времени	—
2. Историческое время	69
3. Темпоральные представления	74
4. Концептуализация прошлого	82
5. История как наука о прошлом	86

Раздел II. ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ

Глава 3. История как знание о социальном мире	97
1. Формирование предмета	97
2. Изучение социальной системы	105
3. Исследование культуры	116
4. Постижение человека	123
Глава 4. События и структуры	133
1. Исторические события	—
2. Структуры: статика и динамика	145
Глава 5. Историческое пространство	160
1. Географический фактор	166
2. Структура исторического пространства	174

Раздел III. МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Глава 6. Эмпирические и теоретические основания исторической науки	201
1. Эмпирические данные	205
2. Теория в исторических исследованиях.....	222
Глава 7. Историческая истина	240
1. «Истина», «объективность» и «факт»	242
2. Формирование социального запаса исторического знания.....	258
Глава 8. Становление метода	272
1. Каузальность.....	274
2. Историзм.....	280
3. Интуитивизм	284
4. Позитивизм	289
Глава 9. Макро- и микроистория	303
1. Макроисторический подход.....	304
2. Структурная история	310
3. Микроанализ и микроистория	319
Глава 10. История и социальные науки	333
1. «Стратегия присвоения».....	335
2. Издержки заимствования	342
3. Специализация по времени	346

Раздел IV. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В ОБЩЕСТВЕ

Глава 11. Функции истории	355
1. Уроки прошлого	356
2. Поддержание образцов.....	362
3. Легитимация настоящего	367
4. Идентификация	370
5. Открытие Другого	375
Глава 12. Проблема презентизма	382
1. Презентизм и «история современности»	385
2. Различие между прошлым и настоящим.....	387
3. Актуализация прошлого	397
Глава 13. Вненаучные формы знания о прошлом	407
1. Архаичное знание.....	413
2. Специализированные формы знания.....	420

Глава 14. Массовые представления о прошлом	447
1. Групповое прошлое	451
2. Источники знаний о прошлом	456
3. Содержание представлений	475
Глава 15. Историк и общество	480
1. Общественные вызовы	481
2. Исторические ответы	494
Рекомендуемая литература	511
Именной указатель.....	512

Предисловие

Задачей учебного пособия является знакомство студентов гуманитарных факультетов и преподавателей истории с теорией исторического знания как формой специализированного научного знания с позиций современной методологии истории, социологии знания, аналитической философии истории. В пособии особое внимание уделено демонстрации специфики исторической науки: ее эмпирических и теоретических оснований, категориального аппарата и методологических принципов, предметного поля, когнитивных и социальных функций. В изложении последовательно реализуется ряд методологических принципов, обеспечивающих целостность исследования: системный подход, историзм и соотнесенность истории с другими формами социогуманитарного знания.

Новизна предложенной авторами концепции состоит в том, что историческое знание рассматривается как одна из форм знания о прошлом, а именно *общественнонаучное знание о прошлой социальной реальности*. В настоящее время этот тип знания играет доминирующую роль в общей совокупности представлений о прошлом. Предлагаемый подход базируется на опубликованном авторами фундаментальном двухтомном исследовании «Знание о прошлом: теория и история» (СПб.: Наука, 2003–2006).

История в значении знания фигурирует как: 1) научное знание; 2) знание о социальном мире; 3) знание о прошлом. Первый смысл связан с определением по методу, второй — по предмету, третий — по времени, и в книге параллельно анализируются все

три направления. В учебном пособии подробно рассматриваются генезис и эволюция базовых понятий, каковыми в данном случае выступают «история» и «прошлое». Анализируется их концептуализация и взаимосвязь в рамках философии познания и феноменологической социологии знания, а также вскрывается соотношение истории с другими формами знания о прошлом.

История осваивала свой предмет на протяжении тысячелетий. Наша задача состояла в том, чтобы представить предмет истории путем выделения основных компонентов социальной реальности — социальной системы, системы культуры и системы личности — подробного анализа дальнейшей диверсификации историографии. Процесс познания социальной реальности историками осуществлялся не только за счет экспансии, но и методом углубления в уже освоенную тематику. В пособии показаны новые ракурсы и нетрадиционные подходы к предмету, которые в современной исторической науке прослеживаются повсеместно — от всемирной истории до исторической биографии, от универсальной истории до такого инновационного направления историографии как микроистория. В развитие темы «предмет истории» в пособии описываются типы «исторического пространства» и способы структурирования исторического времени.

Отдельный раздел посвящен проблемам исторической методологии. Анализ эмпирических и теоретических оснований исторической науки осуществляется в постоянном сопоставлении с другими социальными дисциплинами как по внешним, так и по внутренним параметрам. В сравнительно-генетическом ракурсе мы трактуем и проблему «исторической истины», которая анализируется в контексте философского и социологического дискурсов. Несколько глав посвящены становлению исторического метода в XIX–XX вв. В них последовательно рассматриваются основы исторического подхода — историческая критика, каузальность, историзм, интуитивизм и позитивизм, утвердившиеся в исторической науке к концу XIX в.; метаморфозы «исторического синтеза» вплоть до структурной истории второй половины XX в. и современная историческая наука с характерными для нее моделями междисциплинарного взаимодействия.

В заключительном разделе пособия обсуждаются проблемы отношений историков и общества в широком смысле, начиная с

вопроса о социальных функциях истории. Мы подробно останавливаемся на философских и политических основаниях презентизма в историографии, проблемах «истории современности» и «историзации настоящего». Мы также уделяем внимание общей характеристике вненаучных форм знания о прошлом: архаичным образам мира и специализированным формам знания — религии, философии, идеологии и искусству. К этому же разделу мы отнесли анализ теоретических аспектов исследования социальных представлений о прошлом с позиций социологии знания, включая источники массовых исторических знаний.

Завершает книгу глава о новых вызовах со стороны общества, с которыми столкнулась историческая наука в последние десятилетия. Претензии к истории начали предъявлять представители других социальных и гуманитарных наук, идеологи, философы, производители медийного знания, чиновники государственных структур и разные группы гражданского общества. Историки отвечали на вызовы общества, и их ответы часто оказывались довольно неожиданными и позитивными для развития научного знания.

* *
*
*

Данное учебное издание подготовлено на основании программ трех курсов, читаемых авторами: «Методология современного исторического знания: история и теория», «Проблемы исторического познания» и «Знание о прошлом: социологический подход». Авторы преподают их на факультетах философии и социологии Государственного университета — Высшей школы экономики, Москва и в Институте европейских культур, Москва. Лекционные курсы «Методология современного исторического знания» и «Проблемы исторического познания» относятся к базовым учебным курсам социально-гуманитарного образования I цикла (Гуманитарные и социально-экономические дисциплины. Национальный-региональный компонент).

Учебное пособие соответствует курсу «Теория и методология истории», предусмотренному образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 030401 «История» направления подготовки 030400 «История».

Раздел I
ИСТОРИЯ И ВРЕМЯ

Глава 1

ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛЫ «ИСТОРИИ»

Ныне история чаще всего определяется как «наука о прошлом человека и общества» или, в новейшей версии, как «наука о прошлой социальной реальности». Но это только одно из значений, которые имеет слово «история». Напомним, что, в соответствии с логико-семантической терминологией, всякое понятие характеризуется триединством: *знак* (в естественном языке — слово или словосочетание), *предметное значение* (денотат, означающее) и *смысл* (коннотат, означаемое), т. е. реализация значения в знаке. Говоря об «истории», следует иметь в виду, что как значения, так и, прежде всего, смыслы данного «знака» (слова) существенно менялись на протяжении трех последних тысячелетий.

В данной главе мы кратко рассмотрим, как установились значения слова «история» и происходил переход от одного смысла слова к другому. Речь идет, по сути, об эволюции понятий, конкретно — об истории понятия «история». Начать, естественно, следует с этимологии. Согласно абсолютно утвердившейся в лингвистике точке зрения, ионийское слово «история» (*ἱστορία*) происходит

«от индоевропейского корня *vid*, значение которого выступает в лат. *video* и русск. видеть. Как видно из греческих слов *οἶδα* «знаю» или *εἰδέναι* «знать», образованных от того же корня, слова с этим корнем обозначают не просто зрительное восприятие, но и познавательные процессы, что нетрудно заметить также и

в русск. ведать и нем. wissen, относящихся уже окончательно к сфере мышления»¹.

«Концепция видения как значимого источника знания приводит к идее, что ἵστωρ, тот, кто видит, одновременно является тем, кто знает; ἵστωρεῖν по-древнегречески означает “разузнавать (стараться узнать)”, “информировать кого-либо”. История, таким образом, — это расспрашивание (разузнавание)...»².

Первоначально (судя по дошедшим до нас текстам) возникает не само слово «история», а родственные слова — ἵστωρ и ἵστωρέω. Словом «истор» («историк») обозначался человек, собирающий, анализирующий, оценивающий и пересказывающий некие сведения (некую информацию). Глагольная форма ἵστωρέω означала либо видеть, либо собирать свидетельства или сведения, либо рассказывать об увиденном (свидетельствовать) или пересказывать полученные свидетельства и сведения. Таким образом, это слово имело два основных значения: во-первых, «спрашивать», «допытываться», «искать» и т. д., указывая на «дознание», т. е. на выспрашивание или осведомление на основании того, что другой человек сам видел или испытал, во-вторых, «рассказывать, как очевидец, об увиденном».

Переходя к самому слову «история», заметим, что под ним мы будем подразумевать не только древнегреческое ἱστορία, но и соответствующие однокоренные созвучные существительные в других языках: латинском (historia), итальянском (storia), английском (history), французском (histoire) и русском (история). Отчасти сказанное ниже будет относиться и к немецкому языку, хотя слово Historie ныне практически не используется — в основном применяется слово Geschichte (но при этом сохраняются слова, родственные существительному Historie — Historiker (историк), historisch (исторический) и т. д.).

Ясно, что в разные эпохи и в разных культурах даже в рамках одного и того же языка значения, как и смыслы этого слова,

¹ Тахо-Годи А. А. Ионийское и аттическое понимание термина «история» и родственных с ним // Вопросы классической филологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. Вып. 2. С. 112.

² Le Goff J. History and Memory. New York: Columbia Univ. Press, 1992 [1981]. P. 102–103.

Вставка 1. Значения слова «история»

Древнегреческий. «Ἱστορία: 1. расспрашивание, расспросы; 2. исследование, изыскание; 3. сведения, данные, наблюдения; 4. знание, наука, 5. история, историческое повествование, рассказ о прошлых событиях»³.

Латынь. «Historia: 1) исследование; 2) сведение, знание; 3) повествование, рассказ, описание; 4) историческое исследование, история (historia belli civilis — история гражданской войны)»⁴.

Английский. «History: 1. история (*последовательность событий*); прошлое; 2. 1) история (*описание последовательности событий*); 2) история, историческая наука; курс истории»⁵.

Русский. «История: 1) процесс развития в природе и обществе; 2) комплекс общественных наук (общественная наука), изучающих прошлое человечества; 3) ход развития чего-либо; 4) прошлое, сохраняющееся в памяти людей; 5) рассказ, повествование; 6) происшествие, событие, случай»⁶.

могли существенно варьироваться, поэтому здесь мы, естественно, можем дать только самое общее и краткое представление об этом вопросе. Анализ *значений* слов относится прежде всего к ведению филологов (лингвистов), а изучение *смыслов* является прерогативой историков, культурологов и философов. В частности, в словарях фиксируются в первую очередь предметные значения, а не смыслы слов (см. *Вставку 1*).

В самом общем виде можно выделить три основных значения, в которых слово «история» использовалось на протяжении более двух с половиной тысячелетий:

- 1) вид знания;
- 2) вид текста (в широком значении — дискурс, нарратив, связанный набор высказываний и т. д.);

³ Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. / Сост. И. Х. Дворецкий. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. Т. 1. С. 839.

⁴ Латинско-русский словарь / Сост. А. М. Малинин. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961. С. 300–301.

⁵ Новый большой англо-русский словарь: В 3 т. / Рук. А. Д. Апресян. М.: Русский язык, 1993. Т. 2. С. 153.

⁶ Словарь иностранных слов / Ред. Ф. М. Петров и др. 15-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 203–204.

3) вид реальности (элемент, совокупность элементов, процесс), совокупность событий.

В терминологии Нового времени можно сказать, что в применении (в том числе и в наши дни) слова «история» наблюдается устойчивая ситуация, при которой одним словом одновременно обозначается объект и знание об этом объекте. Подобная путаница отчасти существует и в других областях — например, словами «мифология», «экономика» или «психология» может обозначаться как объект, так и знание о нем. Но только применительно к «истории» такое смешение достигает абсолюта и, что самое интересное, наличествует едва ли не во всех основных европейских языках, как в романских, так и в славянских (ср. лат. *historia*, фр. *histoire*, англ. *history*, итал. *storia*, русск. история и т. д.).

Для различения знания об объекте и самого объекта слово «история» иногда дополняется второй частью — «графия», т. е. описание (подобный прием используется во многих языках — ср. англ. *historiography*, итал. *storiografia*, русск. историография), но это не полностью решает проблему. Во-первых, слово «история» продолжает употребляться для обозначения некоего знания наряду со словом «историография», во-вторых, «историография» часто используется в более узком смысле — как знание о развитии «исторических» знаний или как история изучения какой-либо проблемы.

Такая сохраняющаяся неопределенность связана и с тем, что у слова «история» остается (в отличие, например, от «психологии»), не два, а три значения: знание, текст и реальность. Эти значения взаимосвязаны: текст является реальностью, а социальная реальность включает в себя тексты; знание выражается в текстах, а тексты представляют собой объект знания; знание отображает реальность и одновременно конструирует ее. Наличие у слова «история» трех значений, стихийно сложившихся еще в древности, в XX в. было концептуализировано в рамках социологии знания, семиотики и философии (прежде всего, в феноменологии и герменевтике). Быть может, именно поэтому с конца XIX в. «история» неизменно оказывается в центре самых разнообразных теоретических и методологических дискуссий.

Различение трех значений наглядно проявляется в рам-

ках системы человеческих действий — можно «писать историю» (текст), «заниматься историей» (знание), «творить историю» (реальность) и т. д. Возможны и другие варианты: можно сравнить, например, различие между выражениями «писать историю» (текст) и «описывать историю» (реальность). А, скажем, выражение «изучать историю» в равной мере может относиться и к истории-знанию, и к истории-реальности.

Впрочем, даже разделение трех значений слова «история» — историческое знание, исторический текст и историческая реальность — оставляет открытым вопрос о смыслах, которыми наполняются эти значения. Говоря о смысле, мы имеем в виду конкретное содержание данного значения, его специфику, характерные особенности, которые позволяют отличить слово «история» в данном значении от других слов с тем же значением. Первое, наиболее наглядное многообразие смыслов, затрудняющее трактовку понятия «история» во всех трех значениях, связано с использованием данного термина как в единичном, так и в общем смысле.

В значении «текста» понятие «история» используется в настоящее время в основном в единичном смысле для обозначения конкретного текста (рассказа, дискурса). Однако в эпоху античности более распространенным был общий смысл, обозначающий литературный жанр в целом. Так, Аристотель, например, противопоставлял историю и поэзию. Но в Новое время для обозначения общего смысла истории-текста это понятие стали доопределять, обозначая его как «историческая литература», «историческая проза».

В значении «знания» термин «история» используется ныне в основном в общем смысле, а для более конкретных смыслов вводятся дополнительные определения по предмету знания (история Рима, Нового времени, Второй мировой войны и т. д.).

Наконец, в значении «реальность» термин «история» фигурирует в равной мере и в единичном, и в общем смысле. Первый смысл особенно распространен в обыденном языке (случилась история, произошла история), второй чаще используется в профессиональной лексике (история человечества и т. д.).

В данной главе мы кратко охарактеризуем эволюцию смыслов трех основных значений слова (термина) «история». При

этом, естественно, следует иметь в виду, что если лингвистическая реконструкция значений слова «история» может быть признана относительно надежной, то историко-философская и культурологическая реконструкции смыслов в большинстве случаев имеют субъективный характер.

1. Античность: формирование значений

Анализ значений и смыслов «истории» в эпоху античности вызывает особую сложность. Во-первых, в рамках античности как определенного временного периода в развитии европейской культуры, охватывающего примерно тысячелетний отрезок времени (с V в. до н. э. по IV–V вв. н. э.), можно выделить, по крайней мере, три историографических традиции — греческую, римскую и иудейскую (начиная с эпохи эллинизма, когда отдельные иудейские авторы начинают писать на греческом языке). С хронологической точки зрения сюда же относится и начальный период становления христианской традиции, впитавшей в себя три «национальные» традиции. Поэтому с целью некоторого упрощения изложения здесь мы ограничимся только греческой и римской историографией.

Во-вторых, применительно к этому периоду приходится опираться на крайне скудные источники. Эти источники хорошо известны, поскольку они неизменно цитируются в любых работах по истории историографии и сводятся к отдельным фрагментам, в лучшем случае — небольшим фрагментам текста, непосредственно посвященным понятию «история». Естественно, что из этих отрывочных соображений, высказанных разными авторами на протяжении нескольких сотен лет, никакого систематического представления о смысле, который придавался историческому знанию, составить невозможно. Не слишком проясняет ситуацию и анализ сочинений, которые в античности именовались «Историями»: как правило, им пытаются приписывать сегодняшние смыслы. Одним из проявлений этого является тот факт, что одни и те же сочинения, написанные в античности, историки именуют «историографией» (Александр Немировский), философы — «философией истории» (Алексей Лосев), а филологи — «исторической прозой» (Михаил Гаспаров).

И все же в эпоху античности доминирующим значением слова «история» как в греческом, так и в латинском было значение «текста». Значения истории-знания и истории-реальности играли вторичную или даже периферийную роль в античной культуре, являясь производными от истории-текста.

Смыслы «истории» как текста естественным образом делятся на три семиотические группы — синтаксические, семантические и прагматические. С синтаксической точки зрения «история» выступала как относительно самостоятельный литературный жанр, обладающий довольно жестко заданными параметрами. Речь шла об определенной стилистике, композиции, форме изложения материала (хотя синтаксические смыслы «истории» как текста менялись во времени, да и в рамках одной эпохи жанровые каноны были отнюдь не абсолютными).

С точки зрения семантики «исторические» тексты довольно рано приобретают смысл «истины» или, в современных терминах, определяются как тексты, содержащие истинные высказывания, прежде всего, высказывания о существовании, суть «факты». И хотя на практике «исторические» тексты могли не соответствовать критерию истинности (что иногда прямо признавали и сами их создатели), этот смысл остается одним из основных вплоть до наших дней. Семантический смысл «истории-текста» выступал в качестве основы для формирования второго значения, а именно, «истории-реальности».

Наконец, что касается прагматической составляющей, то исторические тексты были призваны выполнять определенные функции, в общем виде — «приносить пользу». Эта польза была непосредственно связана с содержащимся в исторических текстах знанием. Таким образом, прагматические смыслы «истории-текста» служили основой для формирования значения «истории-знания».

История-текст

Как отмечалось выше, в значении истории-текста «история» может иметь общий и конкретный смысл. С одной стороны, «история» обозначала конкретный текст (дискурс, рассказ), с другой — определенный тип текстов (литературный жанр). Практи-

чески все высказывания по поводу «истории», которые можно найти в сочинениях античных и средневековых авторов, связаны с обсуждением именно проблемы истории-текста в общем смысле.

Первые «исторические» тексты еще могли иметь поэтическую форму. В этом проявлялась связь «истории-текста» с ее непосредственными предшественниками — героическим эпосом и гимнической, т. е. прославляющей, поэзией. Предшественниками истории как прозаического литературного жанра считаются произведения ионийских писателей в Греции (в их числе Геродот из Галикарнаса). В аттической Греции первоначально этих писателей именовали просто «логографами» (прозаиками), такое обозначение использует, в частности, Фукидид в конце V в. до н. э. При этом сами логографы не использовали слово «история» не только в названиях своих работ, но даже в тексте. Геродот, по преданию, называл свое сочинение «Музы». (На основе этого предания в III в. александрийские публикаторы разделили работу Геродота на девять глав, приписав каждой главе имя одной из муз, а всю работу озаглавили «Ἱστοριῶν βιβλία εννεα», что на русский язык можно перевести как «Девять книг историй»).

Сам Фукидид, хотя и проводил различие между жанром произведений «логографов» и своим трудом, также еще не обозначал его как «историю». Более того, ни Фукидид, ни его продолжатель Ксенофонт также не употребляли слово «история» ни применительно к своим сочинениям, ни в самом тексте. Фукидид именуется свое произведение как ξυνέγραψε (в других вариантах написания — συγγραφή, συγγραφή), которое и переводится обычно как «история». Что касается Ксенофонта, то его труд, именуемый в русском переводе как «Греческая история», насколько можно судить по сохранившимся источникам, вообще назывался «Элленика».

В сохранившихся текстах впервые слово «история» для обозначения определенного литературного жанра встречается только в середине IV в. до н. э. у Аристотеля в «Поэтике», там же он впервые называет Геродота «историком» в значении «автор исторического сочинения». Это обозначение широко распространяется в эпоху эллинизма, т. е. в III–I вв. до н. э., когда историография становится едва ли не основным прозаическим жанром

в греческой литературе. Только в эллинистический период появляются труды, использующие слово «история» в названии: именно тогда оно приписывается к сочинениям более ранних авторов — Гекатея, Геродота и др., — и их устойчиво начинают называть «историками».

Считается, что если греческая «история-текст» выросла из произведений писателей-прозаиков, то предшественником римской «истории» были так называемые анналы, т. е. выставлявшиеся ежегодно перед резиденцией великого понтифика доски с записью имен высших чиновников и важнейших событий года, как то: лунных и солнечных затмений, знамений, позднее — сведений о повышении цен, войнах и т. д. Предполагается, что между 130 и 114 гг. до н. э. эти записи были сведены Публием Муцием Сцеволой в 80 книг «Великих анналов», которые и послужили основой для Тита Ливия.

Римская историческая проза складывается во II–I вв. до н. э., но получает наиболее полное воплощение в период Ранней империи в так называемой «риторической истории». Цель риторической истории, наиболее близкой к художественной литературе, — воссоздание внешней картины событий во всей их яркости и живости. Внутри этого направления имеются две тенденции — эпическая и драматическая; первая тяготеет к широте и обстоятельности, вторая — к глубине и напряженности; образец первой — Ливий, второй — Тацит.

Со стилистической точки зрения к исторической прозе, как к греческой, так и к латинской, предъявлялись весьма высокие требования. Исторические сочинения, как любой *литературный жанр*, должны были соответствовать определенным правилам и приемам изложения — как общелитературным (например, использование тропов — гипербол, метафор и проч.), так и специфичным для данного вида литературных произведений или текстов.

Поскольку история выступала в качестве рода литературы, античные авторы неоднократно писали об истории как о самостоятельном жанре. В простейшем и наиболее известном виде это сводилось к различию истории и поэзии у Аристотеля, которое позднее было повторено Цицероном, но существовали и более сложные варианты. Так, Полибий проводил различия между

историей, с одной стороны, и трагедией и риторикой — с другой. Лукиан подчеркивал отличие истории от похвального слова (энкомия), поэзии, философии, риторики и мифологии.

О литературных требованиях к истории-тексту рассуждал, в частности, Цицерон (106–43 гг. до н. э.) в трактате «Об ораторе», подчеркивая отличие настоящей «художественной истории» от «простого рассказа о событиях». Много внимания уделено синтаксическим (стилистическим) характеристикам исторической прозы, «языку и способу изложения» в известной работе Лукиана из Самосаты (ок. 120 — ок. 180 н. э.) «Как следует писать историю».

Тем не менее, несмотря на важность, которая придавалась художественным (синтаксическим) характеристикам исторической прозы, они не были решающим критерием для демаркации истории и других литературных жанров: гораздо более существенными считались семантические и прагматические параметры истории-текста.

История-реальность

Поскольку основным значением «истории» был «текст», то проблема «истории-реальности» обсуждалась преимущественно в рамках значения «истории-текста». По существу античные авторы уже поставили проблему соотношения текста и реальности.

Во-первых, немного актуализируя античное понимание «истории», можно сказать, что в нем, пусть в зачаточной и неявной форме, присутствовало интуитивное осознание того, что реальность (по крайней мере социальная) не мыслится вне текста.

Во-вторых, было введено различие между «реальностью» и «вымыслом». Традиционная топика всех дошедших до нас рассуждений об истории (историях-текстах) — это требование описания того, что «было на самом деле». К истории относились тексты, отображающие «реальность», а к другим литературным жанрам (к художественной литературе, в современной терминологии) — тексты, создающие «вымысел».

Разделение литературы на историю и все прочие литературные жанры соблюдалось довольно строго. Никто не считал

«Илиаду» или «Энеиду» принадлежащими к жанру «истории», равно как никто не называл Гомера или Вергилия «историками». Причем историческая литература (история-текст) отличалась от других жанров не столько синтаксическими параметрами (хотя они тоже играли определенную роль), сколько семантическими. Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что отличие исторических текстов от «художественной литературы», т. е. поэзии, трагедии и т. д., определялось типом описываемой (конструируемой) в этих текстах реальности — соответственно, «действительной» и «вымышленной». По существу впервые эта мысль прозвучала у Аристотеля в «Поэтике», где он писал, что историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозой, а тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть.

В эпоху эллинизма возникают более изощренные подходы к проблеме «вымысла» и «реальности». Так, уже по крайней мере во II в. до н. э. появляется троичная классификация повествований, которые подразделяются на истинные (история), «как бы» истинные, т. е. описывающие нечто возможное (вымысел) и заведомо ложные (сказки, мифы). Эта схема получила свое каноническое оформление в римской риторике у Марка Фабия Квинтилиана (ок. 35 — ок. 96 гг. н. э.).

Потребность в текстах, изображающих реальность, определялась, конечно, в первую очередь прагматическими соображениями — стремлением к накоплению социального опыта, формированию образцов поведения и т. д. Но существовало и еще одно обстоятельство, которое часто ускользает от внимания исследователей: рассказы очевидцев или рассказ о том, «что было на самом деле», во многих случаях вызывает не меньший, а то и больший интерес слушателей / читателей.

В полной мере это относится и к профессиональным текстам: со времен античности интерес к действительно произошедшим событиям не уступает, а зачастую и превосходит интерес к событиям вымышленным. Потребность и интерес общества к текстам, описывающим «действительную реальность», постоянно питает стремление авторов выдавать тексты, описывающие / конструирующие *вымышленную* реальность, за тексты, описывающие / конструирующие *подлинную* реальность (в

современной англоязычной терминологии эти два типа текстов обозначаются, соответственно, как «fiction» и «non-fiction»).

Уже в античности было написано множество произведений, которые их авторы именовали «историями» (описаниями «реальности»), но по существу они являлись разновидностью «вымысла» или «художественной прозы». Многие из этих авторов не скрывали наличия «вымысла» в своих текстах, и использование слова «история» в названиях было скорее формой литературной игры (как, например, «Пестрая история» Элиана). Но вместе с тем все чаще стали появляться фальсификаты, авторы которых сознательно пытались ввести читателя в заблуждение, выдавая вымысел за действительность путем придания этому вымыслу статуса «исторического текста». Наглядный пример — знаменитые фальсификаты «истории» Троянской войны, появившиеся в Риме в первые века н. э.

Речь идет о работах, якобы написанных непосредственными участниками Троянской войны: «Дневнике Троянской войны» Диктиса с Крита и «Истории о разрушении Трои» Дареса (Дарета, Дария) Фригийца, которого упоминает Гомер в начале 5-й песни «Илиады» (ст. 9–11), и который также упомянут в «Энеиде» Вергилия. Оба фальсификата были изготовлены, по-видимому, во II в. н. э. и написаны по-гречески, а затем были переведены на латинский. Обоим сочинениям, в лучших литературных традициях, были предпосланы предисловия переводчиков, в которых излагались захватывающие истории о том, как были «найжены» эти рукописи, принадлежащие «очевидцам» Троянской войны.

В течение тысячи лет (до самого XVII в.) слава Дареса и Диктиса затмевала славу Гомера, который был практически неизвестен в средневековой Европе. На эти работы опирались историки от Исидора Севильского до Жана Бодена, и их использовали в качестве «исторической» основы авторы множества литературных произведений⁷.

⁷В 1997 г. работа Дареса была издана в России (Дарет Фригийский «История о разрушении Трои»), но уже, естественно, как произведение позднеимперской литературы, относящееся к жанру так называемых «мифологических романов».

История-знание

Древнейшим значением слова «история» является «познавательный акт» или «процесс познания». В таком значении слово «история» впервые встречается в работах ионийских философов: например, у Фалеса «история» — это «исследование». Особенно употребительным это значение становится в аттической Греции в IV в. до н.э.: у Платона «история» означает «познание» (например, «познание природы»); у Аристотеля «история» — это «познание» или «исследование» как процесс (например, «исследование души»); у Демосфена «история» означает «понимание» и т. д. Несколько позже возникает значение «истории» уже не как процесса познания, а как «знания». При этом в Древней Греции доэллинистического периода слово «история» в значении знания применялось для обозначения самого различного, если не сказать любого, знания, включая знание о природе.

В Древней Греции и Риме «история» в значении знания имела не общий, а конкретный смысл, соотнесенный с определенным текстом, который, соответственно, и «изучала история». Именно так, по мнению французского историка Анри-Ирене Марру, «история» изучалась в эллинистической Греции в рамках грамматических занятий в школах. Главная часть школьных упражнений в области «истории» состояла в анализе текстов (причем не только прозаических, но и поэтических). Вначале проводился лексический анализ (специфический словарь данного поэта или прозаика), затем морфологический анализ (стилистические формы и этимология). Лишь после этого начиналось изучение содержания текста.

«Просвещенный человек и даже хорошо воспитанный ребенок должны были знать, что за человека или место упомянул поэт... Ученость полностью подчиняла себе образование и культуру: нужно было знать, например, список людей, воскрешенных искусством Асклепия, или что Геракл вышел лысым из чрева морского чудовища, которое проглотило его, когда он хотел спасти от него Гесиону...»⁸

⁸ *Марру А.-И.* История воспитания в античности (Греция) / Пер. с фр. М.: Греко-латинский кабинет, 1998 [6 ed. 1965, 1 ed. 1948]. С. 234–235.

Но, несмотря на доминирование «филологических» представлений об «истории», в эпоху античности наметились и некоторые гносеологические подходы к «истории-тексту». Иными словами, целый ряд авторов пытался сформулировать, какое именно знание должно содержаться в «исторических» текстах. Эта смысловая линия была связана с назначением «исторического знания», его прагматической или функциональной составляющей.

Основная функция истории-текста — приносить пользу, в отличие от «художественной литературы», которая должна доставлять удовольствие: об этом писали Фукидид (хотя и не используя слово «история»), Полибий, Цицерон, Квинтилиан, Лукиан.

Понятие «пользы» исторических сочинений связывалось в первую очередь с «сохранением памяти о деяниях». Можно сказать, что речь шла о фиксации социального опыта и о соответствующем накоплении знаний, которые могут пригодиться в будущем. С «функциональной» точки зрения история, прежде всего, подразделялась на два направления, которые можно обозначить как социально-политическое и морализаторское.

В рамках социально-политического направления «история» трактовалась как знание, предлагающее способы решения текущих проблем — например, в области военного искусства, государственного управления, внутренней и внешней политики. Поэтому особое значение придавалось не только правдивому и точному описанию произошедшего, но и воссозданию внутреннего смысла событий, их причинно-следственной связи, т. е. пониманию смысла происходящего — особенно четко эту линию проводил Полибий, но она встречается и у Цицерона, и у Лукиана.

Если политическая история пыталась объяснить функционирование социального мира, то морализаторская историческая проза ставила задачу формирования моральных образцов поведения. Впрочем, «обществоведческая» функция часто смыкалась с морализаторской.

Но независимо от конкретных функций, приписываемых историческому знанию, его спецификация шла по трем направлениям: методу, предмету и времени, определявших семантическими и прагматическими параметрами исторических текстов.

Метод (каким образом). Поскольку история-текст, в соответствии с приписываемыми ей семантическими и прагматическими характеристиками, должна была описывать реальность, «то, что было на самом деле», эта установка подкреплялась определенными методическими правилами, призванными обеспечить соответствие семантическим и прагматическим требованиям.

Прежде всего, требовалось использовать надежные источники. Здесь большинство следовало классическим формулировкам Геродота, излагавшего «сведения, полученные путем расспросов» (*ιστορίης ἀπόδειξις*), и Фукидида, который писал «на основании свидетельств» (*ἐκ τεκμηρίων*), т. е. «записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других, после точных, насколько возможно, исследований (проверок)».

Позднее в качестве «источника» начинают выступать предшествующие тексты — например, римские анналы или более ранние «исторические» тексты. Но и в этом случае конечным источником сведений остаются личные наблюдения. Таким образом, иерархия «источников» по степени надежности выглядела следующим образом: увиденное лично; услышанное от тех, кто видел лично; прочитанное у тех, кто видел лично и т. д.

Второе требование, которое опять-таки было сформулировано еще Фукидидом, — критическое отношение к рассказам «очевидцев», если к таковым не принадлежал сам автор. Позднее к этому добавляется и требование критического отношения к письменным текстам, используемым в качестве источника.

Третье методическое требование, предъявлявшееся авторам исторических сочинений, состояло в том, что они должны излагать сведения, во-первых, правдиво, во-вторых, беспристрастно («без гнева и пристрастия», пользуясь выражением Тацита), в-третьих, без боязни власть предержащих, и т. д. Иными словами, историки должны были продуцировать «чистое знание», незамутненное никакими личностными или социальными факторами.

Предмет (о чем). Вторая смысловая линия «истории» в значении знания была связана с предметной областью. С предметной точки зрения «историческое знание» могло также иметь самые разнообразные смыслы, охватывающие любые компонен-

ты божественной, природной и социальной реальности. Достаточно вспомнить такие известные работы, как «История животных» Аристотеля, «История растений» его ученика Теофраста или «Естественная история» («История природы») Плиния Старшего. Точно так же многие исторические сочинения, особенно в доэллинистическую эпоху, включали описание божественной реальности — теогонии, теокрасии и т. д. Но постепенно доминирующей темой исторических сочинений становятся события социальной жизни, т. е. человеческие действия или «деяния» (*res gestae*).

Объектами исторических сочинений были социальная система, культура и личность, хотя им уделялось разное внимание. Основной интерес вызвала социальная система, при описании которой в античном мире различали большую форму исторического повествования, т. е. историю всех событий за сравнительно большой период времени, и малую форму — монографию, посвященную какому-либо конкретному событию. Объектом «малых» историй служили прежде всего военные и политические события (классическими примерами являются работы Саллюстия «Югуртианская война», «Заговор Катилины» и др.). В меньшей степени историки интересовались культурой, исключение составляла, пожалуй, лишь история искусства. До некоторой степени этот пробел компенсировался в истории личностей — весьма популярные в античности биографические произведения в основном, конечно, посвящались политическим деятелям, но все же достаточно распространены были и биографии «деятелей культуры» — философов, ораторов, историков и т. д.

Время (когда). Несмотря на то, что в античности были, по сути, заложены основы современной хронологии, это, как ни странно, мало повлияло на историю. Никакого акцента на прошлом в античных «Историях» не было: прошлое присутствовало в них лишь в том смысле, что любое событие к моменту рассказа о нем уже оказывалось прошлым!

Более того, семантические и прагматические характеристики исторических текстов требовали ориентации на настоящее (точнее, на ближайшее или «актуальное» прошлое). Описание увиденного и пережитого самим автором обеспечивало «истинность», а осмысление недавних событий увеличивало пользу ис-

тории. Поэтому большинство авторов подчеркивало, что история должна описывать настоящее или ближайшее прошлое. Едва ли не единственное исключение — это высказанное Цицероном в одном из его ранних сочинений («О нахождении») замечание о том, что «история занимается деяниями, находящимися за пределами нашего времени» (*historia est gesta res, ab aetatis nostrae memoria remota*)⁹.

Именно важность «актуальной», «современной» истории подчеркивал Полибий, проводя различие между своей «прагматической» историей, с одной стороны, и генеалогической историей (под которой он подразумевал, пользуясь современной терминологией, этиологические и героические мифы) и историей, посвященной переселению народов, основанию городов и развитию колоний, — с другой. Два последних вида истории относились к отдаленному прошлому, и именно этим, в первую очередь, отличалась от них прагматическая история.

* *
*

В целом говорить об античной «истории» (в значениях вида знания и фиксирующих это знание текстов) можно лишь с очень большой натяжкой. Если, например, под философией, религией, математикой, моралью как типами знания имелось в виду примерно то же самое, что и сейчас (мы оставляем в стороне конкретное содержание соответствующих видов знания), то под «историей» как видом знания понималось нечто совершенно отличное от современного смысла этого слова.

2. Средние века: эволюция смыслов

Значения и смыслы «истории» в эпоху раннего Средневековья во многом определялись римской традицией. Кроме того, некоторые смыслы были восприняты из иудаизма: начиная с эпохи эллинизма, отдельные еврейские авторы стали писать по-гречески и также использовали слово «история». Но поскольку

⁹ *Cicero*. De Inventione I.21. <http://scrineum.unipv.it/wight/invs1.htm>.

эпоха Средних веков, как и античность, охватывает более чем тысячелетний период, смыслы «истории» существенно менялись на протяжении этого времени, и в позднем Средневековье они уже заметно отличались от античных.

История-текст

Доминирующие позиции «текстового» значения «истории» в полной мере сохранялись в эпоху христианского Средневековья, особенно в первые века христианства. Поскольку первые христианские историки, хронологически писавшие еще в эпоху античности, просто следовали традициям римской историографии, «история» по-прежнему воспринималась, прежде всего, как определенного рода текст. Например, Сократ Схоластик (1-я половина V в.) писал, что он будет «подчиняться законам истории, которые требуют простого и правдивого изложения».

В некотором смысле позиции «истории-текста» не только не ослабли, но даже укрепились. Во-первых, практически прекратилось обсуждение проблемы разделения истории и «художественной литературы» (поэзии, трагедии и т. д.), поскольку последняя на несколько столетий фактически перестала существовать и, по сути, начала возрождаться лишь в XII–XIII вв. Во-вторых, ввиду исчезновения гражданского ораторского искусства и замены его проповедью, потеряла актуальность и проблема различения истории и риторики (хотя само понятие риторики как правил построения письменного или устного текста / нарратива в целом сохранялось).

Средневековые авторы заимствовали у античных историков целый ряд литературных приемов, например, характеристики исторических личностей с помощью вымышленных речей. Правда, если в античности эти вставки давались в виде косвенной речи, то в Средние века — в форме прямой речи, что было грамматически проще. Широко использовались такие приемы, как сравнительные или параллельные характеристики тех или иных исторических личностей. Биографические описания строились также по принятым в римской историографии канонам; особый раздел биографии составляла оценка характеризуемой личности, ее осуждение или, чаще, восхваление (elogium).

Как и в античной истории, обязательным приемом являлось описание (*descriptio*) местности, города, природных катаклизмов, несчастных случаев, кровавых битв. Из античной историографии средневековые авторы усвоили также интерес к этимологическим объяснениям названий стран, городов, народов (Британия произошла от Брута, сына троянского царя Приама, и т. д.). Наконец, были обязательны к употреблению риторические тропы и фигуры: метафоры, гиперболы, риторические вопросы, патетические восклицания, антитезы.

Следуя традиции, заложенной христианским историком Евсевием Памфилом (263–339 гг.) и его грекоязычными последователями, средневековые авторы вплоть до Беды Достопочтенного довольно активно использовали слово «история» в названиях своих сочинений по «церковной истории» (*historia ecclesiastica*). Но с VIII в. этот термин все реже употребляется при обозначении текстов, и его постепенно вытесняет название «хроника», сначала как менее притязательное, а впоследствии — и как более «строгое». Вновь слово «история» входит в употребление в XII в.: в это время его начинают использовать странствующие по Европе певцы — жонглеры, менестрели, шпильманы, которые в том числе стали рассказывать «истории». Еще в XII в. этих «рассказчиков историй» причисляли, наравне с проститутками, к «слугам Сатаны» (*ministri Satanae*), а Иоанн Солсберийский (ум. 1180) писал в своей «Металогике», что поэты и рассказчики историй «почитались презренными людьми, и если кто прилежно занимается трудами древних, был на дурном счету и смешон для всех».

Но в XIII в. после (или вследствие) авторитетного разъяснения Фомы Аквинского, что жонглеры, которые воспевают деяния государей и жития святых, давая людям утешение в их горестях, не подлежат церковному преследованию и заслуживают покровительства, «история» как дискурс теряет уничижительный оттенок и уравнивается в правах с хроникой. На первый план начинают выходить художественные достоинства исторических текстов. Так, Гервасий Кентерберийский (ум. ок. 1210), проводя в своей «Англосаксонской хронике» различие между историей и хроникой, писал, что цель у историка и хрониста одна, так как оба стремятся к истине, а форма сочинения раз-

лична, так как «историк распространяется подробно и искусно, а хронист пишет просто и кратко».

«Исторические тексты» появляются вместе с возрождающейся после многовекового отсутствия художественной литературой и, по сути, во многом оказываются частью этой литературы. При этом полностью игнорируются античные каноны различия между «историей» и «художественной литературой», в том числе поэзией. Соответственно меняются и функции истории: она, как развлекательное чтение, начинает приносить не столько «пользу», сколько «удовольствие».

Начиная с XIII в. одним из основных способов популяризации истории является стихотворная форма повествования, притом главным образом на народном языке, а не на латыни, — прежде всего, во Франции и в Германии. Правда, большинство этих исторических поэм называлось «хрониками», хотя иногда они обозначались как «истории» (например, «История священной войны» Амбруаза). В том же XIII в. впервые появляются истории военных походов, прежде всего крестовых, написанные мирянами — непосредственными участниками событий. Одна из первых работ такого рода — «История завоевания Константинополя» Жоффруа де Виллардуэна, маршала Шампани. Позднее, в XIV–XV вв., этот жанр трансформируется в так называемые рыцарские хроники, и слово «история» постепенно перестает использоваться в подобных сочинениях.

Наконец, в XV в. происходит возрождение античного понимания «истории» как особого жанра, и она снова отделяется от «художественной литературы». В этой связи весьма показательны, что первыми произведениями гуманистической историографии в эпоху Возрождения оказались работы представителей итальянской «риторической школы», основателем которой был известный флорентинский историк Леонардо Бруни (1369–1444). Его главное историческое сочинение, послужившее образцом для большинства историков «риторической школы», — «Двенадцать книг историй народа Флоренции» (*Historiarum Florentini populi libri duodecim*, 1416–1444), охватывает период с момента основания Флоренции до 1404 г.

«Риторическая школа» XV в. была представлена блестящими по форме историческими произведениями. В этом веке по-

являются и первые рассуждения об «искусстве истории» (*ars historica*), в одном ряду с *artes rhetorica et poetica*, но пока еще представлявшие собой лишь вариации на тему классических высказываний Аристотеля, Цицерона, Дионисия Галикарнасского, Квинтилиана и Лукиана.

История-реальность

Хотя в эпоху Средневековья значение «текста» оставалось доминирующим применительно к «истории», семантические критерии этого рода литературы практически сошли на нет; почти полностью прекратились и дискуссии относительно достоверности или правдивости исторических текстов. Дело в том, что создание этих текстов стало едва ли не исключительно прерогативой клириков, занимавших отнюдь не самые низшие ступени церковной иерархии, или монахов, облеченных полномочиями высших иерархов, т. е. людей «проверенных и надежных». Поэтому написанные ими исторические сочинения признавались правдивыми (истинными/правильными) просто в силу авторитета церкви.

Поскольку значительная часть текстов включала описание божественной реальности (точнее, ее проявлений в социальной и природной реальности, включая различного рода чудеса, знамения, откровения и пр.), то проблема истории как текста, изображающего действительно имевшие место события, отошла на второй план. Наконец, распространение в XIII–XIV вв. поэтических («художественных») исторических произведений окончательно размыло грань между «историей» и «поэзией», между «действительностью» и «вымыслом». Люди того времени, в противоположность людям античной эпохи, не отличали историческое повествование от поэтического вымысла. Итальянский летописец XIV в. Джованни Виллани (*Giovanni Villani*) прямо называл поэтов *maestri di storia*, приписывая Вергилию такой же авторитет, как Ливию, и говорил, что тот, кто хочет подробно знать историю, пусть читает Вергилия, Лукана, Гомера.

Но утрата семантических смыслов истории-текста компенсируется возникновением значения «история-реальность» или «ис-

тория-бытие», т. е. «история», существующая вне текста. Точнее, текст превращается в «рассказ об истории».

Хронологически это значение «истории» возникает в эпоху античности. Продолжая традиции иудейской парабиблейской исторической литературы, еврейские историки эллинистического периода, писавшие по-гречески, начали использовать греческое слово «история» в значении «существование человеческой реальности во времени», хотя, конечно, как и в Библии, эта «реальность» была прежде всего иудейской.

К сожалению, тексты наиболее известных иудейских историков эллинистического периода не сохранились, за исключением небольших фрагментов, процитированных в более поздних работах. Но, например, Иосиф Флавий уже совершенно очевидно придает именно такое значение «истории» в трактате «О древности еврейского народа», когда пишет, что его сочинение «О древностях» («Иудейские древности») «обнимает события пяти тысячелетней истории», или, замечая, что

«у нас <иудеев> не великое множество книг, которые не согласовывались бы между собой и противоречили друг другу <как у греков>, а только двадцать две, содержащие летопись всех событий нашей истории»¹⁰.

В христианской традиции значение «истории-реальности» или «истории-бытия» восходит по меньшей мере к Оригену, к его работе «О началах» (ок. 228–229 гг.), в которой он в том числе рассмотрел проблему толкования смысла Библии. И хотя традиция толкования Пятикнижия была уже высоко развита в иудаизме, именно оригеновская система толкования впоследствии стала одной из основ систематической теологии. Эта система включала три уровня: соматический (телесный или бытийный, т. е. исторический), психический и пневматический (духовный). В контексте этой схемы было введено понятие «история в телесном смысле», т. е. «история» в значении реальности. Заметим, что наряду с этим у Оригена встречается и традиционное значение «истории-текста»: «истории, повествующие о делах праведников», «историческое повествование».

¹⁰ *Иосиф Флавий*. О древности еврейского народа I, 7 (8).

Августин в «Граде Божиим» уже четко различает два значения «истории» — бытия человечества во времени и исторического сочинения. Во введении к 18-й книге он, напоминая читателям о содержании предыдущих книг, повествующих о судьбе «двух градов», пишет, что после потопа «как в истории, так и в нашем сочинении оба града продолжают идти совместно вплоть до Авраама». Точно так же и Гуго Сен-Викторский (сер. XIII в.) в своем «Историческом зеркале» писал, что порядок его изложения «следует не только последовательности Священного Писания, но и порядку мирской истории» (*secularium hystoriarum ordinem*).

История-знание

В соответствии с античной традицией в Средние века «историю» по-прежнему не рассматривали как самостоятельную область знания. В лучшем случае, как и в античности, «историю» в очень узком смысле (как разъяснение текстов древних авторов) иногда включали в «грамматику», входившую в список «семи свободных искусств»¹¹ (например, у Августина, Кассиодора, Исихора Севильского). Исключения были весьма немногочисленны.

В эпоху итальянского Возрождения эта античная традиция активизируется, постижение «истории» снова связывается с изучением текстов, прежде всего, античных авторов. Восстанавливается традиция присоединения «истории» к «грамматике». Например, около 1450 г. Томмазо Парентучелли, секретарь папской курии и основатель Ватиканской библиотеки, составил по просьбе Козимо Медичи список книг, которые должны были находиться в первой публичной библиотеке, основанной Медичи в 1441 г. во Флоренции при монастыре св. Марка. В этом «перечне Парентучелли», который был весьма популярен среди гуманистов в качестве списка «рекомендованной литературы», приводится в том числе список книг, необходимых для «изучения

¹¹ «Семь свободных искусств» (*septem artes liberales*), задававшие структуру образования в античном Риме и средневековой Европе, включали «тривиум» (чтение/письмо, грамматика/словесность, диалектика/логика) и «квадривиум» (арифметика, геометрия, астрономия и музыка).

светских наук, то есть грамматики, риторики, истории и поэзии».

При сохраняющемся доминировании «текстового» значения «истории» существенно изменились прагматические параметры этого рода литературы, связанные с понятиями «пользы» и «функций» исторических сочинений. В эпоху античности одной из основных функций истории было накопление социального опыта, который можно было использовать в социальной практике, т. е. формирование социальных и моральных образцов поведения. В свою очередь, в эпоху христианского Средневековья накопление сведений о социальной реальности определялось совершенно иными целями. Стремление познать человеческую природу и устройство социального мира выступало не столько в качестве конечной цели, сколько как инструмент, способ познания божественной реальности, Промысла Божьего. Такая установка несколько ослабевает в период позднего Средневековья, когда под влиянием томизма постижение божественной реальности стало мыслиться возможным в первую очередь через постижение созданной Богом природы. Это немного снизило теологический интерес к знанию о социальном мире и позволило вернуться к изучению социального мира и человека как таковых, вне непосредственной связи с божественной реальностью.

В трудах итальянских гуманистов XV в. уже постоянно говорится о пользе истории (исторических текстов). Впрочем, даже в XV в. представления гуманистов о «пользе» истории были все еще весьма расплывчаты. Так, Леонардо Бруни в прологе к своей упомянутой выше работе «Двенадцать книг историй народа Флоренции» говорит о пользе чтения исторических трудов: 1) для приобретения навыков хорошего стиля; 2) ввиду воспитательной ценности истории; 3) вследствие того, что «разумному человеку приличествует знать», как возникла его родина, какое прошла развитие и какие судьбы ее постигли; 4) наконец, потому, что знание истории «дает величайшее удовольствие».

Как и в античности, прагматические параметры «историкотекста» реализовались в эпоху Средневековья в некоторых конкретных требованиях, предъявлявшихся к содержанию исторических текстов, которые снова условно можно разделить на метод (каким образом), предмет (о чем) и время (когда).

Метод (каким образом). Постепенно совершенствовалась работа с источниками, на которые опирались авторы исторических текстов. В дополнение к традиционным «свидетельствам очевидцев», хроникам и предшествующим историческим сочинениям начали использовать архивные документы — сначала монастырей, затем папской канцелярии и, наконец, первые государственные «светские» архивы. В XV в. в Италии возникает так называемая «эрудитская» школа в историографии, основателем которой был Флавио Бьондо. «Эрудиты» впервые занялись кропотливым сбором фактов, документов, памятников письменности и материальной культуры по истории античности и Средневековья.

Традиция «критики источников», даже в ее самой зачаточной форме, была прервана в течение нескольких первых столетий Средневековья, в силу авторитета церковных авторов. Но в XV в. она возрождается на качественно новом уровне. Первопроходцем здесь считается Лоренцо Валла с его известной работой «Рассуждение о подложном и вымышленном дарении Константина» (*De falso credita et ementitis Constantini donatione declamatio*). Эта работа была написана им в 1440 г., но впервые опубликована только в 1517 г. в Германии, где в это время начиналось реформационное движение и шла острая борьба с папством. На конкретном историографическом уровне основателем современной «критики источников» был, по-видимому, Флавио Бьондо. В качестве главных критериев достоверности он выдвигал, с одной стороны, правдоподобие и реальность описываемых событий, отбрасывая как недостоверные все сообщения о чудесах, знамениях и т. д. С другой стороны, Бьондо пытался отбирать источники по принципу древности их происхождения, их наибольшей близости по времени к описываемым событиям.

Предмет (о чем). С точки зрения географического охвата, в Средние века наибольшей популярностью пользовались всемирные хроники и монастырские областные анналы. С XI в. появляются первые большие летописные своды и монографии, посвященные истории стран в целом, т. е. «страновые истории».

Уже в раннем Средневековье возникают принципиально новые объекты исторических сочинений. Например, появляются истории отдельных народов — готов (Кассиодор/Иордан, Иси-

дор Севильский), франков (Григорий Турский, Псевдо-Фредегар), лангобардов (Павел Диакон), англов (Беда Достопочтенный) и т. д. Но главным средневековым «нововведением», с точки зрения предмета исторических сочинений, становится история церкви, родоначальником которой был Евсевий Кесарийский.

Тематическое разнообразие исторических текстов начинает стремительно нарастать с XII в. Появляются придворные анналы, автобиографии церковных писателей, биографии королей, сочинения по истории церковной литературы, а также городские хроники (прежде всего в Италии), авторами которых нередко были уже миряне.

Время (когда). Средневековые хронологические представления в целом не намного отличались от античных. К наиболее распространенным хронологическим системам, использовавшимся в Средние века, относились эра Диоклетиана (от 29 августа 286 г.), переименованная в «эру мучеников чистых», а также разные варианты традиционной эры «от сотворения мира» (александрийская, болгарская, антиохийская, византийская и др.), особенно популярные в Византии. В 525 г. папский архивариус Дионисий Малый первым предложил использовать летоисчисление от Рождества Христова, и эта хронологическая система стала постепенно распространяться в Западной Европе, но только в XV в. она становится официальной в большинстве европейских государств.

Так же как и хронологические познания, не претерпели особых изменений по сравнению с эпохой античности и средневековые представления об отношении «истории» к прошлому и настоящему — «история-текст» должна была содержать, прежде всего, знание о настоящем. Так, Исидор Севильский (VII в.), проводя различие между историей и анналами, определял историю как знание, полученное на основе увиденного, т. е. относящееся только к тем временам и событиям, свидетелем которых был автор, и основную функцию истории — как служение пониманию настоящего (в нашей терминологии).

Несколько столетий спустя автор «Церковной истории» Ордрик Виталий (начало XII в.) писал, что многие предшествующие авторы — «агиографы Моисей и Даниил», «языческие ис-

ториографы» Дарий Фригиец (о нем мы упоминали выше) и Помпей Трог, «церковные писатели» Орозий, Беда, Павел Дьякон — стремились передать «будущим поколениям деяния своих современников»; к тому же стремится и он, Ордерик Виталий.

Каждый автор обязательно должен был доводить свою «историю» «до дней пишущего». Сведения о предшествующем периоде брались из какого-то сочинения, написанного ранее современником соответствующих событий. Поэтому, хотя «история» конкретного автора могла начинаться со сколь угодно отдаленного времени (например, с Троянской войны), она не была в строгом смысле историей «прошлого», а получалась из сложения написанных в разное время историй «настоящего».

Все это относилось, впрочем, только к мирской истории. В священной истории средневековая христианская мысль впервые ввела различие между настоящим и прошлым, радикально отличным от настоящего. В качестве прошлого выступал период до Воплощения Христа, а настоящим считалось все время после Воплощения. Соответственно, Ветхий Завет был священной историей прошлого, а Новый — священной историей настоящего. Позднее, уже в эпоху Возрождения и Реформации, это разделение, неведомое античной мысли, стало важнейшей основой для формирования исторического сознания Нового времени.

В завершение отметим еще одно важное достижение Средневековья в области исторического знания, которое начиная с XII в. было связано с возникновением многочисленных исторических антологий и компендиумов, именуемых как «Суммы», «Зеркала» и «Цветы» истории. Обычно это явление трактуется как упадок историографии, поскольку все эти тексты имели, естественно, вторичный характер и поэтому не представляют особого интереса как первичные источники для современных историков-медиевистов. Однако этот этап был очень важен для становления исторического знания. По сути, речь шла об аккумуляции и централизации имеющегося исторического знания, объединении разрозненных текстов, доступных немногим, в некое подобие единого свода знаний. Эти работы восстанавливали традицию написания всемирной истории, заложенную Евсевием, но не получившую развития в течение нескольких следующих веков.

3. Новое время: смена приоритетов

В XVI в. начинается бурная дискуссия о характере исторического знания, продолжавшаяся до начала XVII в. Если за предшествующие две тысячи лет о понятии «история» было написано несколько десятков абзацев, то теперь за одно столетие — несколько десятков трактатов, специально посвященных проблемам методологии истории. Достаточно сказать, что в 1579 г. Иоганн Вольф из Базеля издал собрание работ по методологии истории «Сокровищница исторического искусства», включавшее 18 текстов, из которых 16 были написаны в XVI в. (кроме них, туда были включены работы Дионисия Галикарнасского и Лукиана).

Часть авторов, прежде всего итальянских, продолжала отстаивать «классическую» античную точку зрения на историю как на литературный жанр («история-текст»), наделенный целым рядом специфических признаков. Однако к началу XVII в. победило представление об «истории-знании», хотя также достаточно специфичное — история отождествлялась с конкретным, не теоретическим, знанием.

После победы сторонников «истории-знания», история-текст, точнее «история-литература», выделилась в самостоятельную область, относящуюся к художественной литературе. Начало этому процессу положил Уильям Шекспир, а окончательно он утвердился в первой половине XIX в., когда возникает «исторический роман», основоположником которого стал Вальтер Скотт. Наконец, со второй половины XVIII в. резко активизируется обсуждение «истории-реальности», которое велось в рамках «философии истории» или историософии, достигшей небывалого расцвета в XIX в.

История-знание

С середины XVI в. «история» в значении знания понимается не столько как отдельная дисциплина, сколько как комплекс дисциплин или самостоятельный тип знания. В формировании этих новых взглядов не последнюю роль сыграла сокрушительная критика представлений итальянских гуманистов о знании

в целом и об истории в частности, содержащаяся в знаменитом трактате Генриха Корнелиуса Агриппы «О недостоверности и тщетности наук» (1520). Второй удар был нанесен «из тыла» Никколо Макьявелли (1469–1527) и Франческо Гвиччардини (1483–1540), чьи жесткие историко-политические работы никак не вписывались в прекраснотушные рассуждения об историческом литературном жанре («История Флоренции» Макьявелли была опубликована посмертно в 1531–1532 гг., «История Италии» Гвиччардини — в 1561–1564 гг.).

В формировании значения «истории-знания» и соответствующих ему смыслов во второй половине XVI — начале XVII в. участвовало множество авторов из разных стран, хотя, конечно, далеко не все эти работы были равноценны. Одним из важнейших можно считать трактат Жана Бодена «Метод легкого познания историй» (1566), поскольку во многих более поздних работах давался просто пересказ или даже прямой перевод отдельных частей этого трактата. Весьма существенную (хотя не вполне положительную) роль в формировании представлений об историческом знании сыграл и труд Фрэнсиса Бэкона «О достоинстве и приумножении наук» (1623). Формирование представлений об «историческом» было «коллективным предприятием», в котором участвовало множество мыслителей начала Нового времени. Служение истории рассматривалось как занятие в высшей степени почетное (а временами и выгодное), поскольку в этом видели проявление не только высших интеллектуальных способностей, но и гражданских доблестей. С подобной оценкой роли и значения истории в европейской культуре мы сталкиваемся вновь только в середине XIX в.

Метод (каким образом). Становление новых представлений об историческом знании началось с написания разнообразных опусов о «методе» (*methodos*), которые их авторы противопоставили рассуждениям об «историческом искусстве» (*ars historica*). Дискуссия об историческом методе шла по нескольким направлениям.

Прежде всего резко активизируется обсуждение проблемы источников и их критики. Качественно новый импульс работе с первоисточниками придал раскол Западной церкви и сопровождавшая его в XVI в. «историографическая война» между като-

ликами и протестантами. Заметим, что и впоследствии, на протяжении XVII–XIX вв., развитие источниковедческой базы истории во многом было связано с трудами представителей церкви. В XVII в. существенный вклад в эту работу внесли болландисты (ученое общество иезуитов), с конца XVII в. ее продолжили мавристы (мавриане), французские бенедиктинцы конгрегации св. Мавра. Работа церковных историков по публикации документов и произведений христианских авторов достигает своей вершины в XIX в. в форме выдающейся «Патрологии» аббата Жана-Поля Миня (1800–1875). В целом к концу XIX в. усилиями как церковных, так и светских исследователей источниковедение становится полностью сформировавшейся дисциплиной, служащей прочным фундаментом всего исторического знания.

Что касается собственно метода, то здесь события развивались далеко не так гладко. Процесс выработки исторического метода, начавшийся во второй половине XVI в., вскоре был фактически прерван. Уже в начале следующего столетия формируется весьма устойчивое представление об историческом знании как о собрании сведений, фактов и т. д., которое, строго говоря, не играет самостоятельной роли, а должно служить лишь основой «высокого», «теоретического» знания (которое вначале именовалось философией, а потом — наукой).

Эта точка зрения была канонизирована Фрэнсисом Бэконом в упомянутой выше работе «О достоинстве и приумножении наук» (1623). Взяв в качестве отправной точки деление знаний по способностям мышления (разум—память—воображение), использовавшееся Аристотелем, Ибн Синоу, Хуаном Уарте и др., Бэкон ввел деление знания «по методу» на науки разума («философию» или «чистую науку»), науки памяти («историю») и науки воображения («поэзию»). В рамках такого подхода историческое знание оказывалось вспомогательным, служащим лишь основой для «философии» или «чистой науки». Эта концепция была закреплена в работе Томаса Гоббса «Левиафан» (1651) и доминировала вплоть до начала XIX в. В частности, во второй половине XVIII в. она была воспроизведена в «Энциклопедии» французских просветителей Дени Дидро и Жана-Лерона д'Аламбера, которая оказала огромное влияние на интеллек-

туальную жизнь Европы (первый том, содержащий изложение этой схемы, вышел в 1751 г.).

Надо сказать, что концепция Бэкона была еще не худшим вариантом отношения к историческому знанию в XVII — первой половине XVIII в. Расцвет естественнонаучного знания и соответствующей ему философии нанес сокрушительный удар по истории. Хорошо известны скептические высказывания об истории Галилея, Декарта и даже Спинозы и Лейбница, хотя последний, как известно, был официальным историографом дома Ганноверов. Например, Декарт считал историю родом литературы, а не наукой, и в своем пренебрежительном отношении к ней доходил до утверждения, что ему совершенно безразлично, существовали ли вообще до него люди. Существенный вред историческому знанию нанес и Ньютон, чьи мистико-астрологические трактаты до сих пор используются для обоснования нападок на историческую науку.

Лишь с середины XVIII в. историческое знание начинает снова обретать утраченный статус, но уже в начале XIX в. возникает новая напасть, связанная с появлением позитивистских схем структуры знания, в которых главным параметром выступала «степень теоретичности» той или иной науки. Так, Огюст Конт в первом томе «Курса позитивной философии» разделил науки на теоретические и практические, а теоретические, в свою очередь, на общие (абстрактные) и конкретные. Отнеся историю к разряду «конкретных наук», Конт акцентировал ее второстепенную, вспомогательную роль в научном познании. Дальнейшее развитие эта схема получила в бесчисленных позитивистских концепциях структуры научного знания, где история неизменно относилась к второстепенным, описательным дисциплинам, опять-таки не дотягивающим до «настоящей» науки.

Только в конце XIX в. в работах Иоганна Дройзена, Вильгельма Дильтея, Генриха Риккерта и Вильгельма Виндельбанда было сформулировано совершенно новое представление об историческом методе. Это представление еще не было однородным. Но главное, был выдвинут тезис о качественном отличии социальной реальности от природной, подразумевающим и различие в методах их исследования.

Предмет (о чем). В середине XVI в. вводятся понятия ис-

тории в широком и в узком смысле. В широком — история включала три компонента: священную, природную и человеческую историю. Эта широкая трактовка, по-видимому, впервые была предложена Жаном Боденом в работе «Метод легкого познания историй» (1566). Позднее ее использовали Томмазо Кампанелла (1613), Фрэнсис Бэкон (1623), Томас Гоббс (1651) и др. Лишь в конце XVIII в. в работах французских энциклопедистов эта схема начинает размываться, а в XIX в. «природная» и «священная» истории окончательно выводятся за рамки обсуждения.

Если говорить об истории в узком смысле, т. е. собственно «человеческой» истории, то в XVI в. было достигнуто понимание того, что объектом исторического знания являются человеческие действия (*res gestae*) в разных их проявлениях. Эта точка зрения не вызывала особых дискуссий, ее поддерживали даже сторонники «текстового» или «риторического» подхода к истории. Разногласия возникали лишь в вопросе о том, какие именно человеческие действия и их результаты (или следствия) должна охватывать история и на какие конкретные области она должна подразделяться.

На теоретическом уровне предмет истории определялся необычайно широко. Так, например, в работе швейцарца Кристофа Милье «Написание истории универсума вещей» (1551) вся совокупность исторических нарративов делится на пять областей — история природы (*historia naturae*), история благоразумия (*historia prudentiae*), история правителей (*historia principata*), история мудрости (*historia sapientiae*), история литературы (*historia litteraturae*). Столетие спустя столь же широкую трактовку предмета истории можно найти, например, у Жана Гарнье, профессора «позитивной теологии» и библиотекаря иезуитского коллежа Клермона в Париже. В работе «Библиотечная система» (1678) он, в соответствии с традициями того времени, разделял знание на «философию» (или собственно науку) и «историю». В свою очередь, «история» включала географию, хронологию, всеобщую историю, естественную историю (историю природы), искусственную историю (историю общественных институтов) и литературную (художественную) историю.

Такая расширительная трактовка имела определенные основания. Действительно, история в современном смысле, т. е. зна-

ние о прошлом социального мира, присутствовала едва ли не в любой работе о социальной реальности, написанной в период Нового времени: от искусства (Джорджо Вазари «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», 1550) до экономики (Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776). Однако на уровне историографической практики ситуация складывалась несколько иначе.

Если рассматривать работы, которые именовались авторами как «история», то подавляющая их часть была посвящена политической подсистеме общества — от войн до политических институтов. Начиная с Никколо Макьявелли история была в первую очередь политической наукой, прямо продолжая традиции Фукидида и Полибия, и эпоха абсолютизма только закрепляет этот смысл исторического знания. «Политологическая» ориентация истории фиксировалась и на методологическом уровне — наряду со сторонниками максимального расширения предмета истории многие мыслители XVI–XVIII вв., от Жана Бодена до Габриэля-Бонно де Мабли и лорда Болингброка, ограничивали сферу исторических исследований политическими аспектами человеческих действий и жизни общества. Во многом эта установка сохранялась и в XIX в. — основная часть исторических сочинений этого периода была ориентирована на политическую историю.

Время (когда). Существенные изменения произошли и в темпоральных характеристиках исторического знания. С конца XVI в. начинает формироваться современная историческая хронология, прежде всего, благодаря работам Жозефа Скалигера «Об улучшении счета времени» (1583) и «Сокровище времен» (1606), а также трудам Дионисия Петавия (Петавиуса) (1627), который ввел обратный отсчет времени от Рождества Христова, Жана-Доминика Кассини (1740), Христиана Иделера (1825–1826), разработавшего математическую теорию хронологии, и др. В 1837 г. французский археолог-любитель Жак Буше де Перт обнаружил при раскопках на берегах р. Соммы орудия каменного века. Благодаря этому открытию история человечества сразу удлинилась на тысячелетия: до этого ни один самый просвещенный человек не сомневался в том, что человечество существует не более пяти тысячелетнего периода, который зада-

вался библейской хронологией. (Окончательное признание факта существования «доисторического» человека произошло лишь в 60-е годы XIX в.)

В Новое время была создана принципиально новая схема периодизации всемирной истории. Уже Жан Боден в своем «Метод» начал борьбу с традиционной схемой «четырёх царств», а в конце XVII в. профессор университета в Галле Христофор Келлер (Целлариус) в работе «Трехчастная универсальная история» (*Historia tripartita universalis*, 1685–1698) разделил всемирную историю на Древнюю (до Константина Великого), Среднюю (от Константина до падения Константинополя в 1453 г.) и Новую. Эта концепция окончательно утверждается в XIX в., существенным образом определяя структуру исторического знания.

Однако главным отличием Нового времени стало изменение в темпоральных представлениях, связанное с появлением идеи исторического прошлого. Конечно, какое-то разделение прошлого и настоящего существовало всегда, в том числе в самых архаичных культурах (например, в виде мифического времени первотворения). Точно так же и в христианской религии время до Рождества Христова было «прошлым», качественно отличавшимся от «настоящего». Но лишь начиная с эпохи Возрождения история темпорализируется, она разделяется на отдельные периоды, каждый из которых может быть объектом самостоятельного изучения. Иными словами, только в Новое время впервые появляются исторические работы, посвященные событиям не «до дней пишущего», а каким-то изолированным, порой весьма отдаленным, временным периодам, что было абсолютно невысказано в эпохи античности и Средних веков.

В XV–XVI вв. история впервые начинает ассоциироваться именно с изучением прошлого. В частности, все тот же Жан Боден предлагал рассматривать историю в узком смысле «как дисциплину, изучающую деятельность людей, ясно описанную в повествованиях о событиях давно минувших дней». Поэтому основная часть его сочинения посвящена периоду древней истории и раннего Средневековья, в современной терминологии.

В XVII–XIX вв. идея истории как знания только о прошлом перестает активно обсуждаться. Уже Бэкон и Гоббс фактиче-

ски игнорировали темпоральную характеристику исторического знания, которую попытался акцентировать Боден. В целом можно сказать, что с начала XVII по конец XIX в. истории в значении знания в основном придавался смысл «обществознания», т. е. история была прообразом всей системы общественных наук. Такой смысл, при очевидных различиях, прослеживается в концептуализации исторического знания всех крупнейших философов, занимавшихся этой проблемой: от Бэкона до Риккерта. Понятно, что при таком осмыслении истории опять-таки не возникало специализации истории «по времени», как знания, относящегося исключительно к прошлому.

Наконец, следует сказать и о «классическом» понимании исторического знания как раздела филологии, связанного с изучением (древних) текстов. Еще в XIX в. в большинстве европейских университетов история изучалась на филологических факультетах. В некоторых странах (во Франции, в Бельгии) эти факультеты назывались факультетами словесности, а в Германии и в России они именовались историко-филологическими. Это обстоятельство отражало ту роль, которую продолжало играть на протяжении Нового времени значение исторического текста.

История-текст

Классическое понимание истории как литературного жанра активизируется в эпоху Возрождения. В принципе апелляции к Цицерону и Квинтилиану обнаруживаются уже в XV в., а в XVI в. *ars historiarum* (*ars historicae*) становится модной топикой. Эту филологическую линию развивали в XV–XVI вв. представители итальянской «риторической» историографической школы Леонардо Бруни.

В работах этих авторов история по-прежнему определялась не столько как знание, сколько как рассказ, повествование и т. д. Джованни Антонио Виперано в «Книге о написании истории» (1569) определяет историю как «разумный и украшенный рассказ о человеческих деяниях». «Литературный» подход к тексту был распространен не только в Италии, но и в других странах, прежде всего во Франции. Так, Марк-Антуан Мюре в «Рассуж-

дении об истории» (1604) писал, что «история — это повествование, полное и непрерывное, о вещах совершенных публично».

«Риторическая» традиция интерпретации «истории» в целом сохранялась на протяжении XVII–XVIII вв., хотя и не была столь заметной, как в XVI в. Отчасти она поддерживалась и на конкретном историографическом уровне, хотя литературные достоинства исторических текстов постепенно были принесены в жертву политическому анализу.

Параллельно продолжала развиваться «художественная» историческая литература. Неизменную популярность, унаследованную от Средневековья, сохраняли исторические поэмы. Наряду с этим все шире распространяются исторические пьесы, охватывающие весь спектр драматургии — от трагедии и драмы до комедии и сатиры (например, в Англии были весьма популярны «исторические» пьесы Шекспира). При этом различие между собственно историческими текстами и историческими художественными произведениями (поэмами и пьесами) не только не ослаблялось, но усиливалось, что закреплялось синтаксическими характеристиками соответствующих типов текстов. Исторические поэмы и пьесы назывались поэмами и пьесами, а не «историями».

Новый импульс «риторическое» направление в историописании и соответствующие представления об истории получают в конце XVIII — начале XIX в., прежде всего, благодаря писателям-романтикам. Романтики возродили традиции творческого, интуитивного, эстетического подхода к истории: например, для Фридриха Шеллинга наиболее адекватной формой постижения прошлого было «историческое искусство». Некоторые выдающиеся писатели того времени одновременно становились авторами вполне серьезных «научных» работ по истории, принося в них, естественно, свой литературный талант — достаточно упомянуть Фридриха Шиллера («История отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества», 1788; «История Тридцатилетней войны», 1790–1792), Александра Пушкина («История пугачевского бунта», 1833) или Проспера Мериме, написавшего работы по древнеримской истории (1841–1844), истории Испании (1848) и т. д. Но речь отнюдь не шла о слиянии «художественной» и «нехудожественной» исторической литера-

туры, что особенно видно при сравнении «художественных» и «научных» исторических работ упомянутых авторов.

Что касается художественной литературы, то именно в конце XVIII — начале XIX в., в дополнение к историческим поэмам и пьесам, формируется, по сути дела, новый жанр — «исторический роман», у истоков которого стояли в Англии — Вальтер Скотт, Эдвард Булвер-Литтон, во Франции — Виктор Гюго, Альфред де Виньи, Александр Дюма, Проспер Мериме, в Германии — Иоганн Гёте, в Италии — Алессандро Мандзони, в США — Фенимор Купер. В XIX в. исторические романы, вкупе с появившимися вслед за ними «историческими повестями», становятся одним из самых популярных литературных жанров.

К жанру исторического романа начинают относиться прозаические произведения романической формы, действие которых лежит за пределами памяти современников. Но под общую рубрику «исторического романа» попадали и продолжают попадать произведения, очень разные с точки зрения исторической достоверности. В лучших образцах исторической прозы их авторы опираются на серьезные научные исследования и даже на архивные материалы, используя в своих текстах документы, газетные публикации и другие исторические источники.

Оставляя в стороне художественную литературу, вернемся к «научной» истории-тексту. Писатели-романтики послужили образцом для историков в работе над художественной стороной исторических текстов, что было очень важно в то время для завоевания внимания публики. В числе авторов, чьи исторические труды написаны выразительным языком, отличаются интересной композицией и прочими стиливыми признаками хорошей прозы, выделяются Франсуа Гизо, Огюстен Гьерри, Жюль Мишле, Алексис де Токвиль, Ипполит Тэн, Якоб Буркхардт, Томас Карлейль, Томас Маколей, Сергей Соловьёв, Василий Ключевский. В силу несомненных художественных достоинств, удачно дополняющих научную ценность их работ, произведения этих и некоторых других историков XIX в. в следующем столетии стали объектом пристального интереса филологов.

История-реальность

Как отмечалось выше, «история» в значении реальности, не связанной с конкретным текстом, впервые стала использоваться в иудео-христианской традиции еще в первые века нашей эры. Но только в Новое время, более того, лишь со второй половины XVIII в. это значение «истории» занимает место, сопоставимое с «историей-текстом» и «историей-знанием», а отчасти даже подавляет их. Широкое распространение значения «истории-реальности» было связано с появлением другого понятия, а именно — «философии истории», т. е. философского осмысления истории-реальности. Возникновение словосочетания «философия истории», в отличие от многих других, может быть точно датировано: оно впервые использовано в работе Вольтера «Философия истории», изданной в 1765 г.

Согласно современному немецкому историку Райнхарту Козеллеку, именно в 1760–1780 гг., т. е. в период возникновения философии истории, слово «история» начинает употребляться в единственном числе. Это свидетельствует о доминировании значения «истории» как «бытия человечества во времени», подавляющем прежнее значение «истории» как текста, которое влекло за собой преимущественное использование этого слова во множественном числе. Позднее эту связь выразил Иоганн Дройзен в формуле «за историями находится История».

Иногда при философском осмыслении значения «истории-реальности» она доопределялась («история человечества» у Иоганна Гердера, «всеобщая история» у Иммануила Канта, «мировая история» у Курта Брейзига и т. д.). Позднее, уже во второй половине XX в., стала доопределяться сама философия истории-реальности — ее стали обозначать как «онтологическую», «субстанциальную» или «спекулятивную» философию истории, чтобы отличить от философской рефлексии по поводу других значений «истории», т. е. философии истории-текста и философии истории-знания.

Здесь мы не будем подробно останавливаться на содержании философских рефлексий относительно истории-реальности. Отметим лишь, что, несмотря на бесчисленное количество философских работ, посвященных обсуждению «смысла истории»,

в подавляющем большинстве случаев понятие истории в значении реальности имеет один и тот же смысл — «бытие человечества во времени». Этот смысл, во-первых, подразумевает «всеобщий» или «глобальный», в современной терминологии, подход к истории — «мельчайшими» объектами здесь являются «народы», «культуры» или «цивилизации». Во-вторых — акцентируется динамический аспект исторической реальности: речь обязательно идет о процессе, разворачивающемся во времени (изменения, развития, подъема и упадка и т. д.). Именно этим, в первую очередь, историософский смысл «истории-реальности», сложившийся в Новое время, отличается от теологического смысла «истории-реальности» в эпоху Средневековья, ибо последний в основном имел статичный характер.

С середины XIX в. «история» в значении реальности постепенно начинает использоваться не только в философских, но и в исторических работах, хотя и не слишком активно, — сами историки по-прежнему ориентировались в первую очередь на значение «истории-знания», в крайнем случае «истории-текста». Гораздо большую, чем в профессиональной среде, популярность историософское значение «истории» обрело в общественно-политической лексике, где, впрочем, оно постоянно смешивалось (и продолжает смешиваться по сей день) со значениями истории-знания и истории-текста.

4. Новейшее время (XX в.)

В XX в. «история» в разных ее значениях была объектом внимания не только со стороны самих историков, но также представителей общественных наук (экономистов, социологов, политологов), филологов, теологов и, наконец, философов, представляющих самые разные направления (от Анкерсмита до Ясперса). С целью некоторого упорядочения и систематизации остановимся кратко на распространенных в прошлом веке смыслах, придававшихся основным значениям «истории».

История-знание

Только с конца XIX в., когда формируется весь комплекс общественных наук как самостоятельного типа знания, оконча-

тельно укореняется смысл истории как отдельной дисциплины. История в значении знания начинает определяться как наука о прошлом человечества.

Конечно, новый поворот в трактовке смысла исторического знания возникает не вдруг со сменой веков. По сути он наметился уже в последней трети XIX в., когда наряду с субстанциальной философией истории в Германии возникает так называемая «критическая философия истории»¹², т. е. философия исторического знания (это направление было представлено в работах Иоганна Дройзена, Вильгельма Дильтея, Генриха Риккерта, Георга Зиммеля). Но окончательно концептуализировано новое понимание истории было лишь в первой половине XX в. Существенный вклад в формирование современных представлений об исторической науке внесли известные историки разных стран: в Германии — Эрнст Бернгейм и Макс Вебер, во Франции — Люсьен Февр и Марк Блок, в США — Чарльз Бирд и Карл Беккер, в Англии — Робин Коллингвуд, в России — Александр Лаппо-Данилевский и Николай Кареев, и многие другие.

Существенно подчеркнуть, что все перечисленные авторы были, прежде всего, профессиональными историками, а не чистыми философами, логиками, культурологами, филологами или представителями каких-то иных дисциплин или типов знания. Ранее определение смысла, вкладываемого в понятие исторического знания, было в основном прерогативой философов, и переход к дисциплинарному самоопределению по сути явился еще одним свидетельством становления истории как самостоятельной области общественнонаучного знания.

При всех различиях в подходах уже в первой половине прошлого века было выработано некое общее понимание исторического знания. Напомним лишь некоторые известные высказывания из разряда «канонических» (см. *Вставку 2*).

Итак, в XX в. история в значении знания в основном определяется как: а) научное знание; б) знание о социальном мире; в) знание о прошлом. Первый смысл связан с определением по методу, второй — по предмету, третий — по времени. Однако

¹²Этот термин был введен Раймоном Ароном в работе «Критическая философия истории» (1938).

Вставка 2. Определения исторического знания

Люсьен Февр: «История — наука о человеке, о прошлом человечества»¹³.

Раймон Арон: «История в узком смысле слова есть наука о человеческом прошлом»¹⁴.

Робин Коллингвуд: «История — это разновидность исследования или поиска... разновидность того, что мы называем науками, т. е. тех форм мышления, посредством которых мы задаем вопросы и пытаемся ответить на них... Науки отличаются друг от друга тем, что они ищут вещи разного рода. Какие вещи ищет история? Я отвечаю: *res gestae* — действия людей, совершенные в прошлом»¹⁵.

несмотря на некое общее единство представлений об историческом знании, методологические дискуссии в этой области продолжаются, и весьма активно. Выделим лишь некоторые основные пункты современных дебатов, точнее дискуссионных проблем.

Прежде всего не вполне ясно, является ли история «просто наукой» или научной дисциплиной, как, скажем, социология или филология, или это все же «комплекс наук». Отсюда возникает ощущение, что история — это что-то отличное от других общественных и гуманитарных наук (оставляя в стороне различие между теми и другими), но остается неясным, в чем именно состоит это отличие. Эту неопределенность попытался передать французский философ Мишель Фуко, который, говоря об Истории (он часто пишет это слово с прописной буквы), утверждает:

«... Место ее не среди гуманитарных наук и даже не рядом с ними; можно думать, что она вступает с ними в необычные, неопределенные, неизбежные отношения, более глубокие, нежели отношения соседства в некоем общем пространстве... История об-

¹³ Февр Л. Суд совести истории и историка [1933] // Февр Л. Бои за историю / Пер. с франц. М.: Наука, 1991. С. 19.

¹⁴ Арон Р. Введение в философию истории [1938] // Арон Р. Избранное: Введение в философию истории / Пер. с фр. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 220.

¹⁵ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 12–13.

разует “среду” гуманитарных наук... Каждой науке о человеке она дает опору, где та устанавливается, закрепляется и держится; она определяет временные и пространственные рамки того места в культуре, где можно оценить значение этих наук; однако вместе с тем она очерчивает их точные пределы»¹⁶.

В современных определениях истории присутствуют следы и еще одного специфического смысла «истории-знания», а именно, что история — это «конкретное» знание, в противоположность «теоретическому». Эта трактовка, которая была актуализирована в начале XVII в., продолжала пользоваться популярностью и в XX в., особенно в первой его половине. Например, еще в середине прошлого века философ Карл Поппер в работе «Нищета историцизма» (1957) прямо писал, что историк интересуется действительными единичными или специфическими событиями, а не законами и обобщениями.

С конца 1950-х годов эта проблема активно обсуждается в аналитической философии истории, в рамках которой, строго говоря, «история» выступала не только (и, может быть, не столько) как «знание», но и как «текст». Дело в том, что основная часть этих исследований была посвящена проблеме построения высказываний в исторических сочинениях, что в равной степени можно рассматривать и как обсуждение метода «истории-знания», и как семантику «истории-текста». Существенный вклад в разработку данной проблемы внесли Карл Гемпель, Эрнест Нагель, Морис Мандельбаум, Уильям Дрей, Артур Данто, Георг фон Вригт, Мортон Уайт и др. Эта тематика представлена также в работах эстонских (Андрус Порк, Эро Лооне) и российских (Марина Кукарцева) исследователей. Благодаря работам в области аналитической философии истории был существенно уточнен смысл «истории-знания», прежде всего с точки зрения особенностей метода.

В то же время нельзя говорить о том, что сформулированные в рамках аналитической философии представления о высокой степени генерализации и объясняющих возможностей исторического знания (хотя и отличных от естественных наук), стали

¹⁶ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. СПб.: А-сэд, 1994 [1966]. С. 385–386, 389.

абсолютно доминирующими. И в последние десятилетия XX в. многие специалисты продолжали придавать историческому знанию традиционный смысл конкретного знания, ориентированного на особенное, индивидуальное, уникальное, случайное и т. д.

С точки зрения предмета произошло существенное расширение представлений о том, какие именно компоненты социального мира относятся к ведению истории, в первую очередь, в рамках подсистемы культуры.

Наконец, в XX в. постепенно уточнялся смысл, связанный с ориентацией исторического знания на изучение прошлого. Здесь также существовал широкий спектр мнений, вплоть до представлений о том, что история занимается не только прошлым, но также настоящим и даже будущим (такой подход связан с историософским смыслом истории-реальности). Тем не менее в прошлом веке история стала специфицироваться преимущественно как знание о прошлом, в отличие от предшествующих эпох, когда такой смысл в большинстве случаев вообще отсутствовал. Это, впрочем, повлекло за собой дискуссию о разграничении прошлого и настоящего и о соответствующем определении «сферы компетенции» истории.

История-текст

В принципе в XX в. отчасти сохранялись представления об истории как о разновидности литературы. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что в прошлом веке две Нобелевские премии по литературе были присуждены за исторические работы (хотя, как мы знаем, присуждение этих премий определяется не только литературными соображениями). Первый раз премия была присуждена Теодору Моммзену в 1902 г. с формулировкой: «Одному из величайших исторических писателей, перу которого принадлежит такой монументальный труд, как “Римская история”». Второй раз премию присудили Уинстону Черчиллю в 1953 г. с формулировкой: «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности». В этом случае особенно

примечательна, в контексте античных дискуссий, увязка истории с риторикой.

Впрочем, в отличие от античности, исторические тексты в XX в. не выделяются более в самостоятельный литературный жанр. Речь идет не столько о литературе, сколько о тексте; соответственно, и смысл «истории-текста» изменился с общего (тип текстов) на конкретный (текст, написанный каким-либо историком). Особенно ярко эти тенденции проявились в последней трети XX в. благодаря развитию семиотики, а также целого ряда новых философских школ — упомянутой выше аналитической философии, философии текста и т. д.

Исторические тексты (т. е. тексты, написанные историками) стали объектом изучения по всем направлениям семиотического анализа — синтактике, семантике и прагматике.

Первое направление представлено традиционным филологическим анализом, в рамках которого главный интерес вызывают стилевые особенности того или иного произведения или ряда произведений одного автора. К этому направлению можно отнести, в частности, известные работы Бориса Реизова «Французская романтическая историография» (1956) и Питера Гая «Стиль в истории» (1974).

Второе направление — семантическое — в основном развивалось представителями аналитической философии истории. Как отмечалось выше, основное внимание в этих работах было уделено анализу высказываний — их внутренней структуре, логическим связям между высказываниями и т. д., — и именно в рамках этого подхода были получены самые интересные результаты.

Наконец, третье направление — прагматическое — было затронуто в основном в работах представителей французской семиотической школы, хотя и весьма специфическим образом. Поскольку значительная часть этих исследователей придерживалась левых, антибуржуазных взглядов, по крайней мере на определенном этапе своей карьеры (Ролан Барт, Юлия Кристева, Жак Деррида и др.), они акцентировали связь истории-текста с буржуазной идеологией, видя основную прагматическую функцию исторических текстов в навязывании обществу «буржуазной картины мира» путем создания соответствующей текстовой реальности.

Попытка комплексного анализа исторических текстов была предпринята Хейденом Уайтом («Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века», 1973), который попытался рассмотреть все три семиотических измерения «истории-текста» — синтаксическое, семантическое и прагматическое. К сожалению, помимо усложненной и путанной терминологии и удивительного для филолога, пишущего в конце XX в., пристрастия к механистическим классификациям в стиле позитивистов XIX в., работа Уайта имеет и много содержательных недостатков, которые неоднократно обсуждались в исторической периодике.

История-реальность

В XX в. сохранялся традиционный смысл «истории-реальности» как бытия человечества во времени. Как и в предыдущие полтора столетия, такой смысл «истории» присутствовал в первую очередь в работах по субстанциальной философии истории. Но несмотря на то, что в XX в. работы по субстанциальной философии истории продолжали производиться в изрядном количестве (достаточно вспомнить бесконечное число печатавшихся в социалистических странах работ по «историческому материализму», представлявшему собой марксистско-ленинско-сталинский вариант субстанциальной философии истории), в общественной и философской мысли в целом роль этого направления заметно уменьшилась по сравнению с XIX в. Подавляющая часть подобных сочинений имела вторичный характер и представляла собой те или иные повторы «классиков» XIX–XX вв., что привело к более ограниченному использованию соответствующего смыслообразования.

Правда, в дополнение к субстанциальной философии истории «история-реальность» стала более активно, по сравнению с предшествующим столетием, обсуждаться в работах по теологии истории, представленных трудами как протестантских (Карл Барт, Рудольф Бультман, Пауль Тиллих и др.), так и католических мыслителей (Этьен Жильсон, Жак Маритен и др.). Впрочем, смысл понятия «история» в этих работах практически не отличался от субстанциально-историософского.

В последние десятилетия XX в. «история-реальность» ста-

ла наполняться еще одним смыслом, возрождающим античные традиции, а именно реальность, изображенная в «истории-тексте». Но если в античности подразумевалось, что исторические тексты отображают реальность, то в соответствии с новейшими представлениями исторические тексты создают «образ реальности» или «эффект реальности». Особую популярность такая трактовка смысла «истории-реальности» получила в рамках постмодернистского подхода и некоторых других течений («новая философия истории», отчасти «новая интеллектуальная история» и др.). Это в свою очередь стимулировало дискуссии о реальности и вымысле, или о реальности, создаваемой в художественной литературе и в исторических текстах. Крайняя точка зрения здесь сводилась к тому, что в этом плане между историей и художественной литературой различия вообще отсутствуют. Например, еще в 60-е годы прошлого века Ролан Барт задавал риторический вопрос:

«Действительно ли описание событий прошлого, отданное... в распоряжение исторической “науке”, обеспеченное высокомерными гарантиями “реальности”, обосновываемое принципом “рационального” объяснения... отличается, в силу своей неоспоримой значимости или каких-то специфических характерных черт, от воображаемого описания, каковое можно найти в эпосе, романе или драме?»

И сам же давал ответ на него:

«Исторический дискурс не следует за реальностью, скорее он только обозначает ее путем бесконечного повторения того, что *она имела место*, но это утверждение не представляет собой ничего кроме очевидной подкладки всех исторических описаний»¹⁷.

Надо сказать, что брошенный вызов не остался без ответа со стороны историков. В частности, в работах Франсуа Шатле, Майкла Оукшота, Жака Ле Гоффа и ряда других авторов была предпринята попытка снова объяснить отличие реальности, изображенной в исторических сочинениях, от художественной литературы. Однако эти объяснения оказались плохо услышаны

¹⁷ Barthes R. Le discours de l'histoire // Social Science Information. 1967. Vol. 6. No 4. P. 73–74.

из-за необычайной голосистости постмодернистов, сторонников «лингвистического поворота» и противников «буржуазной идеологии». В свою очередь значительная часть историков вообще игнорировала все эти дискуссии, продолжая считать, как и два тысячелетия назад, что историческая реальность просто отражается в их текстах.

Здесь следует обратить внимание на одну особенность подхода, развиваемого постмодернистами. Дело в том, что они ограничились рассмотрением взаимосвязи «истории-реальности» с «историей-текстом». При этом за рамками обсуждения осталась связь «истории-реальности» с «историей-знанием». Некоторые профессиональные историки, писавшие о проблеме исторической реальности, попытались нащупать такую связь, но в целом это смысловое наполнение «истории-реальности» в XX в. не получило широкого распространения.

В самом деле, статус реальности, создаваемой в рамках одного изолированно рассматриваемого текста, по сути, ничем не отличается от статуса реальности, создаваемой в рамках другого текста. В этом смысле все тексты равноправны и отличаются только стилистическими (синтаксическими) характеристиками. Однако если «художественные» тексты можно, хотя бы с большой натяжкой, рассматривать как «вещь в себе», то любой исторический текст является частью исторического знания (в противном случае он просто не является историческим текстом в современном определении), что коренным образом меняет ситуацию.

* *
 *
 *

Как и любая область знания, история продолжает успешно развиваться, обновляться, наконец, «взрослеть», как говорил Марк Блок. В XX в. представления о смысле всех значений слова «история» в очередной раз претерпели существенные изменения. Важную роль здесь сыграло развитие теоретической социологии знания в последней трети минувшего столетия, в данном случае — знания о прошлом.

В рамках этого подхода историю-знание можно определить как общественнонаучное знание о прошлой социальной реально-

сти. Отсюда следует, во-первых, что история — это не научная «дисциплина», поскольку дисциплины формируются на основе более узкого определения предмета, а часть общественнонаучного знания, специфицированная не по предмету или методу, а «по времени» (общественнонаучное знание о прошлом). Это позволяет четче определить место истории в рамках общественнонаучного знания, но одновременно требует концептуализации различия между настоящим и прошлым. При этом историю как *научное* знание о прошлом следует отличать от знания о прошлом социального мира в целом. Последнее имеет многокомпонентный характер и складывается не только из научного, но и из других форм знания — религиозного, философского, идеологического и эстетического (художественного). На уровне личности существенную роль играет также неспециализированное обыденное, житейское знание о прошлом, формируемое индивидами на основе собственного жизненного опыта. Все эти типы знания о прошлом имеют самостоятельное значение, характеристики, функции, механизмы формирования, иными словами — способы и результаты конструирования прошлой социальной реальности.

Важную роль в современной концептуализации истории играет понятие социальной реальности. В отличие от распространенного в последние десятилетия «текстологического» подхода, рассматривающего проблему реальности в рамках анализа текстов, мы используем иную концепцию, связывающую реальность не с текстом, а с знанием. Эта взаимосвязь определяется принципиальной особенностью социальной реальности (социального мира), отличающей ее от двух других «реальностей» — божественной и природной. Последние традиционно предполагаются прецедентными, внеположенными по отношению к субъекту, существующими «сами по себе», независимо от человека. Не обсуждая справедливость этой посылки в целом, заметим лишь, что она в любом случае не применима к социальной реальности, поскольку последняя возникает только в процессе социальных действий и взаимодействий.

Именно на этом и основана идея о теснейшей взаимосвязи социальной реальности и знания о ней. Дальнейшее развитие этой идеи приводит к радикальному пересмотру представ-

лений о соотношении реальности и знания, в течение тысячелетий применявшихся к миру природы. Со времен античности считалось, что знание — это лишь отражение реальности. В настоящее время эта точка зрения подвергается сомнению даже применительно к природной реальности, и уж в любом случае она неправомерна по отношению к реальности социальной. Знание о социальной реальности одновременно является формой ее конструирования — новые элементы социальной реальности не могут возникать без появления соответствующих понятий или «знаков», обозначающих эти элементы. Социальная реальность дана нам отнюдь не в ощущениях, а в понятиях или знаках. В свою очередь понятия и знаки возникают только в процессе социального взаимодействия и одновременно являются его основой. И в этом смысле существование социально признанного (и тем самым объективированного) знания о прошлом, в первую очередь научного, является непременным условием социального взаимодействия в настоящем.

Глава 2

ПОНЯТИЕ ПРОШЛОГО

В данной главе мы рассмотрим эволюцию представлений о «прошлом» и его роли в темпоральной картине социального мира. Но для этого необходимо начать с анализа категории времени. Время фигурирует во всех типах знания о социальной реальности в основном на уровне неких образов. Но по своей сути эти образы, или представления, являются инструментальными: с их помощью, а точнее, на их основе формулируются теоретические гипотезы и выводы.

1. Образы времени

Формирование представлений о времени осуществляется в разных типах знания — в философии, религии, искусстве, естественных науках, общественных науках (в том числе в истории). Особенно почетное место проблема времени занимает в философии. Количество трудов, специально посвященных этой теме, исчисляется сотнями, если не тысячами, не говоря уже о том, что почти каждый крупный философ так или иначе ее затрагивал. В философии времени важнейшим является сакраментальный вопрос: «Что есть время?», его несомненно можно отнести к числу «основных вопросов философии». Для нашего анализа, однако, существен несколько иной вопрос, а именно, *как «выглядит» время*. Речь идет об образе времени, складывающемся в сознании, и о тех качествах, которыми наделяется этот образ.

Анализируя разнообразные концепции времени, прежде всего, обращаешь внимание на то, что почти все они подразумевают наличие *двух* типов, точнее, образов времени. Представления о двух типах времени, несмотря на некоторые различия в способах описания, в основе своей оставались практически неизменными на протяжении нескольких тысячелетий. Эти два образа времени иногда обозначаются как вечность и время, но для простоты мы будем обозначать их как «Время-1» и «Время-2».

Исходными являются, естественно, архаичные образы времени, появляющиеся уже в примитивных обществах. Во времена архаики формируются два базовых представления о времени, связанные с движением или изменением и так или иначе соотносящиеся с пространством. В простейшем виде «Время-1» представляется как некая среда, в которой происходит движение (изменение), а «Время-2» — как нечто движущееся (меняющееся).

Первая группа образов основывалась на уподоблении времени пространству; в этом случае «изменения во времени» схожи с «движением в пространстве». Непосредственными образами такого типа являются «океан времени» или «море времени», но такие образы могли появляться только у приморских народов. Поэтому обычно создавался не столько образ самого времени, сколько образ движения (изменения) во времени. Для этого использовались эталонные образы предметов, которые постоянно движутся или постоянно изменяются, — солнца, дерева и т. д.

Образы «движущегося» времени, относящиеся ко второй группе, часто имели антропоморфный или зооморфный характер — соответственно, время могло идти, лететь, нестись вскачь и т. д. Но также движение времени могло ассоциироваться и с некоторыми «текучими» субстанциями — водой, песком (особенно после изобретения водяных и песочных часов) — или с быстро движущимися предметами — стрелой, колесницей и т. д. Образ движения времени дополнялся некоей пространственной системой координат, определявшей, откуда и куда движется время.

В античной философии четкое различие двух образов времени было впервые введено, насколько можно судить, Платоном, хотя он сам при этом ссылался на «древних и священных философов» как на своих предшественников. Для обозначения

этих образов он использовал два термина — «эон» (αἰών) и «хронос» (χρόνος), которые в русских переводах традиционно звучат как «вечность» и «время»¹. Аристотель определял «время» (χρόνος) как «число движения» или «меру движения», так как движение измеряется временем (а время, в свою очередь, движением). Наряду со временем, по его мнению, существуют некоторые

«вечные сущности... <которые> не находятся во времени, так как они не объемлются временем и бытие их не измеряется временем; доказательством этому <служит> то, что они, не находясь во времени, не подвергаются воздействию со стороны времени»².

Сходные идеи относительно вечности и времени можно найти, например, и у Плотина (ок. 205 — ок. 270).

Оппозиция «вечность–время» продолжала оставаться исходным пунктом теологических дебатов о времени в рамках христианской доктрины. Возникнув в эпоху античности как проблема разграничения сфер приложения понятий вечности и времени, она превратилась в проблему отношения Бога к сотворенному им миру. На смену эону и хроносу, отождествлявшимся с языческими божествами, пришла идея «вечности» (aeternitas — божественного времени) и собственно «времени» (tempus — земного времени)³. Начало этой традиции положил Аврелий Августин (354–430), давший яркую характеристику «времени Бога»:

«Все годы Твои одновременны и недвижны: они стоят; приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят... Твой сего-

¹Трудность перевода заключается в том, что термины «эон» и «хронос» активно использовались в множестве философских и литературных произведений, написанных на греческом языке в течение более чем двух с половиной тысячелетий — от Гомера до поздневизантийских авторов. Естественно, что разные авторы, среди которых были и собственно греческие философы, и иудей-эллинисты, и раннехристианские Отцы Церкви, и византийцы, вкладывали в эти термины разные смыслы, не всегда соответствующие русским «вечность» и «время».

²Аристотель. Физика 221b.

³Термин «aeternitas» активно использовался уже римскими авторами — Сенекой, Плинием Младшим и др. — в значении «бессмертная слава», «увечковечить чье-либо имя». Цицерон употреблял его в значении «незапамятная древность».

дняшний день не уступает места завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день Твой — это вечность...»⁴.

Не менее блистателен пассаж, содержащий размышления Августина о «земном времени» и развивающий, вслед за Аристотелем и Плотинем, идею о том, что понятие времени связано с душой (сознанием).

«Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен — прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — его непосредственное созерцание; настоящее будущего — его ожидание»⁵.

Позднее идеи Августина были развиты Боэцием (ок. 480–524/526), Фомой Аквинским (1225/1226–1274) и другими средневековыми мыслителями.

Заметим, что хотя внешне в центре христианских теологических дебатов постоянно находилась проблема соотношения божественного времени (вечности) и земного времени, на протяжении Средневековья трактовка этой оппозиции постепенно изменялась. Если Августин в основном интересовался проблемой времени, то затем в центр теологических изысканий выдвинулась проблема вечности, а начиная с XIII в. опять начинает усиливаться интерес к времени, который достигает апогея в эпоху Возрождения.

В принципе в христианской теологии существовало не два, а три образа времени. Еще Августин в «Граде Божиим» ввел промежуточное понятие «век» (*aevum*), поместив его между «вечностью» (*aeternitas*) и «временем» (*tempus*), между божественным постоянством и все разрушающими земными изменениями. Спустя несколько столетий это деление времени на три типа

⁴ *Августин*. Исповедь 11, XIII, 16.

⁵ Там же, XX, 26.

было возрождено Фомой Аквинским. Вечность оставалась исключительной характеристикой Бога, ниже располагались ангелы, души, небесные тела и Церковь, существование которых предполагалось неизменным и определялось идеей «века». Самый нижний уровень иерархии занимали бренные тела, подверженные процессам развития и разрушения. Однако, по мнению большинства исследователей, эта конструкция не отменила оппозицию «вечность — время» в христианской доктрине, а лишь инкорпорировала в нее проблему постоянства и изменчивости.

Переход от Средневековья к Новому времени знаменовался среди прочего замещением религиозных представлений о времени естественнонаучными теориями. Уже в XVII в. концепция двух времен приобретает новый вид: идея божественной *вечности* сменяется идеей абсолютной *длительности*, а на смену представлениям о сущностном различии «божественного» и «земного» времени приходит тезис о наличии объективного (абсолютного) времени и его субъективного восприятия (относительного времени). Одним из первых этот новый подход сформулировал, по-видимому, Рене Декарт, позднее эта идея была развита Бенедиктом Спинозой, Готфридом Лейбницем, Исааком Ньютоном и др.

Свое окончательное оформление идея двух образов времени получила в конце XIX — начале XX в. По мере вытеснения натурфилософии философией человека на смену представлениям о наличии двух *сущностно* разных времен пришло понимание того факта, что речь должна идти лишь о двух разных мыслительных *образах* времени. Существенный вклад в разработку такого подхода к проблеме времени внес, по общему признанию, Анри Бергсон. По мнению Бергсона, следует отличать длительность—качество, которую наше сознание постигает непосредственно, и «материализованное» время, становящееся количеством благодаря своему разворачиванию в пространстве.

Мысль о том, что разные типы времени есть не что иное, как разные его образы, сосуществующие в сознании, была особенно четко выражена в работах основоположника феноменологии Эдмунда Гуссерля. Вообще говоря, концепция времени Гуссерля имеет два уровня классификации. На первом уровне он вы-

деляет три типа времени: «объективное время» — время мира; «являющееся время» («являющаяся длительность») — восприятие времени; «существующее время» — имманентное время протекания сознания. Для нас, однако, особый интерес представляет второй уровень классификации, а именно: два типа «являющегося времени», т. е. два образа времени, формирующиеся в сознании (точнее, два типа восприятия времени).

В XX в. два образа времени начинают широко использоваться в общественных науках. В социологической литературе факт наличия двух образов или концепций времени впервые был отмечен, по-видимому, в статье Питирима Сорокина и Роберта Мёртона, опубликованной в 1937 г. Эти два образа времени они определили как «астрономическое время» («время часов») и «социальное время». В течение почти трех десятилетий статья Сорокина и Мёртона оставалась едва ли не единственной социологической работой, в которой проблема «двух времен» обсуждалась в явном виде. По существу лишь в книге Уилберта Мура, вышедшей в 1963 г., была предпринята попытка развить и дополнить эти первые, довольно простые, характеристики различий между «астрономическим» и «социальным» временем. Ситуация кардинально изменилась в 1980-е годы, которые знаменовали собой резкое усиление интереса социологов к проблеме «двух времен».

Эллиот Жак (1982) выделил два типа времени — «хронос» и «кайрос», т. е. «время эпизодов», имеющее начало, середину и конец, и «проживаемое время интенций» (*living time of intentions*), которым, по его мнению, соответствуют две разных временных оси — «последования» (*succession*) и «намерений» (*intent*; ср. с «интенциональным временем» у Эдмунда Гуссерля). Анализ двух концепций времени содержится и в работе Норберта Элиаса (1984), который обозначил их как «структурное» и «экспериментальное» время. Еще один пример — работа Торстена Хэгерстранда (1985), который различает «символическое» и «воплощенное» (*embedded*) время, т. е. концептуализированное время часов и календарей и время, воплощенное в событиях, вещах, условиях. «Воплощенное» время, по его мнению, является составной частью знания социального исследователя.

Обсуждение двух концепций времени в экономической ли-

тературе, как и в социологии, началось лишь в 1930-е годы, в работах шведских экономистов Гуннара Мюрдаля и Эрика Линдаля. В частности, они первыми поставили вопрос о непригодности «Времени-1» для анализа динамических процессов установления равновесия и попытались решить эту проблему с использованием концепции «Время-2». Однако, как и в социологии, всерьез проблема двух времен стала осознаваться экономистами лишь в 1960-е годы, прежде всего благодаря работам Джорджа Шэкля. Как отмечал Шэкл, существуют две концепции времени: бесконечное время, о котором можно мыслить, и моментное время (*momentary time*), в котором возникает мысль. Время как схема мышления отличается от времени как двигателя опыта. Первое — время, наблюдаемое извне вневременным наблюдателем. Второе — реальное время, в котором существует наблюдатель и в котором действуют экономические субъекты. Второе время является одномоментным, но именно оно обладает реальной динамической структурой, задаваемой памятью и ожиданиями.

Самостоятельный и интереснейший объект изучения представляет трактовка времени в художественной литературе. Художественные образы времени традиционно перекликались с общими представлениями, присущими той или иной эпохе.

Так, в «Божественной комедии» Данте огромное внимание уделялось актуальной для XIII в. проблеме пересмотра взаимоотношений между временем и вечностью. Для средневекового сознания время было бесправно, все права принадлежат вечности как «времени Бога», и эта ситуация впервые меняется во временной структуре «Божественной комедии». Время главного героя стремится разорвать границы сугубо индивидуального опыта, оно переливается во время всего современного Данте поколения, более того, становится временем всемирно-исторической смены и обновления. Вечность, со своей стороны, утрачивает абсолютную трансцендентность, из надмирского бытия превращается в итог и сумму человеческой жизни.

В XV–XVI вв. время превращается в один из главных объектов философских рефлексий гуманистов, популярными становятся архаичные антропо- и зооморфные образы времени, актуализируется проблема борьбы со временем и т. д. Этот общий

сдвиг представлений ярко проявляется, например, в пьесах и сонетах Шекспира.

«У времени прожорливого можно
Купить ценой усилий долгих честь,
Которая косу его притупит
И даст нам вечность целую в удел»⁶.

В XX в. огромное влияние на художественные образы времени оказали работы Анри Бергсона, который, как известно, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1927 г. «в знак признания его ярких жизнеутверждающих идей, а также за то исключительное мастерство, с которым эти идеи были воплощены». В частности, бергсоновские представления о времени и сознании постоянно фигурируют в романах Марселя Пруста и Вирджинии Вулф. Более того, бергсоновская концепция времени прямо излагается как минимум в двух известных произведениях: в «Волшебной горе» Томаса Манна (раздел «Экскурс в область понятия времени») и в «Аде» Владимира Набокова (начало IV части «Ткань времени»).

Наконец, наличие двух образов времени, концептуализированных философами, плодотворно используется авторами научно-фантастических произведений, посвященных «путешествиям во времени». Но если философы стараются разделить эти два образа, то писатели-фантасты, наоборот, стремятся их объединить, и «смешение времен», т. е. одновременное сосуществование в сознании двух образов времени, приводит к любопытным художественным эффектам.

С одной стороны, во всех научно-фантастических описаниях путешествий во времени (начиная с «Машины времени» Герберта Уэллса, а особенно ярко у Айзека Азимова в «Конце вечности») отчетливо присутствует «Время-1», в котором все события, происходящие в разные времена, сосуществуют или происходят как бы одновременно, что и делает возможным перемещение в некую «точку» прошлого или будущего. С другой стороны, в литературных произведениях такого типа обычно присутству-

⁶ Шекспир У. Бесплодные усилия любви, акт I, сцена 1 [1598] // Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. / Пер. с англ. М.: Искусство, 1958. Т. 2. С. 395.

ет и «Время-2», так как предполагается, что изменение прошлого (которое для действующего является настоящим в момент действия) может повлечь за собой изменение нашего настоящего (которое является будущим относительно этого настоящего-прошлого).

Именно в результате одновременного использования двух, в некотором смысле противоположных, концепций — «Времени-1» и «Времени-2» в наших обозначениях — возникает большинство так называемых «парадоксов путешествий во времени» (встреча самого себя в прошлом, вмешательство в прошлые события, приводящее к изменениям настоящего и будущего, и т. д.). Классический пример — рассказ Рэя Брэдбери «Раскат грома», в котором человек, отправившийся на охоту в доисторическое прошлое, случайно убивает там бабочку и, вернувшись в настоящее, обнаруживает, что в результате оно полностью изменилось.

* *
*
*

Два образа времени, используемые со времен архаики и до наших дней, при всех различиях в конкретных характеристиках условно могут быть описаны следующим образом.

В рамках первого образа время, как правило, пространственно ориентировано (*англ.* spatialized). Разные даты описываются как отрезки или точки временной оси. В любом случае время оказывается аналогично пространству. Как подчеркивал Анри Бергсон, сторонники концепции «Время-1» (которое он называл «физическим»), представляют время как ряд состояний, каждое из которых гомогенно и, соответственно, само по себе неизменно. Отсюда следует, что любое движение осуществляется извне системы, т. е. является экзогенным. В «ньютоновской» системе просто связаны вместе статические состояния, и она не генерирует эндогенные изменения. Каждый период изолирован от остальных. В результате или нам дан один период, в котором не происходит изменений, или есть изменение, но мы не можем показать, как оно было вызвано предшествующим периодом.

В рамках образа, обозначаемого нами как «Время-2», время является необратимым — эта мысль выражена, в частности, в приписываемом Гераклиту изречении «в одну и ту же реку

ты не вступишь дважды... <ибо> на вступающих в одну и ту же реку все новые воды текут». При этом само течение времени образует «Творческую (в смысле созидательную. — *И. С., А. П.*) эволюцию» (название работы Бергсона, опубликованной в 1907 г.), порождает непредсказуемые изменения, а тем самым задает неопределенность будущего.

Факт многовекового сосуществования двух образов времени не означает, естественно, их равноправия и одинаковой значимости на протяжении всей истории европейской цивилизации. В частности, в эпоху Нового времени разработка концепции «Время-1» существенно продвинулась в XVII в., когда начала бурно развиваться математика и механика. Развитие концепции «Время-2» интенсифицировалось в конце XIX — начале XX в., когда произошла резкая «субъективизация» общественных наук. Соответственно, с некоторой долей условности можно говорить о доминировании образа «Время-1» в XVIII–XIX вв. и образа «Время-2» в XX в. Впрочем, хотя большинство современных философов уделяет основное внимание разработке концепции «Время-2», почти никто из них, даже яркие экзистенциалисты, не отрицает полностью существование «Времени-1».

2. Историческое время

Существование двух типов или образов времени совершенно отчетливо проявляется и в исторической науке. Обращение к концепции «Время-1» выражается в попытках «заполнить» время событиями. «Время-1» присутствует, в частности, в хронологии, без которой немислима история: например, для любого современного европейского историка, использующего эру «от Рождества Христова», падение Рима произошло в 476 г., а Первая мировая война началась в 1914 г. и между двумя этими событиями прошло именно 1438 лет, независимо от субъективных представлений того или иного исследователя. Далее, историк может практически одновременно размышлять, например, об убийстве Цезаря, крестовых походах и Ватерлоо, что подразумевает одновременное «сосуществование» всех этих событий в сознании, в котором каждое из них находится в своей собственной «точке» времени.

Но вместе с тем историческое время воспринимается и как достаточно неоднородное: оно может быть более плотным, насыщенным или, наоборот, разреженным. Одни и те же интервалы времени, измеренные в календарных годах, представляются более или менее продолжительными. Точно так же очевидно, что упоминавшиеся выше Августин (354–430) и Бозций (ок. 480–524/526) жили примерно «в одно время», а Иммануил Кант (1724–1804) и Анри Бергсон (1859–1941) — «в разное», хотя промежутки времени, отделяющие смерть одного мыслителя от рождения другого, в обоих случаях примерно одинаковы. Для любого российского историка дистанция, например, между 1909 и 1913 гг. совсем не такая же, как между 1913 и 1917 гг., хотя в обоих случаях речь идет о промежутке в четыре года.

Подобные примеры можно приводить и дальше, но, по-видимому, уже ясно, что в исторических исследованиях присутствуют как «Время-1», так и «Время-2». Вопрос заключается лишь в пропорциях этой «смеси», равно как и в определении факторов, влияющих на эти пропорции.

В связи с этим необходимо остановиться еще на одной проблеме взаимодействия двух образов времени, а именно времени наблюдателя и времени действующего. В социологической и экономической литературе, посвященной проблемам времени, «Время-1» иногда ассоциируется с представлениями «наблюдателя», а «Время-2» — с представлениями «действующего» социального субъекта. Правомерность такого подхода, наверно, нуждается в дальнейшем уточнении, но для целей нашего исследования он вполне удобен и позволяет более четко структурировать обсуждаемую проблему.

Изучая общество, каждый исследователь, с одной стороны, является как бы внешним «наблюдателем», и в таком качестве он использует в своем анализе «Время-1» — события социальной жизни при этом размещены во времени и заполняют его. С другой стороны, сам процесс «наблюдения» как действия протекает во «Времени-2». Описание и анализ социальных процессов зависят от положения наблюдателя во времени, от того, что именно для него является «прошлым», «настоящим» и «будущим» и, соответственно, от его представлений о каждом из этих трех компонентов временного процесса — его «памяти» (знаний, инфор-

мации, представлений о прошлом) и его «ожиданий» (прогнозов, представлений о будущем). Существенное значение имеет, наконец, степень осознания исследователем своей двойственной роли — наблюдателя и действующего.

Заметим, что время действующего (т.е., условно говоря, «Время-2») также выступает в научных исследованиях в двух разных качествах. В первом случае темпоральные представления действующего в обществе субъекта, или субъектов, могут являться *объектом* анализа, проводимого наблюдателем, и исследоваться как самостоятельный феномен социальной жизни. Во втором случае, который мы, собственно, и обсуждаем в данной главе, речь идет о концепции времени, используемой самим исследователем (социологом, экономистом, историком и т.д.) при анализе общественного развития. Здесь образ «Время-2» выступает не как объект, а как инструмент исследования.

Рассматривая эволюцию исторического времени, можно отметить, что до середины XVIII в. историю пытались писать исключительно с позиций наблюдателя, т.е. в рамках концепции «Время-1». Сообщавшиеся в работах исторические сведения претендовали на роль абсолютной истины (независимо от степени их надежности). Соответственно, историческое знание предполагалось «абсолютным», а история прошлого — однозначной. Требовалось лишь установить характер и очередность событий, т.е. «заполнить» историческое время, и, будучи однажды расположена во времени, история прошлого не должна была претерпевать никаких изменений. Конечно, это не означает, что все писали одну и ту же историю, но каждый автор исходил из того, что рассказанная им «история», так же как и «история», на которую он опирается, — верна и не подлежит дальнейшему пересмотру.

Со второй половины XVIII в. время все чаще начинает рассматриваться не просто как среда, в которой происходят все «истории», — оно приобретает историческое качество, производное от опыта. Это означало, что прошлое в ретроспективе можно интерпретировать по-разному. Стало само собой разумеющимся, что история должна постоянно переписываться. История была темпорализована в том смысле, что, благодаря течению времени, она изменялась в соответствии с данным настоящим, и

по мере дистанцирования изменялась также природа прошлого.

Но «Время-1» не исчезло. Оно продолжает существовать как в традиционных формах — хронологическом принципе построения истории, нарративах и т. д., — так и в модернистских попытках использования каузально-нейтрального времени при создании «контрфактической» и «акцидентальной» истории. «Время-2», в свою очередь, в соответствии с научной модой все полнее воплощается в постмодернистских подходах к интерпретации истории, в попытках заменить рациональные способы репрезентации прошлого интуитивным «вчувствованием».

История издавна обладала монополией на время мира в самом широком, предельном смысле. Но в отличие от настоящего, которым занимается целый ряд социальных наук, прошлое изучено крайне неравномерно и по тематике, и по периодам. С одной стороны, предполагается, что история «заполнена» событиями, которые сосуществуют одновременно. С другой стороны, эта «заполненность» истории не являет себя в некоем абсолютном абстрактном смысле. Историческое время «заполняют» историки. И как наблюдатели они действуют во «Времени-2», «заполняя» прошлое в соответствии с представлениями своего «настоящего». Временная неоднородность заполнения прошлого и субъективность этого заполнения являются отличительными признаками исторического знания.

Эти рассуждения легко пояснить на примере любой хронологической таблицы, с которой знаком каждый. Если вас попросят составить хронологическую таблицу, скажем, для XV в., то вы приведете в ней список важных с вашей точки зрения событий, поставив соответствующие даты. Вообще говоря, идеология хронологических таблиц имеет еще более выраженные параметры «Времени-1», так как сначала пишется год, т. е. указывается «время», а уже затем событие, т. е. то, чем это «время» было «заполнено». Но так или иначе у любого изучающего вашу таблицу возникнут вопросы: что происходило между указанными датами и какие еще события имели место в отмеченные вами годы. Очевидно, что и выбор дат, и выбор маркирующих их событий является достаточно субъективным, ибо любая хронологическая таблица, да и история в целом, пишутся во «Времени-2».

Содержательное насыщение времени детерминируется разными факторами. Прежде всего, возможность «заполнить» время зависит от наличия сведений о нем — источников. Этот фактор действует в нескольких измерениях. Во-первых, существенно, какие элементы той или иной прошлой реальности фиксировались, какие данные или сведения собирались, что именно то или иное общество хотело оставить потомкам. Во-вторых, важное значение имеет и степень сохранности «источников», что именно, почему и в каком виде дошло до наших дней. Немаловажным обстоятельством является также доступность источников. Под доступностью имеется в виду в том числе и возможность обработки: например, чтобы прочесть многие древние рукописи, нужно было сначала расшифровать мертвые языки.

Эти факторы, конечно, важны с точки зрения возможностей «заполнения» прошлого, но их все же не следует чрезмерно преувеличивать. Количество «источников» в целом постоянно увеличивается. Особенно существенный прогресс был достигнут во второй половине XX в., когда появилась возможность обработки больших массивов документов с помощью компьютеров. Кроме того, как показывает современная практика, для конструирования прошлой реальности можно с успехом использовать косвенные источники, дающие нам информацию о том, о чем создатели этих «источников» и не помышляли.

Но главное, что влияет на «наполнение» прошлого историками, — это их интересы. Историки, как и другие обществоведы, изучают не время само по себе (период времени, момент времени), а социальную реальность, отдельные ее элементы, связи, типы действий и т. д. Степень изученности прошлого является лишь результатом процесса «освоения» *пространства знаний* о прошлой социальной реальности. Процесс постижения социальной реальности в историческом знании мы рассмотрим в деталях в следующей главе. Подчеркнем лишь еще раз, что «заполнение» прошлого соответствует концепции «Время-1», в которой один момент времени абсолютно ничем не отличается от другого, но сам процесс «заполнения» происходит во «Времени-2», в проживаемом настоящем. Поэтому интересы настоящего в основном и определяют степень освоения прошлого времени, глу-

бину, прочность и конфигурацию наших знаний о том или ином периоде.

«Заполненность» времени определяется также политическими обстоятельствами и идеологическими доктринами. Помимо политической моды или политических обстоятельств в Новое время существует и диктат научной моды, влиятельных или ярких социальных теорий. И, наконец, не следует забывать о «духе» времени. Именно он нередко порождает увлеченность определенными историческими периодами. Так, историки Возрождения разделяли со своими современниками пристрастие к античности, романтики XIX в. — к Средним векам, а, к примеру, националисты XX в. — к временам, в которых обнаруживаются исторические корни нации, и т. д.

Неупорядоченность, дробность, неравномерность, мозаичность изученности различных подсистем в разные исторические эпохи и в разных географических ареалах, «белые пятна» и «серые ниши» прошлого — таково полотно исторического времени. Но историческое знание в целом позволяет, когда необходимо, перевести взгляд и увидеть все многообразие «мира истории»: структуры и связи, события и действия, бытие народов и повседневную жизнь, героев и «маленького человека», обыденное сознание и глобальные мировоззрения.

Основу современного понимания «истории» составляет разделение прошлого (являющегося объектом исторического знания) и настоящего. Но такое разделение существовало далеко не всегда. Далее мы рассмотрим два вопроса: как это различие формировалось и как оно концептуализируется в наше время.

3. Темпоральные представления

Темпоральные представления, связанные с различением прошлого, настоящего и будущего, часто именуют «историческими». Это вносит некоторую терминологическую путаницу в обсуждаемую проблему. Во-первых, вплоть до XIX в. история в значении знания не специфицировалась как знание о *прошлом*. Такой смысл укореняется только в прошлом столетии. В то же время темпоральные представления, связанные с различением прошлого и настоящего, появляются намного раньше. Во-вто-

рых, не следует смешивать историческое знание и знание о прошлом в целом. Знание о прошлом существует в самых разных символических универсумах — философии, религии, искусстве, естественных науках и, наконец, в общественных науках. Таким образом, в аналитических целях мы разделяем темпоральные представления (различение прошлого и настоящего), знание о прошлом в целом (присутствующее в разных типах знания) и историю как специализированное общественнонаучное знание о прошлом.

История темпоральных представлений, т. е. различения прошлого, настоящего и будущего, рассматривалась целым рядом исследователей с разных точек зрения. Но, как и в случае с любыми коллективными представлениями, эта проблема продолжает оставаться дискуссионной.

Одним из наиболее перспективных подходов к изучению этой темы является, в частности, лингвистический анализ языковых темпоральных конструкций, и здесь сразу же выявляется тот факт, что проблема разделения прошлого и настоящего, столь тривиальная на первый взгляд, далеко не так проста. Еще Фердинанд де Соссюр в начале XX в. отмечал, что различение времен, столь привычное для нас, чуждо некоторым языкам, которые не улавливают даже элементарное различие между прошлым, настоящим и будущим. Эту же точку зрения разделяют современные лингвисты, которые также подчеркивают, что структура прошлое–настоящее–будущее не является универсальной.

Согласно исследованиям Анны Вежбицкой, многие годы занимающейся поиском семантических универсалий, общих для всех языков, применительно ко времени универсальными семантическими понятиями являются: 'когда' (время), 'сейчас', 'до', 'после', 'долго', 'недолго', 'некоторое время'. В этом списке, как легко заметить, нет никаких слов, напоминающих «прошлое» и «будущее», хотя эти понятия могут быть сконструированы из указанных семантических универсалий. Формально, прошлое — это «до сейчас», а будущее — «после сейчас». Потенциально из приведенных семантических примитивов могут быть сконструированы и гораздо более сложные темпоральные конструкции.

Как показали Клод Леви-Строс и многие другие этнологи, в примитивных обществах разделение прошлого, настоящего и будущего практически отсутствует. «Сущность неприрученной мысли — быть вневременной; она желает охватить мир и как синхронную, и как диахронную целостность»⁷. В примитивных обществах мир выглядит как организованный не столько во времени по оси прошлое–будущее, сколько в пространстве по оси низ–верх (подробнее см. главу 13).

Можно высказать гипотезу, что темпоральные представления начинают формироваться только в эпоху цивилизации, т. е. с возникновением письменности. В частности, специалисты по истории Древнего мира обнаруживают элементы темпорального сознания в Вавилоне, Египте, Китае и т. д. Как ни странно, наибольшие дискуссии вызывает вопрос о темпоральных представлениях (которые обычно не совсем точно именуется «историческим сознанием») древних греков. Как отмечал Михаил Барг, суждения и оценки исследователей все еще группируются вокруг двух диаметрально противоположных заключений. Полностью негативная позиция формулируется кратко: греческая античность была эпохой мысли не исторической (или даже антиисторической), а натуралистической, что проявлялось, прежде всего, в истолковании категории времени. Эти суждения были в конце XIX в. развиты Фридрихом Ницше и вслед за ним с небольшими вариациями повторены Освальдом Шпенглером, Бенедетто Кроче, Робинот Коллингвудом. Характерно, однако, что специалисты-антиковеды придерживаются мнения совершенно отличного, чтобы не сказать — противоположного: не должно быть никаких сомнений относительно того, что грекам было присуще сильно выраженное сознание мира исторического. Очевидно, что как в случае отрицания этого факта отразилась невозможность подогнать античный историзм под современный смысл этой категории, так и при позитивном подходе явно сказывается столь же неправомерное стремление максимально «приблизить» тип историзма древних греков к современным его определениям.

⁷ *Леви-Строс К.* Неприрученная мысль [1962] // *Леви-Строс К.* Первобытное мышление / Пер. с фр. М.: Республика, 1994. С. 321.

С некоторой долей условности можно сказать, что темпоральные представления древних греков, и в частности концептуальное различие прошлого и настоящего, начинают складываться только в эпоху эллинизма и примерно соответствующий ей по времени римский позднереспубликанский период. Еще более отчетливо чувство прошлого проявляется в римском раннеимператорском периоде (периоде принципата)⁸. Сама политическая система Рима способствовала становлению чувства прошлого в гораздо большей степени, чем полисная организация Греции классического периода. Идея Рима включала постулат о возрастании его могущества, т. е. предполагала осознание изменений во времени. Как считает английский историк Питер Бёрк, представления об изменениях во времени у Цицерона, Лукреция и др. выглядят гораздо более современными, чем что-либо, написанное даже в эпоху Ренессанса.

Возникновение понятия изменений было тесно связано с началом формирования структуры прошлого. В частности, римские авторы уже отчетливо различали более далекое и близкое прошлое (см., например, «О законах» Цицерона). В античном Риме возникают и первые схемы прошлого; например, в работах римских писателей эпохи гражданских войн и принципата Августа, по-видимому, впервые появляется аналогия истории общества с развитием человека и выделением соответствующих «возрастов» римского «мира» — как правило, четырех (младенчество или детство, отрочество или юность, зрелость, старость или дряхлость). Эту аналогию использовали Цицерон, Саллюстий, Теренций Варрон, Анней Флор, Аммиан Марцеллин, Лактанций и др.

Но уже в эпоху поздней античности (позднеимператорский

⁸Напомним, что эпоха эллинизма обычно датируется 336/323–30 до н. э. (от воцарения или от смерти Александра Македонского до покорения Римом последнего эллинистического государства — Египта), но в ее рамках можно выделить период с 280 до н. э., когда завершился распад империи Александра на отдельные государства. Позднереспубликанский период истории Рима датируется 287–31 до н. э. (от закона Гортензия, придавшего законодательную силу решениям плебейских комиций, до установления империи). Раннеимператорский период или период принципата датируется 31 до н. э. — 284 н. э., позднеимператорский период (период домината) датируется 284–476 гг.

период) чувство прошлого начинает постепенно разрушаться, причем существенную роль в этом сыграло распространение поздних хвистских и раннехристианских представлений о прошлом, настоящем и будущем. Как отмечают многие исследователи, в принципе, вся библейская история после Моисея в значительной мере выступает как описание хода исполнения пророчеств, открытых Моисею при заключении «договора» с Богом. Эта традиция замещения настоящего и прошлого будущим особенно заметна в ветхозаветных Книгах Пророков, в которых фактические описания прошлого и настоящего представлены как описания (пророчества) будущего. Но своего апогея эта традиция достигает в поздних хвистской апокрифической апокалиптической литературе (Книгах Еноха и др.).

Вывод о некоторой утрате чувства прошлого в патристической литературе становится вполне очевиден, если сопоставить способы членения прошлого, предлагавшиеся христианами авторами III–V вв., с их «языческими» прототипами. Эти схемы достаточно хорошо известны — например, предложенная Юлием Африканским ок. 220 г. схема шести тысячелетий мировой истории (отталкиваясь от новозаветного «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» — 2 *Пет.* 3, 8); разработанная Августином схема шести возрастов мира, позаимствованная им у Аннея Флора, но приложенная к библейской истории; наконец, сконструированная Иеронимом схема «четырех царств». Но, в отличие от четко датированных и по сути исторических римских схем, они или имели чисто механический характер, или были привязаны к слабо датированным событиям библейской истории (Сотворение мира, потоп, рождение Авраама и т. д.), или вообще не датировались, как в случае с четырьмя царствами. Поэтому в рамках христианской теологии понятия прошлого и его структуры оказались, как ни странно, несколько размыты.

После падения Рима добавилось еще и влияние примитивных варварских темпоральных представлений, которые подробно рассмотрены, в частности, Ароном Гуревичем. В результате в средневековом историзме, как писал Михаил Барг, были совмещены все три модальности времени, тем самым будущее наряду с прошедшим и настоящим превращалось, с одной стороны, в

предмет веры, а с другой — в предмет «исторического знания». Впрочем, «историческое знание» будущего было не более поразительным, чем «фактическое» знание той части прошлого, когда не только не существовало ни одной из форм фиксации человеческой памяти, но и не было самого человека.

Как утверждает Питер Бёрк, в Средние века, т. е. на протяжении 1000 лет с 400-х до 1400-х годов, чувство прошлого отсутствовало даже среди образованных людей. Весьма показательно, с этой точки зрения, отношение к очевидным элементам прошлого, присутствующим в средневековом «настоящем»: предметам культуры, Библии и праву. Например, руины Древнего Рима воспринимались как привычные объекты среды обитания. Так же и Библия рассматривалась как нечто, данное Богом, вечное; не как документ, а как пророчество. Это же относилось и к праву: законы Юстиниана были известны и использовались как прецеденты, но вне исторического контекста.

Средневековые люди знали, что в некоторых отношениях прошлое было непохоже на настоящее, но они не относились к этим отличиям очень серьезно, у них не было чувства отличности времени. Например, они знали, что древние не были христианами, но все равно могли написать о древней римлянке, которая «пошла к мессе», о монахах с крестами на похоронах Александра Македонского или утверждать, что Катилина отслужил обедню во Фьезоле. Точно так же они могли назвать Сарданапала царем Греции, а Магомета — кардиналом, восставшим против Рима. А если что-то из прошлого отличалось от настоящего слишком сильно, средневековые авторы прибегали к двум способам объяснения: это создали диковинные иноземцы или вообще не люди (Бог или дьявол).

Отношение к прошлому начинает постепенно меняться в эпоху позднего Средневековья. Эту эволюцию коллективных представлений фиксирует, в частности, историческая грамматика. Например, Фердинанд Брюно (1905) отметил, что в старофранцузском языке (между IX и XIII в.) существовало значительное смешение времен, размывание границ между прошлым, настоящим и будущим, при этом интенсивно использовался имперфект, особенно в XI–XIII вв. В то же время в среднефранцузском (XIV–XV вв.) использование каждого времени становится

более четким и отграниченным. Постепенное становление чувства прошлого было связано по меньшей мере с двумя факторами. Во-первых, как показал Жак Ле Гофф, начиная с XII в. усиливается чувство времени в целом. Решающую роль в этом сыграло развитие городов, одновременно с которым ускорилось совершенствование техники и интенсифицировалась торговля. Технические нововведения привели к распространению башенных часов в городах, а развитие торговли и рост числа хозяйственных сделок стимулировали появление чувства «экономического времени» или «времени купцов», используя выражение Ле Гоффа.

Вторым фактором, способствовавшим формированию чувства прошлого, стало усиление феодально-сословной организации общества и возрастание роли семейного прошлого. В принципе, семейная память или родовая история играли существенную роль уже в античности, прежде всего, в римской. В эпоху Средневековья в «семейном времени» доминировали не горизонтальные (от прошлого к будущему), а архаичные вертикальные представления о времени, в соответствии с которыми умершие являются такой же частью настоящего, как и живущие члены рода. Но эти представления начинают меняться в эпоху позднего Средневековья, когда сословность превратилась в доминирующую характеристику социального устройства, стержнем которого был принцип наследственности.

Но хотя некоторые сдвиги в отношении к прошлому появляются уже в XII–XIII вв., тем не менее, как считает большинство специалистов, чувство прошлого возникает по существу лишь в период Ренессанса. При этом, как показано в работе Питера Бёрка «Ренессансное чувство прошлого» (1969), становление чувства прошлого (включая ощущение анахронизмов) происходило весьма непросто и довольно причудливым образом. Например, Пьеро делла Франческа (1420–1492) на одной из фресок, изображавших жизнь императора Константина, рисует человека в придуманном римском вооружении, что свидетельствует, по крайней мере, о понимании им того обстоятельства, что древние римляне были вооружены иначе, чем его современники. Но на той же фреске изображен рыцарь в доспехах XV в., принимающий участие в той же битве!

В XVI–XVII вв. существенную роль в развитии чувства прошлого сыграла церковная история. Первый толчок этому дала Реформация. В начале XVI в. возникает идея о том, что Церковь должна вернуться к истокам христианской веры и, соответственно, к началу своей истории. Крайнюю фундаменталистскую позицию в этом вопросе занимали анабаптисты, которые требовали буквального следования наставлениям Библии. Лютер и Кальвин были более прагматичны и избирательны и хотели вернуться к духу Евангелий и Посланий апостола Павла. Но так или иначе реформаторские идеи свидетельствовали о понимании того, что Церковь менялась во времени. Хотя, конечно, новое чувство истории оставалось противоречивым. Бёрк точно подмечает, что тот факт, что реформаторы думали, что можно вернуться ко временам первоначальной Церкви, в равной мере говорит и о неисторичности их мышления.

В XVI–XVII вв. развитие чувства прошлого происходило в разных направлениях. Прежде всего это относится к историческим сочинениям: например, в 1599 г. была издана первая работа по историографии («История историй» Ланселота Вуазена де Ла Попленьера). Другой пример развития чувства прошлого в XVI–XVII вв. — интерес к хронологии (работы Жозефа Скалигера, Дионисия Петавия, придумавшего обратный отсчет времени до Рождества Христова, и др.). В формировании представлений о прошлом активную роль играло искусство. В конце XVI — начале XVII в. появляются «Исторические хроники» Шекспира и его «римские трагедии». В 1580 г. итальянский поэт Торквато Тассо создает героическую поэму «Освобожденный Иерусалим», считающуюся одним из образцов исторической прозы эпохи Возрождения. В XVII в. Никола Пуссен более других художников озабочен созданием атмосферы прошлого. Он осматривает Палладиум, чтобы выяснить, как когда-то выглядели монументы Рима, на его картине «Ревекка» женщины одеты в древнегреческие пеплосы, и даже мебель у Пуссена «исторична» — апостолы во время последней вечери возлежат вокруг древнеримского триклиния.

Непременное для образованного человека владение сведениями о прошлом, в том числе и блестящие познания в области античной истории, стали устойчивой традицией раннего Ново-

го времени. Эта традиция была унаследована и поднята на еще более высокую ступень в эпоху Просвещения. Но ни тогда, ни даже в первой половине XIX в. история еще не специфицировалась как знание о прошлом. Иными словами, не существовало специализированных знаний о прошлой социальной реальности, они были интегрированы в общую систему знаний о социальном мире, в которой сведения «о прошлом» соединялись со сведениями «о настоящем». В этом смысле мышление Просвещения, как и Ренессанса, оставалось а-историческим.

4. Концептуализация прошлого

По мнению большинства исследователей, в европейской культуре чувство прошлого окончательно оформляется лишь в XIX в., и вслед за этим выделяется специализированное знание о прошлом, которое начинают именовать историей. Однако концептуализация различения прошлого и настоящего остается предметом дискуссий и по сей день. Эти дискуссии вертятся вокруг двух взаимосвязанных вопросов, над которыми размышляли еще Аристотель и Августин: чем отличается прошлое от настоящего и где проходит граница между ними.

Проблема отличия прошлого от настоящего обычно решается с помощью высказывания, что настоящее — это то, что существует (присутствует), прошлое — то, что уже не существует, соответственно, будущее — это то, что еще не существует. Подобный подход однако не слишком плодотворен. Как было показано выше, в рамках одной из двух основных концепций или образов времени, используемых с древнейших времен, все события сосуществуют одновременно. Прошлая реальность — такая же реальность, как и настоящее, и она точно так же существует (присутствует) в нашем сознании.

Другой вариант разделения — то, что произошло; то, что происходит; то, что произойдет. Однако любые события (т.е. действия и взаимодействия людей) всегда или уже находятся в прошлом, и мы узнаем о них *post factum*, или становятся прошлым сразу после того, как мы были их свидетелями. В рамках такого определения фактически исчезает настоящее. Прошлое и будущее предполагаются бесконечными, в то время как насто-

ящее — это всего лишь мгновение, точка на оси времени. Этот подход, как показано выше, был сформулирован Аристотелем, но Аристотель говорил не о «настоящем», а о «теперь». В отличие от «теперь», мало кто понимает «настоящее» как мгновение — подразумевается, что «настоящее», во-первых, представляет собой некоторый отрезок времени, во-вторых, зона «настоящего» несимметрична по отношению к прошлому и будущему. Будущее отделено от настоящего четко, а прошлое как бы сливается с ним, и границу между прошлым и настоящим мы проводим интуитивно. При этом «настоящее» включает ближайшее прошлое, отрезок ближайшей истории.

Как показывают экспериментальные психологические исследования, разделение прошлого и настоящего имеет огромные индивидуальные вариации. В психоанализе же, например, неразделенность прошлого и настоящего или присутствие прошлого в подсознании вообще является едва ли не центральным объектом и отправным пунктом любого исследования. Вариации в восприятии прошлого/настоящего обусловлены также особенностями индивидуального сознания и, наконец, культурными факторами. Например, как отмечал Йохан Хейзинга, определение настоящего и прошлого обусловлено тем, какими знаниями обладает человек. По его мнению, исторически ориентированный индивидуум, как правило, охватывает больший кусок прошлого в своем представлении о современном, чем тот, кто живет настоящим моментом.

Существуют и множество других попыток определения прошлого и настоящего, включая лингвистические. В качестве примера можно привести известное высказывание Майкла Оукшота: «Пока я наблюдаю человека с деревянной ногой, я говорю о дрящемся настоящем, как только я говорю о человеке, который потерял ногу, я говорю о прошлом»⁹. Однако и лингвистический подход выявляет неоднозначность разделения и различения прошлого и настоящего, даже в современных языках. Например, прошлое может выражаться настоящим временем, и наоборот, прошлое время может использоваться применительно

⁹ *Oakeshott M. J. On History and Other Essays. Totowa (NJ): Barnes & Noble, 1999 [1983]. P. 7.*

к настоящему. Возможны и более сложные временные грамматические конструкции — будущее в прошлом и т. д.¹⁰

Сложность разделения прошлого и настоящего имеет вполне объективную основу. Грань между настоящим и прошлым в обществе действительно весьма условна. Специфика социальной реальности, отличающая ее от природы, состоит в том, что ее основой являются человеческие действия. Любая информация (сведения) о любом событии (действии), происходящем в обществе, является информацией о прошлом, о чем-то, что уже состоялось (произошло) — будь то поход Цезаря или последнее изменение биржевых котировок акций. Все, что мы знаем, за исключением того, что мы переживаем (наблюдаем, ощущаем) лично в данный момент, относится к прошлому.

Различение прошлого и настоящего тесно связано с понятием Другого. Это понятие использовал еще Платон в диалоге «Тимей», а в Новое время его концептуализировал сначала Иоганн Фихте, а позднее — Вильгельм Дильтей. В XX в. этот концепт стал одним из базовых в социологии, психологии и культурной антропологии и постепенно укореняется и в исторической науке. Понятие Другого означает осознание действующим субъектом другого субъекта как не-себя. Другой — это не-я. Из этого вытекают две возможности: Другой может быть такой же как я, и не такой как я. В полной мере это применимо к историческим исследованиям, где понятие прошлого как Другого по отношению к настоящему может означать как выявление *сходства*, так и *различия* между прошлым и настоящим.

Следует еще раз подчеркнуть, что различение не тождественно различию. В принципе ощущение различий между прошлым и будущим появляется достаточно давно — прошлое могло быть лучше чем настоящее, или хуже. Различия могли быть и более существенными, но это было различие состояний чего-то одного и того же. Самая наглядная иллюстрация — весьма популярная со времен римской империи и до XX в. концепция возрастов мира, в которой процесс развития общества уподобляется циклу жизни человека. В рамках этого подхода есть различие

¹⁰В языке также существует общая тенденция использовать настоящее время, говоря о будущем, например: «Завтра я еду в Санкт-Петербург».

между прошлым и настоящим состояниями, но нет различия прошлого как Другого, как и в случае с описанием жизни человека: мы знаем его сейчас, в старости, а в молодости он был совсем другим, но это тот же самый человек.

Итак, первая линия концептуализации понятия прошлого связана с понятием Другого. Не менее важна и вторая линия, в рамках которой речь идет о выделении разных типов «прошло-го». Иными словами, выясняется, что «прошлое» — это не одно, а несколько понятий, и они должны концептуализироваться по-разному. Первые подходы к этой проблеме были намечены еще Иоганном Дройзенем и Эрнстом Бернгеймом во второй половине XIX в. в рамках разделения исторических источников на «предания» и «остатки». Эта концепция была развита спустя сто лет Эдвардом Шилзом, который выделил два типа «прошлых». Первое — «реальное прошлое» — это прошлое таких институтов как семья, школа, церковь, партия, фракция, армия, администрация. Сюда же относятся знания, произведения искусства, вещи. Но кроме того, как считает Шилз, есть «ощущаемое (perceived) прошлое», более пластичное, более поддающееся ретроспективной переделке, заключенное в памяти и письме.

Более интересный подход был предложен известным английским специалистом в области истории политической мысли Майклом Оукшотом, который выдвинул идею о наличии трех «прошлых». Первое — это прошлое, присутствующее в настоящем, которое он именует «практическим», «прагматическим», «дидактическим» и т. д. Это прошлое не просто присутствует в настоящем, оно является частью настоящего — дома, в которых мы живем, книги, которые мы читаем, изречения, которые мы повторяем, и т. д., т. е. все, чем мы пользуемся в настоящем, создано в прошлом. Это прошлое не отделено от настоящего, оно является его составной частью, и в этом смысле это — практическое или утилитарное прошлое.

Второе прошлое, по Оукшоту, — зафиксированное (recorded) прошлое. Речь идет о продуктах прошлой человеческой деятельности, отчетливо воспринимаемых как созданные в прошлом. На самом деле, это могут быть те же элементы, которые составляют прагматическое прошлое — дома, книги и т. д., но отчетливо отождествляемые с прошлым. Кроме того, в это прошлое вхо-

дят те предметы, которые могут вообще не использоваться в настоящем, например архивные документы.

Наконец, третье прошлое — это прошлое, сконструированное в человеческом сознании (Оукшот пишет только об историках, но на самом деле речь может идти о гораздо более широком подходе). Это прошлое конструируется, прежде всего, на основе прошлого второго типа, а именно зафиксированных или сохранившихся остатков прошлого. Но прошлое третьего типа, в отличие от второго, физически не присутствует в настоящем, оно существует лишь в человеческом воображении.

Таким образом, первое прошлое является составной частью настоящего и фактически не воспринимается как прошлое. Второе прошлое — зафиксированное или сохранившееся — по сути является тем, что в современной терминологии именуется «источниками». Наконец, третье прошлое, которое можно обозначить как «образ прошлого», составляет предмет данного учебного пособия. По сути дела речь идет о прошлой реальности, которую конструируют наши знания о ней.

5. История как наука о прошлом

Существуют разные типы символических универсумов (систем знания), конструирующих социальную реальность. Эти символические универсумы, как правило, темпорализованы, т. е. они конструируют не только настоящее, но и прошлое, и будущее. Большинство темпоральных универсумов — обыденное знание, философия, знание о трансцендентной реальности (мифы, религия), эстетическое знание (искусство), идеология — не специализированы по времени.

Что касается общественнонаучного знания, то ситуация, сложившаяся в рамках данного символического универсума, до некоторой степени схожа с остальными — практически во всех общественных науках наряду со знанием о настоящем присутствуют элементы знания о прошлом (хотя бы на уровне информации) и о будущем (прогнозы). Но, кроме того, в общественных науках существует отдельная специализированная область знания, связанная с изучением прошлой социальной реальности (самостоятельной общественной науки, связанной с созданием

знаний о будущем, не появилось, хотя и предпринимались попытки создания «футурологии»).

Попытаемся понять, каким образом историческая дисциплина сформировалась как особый вид знания, а именно — научное знание о прошлой социальной реальности, и как эта специализация концептуализируется в современных условиях.

Начиная со времен античности, термин «история» в значении знания использовался в самых разных смыслах. Но все же в этом многообразии смыслов всегда присутствовало, наряду со многими другими, понимание «истории» как чего-то вроде общественнонаучного знания (точнее, прообраза того, что мы теперь называем обществознанием). С эпохи эллинизма «историей», когда более, когда менее отчетливо, обозначалось эмпирико-теоретическое знание о социальной реальности. Это эмпирико-теоретическое знание о социальном мире чаще всего переплеталось с философией, мифами/религией, искусством, моралью и т. д., но элементы общественнонаучного знания явно присутствуют в большинстве тех сочинений, которые именовались «историческими», начиная с Геродота, Фукидида, Ксенофонта, Полибия, Ливия, Тацита и т. д.

Удельный вес общественнонаучного смысла термина «история» в значении знания по известным причинам снимается в эпоху Средневековья, когда религиозное знание становится абсолютно доминирующим, и возрастает только в эпоху Ренессанса. «Исторические» сочинения Никколо Макьявелли, Флавио Бьондо, Жана Бодена и их последователей все больше напоминают современное обществознание, т. е. эмпирико-теоретическое (не философское, не эстетическое, не этическое и т. д.) знание о социальном мире, отличаемом от мира божественного и природного. Наряду с «общественнонаучным» смыслом термину «история» продолжают придаваться и иные смыслы, отождествляющие его со знанием о божественной и природной реальности. Но уже со времен Фрэнсиса Бэкона, как правило, в этих случаях слово «история» доопределяется как «естественная (природная)» или «божественная (церковная)». «Просто история» все чаще отождествляется с особым типом знания о социальной реальности.

Ко второй половине XVIII в. этот смысл «истории» в значе-

нии общественнонаучного знания становится доминирующим — достаточно обратиться к известным работам Габриэля-Бонно де Мабли, лорда Болингброка, французских энциклопедистов. Отождествление «истории» и общественнонаучного знания, по сути сформировавшееся в середине XVII в., отчасти сохранялось вплоть до конца XIX в. — в частности, Иоганн Дройзен, Вильгельм Дильтей, Вильгельм Виндельбанд, Генрих Риккерт именовали все общественные науки «историческими». Более того, следы отождествления «истории» с общественным знанием можно увидеть и в дискуссиях середины XX в., когда в рамках аналитической философии стал обсуждаться вопрос о методах объяснения в естественных и общественных науках. В этих дискуссиях, в том числе у Карла Гемпеля, Эрнста Нагеля, Уильяма Дрея, естественнонаучное знание сопоставлялось, прежде всего, с «историей», под которой неявно понималось общественнонаучное знание в целом.

В середине XIX в., т. е. в период, который условно можно обозначить как позитивистский этап представлений о структуре знания, история все еще не идентифицируется как знание о *прошлой* социальной реальности. В этот период общественнонаучное знание постепенно отделяется от философии, но в результате единое общественнонаучное знание представляется разделенным на «теоретическую» часть, которая присоединялась к естественным наукам, и «эмпирическую» часть, которая и называется «историей».

Коренной перелом наступает в последней трети XIX в., когда начинают формироваться современные представления о структуре знания. Во-первых, в этот период в явном виде концептуализируется понятие общественных наук как эмпирико-теоретического знания о социальной реальности, отличного от других видов знания. Во-вторых, выделяются самостоятельные общественнонаучные дисциплины (политология, социология, экономическая наука, этнология, психология и т. д.). Наконец, что существенно для нашего анализа, именно в данный период возникает размежевание «истории» как общественнонаучного знания о *прошлой* социальной реальности и всех остальных общественных наук (наук о человеке).

Не вдаваясь в детальное исследование этого перехода, заме-

тим лишь, что в русском языке, например, история не определялась как знание, относящееся к прошлому, по крайней мере до 80-х годов XIX в. В толковом словаре Владимира Даля издания 1881 г. «история» фигурирует еще «в значении того, что было или *есть*, в противоположность сказке, басне», и никак не связывается с прошлым. Но в любом случае уже к началу XX в. в большинстве европейских стран «история» начинает отождествляться со специализированным знанием о прошлом, отличным от остальных общественных наук, прежде всего, по параметру времени.

Принятие определения истории как знания о прошлой социальной реальности не означало конца дискуссий о характере исторического знания. С точки зрения традиционных представлений о знании, деление по параметру времени выглядело довольно странно, прежде всего при сопоставлении с естественнонаучным знанием, которое задавало своего рода стандарт «научности» до середины XX в. Поэтому вплоть до этого времени (а по сути и позже) выдвигался тезис о том, что история не является наукой. Это позволяло элиминировать «странное» разделение между общественными науками и историей, но по сути просто переводило проблему на другой уровень.

Если считать историю каким-то вненаучным видом знания, например, искусством, как это делал Бенедетто Кроче, то снова возникает вопрос о том, почему в искусстве надо выделять специализированное знание, определяемое по параметру времени, если искусство в целом всегда содержит знание о прошлом. Точно так же не решает проблемы утверждение, что история является неким смешанным видом знания, включающим элементы науки, философии, искусства, морали и т. д. Это опять-таки не объясняет причин тематизации «прошлого» в качестве самостоятельного объекта изучения, так как оно не дифференцируется специально ни в одном из перечисленных типов знания.

Историческое знание является по своей природе общественнонаучным (рациональным эмпирико-теоретическим знанием о социальной реальности). При этом история не отличается от общественных наук ни по «по методу», как эмпирико-теоретическое знание, ни «по предмету», так как изучает социальную реальность. Однако история дифференцируется от остальных

общественных наук по времени, являясь знанием о *прошлой* социальной реальности.

Принятие данного тезиса требует ответа на несколько вопросов. Во-первых, почему только в общественнонаучном знании выделилось в самостоятельную область знание о прошлом? Во-вторых, если история — знание о прошлом, то как определить по параметру времени остальные общественные науки? Если они являются знанием о настоящем, то где граница между прошлым и настоящим в общественнонаучном знании, и чем она определяется?

Как отмечалось выше, отделение истории от остальных общественных наук произошло далеко не сразу. Например, на начальном этапе специализации общественнонаучного знания крупные работы по исторической социологии не были исключением, каковым они стали впоследствии. Причина заключалась не только в том, что социология проходила некий этап самоопределения и еще не сделала окончательного выбора. Дело и в некоторых характерных для XIX в. обобщениях относительно возможности «открыть» универсальные или «естественные» законы, пригодные для «всех времен и народов». Естественная парадигма в обществоведении, идущая от Огюста Конта, толкала социологов к определению всеобщих законов развития общества. Эволюционный подход, связанный с признанием социальной динамики, также ориентировал на поиски *законов* — в данном случае законов развития, законов перехода от одной общественной системы к другой. Но затем по целому ряду причин социологи охладели к истории, а если и обращались к ней, то, за редкими исключениями типа Макса Вебера или Норберта Элиаса, делали это столь неумело, что ничего, кроме раздражения, у историков это вызвать не могло.

То же самое можно было наблюдать, скажем, в экономической науке: если в работах Адама Смита, Томаса Мальтуса, Карла Маркса и многих других экономистов XVIII–XIX вв. исторический анализ был неотъемлемым элементом теоретических построений, то в XX в. экономическая теория стала все больше пренебрегать историей. Сказанное справедливо и по отношению к другим социальным дисциплинам. Выработка ими самостоятельного категориального и теоретического аппарата, отказ от

некогда модного «исторического» подхода и обращение к методам структурно-функционального анализа в некотором смысле отрезали их от прошлого. Как справедливо заметил американский историк Лоуренс Стоун, ни одна группа представителей социальных наук не интересуется серьезно ни фактами, ни интерпретацией изменений, если они происходили в прошлом.

Вместе с тем и сегодня нельзя говорить в обычном смысле о том, что общественные науки занимаются «настоящим». Подавляющая часть информации о социальной реальности, которой оперируют исследователи, так или иначе относится к прошлому. Любая *сегодняшняя* газета рассказывает о *вчерашних* событиях, т. е. о прошлом, хотя читатели воспринимают свежую газетную информацию как рассказ о настоящем. То же самое относится и к телевизионным новостям: за исключением прямых репортажей, все остальные новости — это рассказ о событиях, которые уже произошли, т. е. относятся к прошлому.

Размежевание прошлого и настоящего связано с формированием понимания прошлого как Другого, о чем шла речь выше. Тем самым определяется граница между настоящим и прошлым: к настоящему, т. е. предмету специализированных общественных наук, относится та часть прошлого, когда общество не было Другим по отношению к настоящему, и поэтому к нему применимы схемы, модели, теории и концепции, созданные для анализа современности. Ясно, что эта граница условна и размыта; по отдельным дисциплинам и даже внутри каждой из них грань между прошлым и настоящим может сильно различаться. Но общий принцип деления «по времени» остается неизменным.

Говоря о том, что современные общественные науки (в широком смысле, включая и «гуманитарные») не занимаются специально прошлым, а передали его в ведение исторической науки, необходимо сказать об одном важном исключении, а именно о филологии. Хорошо известна тесная связь истории и филологии, которая проявлялась в структуре образования, от включения истории в курс грамматики, входившей в состав «тривиума», до возникших в XIX в. историко-филологических факультетов университетов. Эта «смычка» определялась тем, что история, как и филология, связана с текстами — историки используют тексты для изучения прошлого и пишут «истории-

тексты». Но одновременно филология, по крайней мере со времен Возрождения, имеет дело с прошлым. Более того, именно Лоренцо Валла едва ли не первым концептуализировал понятие прошлого как Другого на уровне анализа текстов, выдвинув и доказав идею о том, что в прошлом создавались *другие тексты*. Можно указать и некоторые другие гуманитарные дисциплины, сохранившие изучение прошлого в своей компетенции, — например, искусствоведение.

Но хотя некоторые дисциплины и не передали изучение прошлого в ведение исторической науки, внутри этих дисциплин все же присутствует определенное разделение исследований «по времени»: существуют специалисты по античной литературе и искусству, по литературе раннего Нового времени, по искусству XIX в. и т. д., равно как и по современной литературе и искусству. Эти разграничения отчасти также закреплены на институциональном уровне (так, на филологических факультетах среди прочих обычно выделяются кафедры античной и/или средневековой литературы, или «классической» филологии). Конечно, специализация «по времени» здесь не является жесткой, но все же ее можно обнаружить. Точно так же в общественных науках специалисты по «истории мысли» обычно образуют отдельную экспертную группу, в том числе в рамках соответствующих кафедр.

Таким образом, мы подошли к ответу на вопрос о том, почему только в одном типе знания — научном знании о социальной реальности — специально выделяется знание, относящееся к прошлому. С точки зрения «предмета» ясно, что из трех типов реальностей — божественной, природной и социальной — только последняя мыслится как подверженная существенным (быстрым, качественным) изменениям. Божественная реальность зачастую вообще предполагается неизменной, если же какие-то изменения в ней и допускаются, то периоды, качественно отличающиеся от настоящего (например, в христианстве — эпоха до Рождества Христа), обычно привлекают гораздо меньше внимания, чем настоящее. В мире неживой природы постулируется или низкая скорость изменений, или отсутствие качественных изменений, и анализ прошлых состояний объекта изучения той или иной науки уже не требует специальных дисциплин и реша-

ется непосредственно в рамках астрономии, геологии и т. д. Для живой природы, где скорость изменений выше, эта проблема выражена уже более отчетливо, и с этим связано возникновение таких разделов биологии, как палеозоология и палеоботаника.

С точки зрения «метода» также понятно, почему специализация «по времени» возникает в рамках научного знания о социальной реальности. Другие виды знания — философия, мораль, искусство, идеология и т. д., хотя и конструируют не только нынешнюю, но и прошлую и будущую социальную реальность, но в основном делают это с помощью вневременных, атемпоральных категорий (бытие, добро, красота, польза, власть и т. д.). В общественнонаучном же знании не существует «теории вообще», не привязанной к времени и социальному пространству. Даже самые формальные экономические модели исходят из некоей реальности, существующей в определенное время и в определенных странах.

Поэтому, в частности, мы не можем согласиться с распространенным мнением, будто бы историк лишь транспонирует в прошлое проблемы, которыми применительно к современному обществу занимаются представители других социальных наук. Дело в том, что теории общественной жизни применимы только к определенному историческому периоду и адекватны только ему. Каждая область человеческой деятельности имеет свое прошлое, а следовательно, и свою историю, и свою теорию.

Сфера действия и применимости большинства современных экономических, социологических, политологических концепций не превышает 100–150 лет (а во многих случаях много меньше). Все, что находится за пределами этого периода, требует иного теоретического и категориального аппарата, на создание которого обществоведы, как правило, просто не имеют времени (или желания, так как это явно не вписывается в ту часть науки, которая ценится их сообществом и оплачивается властью предержащими).

Поскольку по мере углубления в прошлое современный теоретический аппарат становится все менее пригодным для анализа менявшегося общества, то, начиная с какого-то момента, для теоретического анализа исчезнувшей реальности надо разрабатывать другие схемы, модели и концепции. Очевидно, что

эту функцию тоже должны выполнять историки. Таким образом, историческое знание оказывается не одной наукой, а системой наук, точнее даже множеством систем, каждая из которых соответствует какому-либо типу общества из существовавших в прошлом. Условно говоря, в идеале, например, для эпохи Просвещения должны существовать своя социология, экономическая наука, политология и т. д. Или по-другому: должны быть социология эпохи Просвещения, Возрождения, позднего Средневековья, раннего Средневековья и т. д.

Применительно к экономике эту идею развивали представители немецкой историко-экономической школы XIX — начала XX в. (Карл Бюхер, Артур Шпитгоф и др.), считавшие необходимой разработку специальных экономических теорий для каждой «хозяйственной стадии» или «хозяйственного стиля». Такие теоретические концепции, привязанные к тому или иному историческому периоду, они именовали «наглядными теориями» в противоположность «вневременной» или «формальной» теории хозяйства, которая должна объяснять явления, не подверженные историческим изменениям.

Конечно, предлагаемая нами концепция применима только к современной научной эпистеме, в которой существует целый ряд сложившихся социальных дисциплин, отвечающих стандартам научного знания. И методы, которые использует, разрабатывает (или должна была бы найти и применять) историческая наука для познания своего объекта, отражают (или должны отражать) состояние социального знания на данный момент. Но использование, наряду с предметом и методом, третьей «классификационной оси» — времени — позволяет точнее определить место истории в системе знания.

Раздел II
ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ

Глава 3

ИСТОРИЯ КАК ЗНАНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ

Согласно современным представлениям, под историей понимается научное знание о прошлой социальной реальности. Задача данной главы — показать, как системы и элементы социальной реальности освоены историографией в качестве объектов. Здесь имеется в виду тот ракурс исторического анализа, когда внутреннее единство историографии обеспечивается предметом (историография чего), а не идеологическим направлением (либеральная), философской школой (позитивистская) или страновой принадлежностью (французская). Предметное поле современной исторической науки маркируется большим количеством исследовательских «меток», за которыми скрываются различные теоретико-методологические ориентации. Конечно, расставить метки без таких ориентаций невозможно, но в данном случае мы попытаемся взглянуть на предмет истории по возможности без отсылок к способам его освоения.

1. Формирование предмета

Путь к пониманию истории как науки о прошлой *социальной* реальности занял более двух тысячелетий. Началом этого процесса можно считать осознание существования общества, социального мира. Процесс выделения социального мира в качестве объекта исторического знания шел достаточно неравномерно. В античной Греции, в силу общего представления о единстве мира, практически не существовало разделения божественной,

природной и социальной реальности, в том числе и в исторических сочинениях (точнее, в сочинениях, которые относились к разряду исторических).

Специфика мифологического сознания, характерной особенностью которого является неразделенность божественной, социальной и природной реальности, в полной мере проявлялась в трактовке понятия «история», где генеалогии божественных и аристократических родов были неразрывно связаны и переплетены между собой, и при этом могли излагаться одновременно со сведениями о мире природы, космогоническими представлениями и т. д. В этот период «история» включала самые разнообразные, если не любые, сведения или факты, относящиеся ко всем видам реальности.

Такова была композиция многих произведений, написанных в эллинистический период, в названиях которых фигурировало слово «история», начиная с «Историй» Ферекида Сирского (VI в. до н. э.) до «Исторических воспоминаний» Зенодота из Эфеса, первого главного библиотекаря Александрийской библиотеки (IV в. до н. э.). Наиболее известный образец такого понимания можно найти у Диодора Сицилийского (I в. до н. э.) в его «Исторической библиотеке». «История» у Диодора имеет универсальное значение, начиная от космологии и мифологии, переходя через человеческую историю и кончая происхождением всех живых существ.

Точно так же и в Древнем Риме словом «история» могли обозначаться самые разные сведения, относящиеся к любому типу реальности и вообще к чему угодно. Самый яркий пример такого понимания «истории» — сочинение Элиана (конец II — начало III в.) «Пестрая история», написанное на греческом, — сборник небольших рассказов на самые разнообразные темы, среди которых мы находим, например, рассказы из области физической и общей географии, биологии или зоологии, психологии, повествования об истории, обычаях и законах, о мифологии, философии и философах, искусстве, художниках и поэтах, о морали и моралистах, медицине и гимнастике, изобретениях.

Но в позднюю эллинистическую эпоху понятие «история» начинает постепенно (хотя и далеко не всегда) прилагаться к собственно социальной реальности. Огромную роль в этом сыг-

рал Полибий (II в. до н. э.) и его «Всеобщая история». Эта работа, в частности, оказала прямое воздействие на последующую римскую историографию и тем самым способствовала некоторому сужению понятия «история» и приближению его к специализированному знанию о социальной реальности.

В римской историографии тенденция к выделению социального мира как основного объекта исторического знания еще больше усилилась. Большинство наиболее крупных сочинений, обозначавшихся словом «история», концентрировалось на описании именно социальной реальности. Так же, как и у Полибия (а еще раньше — у Фукидида), «история» здесь означала изложение (а в некоторых случаях и анализ) последовательности *событий*, происходивших в обществе, и тем самым предметом этих сочинений оказывались *деяния* (*res gestae*), т. е. социальные действия.

Конечно, и в Риме термин «история» прилагался не только к социальным событиям. Наиболее известным примером служит «Естественная история» Плиния Старшего (I в. н. э.), в которой речь шла в основном (хотя и не только) о «естествознании» или «природоведении». Точно так же, несмотря на преимущественную ориентацию на социальную реальность, сочинения римских историков могли включать (хотя и в гораздо меньшей степени, чем в Греции) элементы божественной реальности. В первую очередь это относилось к описанию «древней» истории, в частности, периода возникновения и становления Рима. Даже автор единственного дошедшего до нас античного трактата по методологии истории «Как следует писать историю» Лукиан из Самосаты (II в. н. э.), трактовавший историю прежде всего как описание военно-политических событий, в других своих работах под историей имел в виду и мифы.

В эпоху средневекового христианства ситуация снова меняется. Христианство характеризовалось радикальным разрывом с древнегреческой традицией отождествления истории и природы, исторического времени и физического. Частично это было продолжением и развитием тенденции, возникшей уже в Риме, частично отражало обусловленный христианским мировоззрением общий упадок интереса к знаниям о природе. Благодаря этому средневековая историография довольно четко отделяла

историческое знание как знание о социальной реальности от естествознания. Так или иначе, ни о какой «естественной истории» или «истории природы» на протяжении Средних веков речи уже не шло.

Но если в отношении природы средневековая историография развила тенденцию отделения истории как специфического знания о социальном мире, то в отношении божественной реальности христианская историография унаследовала не римскую, а иудейскую традицию, в которой история божественной и социальной реальности нераздельны. Социальная реальность оказывается теснейшим образом связанной с божественной, которая становится первичным объектом средневекового знания в целом. Хотя формально имелось две истории — священная и профанная, но профанная история, т. е. история социального мира, была полностью подчинена священной.

Христианская концепция социального мира как «человечества» послужила основой для формирования специфического понятия «истории». Именно в рамках христианского религиозного знания (по крайней мере, со времен Августина) слово «история» в значении «вид реальности» приобрело смысл, не существовавший в античности, а именно «бытие человечества во времени».

Основы христианской историографии были заложены Евсевием Памфилом, епископом Кесарийским (263–339), которого можно считать родоначальником двух основных жанров христианской историографии — истории церкви и «мирской» хроники (речь идет, соответственно, о его сочинениях «Церковная история» и «Хроника»). Но по существу и в «мирских» средневековых хрониках события земной истории рассматривались лишь как проявление или отражение «истории» священной. В результате священная история была «всем», а мирская — «ничем». Знание о божественной реальности пронизывало любое знание о социальной реальности, в том числе и историческое.

Только в XVI в. мирская история начинает постепенно отмежевываться от священной истории, становясь более автономной. Так, Жан Боден в «Методe легкого познания историй» выделял три самостоятельные области познания: Бога, природу и общество, которым соответствуют три вида истории: божественная

(сверхъестественная), природная (естественная) и человеческая. Выбрав человека в качестве предмета своих исследований, Боден выделил два аспекта человеческого существования (самореализации, в современных терминах) — созерцание (мышление) и делание (действия). Разделение истории на три части — божественную (священную), природную (естественную) и социальную (человеческую или гражданскую) стало активно использоваться в XVII–XVIII вв. благодаря работам Фрэнсиса Бэкона, Томаса Гоббса и ряда других авторитетных мыслителей.

Некоторые отклонения от схемы, делящей историю на три части в соответствии с тремя реальностями, впервые возникают во второй половине XVIII в. в работах французских энциклопедистов. Так, Вольтер предложил исключить из общего понятия «истории» естественную историю, которую «неточно называют историей, так как она составляет существенную часть физики». Еще дальше пошел Дени Дидро, который исключил из понятия «истории» не только естественную, но и священную историю. Формально сохранив бэконовскую схему классификации наук, Дидро предложил обозначать термином «история» именно действия людей (причем относящиеся не только к прошлому).

Но как минимум до середины XIX в., а фактически и позже, божественная реальность оставалась составной частью предмета исторического знания, по крайней мере, применительно к «допотопным» (или дописьменным) временам. Только после того как Жак Буше де Перт в 1830-е годы впервые нашел кости вымерших животных и каменные орудия первобытных людей, история дописьменного периода развития человечества стала постепенно десакрализоваться.

Точно так же очень медленно и непросто шел в XIX в. процесс отделения понятия «история» от знания о природной реальности. Быстро развивавшееся естественнонаучное знание оказывало непосредственное влияние на выработку представлений о социальной реальности, в том числе и прошлой. Материалистическая трактовка человека, рассматриваемого лишь как часть природы, в существенной мере определила и содержание исторического знания. Несмотря на попытки отдельных «диссидентов» отделить социальный мир, социальную и культурную системы и человека как социальную и культурную личность от мира при-

роды, представления о единстве социального и природного мира достигли своего апогея в XIX в. в концепциях «социальной физики», «социального дарвинизма», поисках «законов» исторического развития и т. д.

Радикальный перелом в подходе к спецификации предметного поля исторического знания начался лишь в последней трети XIX в. Первый шаг в этом направлении сделал Иоганн Густав Дройзен, но его «Энциклопедия и методология истории», написанная в 1857 г., в полном виде была издана только в 1936 г. Поэтому, с точки зрения влияния на общественное сознание, родоначальником нового подхода к историческому знанию считают Вильгельма Дильтея и прежде всего его работу «Введение в науки о духе: Опыт полагания основ для изучения истории и общества» (1883). Разделив все знание соответственно двум предметным областям — природе и социальному миру человека, Дильтей не только четко зафиксировал отличие природного и социального миров и соответствующих типов знания, но и предложил принципиально новый подход к определению истории. По Дильтею, все «знание о духе», т. е. любое знание о человеке и обществе, является историческим. Иными словами, «история» — это знание о социальном мире вообще.

Впоследствии в связи с развитием специализированных общественных наук акцент в определении предметной области истории снова меняется. Вместо введенного Дильтеем обозначения любого знания о социальной реальности как исторического, наоборот, историческое знание начинает определяться как знание о социальном мире. В итоге, в соответствии с представлениями, окончательно сложившимися уже в XX в., историю или исторические науки стали трактовать как знание о прошлой социальной реальности, не ограниченное отдельными ее компонентами.

Термин «социальная реальность» (в русском переводе «общественная действительность») впервые использовал Вильгельм Дильтей в упомянутой работе «Введение в науки о духе» (1883). В XX в. этот термин получил широкое распространение благодаря работам Альфреда Шюца, Питера Бергера, Томаса Лукмана и других представителей феноменологического направления в социологии.

Социальная реальность может быть представлена как состоящая из трех подсистем: а) системы личности (охватывающей мыслительные и поведенческие аспекты существования человека), б) собственно социальной системы и в) системы культуры (включающей продукты материальной и духовной культуры). Такое «трехчленное» деление социального мира одним из первых также ввел Дильтей в указанной выше работе. Он обозначал эти три подсистемы как систему человеческого индивида, систему внешней организации общества и систему культуры. В XX в. эта модель получила дальнейшее развитие, и в настоящее время ее можно считать относительно общепринятой в современном теоретическом обществоведении.

На ранних этапах развития исторического знания его предметом становились, как правило, лишь отдельные элементы трех подсистем социальной реальности. Например, по Плутарху (I в. н.э.), «история» вообще не должна была заниматься отдельными личностями и их моральной жизнью (поэтому Плутарх подчеркивал, что сам он пишет не историю, а жизнеописание), а должна описывать деяния больших человеческих масс, воспитывая людей на примерах прошлого. А, скажем, средневековый хронист Ранульф Хигден в своей «Полихронике» выделял семь родов деяний, которые чаще всего упоминались в книгах по истории: строительство городов, победа над врагами, применение юридических прав, наказание за преступления и исправление преступников, организация политической жизни, управление домашними делами, спасение души.

Однако историческое знание постоянно расширяло сферу охвата, включая все новые и новые компоненты социального мира. Этот процесс особенно ускорился в XVIII в., когда в рамках анализа современных для того периода обществ началось выделение отдельных подсистем — социальной, культурной, личностной — и стала формироваться специализация в обществознании. Соответственно и история учреждений, история хозяйства и права, история культуры, в целом гражданская история — стали фактом только в середине XVIII в.

В XIX в., наряду с расширением ареала «исторического» возникла реальная угроза редуccionизма, подразумевавшего репрессирование неких потенциальных интересов историка. В ре-

зультате очень многие элементы социальной реальности выводились за скобки, как малозначительные для построения той или иной исторической концепции, и «прозябали» *ad marginem* исторического знания в сочинениях любителей исторических казусов.

Возможность выделить отдельные элементы социальной реальности определяется не только сознательным интересом к детализации предмета. С одной стороны, она связана с дифференциацией современного общества и специализацией современного знания о нем, с другой — со степенью дифференциации прошлых обществ. В частности, в рамках культурной антропологии, изучающей слабо дифференцированные общества, очень трудно отделить анализ подсистемы культуры от социальной подсистемы и от системы личности. Аналогичные проблемы возникают при изучении определенных слоев общества, представляющих «низкую культуру» или «народную культуру». Здесь, например, верования и символы едва ли отделимы от ритуалов и традиций социального взаимодействия, а личность практически лишена возможности самовыражения и самореализации и потому фактически исчезает как объект самостоятельного анализа.

Вообще не стоит преувеличивать четкость границ между основными подсистемами социальной реальности (последнее в некотором смысле относится и к водоразделу между социальной и природной реальностями). Все три основные подсистемы социальной реальности тесно связаны между собой, и речь идет скорее об аналитическом представлении отдельных компонентов социальной реальности, чем о фактическом их разграничении. Например, история динамики промышленного производства на самом деле включает анализ экономической системы, социальной системы (социальная мобильность, трудовые отношения) и анализ культуры (продуктов деятельности людей), а также природной реальности (от экологии до профессиональных заболеваний). Точно так же и культуру нельзя рассматривать как один из уровней социальной целостности, сконструированной по образу трехэтажного дома, потому что все межличностные отношения имеют культурную природу, в том числе и те, которые мы определяем как экономические или социальные.

Условно и противопоставление публичной и частной жизни

в едином по сути социальном пространстве. Столь же относительна антитеза индивид — общество, ошибочность которой хорошо показали Норберт Элиас, Пьер Бурдьё и многие другие социологи. Действующий индивид, интересующий в конечном счете историка, не может существовать иначе, как в переплетении разнообразных социальных связей, и как раз это разнообразие позволяет ему реализоваться. А в таких новейших направлениях историографии, как история семьи, детства, сексуальности, или даже в столь экзотических направлениях, как история еды, запахов, чистоплотности и т. д., по сути исследуется взаимодействие социальной реальности с природной. Даже самый «мелкий» элемент исторической реальности, что хорошо продемонстрировали представители микроистории, можно представить как своеобразный «узел» множества социальных связей.

Предпринимая попытку структурирования «предмета» путем выделения компонентов социальной реальности — социальной системы, системы культуры и системы личности, — надо отдавать себе отчет в том, что возможность отдельного изучения ее подсистем, элементов и связей весьма условна, они неизбежно предстают во всевозможных сочетаниях.

2. Изучение социальной системы

В социальной системе можно выделить три подсистемы: экономическую, политическую и социетальную, к которой мы относим все не-экономические и неполитические взаимодействия и институты типа семьи, соседской общины, системы образования и т. д. Внутренней средой для этих подсистем является система обыденной жизни, т. е. повседневного взаимодействия. Соответственно «по предмету» определяются политическая, экономическая, социальная история и история повседневности, и в основном они действительно оперируют элементами социальной системы, хотя, как мы покажем, далеко не всегда ограничиваются только ими.

Долгое время основным объектом исторических исследований была социальная система в целом, концептуализированная последовательно в ряде понятий, в ряду которых «государство» и «общество» были завершающими. Античность, строго гово-

ря, не разграничивала понятия «общество» и «государство». Для описания социальной системы в античности использовались понятия «полис» (πόλις) и «политика» (πολιτικά) у древних греков, *res publica*, *imperium*, *civitas*, *societas civilis* — у римлян¹. Эти понятия у античных мыслителей выступали в качестве взаимозаменяемых терминов, охватывая все сферы жизни людей. Средневековый мир также не пользовался понятием «государства», а оперировал понятиями «империя», «королевство» (*Regna*), «царство», «земля», «республика» (применительно к городам).

Лишь в начале XVI в. Никколо Макьявелли впервые вводит понятие «государство» (*итал.* *stato* от *лат.* *status* — стояние, состояние) как обобщенную категорию политической власти. Чуть позже начинается разработка понятия «общество». Осмысление социальных феноменов резко активизируется в конце XVI — начале XVII в., и с этого момента занимает важное место в философских рефлексиях. Развитие политической философии подготовило почву для первой большой фрагментации предмета истории. Внутри социальной системы были дифференцированы отдельные типы социального взаимодействия и соответствующие институты. В рамках политической системы историки начали изучение государственных институтов (армия, суды и др.), общественных политических организаций (партии, профсоюзы), истории политической борьбы, внешней и внутренней политики, войн, в том числе религиозных и гражданских, и многих других занимательных (перевороты, интриги и т. д.) или тоскливых сюжетов из области «политического». В результате возникли истории государства, межгосударственных отношений, хозяйства, общества, политических и общественных организаций.

В то же время с XIX в. историю зачастую трактуют как науку об обществе в некоем аморфном, предельно широком смысле, невзирая на то, что такое «общество», удобное для макросо-

¹Заметим, что известный диалог Платона, который в русском переводе известен как «Государство», в греческих текстах именуется «Полис» (греч. Πόλις). В Древнем Риме название этого диалога переводилось как «Республика» (*Res publica*), и точно так же называется навеянный платоновской работой диалог Цицерона, который на русский опять-таки переведен как «Государство».

циологии, — очень сложный предмет для исторического исследования. Различные значения понятия «общество» и бесконечное число характеристик, которые могут исчерпывающе его описать, делают исследование этого объекта весьма затруднительным. Ведь для отнесения той или иной совокупности людей к обществу необходимо введение самых разных критериев: территориальных, этнических, политических и т. д. В результате неизбежны значительные упрощения, и изучение «общества» превращается в анализ структуры (модели, типа). Но этим сложности не исчерпываются. Общество существует в динамике, и соответственно таким его приходится изучать. Размеры, сложность и объем объединений, к которым применимо понятие «общество», изменяются в разные исторические периоды. Поэтому историки всегда будут подвергаться совершенно оправданному искушению выбрать один из комплексов отношений как центральный и характерный для данного общества, а весь остальной материал группировать вокруг него.

Политическая подсистема

История в период Нового времени генетически оказалась связанной прежде всего с политическими процессами, характерными для трансформации традиционного общества в современное. Создание властных структур, характерных для абсолютизма, политическое оформление новой социальной конфигурации общества, отражавшее становление буржуазии, формирование новой государственности, равно как и сопровождающие все эти, не всегда явные для современников трансформации, войны, бунты и революции, стали благодатной почвой для развития исторического знания.

Хотя сейчас кажется, что история всегда и прежде всего была историей политического, на самом деле примат политической тематики в ней утверждался медленно. Раньше всего политическая история завоевывает позиции в Италии. Франции, весьма богатой политическими событиями, пришлось дожидаться XVII столетия, чтобы слово «политика» стало широкоупотребительным. Лишь с этого времени во французском языке укореняется целый комплекс терминов, производных от *polis*, равно как и

производных от *urbs*. Но уже в XVIII в. известный немецкий историк Август Шлёцер не сомневался, что история без политики ничем не превосходит монашеские хроники.

В XVIII в. наряду с широким распространением «всемирной» истории формируется принципиально новый тип политической историографии — национальная, а с XIX в. история государства-нации становится доминирующей. Подъем политической истории во второй половине XIX в. объяснялся не только обстоятельствами развития исторической науки, но и политическими факторами национальной самоидентификации. В это время национальные движения в Европе использовали историческое мифотворчество как свое главное орудие.

Как и многие другие политически актуальные темы, «нация» проблематизировалась совокупными усилиями представителей искусства, философии, идеологии и общественных наук. По мнению французского историка Пьера Нора, в Германии носителями национальной идеи являлись в основном философы. В Центральной и Восточной Европе велик был вклад филологов, специалистов по национальному фольклору. Во Франции роль организатора и руководителя национального сознания принадлежала историкам, прежде всего Огюстену Тьерри, Жюлю Мишле и Франсуа Гизо. Но роль историков XIX и начала XX в. в оформлении национальной идеи и в других странах Европы в любом случае очень велика. Как остроумно заметил известный английский историк Эрик Хобсбаум,

«историки для национализма — это то же самое, что сеятели мака в Пакистане для потребителей героина: мы обеспечиваем рынок важнейшим сырьем... Прошлое и есть то, что создает нацию; именно прошлое нации оправдывает ее в глазах других, а историки — это люди, которые “производят” это прошлое»².

Вследствие этого политическая история, в которой обосновывалась положительная роль государства и власти, стала бесспорным лидером историографии, и надолго. Базовые концепты

²Хобсбаум Э. Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе [1992] // Нации и национализм / Ред. Б. Андерсон и др.; Пер. с англ. М.: Праксис, 2002. С. 332.

политической истории: государство, парламент, административные учреждения, партии, народ, раса, нация, этничность, международные отношения, дипломатия, война. Особенно сильные позиции политическая история со времен Леопольда фон Ранке занимала в Германии, и со времен Николая Карамзина вплоть до наших дней — в России.

После Второй мировой войны идея непрерывной национальной истории, чем дальше, тем больше размывается. Это связано прежде всего с радикальной политической переоценкой «исторической роли» национализма. Подавляющее большинство историков перешло на позиции критиков национальной идеи. В плане профессиональном и интеллектуальном также произошли изменения. Историки признают, что «национализированная», служащая интересам национального государства история отдаляла от познания нации, а не способствовала ему. Угасание интереса к традиционной национальной истории было связано и с подрывом идеи приоритета публичной жизни, и с появлением сначала новой социальной истории, а затем и множества других исторических субдисциплин, ориентированных на внедрение методов социальных наук.

Реакция представителей политической истории на новации в тематике и методологии исторических исследований была разноплановой. Так, например, появляются панорамные исследования национальной истории принципиально нового типа: «Американцы» (1958–1973), трилогия крупнейшего американского историка Дэниеля Бурстина; «Немцы» (1982), опять-таки принадлежащие перу американца Гордона Крейга, и др. Это многоплановые истории народа, с совершенно нестандартными сюжетными ходами, включающие массу элементов не только социальной системы, но и системы культуры и системы личности, использующие разные техники конструирования прошлой реальности. Обратим внимание даже на названия поименованных трудов: не «История Германии», а «Немцы»; не «История США», а «Американцы».

По-настоящему радикальное переосмысление предмета осуществили представители «новой политической истории». Сознавая необходимость создания современной истории политического, а не отказа от нее, они начали активно ревизовать проблем-

ный, концептуальный и понятийный аппарат политической истории. В конце 1960-х годов эти историки вслед за социологами обратились не к проблеме политической власти как таковой, а к изучению механизмов реализации разных типов власти в прошлом. Огромную роль в этом процессе сыграли работы Мишеля Фуко о власти, насилии и принуждении. Возникло целое направление истории микрополитики, изучающее властные отношения в небольших институтах — больницах, тюрьмах, школах, семье.

В последние десятилетия вместе с утверждением идеи мультикультурализма обозначилось еще одно направление в политической истории. Началось восстановление «исторической справедливости» в исторической литературе: отказ от европоцентризма и формирование нового подхода к истории неевропейских стран. Но в это же время «детской болезнью» национализма заболевают молодые национальные историографии тех стран, которые не имели традиции работ по политической истории, потому что не имели национального государства. Стремясь удовлетворить «чувство прошлого», историки этих стран, догоняя Запад и повторяя в методологическом плане «зады» историографии, создавали свою национальную героическую и древнюю историю.

В этой связи очень интересен опыт развития национальных историографий на постсоветском пространстве, который уже несколько лет анализируют и сравнивают историки бывших советских республик. Современную историографическую ситуацию в бывшем СССР отличает явное усиление этноцентризма, для которого характерны сочувственная фиксация черт своего этноса, вплоть до выделения этнонационального фактора в качестве основного критерия исторического бытия. За прошедшие 10 лет из контркультурных практик, существовавших на фоне официальной исторической науки СССР, национальные историописания сами превратились в официальные, и «национальная история» воспринимается в качестве суммы знаний о прошлом какого-либо этноса, взятого во взаимодействии с его историческими соседями, которая организована посредством национальной идеи, обосновывающей культурные и политические притязания руководящих классов.

В работах наших историков приводится много занимательных и поучительных сведений о поисках древних и славных этнических корней, национальных героев и «врагов народа», определении границ исторических территорий и т. д. Так, благодаря разысканиям российского этнографа и историка Виктора Шнирельмана, мы теперь знаем множество национальных историй: от истории Великой Алании до Великой Якутии в алфавитном порядке. Но, справедливости ради, отметим, что и в западных странах этноцентризм до сих пор обнаруживает себя, правда, все реже в научных трудах, но достаточно явственно в учебниках и энциклопедиях.

Экономическая подсистема

С конца XVIII в. и до последней трети XIX в. экономическая история в целом была составной частью экономической науки. В большинстве экономических трудов, написанных в этот период, от Адама Смита до Карла Маркса, содержался подробный и, как правило, весьма содержательный исторический компонент. Особый вклад в экономическую историю в XIX — начале XX в. внесли представители немецкой историко-экономической школы (Фридрих Лист, Вильгельм Рошер, Бруно Гильдебранд, Карл Книс, Густав Шмоллер, Карл Бюхер, Вернер Зомбарт, Макс Вебер).

С последней трети XIX в., т. е. с начала «маржиналистской революции» в экономической науке, возникает размежевание между экономической теорией и экономической историей. Если не считать работ упомянутых представителей немецкой школы, в этот период большая часть историко-экономических исследований представляла, по существу, описательную историю народного хозяйства, в рамках которой лишь фиксировались те или иные факты прошлой экономической жизни отдельных стран. В значительной мере история народного хозяйства продолжала линию классической «политической экономии» и уделяла основное внимание истории государственной экономической политики (в таком-то году английский парламент принял такой-то закон, а такой-то русский царь издал такой-то указ, что оказало такое-то влияние на... и т. д. и т. п.).

Становление современной экономической истории можно датировать концом XIX в., и оно было во многом связано с новой источниковой базой. В частности, в это время начинается сбор материала и построение статистических рядов различных показателей цен, а с начала XX в. нарастает поток работ, введивших в научный оборот все новые и новые ряды цен, охватывающих все больше стран и все более отдаленное прошлое. В 1920–1930-е годы экономическая история получила новый стимул благодаря возрождению интереса к истории со стороны представителей экономической науки. Этот интерес, в свою очередь, был обусловлен кризисными потрясениями в экономике всех стран и необходимостью изучения долговременных тенденций развития экономики (экономических циклов, экономического роста, динамики денежной массы и т. д.).

Во второй половине XX в. экономическая история развивалась весьма бурно, в частности опять-таки благодаря колоссальному приращению источниковой базы и методов ее обработки (массовых источников типа цензов, долговременных динамических рядов, данных по отдельным предприятиям и т. д.). Существенное влияние на экономическую историю оказало возникновение так называемой «клиометрики», направления, в котором экономическая история анализировалась с использованием разнообразных экономико-статистических моделей.

С точки зрения объекта исследования, историко-экономические штудии охватывают едва ли не все сферы экономики. Применительно к истории Нового времени эти исследования можно классифицировать по разным направлениям, используя основные типологические схемы, применяемые в современной экономической науке. Во-первых, исследуются все типы «рынков»: товаров/услуг, труда, капитала/денег, причем анализ ведется как на макро-, так и на микроуровне. В традиционной терминологии к этой типологии относится, в частности, «отраслевая» проблематика (аграрная история, история промышленности, торговли и др.), экономическая составляющая «рабочей истории» (*labor history*), а также история денежного обращения, финансовых рынков и т. д.

Во-вторых, изучаются все типы «экономических субъектов»: домохозяйства, фирмы, государство, финансовые посредники,

внешнеэкономические субъекты. Наряду с традиционной «государственной» проблематикой в XX в. колоссальную популярность приобрела история «фирм» (предприятий, заводов и фабрик) или «история бизнеса» (business history). Особое внимание в последние годы уделяется институциональным аспектам экономической истории.

Применительно к «докапиталистическим» экономикам разделение по «рынкам» или «субъектам», естественно, не вполне корректно, и здесь доминируют общеэкономические исследования, анализирующие хозяйственную систему в целом, включая хозяйственные системы примитивных обществ, где исторический анализ сближается с культурной антропологией, экономики Древнего Востока и Китая, античной Греции и Рима и, наконец, европейского Средневековья.

Заметим, что в настоящее время выбор объектов (равно как методологии и периода) историко-экономических исследований во многом определяется национальными традициями. Дело в том, что в США, где, как известно, национальная история очень коротка, кафедры экономической истории являются частью экономических факультетов, во Франции они «приписаны» к историческим факультетам, а в Англии вообще выделены в самостоятельные кафедры. Это отражается и в характере исследований: американские экономические историки прежде всего занимаются экономико-математическим моделированием, ограничиваясь в основном периодом XIX — первой половиной XX в., немецкоязычные и французские историки известны своими работами по раннему Новому времени и «докапиталистическим» экономикам (Альфонс Допш, Михаил Ростовцев, Анри Пиренн, Фернан Бродель, Пьер Шоню и др.), в то время как английские историки чаще других ориентируются на создание обобщающих работ.

Социетальная подсистема

Социетальная подсистема, как предмет исследования, принадлежит нескольким историографическим направлениям, но прежде всего, социальной истории. Предмет социальной истории едва ли поддается определению, ибо в рамках самой общей дефиниции — история социальных структур, процессов и

явлений — диапазон ее тематики то безгранично расширяется, то оказывается предельно узким. В какой-то мере это объясняется характером самого понятия «социальный». В нем уже заложена способность к почти неограниченному распространению.

«Социальная история» в историографии Нового времени по праву гордится старыми традициями, заложенными в работах Вольтера, Эдуарда Гиббона, Томаса Маколея, Якоба Буркхардта и многих других авторов. Элементы анализа и описания, характерные для социальной истории, особенно широко представлены в трудах известных французских историков XIX в. Франсуа Гизо, Эмиля Левассера, Франсуа Минье, Огюстена Тьерри, Ньюма Фюстель де Куланжа.

Социальная история к началу XX в. сумела как минимум сформулировать многие проблемы, оказавшиеся впоследствии в центре ее внимания. Однако в 1920–1930-е годы очень немногие историки отдавали свои силы разработке социальных сюжетов. Тем не менее в историографии этого периода социальная история представлена великими именами (Марк Блок, Люсьен Февр — самые известные из них). В социальном ракурсе рассматривались экономические и не экономические отношения между классами, характер семьи и домашнего хозяйства, условия труда и досуга, отношение человека к природе, культура, выраженная в религии, литературе, музыке, архитектуре, а также система образования и общественная мысль. Очевидно, что в такой трактовке социальная история на самом деле в равной степени включала в себя элементы как социальной системы, так и системы культуры, изучая не только взаимодействия внутри них, но и связи между ними.

С конца 1950-х годов в качестве самостоятельного историографического направления стала формироваться так называемая «новая социальная история», и в 1970-е годы она уже лидировала в методологическом обновлении историографии. Однако предмет социальной истории по-прежнему не поддавался определению, ибо диапазон ее тематики практически не доопределялся. Социальная история была, с одной стороны, изучением прошлого конкретных социальных явлений: детства, досуга, семьи, с другой — конструированием минувшей жизни малень-

ких городков, рабочих поселков и сельских общин, с третьей — различных социальных групп и социальных движений. В социальной истории изучаются также такие институты, как университеты и школы, церкви и секты. Но одновременно она включает историю громадных территориальных пространств, массовых социальных движений, революций и насилия в истории, социальных процессов исторической трансформации и кризисов, свидетельством чему служат работы Питера Стирнза, Чарльза Тилли, Эрика Хобсбоума, Фернана Броделя, Юргена Кокки, Ганса-Ульриха Велера и др. В принципе «новая социальная история» в период становления замахнулась на конструирование почти всей прошлой социальной реальности, интегрировав многие элементы системы культуры и системы личности, и тем самым дала колоссальный импульс для расширения предметного поля исторических исследований.

Только с конца 1970-х годов предельно широкое толкование социальной истории стало постепенно сужаться вследствие отделения и переопределения отдельных субдисциплин: демографической истории, рабочей истории, гендерной истории, истории детства и старости и др.

Система обыденной жизни, т. е. повседневного взаимодействия, которая является внутренней средой для рассмотренных подсистем социальной системы, изучается в рамках нового направления — истории повседневности. История повседневности имеет дело с событиями и процессами, которые изо дня в день повторяются в действиях и мыслях человека и создают прочный фундамент его жизни и деятельности. История повседневности, возникшая в последние десятилетия, использует передовую исследовательскую программу, которая предполагает воспроизведение всего многообразия личного опыта и форм самостоятельного поведения индивидов. Люди предстают и действующими лицами, и творцами истории, активно создающими и изменяющими социальную реальность прошлого.

Индивиды в истории повседневности рассматриваются не как «автономные» личности, а как личности в системе социальных отношений и культурных норм, и человеческие действия тем самым не отделяются от контекста. Такой подход в действительности делает историю повседневности достаточно

сложной конструкцией, синтезирующей все три системы социальной реальности (личности, культуры и общества). Возможно, отчасти именно в силу своей сложности и многоплановости история повседневности — столь позднее явление в историческом знании. До этого идеологические мотивы стимулировали появление лишь многочисленных «историй о положении...» (рабочего класса или других угнетенных), а познавательный интерес — близкие к этнографии «истории быта».

3. Исследование культуры

Начатки истории культуры обнаруживаются уже во времена античности — например, в «Жизни Эллады» Дикеарха из Мессины (III в. до н. э.) (полностью не сохранилась), «Десяти книгах об архитектуре» Витрувия (I в. до н. э.), «Естественной истории» (кн. 34–36) Плиния Старшего (I в.), «Описании Эллады» Павсания (II в.), «Пирующих софистах» Афиней (III в.). Эти труды можно, условно говоря, отнести к исследованиям по истории культуры. Затем — уже в эпоху Возрождения — с истинной страстью начинается изучение истории античной культуры в разных ее проявлениях. С XVIII в. культура в интерпретации просветителей становится полноправным объектом в исторических штудиях.

Если до XIX в. культура отождествлялась больше всего с историей цивилизаций или искусством, то во второй половине XIX в. в рамках позитивизма появляется влиятельное историко-культурное направление, трактующее культуру как социальную систему (Якоб Буркхардт, Ипполит Тэн, Карл Лампрехт, Курт Брейзиг и др.). Начав с синтеза культурных, политических и социально-экономических аспектов истории общества, представители «культурно-исторического синтеза» впоследствии расширили понятие культуры до всеобщей социологической морфологии и социальной психологии.

Следующий радикальный шаг в трактовке культуры сделали уже в XX в. культурные антропологи. Культура, следуя современному широкому понятию, введенному культурной антропологией, охватывает идеальные и институциональные традиции, ценности и идеи, мировоззрения, идеологии и формы их выра-

жения, короче — символическое понимание и толкование реальности, с помощью которых поддерживается и накапливается не только устный и письменный, но вообще любой вид коммуникаций. Все социальные взаимодействия укладываются в этот комплекс символических контактов и подчиняются ему.

Так же предельно широко, как ее понимают в антропологии, трактуется культура в современно ориентированной историографии, анализирующей «образцы культуры», символически-экспрессивные аспекты человеческого поведения. Общее направление в конструировании культуры сегодня можно охарактеризовать как стремление к замене социальной истории культуры культурной историей общества. Здесь же речь пойдет о *системе* культуры в более узкой трактовке.

Основные современные направления в анализе систем культуры прошлого представлены двумя типами исторических работ. Первое направление прослеживается от античности, и его можно обозначить как *историю идей* (хотя сам термин ввел в употребление Артур Лавджой уже в XX в.). Второе — *история культуры* — сформировалось вначале как история высокой культуры (искусства), но в XX в. в связи с утверждением широкого понимания культуры приобрело совершенно нетрадиционную направленность и очертания.

История идей (история мысли) в масштабном виде включает историю разных типов знания или символических систем в целом. История техники, история науки, история религии, история философии, история медицины и даже история искусства в Новое время в силу специализации знания в основном принадлежали не истории, а составляли часть, соответственно, знания о технике, науке, религии, искусстве и т. д. Но в последние десятилетия произошел качественный сдвиг, сделавший эти разделы знания достоянием в том числе и истории. Это случилось, как только возникло понимание взаимосвязи между символическими универсумами, социальной системой и системой личности, позволяющее рассматривать отношения, например, между болезнью и властью, техникой и империализмом, языком и социальным статусом и т. д.

Так же как политическая история, современная история идей во многом продолжает традиции XIX в. Как в политиче-

ской истории практикуется биографический подход к личности, так и в истории идей очень важной фигурой является автор идеи: от Платона до Фуко все изучены, и не один раз. Заметим, что история мысли прекрасно развита в России, отчасти под влиянием некоторых идеологических ограничений советского периода.

Другим направлением в истории идей является изучение культурного контекста: прежде всего, идейного климата накануне революций, во времена реформ, кризисов; влияние таких мировоззрений, идей и идеологических конструктов как Просвещение, империализм, национализм и т. д. на политические, национальные, межстрановые отношения. В этом ряду стоят работы и по истории политической культуры.

«Новую жизнь» история культуры обрела, сместив фокус внимания с социальной истории культуры на культурологическую историю общества. Благодаря культурантропологической трактовке культуры в поле зрения историков попали те же темы, которыми занимается современная антропология, то, что сами антропологи называют «культурой» в широком значении: образцы смыслов, проявляющихся в ритуалах и символах и определяющих индивидуальное и коллективное поведение. Многие достижения антропологии историки просто применили к прошлому как к «другому», т. е. использовали для конструирования прошлого знания о примитивных и традиционных обществах современности. Как отмечает английский историк Джон Тош:

«Историк, познающий общество прошлого через посредство документальных источников, испытывает — или должен испытывать — тот же “культурный шок”, что и современный этнограф, оказавшийся в изолированной “экзотической” общине... Некоторые давно утраченные нашим обществом черты, такие, как кровная месть или обвинения в колдовстве, сохраняются кое-где и поныне; непосредственное наблюдение за их современным вариантом позволяет лучше понять похожие черты нашего собственного прошлого, сведения о которых скудны или отрывочны»³.

Бесспорно, что открытия антропологии дали новый ключ к изучению ментальности людей, которые страдали от холода и

³ Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.: Весь Мир, 2000 [1984/2000]. С. 251, 252.

болезней, не владели средствами «научного» контроля над окружающей средой и были привязаны к местам своего обитания, т. е. людей Средневековья и начала Нового времени.

Совершенно новые предметы исследования, связанные с широким пониманием культуры, появились и в политической истории: политический символизм, политическая ментальность, политический компонент в истории культуры (пропасть, отделявшая образованных от неграмотных, естественно предполагала разные формы и разные степени в обладании властью) и религии (присутствие политического в религиозных движениях и ересях). Историки все больше признают значение «воображаемого», занимаются конструированием «символических универсумов», имиджей нации и культуры.

Интересно отметить, что историки стали анализировать социальные представления по существу даже раньше, чем это понятие было окончательно концептуализировано в теоретической социологии. Начало этим исследованиям положили работы Льва Карсавина о народной средневековой религиозности в Италии XII–XIII вв. (1912, 1915), Йохана Хейзинги о средневековом символизме (1919) и французская история ментальности (Марк Блок, Люсьен Февр), возникшая в 1920–1930-е годы под прямым влиянием работ Эмиля Дюркгейма, Марселя Мосса, Люсьена Леви-Брюля и других представителей французской социологии и антропологии. Ведущие историки неоднократно обращались к проблеме «картины мира» или «видения мира», в рамках которой как раз и анализировались представления о социальной реальности, существовавшие в прошлом.

Вторая, еще более мощная волна интереса к истории представлений, тесно связанная со становлением исторической антропологии, приходится на вторую половину XX в. Хотя в исторических работах обычно используются термины «коллективные представления», «верования», «видение мира», «ментальность» и даже «коллективные эмоции» или «идеи бедняков», по существу речь идет именно о разных формах знания в современном социологическом определении. Назвать совокупность этих представлений «знанием» историки не решились и поныне, поскольку резервируют этот термин за специализированными и отрефлексированными формами знания. Их же больше привле-

кает как раз повседневное знание и преломление в массовом сознании таких форм, как мифология и религия, да и ведутся подобные исследования почти исключительно на материале Средневековья. Поэтому постепенно собирательным понятием, которое, кстати, как научное используют только историки, стало понятие «ментальность», т. е. система мыслительных образов, которые в разных общностях сочетаются по-разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей.

В истории ментальности подробно исследованы проблемы взаимосвязи разных форм знания, например нагруженность религиозной символикой и переплетенность с обыденным знанием правовой и политической мысли Средневековья — тема, открытая еще в 1920-е годы Марком Блоком («Короли-чудотворцы», 1924). «Социологизм» современной историографии проявляется и в том, что в исследованиях этого направления часто рассматриваются не только сами представления («знание»), но и обусловленные ими человеческие действия, поведение людей. Историки по существу не единожды «натолкнулись» и на проблему существования в обществе не только конкурирующих социальных групп, но и конкурирующих символических универсумов, которые постоянно провоцируют социальные конфликты. Параллельно, изучая представления, проявляющиеся в разных видах коллективных действий, историки обнаружили залог стабильности общества в наличии некоей общей для всех социальных групп картины социальной реальности.

К системе культуры, конечно, относится история искусства (история художественной культуры) — составная часть искусствознания, дисциплины, включающей, кроме того, теорию искусства и художественную критику. Первый этап истории искусства Нового времени завершается в середине XVIII в., когда в классической работе Иоганна Винкельмана «История искусства древности» (1763) искусствознание отделяется собственно от истории. После этого история искусства представлена огромным количеством работ по истории отдельных видов искусства, направлений, школ, персоналий и т. д. Появление новых видов искусства (фотоискусство, кино, телевидение, различные виды

электронных искусств и их всевозможные комбинации) вызвало к жизни соответствующие истории (кино, телевидения и т. д.). В то же время внимание исследователей стали привлекать области искусства с более скромным обаянием: пантомима, мода, дизайн, игрушка и т. д.

Культуру можно классифицировать и как элитарную, народную и массовую. Исследования по культуре плебейской, создаваемой и распространяющейся в народе, в XIX — начале XX в. велись преимущественно в рамках фольклористики и тесно увязывались с формированием национального сознания. Затем этой темой увлеклись представители новой социальной истории, а чуть позднее — и исторической антропологии. В целом и высокая культура, и народная культура до сих пор изучались историками до тонкостей, но, как правило, в отрыве одна от другой. Лишь совсем недавно «новая культурная история», отвергнув жесткое противопоставление народной и элитарной культур, начала разрабатывать более гибкие модели их взаимодействия.

Роль внутренней среды для рассмотренных символических подсистем системы культуры выполняет *язык*, и он тоже является предметом исследования историка. Современная историография, чрезмерно озабоченная своими отношениями с семиотикой и лингвистикой, как-то потеряла из виду ту роль, которую сыграла в ее судьбе филология. Но именно с нее началось изучение истории античности в период Возрождения (Лоренцо Валла). И не случайно в области изучения древней истории в XIX в. имена блестящих филологов — Жана-Франсуа Шампольона, Георга Гротефенда, Бартольда Нибура — едва ли не затмевали имена признанных историков.

Современная теория языка начинается с посылки, что язык является не нейтральным посредником, а реальностью, которая определяет смысл мысли или выражения. Опыт и действия людей структурированы языком. Роль таких терминов, как «средние классы», «рабочий класс», «гендер» и других языковых конструктов в конституировании соответствующих социальных групп — тема уже не одной исторической книги. В истории искусства давно и последовательно изучаются условные языки: язык театра, язык кино и др. Язык тела также стал самостоятельной темой исторических штудий.

Предметную подсистему системы культуры представляет история продуктов человеческой деятельности — история материальной культуры: техники и технологий (например, книгопечатания), предметов искусства и быта, питания и потребления, одежды и жилища. Изучение продуктов человеческой деятельности имеет первостепенное значение для истории дописьменных обществ и обществ, от которых осталось мало письменных источников. Остатки поселений, жилища, захоронения, орудия труда, оружие и предметы быта, украшения и декор позволяют судить не только об общем уровне развития данного социума, но и о характере социальной стратификации, хозяйственной деятельности, эстетических представлениях, верованиях и многом другом.

Но не обязательно углубляться в далекие времена и обращаться к дописьменным обществам. Любая эпоха и любое общество, если его нельзя наблюдать непосредственно, конструируются с учетом знаний о продуктах материальной культуры. Отсюда — страсть к коллекционированию и описанию не только предметов искусства, но и всяческих древностей вообще, возникшая еще во времена Возрождения и неутоленная поныне. Масштабно мыслящие историки интуитивно или сознательно всегда учитывали важность воссоздания вещественного мира. Их интересовало, как люди перемещались, чем воевали, что ели и как хранили припасы, во что одевались, как строили и обустроивали жилища. Дэниел Бурстин в «Американцах» сочинил настоящий гимн консервной банке, а Фернан Бродель в «Материальной цивилизации» — хлебу насущному.

Так, например, история костюма важна не только для истории моды или швейного дела. Для внимательного историка — это материал по истории социальных отношений и анализа их эволюции. Отсутствие специальной детской одежды — один из аргументов в обосновании (весьма спорной) точки зрения об отсутствии социальной роли ребенка в Средние века. А сколько написано об эмблематике и костюме эпохи Великой французской революции! Существует даже направление, утверждающее, что вся социальная реальность Французской революции сконструирована благодаря символике внешних атрибутов.

4. Постижение человека

«Предмет истории есть жизнь народов и человечества», — писал Лев Толстой, а Робин Коллингвуд говорил, что «история — это наука о человеческих действиях: историк изучает поступки, совершенные людьми в прошлом». Между этими двумя высказываниями, разделенными более чем полувековым периодом, несмотря на их внешнюю схожесть, существует огромное концептуальное различие. В первом случае, в терминах нашей схемы, речь идет о социальной системе, во втором — о системе личности. От одного высказывания к другому путь по предметному полю проходит от общества — к человеку.

То обстоятельство, что история занимается изучением всей социальной реальности и, соответственно, всех типов действий, выражается, в частности, в том, что, как известно, в теории существуют *homo economicus*, *homo politicus*, *homo sociologicus*, но науке неизвестен *homo historicus* (известен только доисторический человек). Человек или система личности является столь же значимым объектом исторической науки, как социальная и культурная системы. Тема «человек в истории», будучи чрезвычайно многообразной, включает хорошо знакомую нам проблему роли личности в истории, биографии великих людей, появившиеся сравнительно недавно жизнеописания «маленького человека», многие сюжеты политической истории, истории повседневности, истории ментальности и исторической антропологии.

Человек (герой) становится объектом изучения очень рано. Уже античной биографии известны три основных вида произведений этого жанра. Целью гипомнематической биографии было запечатлеть в памяти потомства факты и события из жизни чем-либо выдающегося лица, начиная с его рождения и кончая смертью. Наиболее отчетливо специфика этого вида биографии представлена в «Жизни двенадцати цезарей» Светония. Цель другого вида античной биографии — прославление (или порицание) того лица, жизнь которого описывалась. Классические образцы его — «Евагор» Исократы, «Агесилай» Ксенофонта, «Агрикола» Тацита. Третий вид биографии впервые появляется в античной литературе у Плутарха, придавшего этому жанру суть

и форму моралистико-психологического этюда с неременной дидактикой и установкой на развлекательное чтение особого рода.

В период Средневековья жизнеописания принимают форму «житий», рассказывающих о мучениках, святых, Отцах Церкви и т. д. Эти сочинения, как и античные жизнеописания, имели прежде всего морализаторскую направленность, но тем не менее жития можно считать своеобразными попытками изучения личностей, живших в прошлом, их характеров и поступков. Жития находились в ведении агиографии, что же касается светской историографии, то она вообще «описывает события преимущественно в связи с *лицами*, их вызвавшими» (Бернар Гене), поскольку историку Средневековья были интересны не столько замечательные дела, сколько деяния замечательных людей. В последние столетия Средневековья список героев, достойных пера историка, цель которого состояла с том, чтобы представить образец христианского благочестия или гражданской доблести, выглядел следующим образом: суверен в своем королевстве, рыцарь на войне, судья в суде, епископ среди духовенства, политик в обществе, хозяин в своем доме, монах в своем монастыре.

Возрождение, ознаменованное «открытием мира и человека», создает культ исторической личности (политиков, поэтов, полководцев). При этом трансформация единичного приключения во всемирно-историческое событие присутствовала уже у Данте. Задачей деятелей Ренессанса было увековечение памяти выдающегося персонажа для потомков. Итальянские города стали вспоминать и запоминать своих сограждан. Люди Ренессанса не просто знали биографии и творчество выдающихся представителей античности, в известном смысле они жили среди них (об этом свидетельствуют, например, письма Петрарки древнеримскому историку Титу Ливию). Для Макьявелли поступки Ганнибала или его современника Чезаре Борджа стояли совершенно в одном ряду.

После Возрождения увлечение «историческими личностями» процветает на подходящей политической почве в эпоху абсолютизма, когда возвышение монархического государства и жизнь государя и его двора завораживали историков, равно как и обывателей.

Устойчивая традиция интереса к человеку нарушается просветителями. Историки Просвещения, исходя из того, что человек — часть природы, а культура — лишь способ адекватной реализации природы человека, исключили для себя возможность разработать концепцию самого человека, ибо такая концепция предполагает изменчивость, а не постоянство человеческой природы. Как писал Мишель Фуко:

«Никакая философия, никакое мнение политического или этического характера, никакая из уже существующих эмпирических наук, никакое наблюдение над человеческим телом, никакое исследование ощущения, воображения или страстей ни в XVII, ни в XVIII веке ни разу не столкнулись с таким предметом, как человек. . . Поэтому под именем человека или человеческой природы XVIII в. передал. . . некоторое очерченное извне, но пока еще пустое внутри пространство»⁴.

Однако на смену просветителям пришли романтики. В идеалистической историографии романтиков первой половины XIX в., с ее акцентом на духовное начало и волю к действию, тема личности вновь выдвинулась на первый план. Такие характеристики романтизма, как идеализм, духовность, вера, мистицизм, не могли не произвести переворота в трактовке исторической личности. В романтической историографии проявляется способность к индивидуализации, к восприятию конкретного лица, душевного состояния. Историческая биография в романтическом направлении обрела новую установку: рассматривать чувства и поступки индивида в свете его миссии или идеи, которую он воплощает. И хотя романтики выступили против того, чтобы ограничивать историю лишь биографией великих людей, они время от времени признавали, что все же «история королей имеет большее значение, чем история плотников» (Амабль де Барант), так как связана с более широким кругом явлений. Такие персонажи, как Оливер Кромвель и Наполеон, воплощали для историков принцип *le moi romantique* в политической сфере, а Данте и Уильям Шекспир — в искусстве.

⁴ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. СПб.: А-сэд, 1994 [1966]. С. 364.

Нередко биография писалась с умыслом заменить «историю в целом». Одной из самых претенциозных и самых успешных подобных попыток была 25-томная «Библиотека американской биографии» Джерида Спаркса (1834–1838), задуманная в качестве «достаточно последовательной истории страны», у которой было очень короткое прошлое.

Но «возвращение» человека в историографию продлилось на сей раз недолго. Уже в середине XIX в. в позитивистской парадигме конкретная личность надолго изгоняется из истории, создается механистическая картина «исторического процесса». «Изгнание» человека закрепляется достижениями социологии XIX в., ориентирующей историю на изучение макропроцессов. Случай и роль выдающейся личности были свалены на обочину исследований во время поисков псевдонаучных законов истории. Теоретическая история концентрировала внимание на массах, причем последние анализировались в качестве категории. История личностей (но не человека как системы личности) становится уделом нарративной историографии.

Между тем на рубеже XIX–XX вв. парадигма обществознания начала меняться. Этот процесс был связан с осознанием различий природы и культуры, отличия природных объектов от социальных и появлением в связи с этим культуро-центристской исследовательской парадигмы. Понимание культуры как второй после природы онтологической реальности означало отказ от ее интерпретации как деятельности, направленной на реализацию природной сущности человека. Когда культура была открыта как особая реальность, как продукт истории и сама история человека, началось освоение пространства под именем «человек».

Парадоксально, но в то самое время, когда в социальных науках происходила «субъективистская» революция, история все больше переключалась на изучение структур, систем и институтов. В представлении историков, исторический процесс оставался историей социально-экономических формаций и способов производства, государств, классов и классовой борьбы, политики и общественных институтов, идеологических систем и религий, — словом, чем угодно, но только не историей человека как индивида и общественного существа. Исторический субъект был выведен за рамки исследования или, по меньшей мере, нейтра-

лизован, что на практике привело к усилившемуся безразличию по отношению к сознанию и воле действующих лиц.

Правда, тема психологии человека возникла в универсалистских построениях сторонников культурно-исторического синтеза. Подчеркивая, что только человек может быть источником и носителем исторического развития, Курт Брейзиг, например, утверждал, что задачей социального историка, задающего вопрос о создателе социальных феноменов, должно стать исследование человеческой души. Универсальная история при такой постановке вопроса становилась социальной психологией, «историей души в процессе становления человечества» или еще проще — «психологией истории».

Однако если Брейзиг, несмотря на свои сугубо отвлеченные и схематичные конструкции прошлого, декларировал роль индивидуальности, то у других социологизирующих историков-позитивистов интерес вызывала лишь коллективная «личность» — нация или класс со своей социальной психологией. Так, Карл Лампрехт усматривал в коллективной психологии нормативную основу исторической науки, поскольку движущей силой истории считал развитие социальной психики. Интерпретируя историю как закономерное эволюционное развитие, главным содержанием которого является культурный прогресс, а носителем последнего — нация, он настаивал на том, что базовым объектом изучения историка должна стать именно социальная общность.

«Коллективистский» подход развивала и структурная история, но в ней человек изучался не как модель определенного психологического типа, а как представитель разных общностей. Проникновение в тайну человека предполагалось через исследование социальных целостностей. Уже в середине XIX в. в историографии появляются и затем надолго задерживаются два типа личности: «человек классовый» и «человек национальный». Эти персонажи очень крепко увязаны с известными идеологическими концепциями. Если классовые типы — творение разных идеологий, то носители «национального характера» и «национального духа» в значительной мере являются конструктом националистической историографии и художественной литературы.

В послевоенной структурной истории, особенно начиная с 1960-х годов, к индивиду подходят уже диверсифицированно, с

пониманием того, что он является членом не одной доминирующей, а многих социальных общностей: национальной, профессиональной, соседской и т. д. При этом в историографии конца 1960-х годов движение против увлечения историческими личностями продолжается и даже усиливается, во всяком случае приобретает программный характер. Не выдающаяся личность, не элиты, а «массы» объявляются главным героем историка, но изучение масс становится не абстрактно-типологическим, а действительно историческим: пишется огромное количество работ о культуре, ментальности, быте преимущественно «простых людей» (горожан, рабочих, крестьян, деклассированных групп и т. д.). На фоне всех этих теоретико-идеологических перемен нарративная биография исторических личностей, конечно, сохраняется, но ведет научно непрестижное существование, ассоциируясь нередко с популярной исторической литературой.

Только в 1970-е годы акцент начинает смещаться от изучения социального поведения, активности человека в группе и группового менталитета к исследованию индивидуального поведения и его мотивации. На смену затянувшемуся «социологическому повороту» с большим запозданием, но пришел «антропологический поворот». Возвращение субъектов истории, конечно, стало возможным благодаря внедрению понятия «культура» в широком смысле, с которым не совмещаются безличные структуры, «серии» или «срезы». В рамках «культурной» парадигмы произошла новая демаркация предметного поля историографии, с переносом центра тяжести на систему личности. В фокус интересов исторической антропологии помещается конкретный исторический человек с его опытом и образом поведения, обусловленными культурой. Таков новый «синтез» человеческий действий, опыта и структур, в которых реализуется еще одна попытка подхода к тотальной истории.

Как отмечал французский историк Пьер Нора в 1974 г., «человек как целое — его тело, его пища, его язык, его представления, его технические орудия и способы мышления, изменяющиеся более или менее быстро, — весь этот прежде невостребованный материал стал хлебом историка»⁵. Таким образом, с пол-

⁵Цит. по: *Стоун Л.* Будущее истории // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 160.

ным правом можно говорить о возвращении человека уже в качестве объекта научного анализа в историографию (социальная история, историческая антропология, история повседневности, микроистория, история женщин и т. д.).

Соответственно изменилась и историческая биография. Главная задача такого исследования, как ее в итоге стали понимать в XX в., — не просто поместить историческую личность в широкий социально-политический и культурный контекст, в какой-то мере сфокусировав в ней эпоху. Желательно при этом еще преуспеть в совмещении биографического и исторического времени. Показать социальные роли исторического актера и «производство памяти» о нем. И не пренебрегать психоанализом.

В возможности создать вариант «тотальной истории» состоит ныне сверхзадача исторической биографии. Такие попытки особенно важны применительно к политическим системам, когда власть в огромной степени концентрируется в руках одного человека (Гитлер, Сталин), или к переходным эпохам, когда радикальные перемены во многом зависят от воли одной личности, инициирующей их (Фридрих II, Махатма Ганди), или когда личность воспринимается как тип эпохи (Данте, Петрарка), или как «актер» в определенной социальной роли или, скорее, ролях (Людовик Святой).

В последние десятилетия для конструирования исторической реальности историки стали обращаться к разработке биографий «незамечательных людей». На основании анализа самых разных документов они конструируют типы индивидов прошлого, которых предшествующая историография вообще не замечала. В подобных исследованиях попутно воссоздаются детали и приметы прошлой социальной реальности, обреченные прежде пребывать в «архиве». Кроме того, во всех случаях, как заметил Джованни Леви,

«биография конституирует... идеальное место для верификации промежуточного (и тем не менее важного) характера свободы, которой располагают действующие лица, а также для наблюдения за тем, как конкретно функционируют нормативные системы, исполненные противоречий»⁶.

⁶Цит. по: *Ле Гофф Ж.* Людовик Святой / Пер. с фр. М.: Ладомир, 2001 [1985]. С. 20.

Отдельно стоит сказать об исторических биографиях, написанных с позиций психоистории. Этот термин появился в 1950-е годы в США, в исследовании психоаналитика Эрика Эриксона, посвященном истории молодого Лютера. Бесспорно выдающийся талант автора обеспечил его опыту успех — реакция на книгу была столь бурной, что даже тогдашний президент Ассоциации американских историков, вполне «традиционный» ученый Уильям Лангер, удивил своих коллег, определив первоочередную задачу историков как более внимательное отношение к возможностям психологии. Героями психоистории вслед за Лютером стали такие исторические личности, как Адольф Гитлер, Лев Троцкий, Махатма Ганди и другие. Психоанализ оказал большое влияние на критику некоторых источников — дневников, писем (например, стал учитываться факт психологической потребности автора в фантазиях).

Сегодня для историков очевидны и значимость, и ограниченность возможностей психоанализа для их дисциплины. Если «базисная» личность варьируется от общества к обществу, то она изменяется и от одного периода к другому. Области, где может эффективно использоваться психоанализ, очерчены достаточно четко: исследование выдающейся личности, изучение культурной традиции. Известны и примеры применения психоанализа к социальным группам, например к истории крестьянских и городских религиозных движений, при изучении которых историк постоянно имеет дело с отклонениями, но в целом это направление не очень прижилось в исторических исследованиях.

В последние десятилетия психологизм более ощутимо присутствовал в исторической науке не в качестве психоистории, а в рамках уже упоминавшейся истории ментальности. История ментальности связана с эмоциональным, инстинктивным и имплицитным, иными словами, с теми областями мышления, которые часто вообще не находят непосредственного выражения. Как тема исторических исследований начинают использоваться и другие объекты психологии. Например, если история массовых истерий и отклонений в поведении толпы — сюжет довольно «старый» в исторических штудиях, то история сумасшествия и отношений между «безумными» и «нормальными» людьми

освоена относительно недавно (см., например: Мишель Фуко «История безумия в классическую эпоху», 1972).

* *
*

Мы попытались показать, как на протяжении тысячелетий история осваивала свой предмет. Процесс освоения социальной реальности историками осуществляется не только путем экспансии (вовлечения в поле зрения все новых элементов и связей), но и путем углубления в уже освоенную тематику. Новые ракурсы и новые подходы к предмету прослеживаются повсеместно — от всемирной истории до исторической биографии, от универсальной истории до такого инновационного направления историографии как микроистория.

В конце XX в. произошла лавинообразная фрагментация истории, что отражает включение новых элементов социальной реальности в круг исторических сюжетов. Если когда-то Люсьен Февр сетовал: «Подумать только — у нас нет истории Любви! Нет истории Смерти. Нет ни истории Жалости, ни истории Жестокости. Нет истории Радости», то по прошествии чуть более 50 лет наряду с привычными всеобщей, страновой, экономической, социальной, политической, культурной, военной, аграрной историей и историей международных отношений мы имеем историю повседневности, включая историю еды и историю запахов, рабочую историю, историю города, демографическую историю и отдельно историю детства и историю старости, историю женщин и гендерную историю, экоисторию, психоисторию, историю ментальности и многое другое. Культурная история раскалывается на множество вариантов в соответствии с широким определением культуры, но и этого мало: мы обнаруживаем, например, «культуральную историю». Однако теперь другой известный историк Лоуренс Стоун задается вопросом: «Как связать историю обоняния с историей политики?» И отвечает: «Никто толком не знает».

Нам кажется, что предложенное нами понимание предмета истории в какой-то мере снимает риторический характер вопроса Лоуренса Стоуна. Пример социальных наук, предлага-

ющих все новые и новые теории для объяснения нынешней социальной реальности, позволяет историкам создавать немислимые прежде дискурсы для прошлого (язык и власть, природная среда и национальная идентичность, культура смеха и социальная иерархия). Эти и другие дискурсы вполне наглядно можно представить как простую или сложную связь элементов разных систем социальной реальности и тем самым «связать историю обонания с историей политики».

Обретение нового предмета в историографии, конечно, остается и способом самоутверждения отдельных социальных групп, а также научных школ, центров и даже поколений (в том числе и поколений историков). Но, справедливости ради, заметим, что все новации в освоении предмета исторической науки, произошедшие на протяжении последних десятилетий, не отменили старых традиционных объектов исследования.

Глава 4

СОБЫТИЯ И СТРУКТУРЫ

В предыдущей главе мы рассмотрели предмет исторического знания в статике. Однако прошлая социальная реальность, равно как и настоящая, — это не статическое состояние, а динамический процесс, который складывается из событий, а не из объектов. Поэтому в данной главе рассматриваются динамические аспекты, связанные с конструированием социальной реальности в исторической науке.

Развитие исторического знания предполагает *различение* отдельных этапов исторической жизни и осмысление их специфического содержания. Выделение этапов по существу означает определение единицы времени, которое отличается наполненностью историческим смыслом. Подобные приметы мы обнаружим и в смысловом наполнении единиц времени: век, период, эпоха и т. д. А выделение и ранжирование самих временных структур является намного более поздним способом организации исторического времени, связанным с отказом от «событийности» как основы исторического анализа.

1. Исторические события

Событие всегда было и остается основой, исходным пунктом историографии. В отличие от происшествия или случая, событие — это *категория* исторического анализа. На протяжении большей части своего существования историография была,

прежде всего, историей событийной и писалась в форме рассказа. Существует три типа событий, значимых для конструирования прошлой социальной реальности, — трансцендентные, природные и социальные. Природные события включают физические (солнечные затмения, наводнения, да и просто перемена погоды перед битвой, например) и биологические (рождение, болезнь и смерть). Истории известно и множество трансцендентных событий — явления, кровотечения, вмешательство трансцендентных субъектов. Но, конечно, главные для исторического знания — социальные события, т. е. человеческие действия.

Социальные события можно соотносить с социальными или культурными действиями. Социальные действия, в свою очередь, можно разделить, например, на политические, экономические, бытовые, а культурные — на творчество, ритуалы, обучение и т. д. Отбор «исторических» событий, т. е. событий, значимых для историка, их интерпретация, да и общая оценка роли событий в жизни общества и историческом исследовании — тема перманентной дискуссии, которую ведут историки.

Событие как элемент исторического анализа

Представления о значимости событий, о том, какие из них являются «историческими» и поэтому должны попадать в поле зрения историка, значительно менялись на протяжении веков. Для иудейской и христианской историографии существенное значение имели действия, описанные в библейской истории. Так, в древнеиудейской историографии главными событиями считались Сотворение мира и человека, потоп, переселение Авраама в Ханаан, рождение Исаила, введение обряда обрезания, рождение Иакова, исход евреев из Египта под водительством Моисея, постройка Первого (Соломонова) Храма, разрушение Храма Навуходоносором, начало вавилонского пленения, конец персидского владычества (время первосвященника Иаддуя).

Значительная часть этих событий была воспринята в качестве исторически значимых христианской историографией. К ним добавились новые события религиозной жизни — прежде всего Рождение Христа, эпизоды его земной жизни и Воскре-

сение, а также Вселенские соборы, принятие христианства в разных странах, рождение или смерть праведников, мучеников или деятелей Церкви, возведение храмов и т. д., которые совмещались с событиями гражданской истории — вступлениями на престол правителей и проч. Очевидно, что религиозное знание о прошлом включает как трансцендентные, так и социальные события, а также и природные, которые нередко наделяются смыслом «знамений». Базовыми, определяющими «ход истории», являются, естественно, события трансцендентные. Но, как замечает французский историк Бернар Гене, средневековая история, будучи преимущественно событийной, редко употребляла слово «событие» (*лат.* accidens, eventus, adventus), потому что средневековые историки описывали не столько то, что произошло, сколько то, что было *сделано*. И термины *res gestae*, *gesta*, *acta*, *facta* — «деяния», «дела», «поступки» — встречаются чаще всего.

Чем прочнее становились позиции рационалистической науки, тем с большим презрением представители «научной истории» относились к истории описательно-событийной (см. *Вставку 1*).

Вставка 1. «Событие» в трактовке школы «Анналов»

Люсьен Февр: «События — это “поверхностный слой истории”. Пена. Гребешки волн, рябь на поверхности мощных дыхательных движений океана... Мелкая пыль индивидуальных поступков, судеб, происшествий»¹.

Фернан Бродель: «Событие — это взрыв, “звонкая новость”, как говорили в шестнадцатом столетии. Его угар заполняет все, но он кратковременен и пламя его едва заметно»².

Показательны в этой связи попытки самоопределения историографии Нового времени, ее отделения от хроники как воплощения средневековых исторических сочинений. Отличие но-

¹ *Февр Л.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II [1950] // Февр Л. Бои за историю / Пер. с фр. М.: Наука, 1991. С. 185.

² *Бродель Ф.* История и общественные науки. Историческая длительность [1958] // И. С. Кон (ред.). Философия и методология истории. Сборник переводов. М.: Прогресс, 1977. С. 118.

вой «истории» от традиционной «хроники» в значительной мере связывалось именно с различиями в *качестве* событий, которые были объектами исторических исследований. Например, индивидуальные события относили к хронике, а общезначимые — к истории, несущественные — к хронике, а важные — к истории. Или подчеркивали тесную взаимосвязь между событиями в истории и их несвязанность в хронике, логическую упорядоченность — в истории, сугубо хронологический порядок — в хронике, способность проникать в суть событий — в истории, поверхностность — в хронике, и т. д. Впрочем, как иронично заметил Мортон Уайт, различие между хроникой и историей на самом деле не столь велико:

«Хронист говорит нам что-то вроде: “Король Англии умер, а потом королева Англии умерла, а потом принц Англии умер, а потом принцесса Англии умерла. И на этом кончается наша хроника”. А соответствующая история может гласить: “Король Англии умер, поэтому королева Англии стала горевать. Ее горе довело ее до смерти. Ее смерть повергла принца Англии в тоску, и эта тоска довела его до самоубийства. Его смерть сделала принцессу одинокой, и она умерла от этого одиночества. И этим заканчивается наша печальная история”³.

Однако «понижив» статус событий, историография продолжала активно оперировать ими, ибо в значении «человеческих действий» они и есть история (в конечном счете ничего другого, кроме человеческих действий и их результатов, в истории нет). Чаще всего событие рассматривается как исторически важное из-за того, чему оно послужило причиной. При этом, как замечает Уильям Дрей, «то, что не является *исторически важным событием*, может... быть *важным историческим событием*»⁴. Точно так же некое событие может выделяться в качестве *предвестника* событий, наступивших позднее или *симптома* какой-либо более общей тенденции, или явления.

К числу важных традиционно относились политические события. Власть издавна претендовала на главенство в анналах

³ White M. Foundations of Historical Knowledge. New York; London: Harper & Row, 1965. P. 223.

⁴ Dray W. H. On Importance in History // Mind, Science, and History / Eds. H. E. Kiefer, M. K. Munitz. Albany: State Univ. of New York Press, 1970. P. 257.

истории, и правящие элиты с древнейших времен были заинтересованы в определенной интерпретации событий. Во все времена и у всех народов, имеющих письменную историю, последовательно отмечается приход к власти очередного правителя, и значимость события такого рода не требует проверки временем. Оно признается «историческим» автоматически, что свидетельствует о значении власти. Издавна важными считались и другие события военной и дипломатической истории: победы и поражения в битвах, чужеземное иго, восстания, бунты, мятежи. Как писал Марк Блок,

«История Франции»... времен около 1900 г. еще движется, ковыляя от одного царствования к другому; на смерти каждого очередного государя, описанной с подробностями, подобающими великому событию, делается остановка. А если нет королей? К счастью, системы правления тоже смертны: тут вехами служат революции. Ближе к ним выдвигаются периоды преобладания той или иной нации... Гегемония испанская, французская или английская — надо ли об этом говорить? — имеет по природе своей дипломатический или военный характер. Остальное прилаживают как придется»⁵.

Безусловной значимостью в глазах историков всегда обладали такие происшествия, как возникновение и падение города, государства. Помимо бесспорной завораживающей силы подобных событий, содержащих в себе аналогию со смертью, здесь, видимо, велика роль связи конкретной человеческой общности с пространством, которое, с одной стороны, служит способом идентификации, с другой — задает границы легитимности власти. Надо сказать, что смерть, будучи событием биологическим, традиционно относилась к числу значимых «исторических» событий, приобретая тем самым социальное значение. Да так оно и было. Вспомним хотя бы, как круто изменилось течение Семилетней войны, когда в результате смерти русской императрицы Елизаветы Петровны на престол вступил Пётр III, ярый поклонник Фридриха II. Он немедленно прекратил военные действия против Пруссии и возвратил ей завоеванные русскими войсками территории без всякой компенсации, а корпусу Чернышёва

⁵ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Наука, 1986 [1942/1949 посм.]. С. 100.

приказал присоединиться к прусской армии для войны против Австрии.

Значимость смерти признавалась не только в отношении правителей, но и когда речь шла о «широких массах населения» — отсюда то внимание, которое заслужили у историков стихийные моровые бедствия: эпидемии и неурожай. Например, чума, война и голод являются главными событиями исторической эпопеи средневековой Франции, нарисованной мэтром современной историографии Эммануэлем Ле Руа Ладюри в его знаменитой лекции «Неподвижная история», прочитанной в 1973 г.

Интерпретация события требует различать внешнюю сторону социального действия и его внутреннее содержание. Сущность подобного различения хорошо сформулирована Робином Коллингвудом.

«Под внешней стороной события я подразумеваю все, относящееся к нему, что может быть описано в терминах, относящихся к телам и их движениям: переход Цезаря в сопровождении определенных людей через реку, именуемую Рубикон, в определенное время или же капли его крови на полу здания сената в другое время. Под внутренней стороной события я понимаю то в нем, что может быть описано только с помощью категорий мысли: вызов, брошенный Цезарем законам Республики, или же столкновение его конституционной политики с политикой его убийц. Историк никогда не занимается лишь одной стороной события, совсем исключая другую... Историк интересуется переходом Цезаря через Рубикон только в связи с его отношением к законам Республики и каплями крови Цезаря — только в связи с их отношением к конституционному конфликту»⁶.

Очевидно, что анализ «внутренней стороны события» — это и есть соотнесение его с контекстом (что и характерно для исторического знания, начиная от Геродота, и концептуализируется уже в работах Якоба Буркхардта). Именно по этой причине отнесение происшествия к рангу исторических событий не всегда определяется его важностью в глазах современников, а чаще

⁶ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории* [1946 посм.] // Р. Дж. Коллингвуд. *Идея истории. Автобиография* / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 203.

происходит *post factum*, когда очевидными становятся последствия случившегося, что позволяет разместить его во временной перспективе. Ведь какой бы прозорливостью ни отличались те или иные современники, они никогда не переживают исторический момент так, как историк, который знает, что случилось *потом*. Они просто не в состоянии увидеть день завтрашний с той же отчетливостью, с какой его видит исследователь как день вчерашний.

Например, известно, что историческое значение английской революции XVII в. было совершенно бесспорно для англичан — современников революции. Но выходящей за рамки британской истории роль английской революции была признана лишь в середине XIX в., в частности, благодаря Карлу Марксу, который придал ей значение победы нового общественного строя, полагая, что эта революция ознаменовала победу буржуазной собственности над феодальной со всеми сопутствующими трансформациями. На этом примере мы видим, что для определения ранга события оказалось необходимым включить его в широкий исторический контекст, который к моменту его свершения еще не сформировался, произвести сравнительный анализ (в данном случае типологии революций) и затем разместить событие в определенной структуре (в данном случае формационной).

Неважно, большое событие или маленькое, но его описание всегда охватывает некую область социальной реальности во времени. «Точно так же как нельзя буквально “нарисовать” точку, так нельзя буквально “описать” уникальное “событие”»⁷. Процедура контекстуализации неизбежно помещает отдельное событие в исторический континуум.

Одно и то же происшествие может быть отмечено как событие, а может и нет, также в зависимости от задач исторического исследования. Даже самое нейтральное изложение событий невозможно без их интерпретации, которая, по образному выражению английского историка Теодора Зелдина, скрепляет события, подобно цементу. Наконец, важность событий прошлого определяется исключительно по документальным источникам,

⁷ *Wallerstein I. World-Systems Analysis // Social Theory Today / Eds. A. Giddens, J. H. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 315.*

и пока источники молчат, событие отсутствует. История рассказывает о социальном мире, представляя его как констелляцию или цепь событий разных уровней. Другой вариант создания истории, типичный для современной историографии и связанный с появлением микроистории, — применение комплексного подхода, который был традиционно характерен для макроистории, к единичному событию, локализованному во времени и в пространстве. Он предполагает пристальный (что недостижимо при изучении крупных событий и протяженных периодов) и всесторонний (экономический, социальный, политический, ментальный и т. д.) анализ на примере конкретных явлений.

Событие и темпоральная организация истории

Отношения события с временем очень тесные, но не столь простые, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, как отмечал Фернан Бродель, время можно измерять событиями, с другой — человеческие действия сами измеряются астрономическим временем («битва длилась до захода солнца», «Столетняя война»). Более того, именно в отношениях между событиями мы можем постичь время и пространство, которые «являются способами выражения отношений между объектами и событиями»⁸.

Роль человеческого действия как исходного элемента исторического времени связана в первую очередь с датировкой. Сама природа события такова, что событийная история привязана к хронологии. Проще говоря, датирование как маркировка времени означает, что когда нас спрашивают, что происходило в таком-то году, мы называем некие события, придавая этому времени определенные качественные характеристики. В свою очередь датировка как темпоральная организация истории означает, что при ответе на вопрос о каком-либо событии мы прежде всего называем время, когда оно произошло, тем самым помещая это событие в объективно протекающее время не для того, чтобы оно соучаствовало в его протяженности, но для того чтобы каждое событие получило соотносимое с другими «вре-

⁸ Giddens A. A Contemporary Critique of Historical Materialism. 2 vol. Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 1981. Vol. 1. P. 30–31.

мяположение». Кроме того, выделение события немислимо без установления хронологических «до» и «после».

Так или иначе события, происшествия, случаи в историческом повествовании располагаются последовательно, а их датировка издавна входила в обязанности историка и для многих составляла одну из увлекательнейших сторон исторического поиска. Но при этом как способы датировки, так и отношение к датам существенно различались в разные эпохи. В частности, хронология Средневековья имела знаковый характер, т. е. она не определялась объективным временем, которое может быть точно измерено. Средневековый человек не испытывал нужды в отсылке к числу, но ему нужна была ссылка на время. Поэтому историки Средневековья не терзались сомнениями, характерными для современных историков, рассказывая подряд о событиях и происшествиях, единственная связь между которыми состояла в том, что они происходили в одно время: град, мор, битвы, договоры, кончины правителей.

Новое время породило иное отношение к датировке событий, которая в гораздо большей степени несет смысловую нагрузку, и цепь событий, выстроенных в хронологическом порядке, стала подчиняться некоему замыслу, концепции, априорным правилам отбора значимых событий и т. д. Одновременно возрос интерес к научной хронологии, которая начала формироваться в XVII в. В свою очередь Иммануил Кант выдвинул задачу создания исторически имманентных временных критериев, настаивая, что хронология должна следовать за историей, и эти критерии все четче проявлялись в исторических и теоретических дискуссиях конца века Просвещения.

Для конструирования прошлой социальной реальности существенно, *когда* произошло то или иное событие, хотя бы ради определения порядка человеческих действий, не говоря уже об установлении каузальной связи; и дата — важный вклад историка в общественное знание. Кроме того, если хронологическое время легко разрушается в структурной истории, в истории ментальности или в истории культуры, то в событийной истории, больше чем в какой-либо другой, мы сталкиваемся с необратимостью исторического времени.

Первоначально в историографии событие полагалось как

единичное происшествие, возведенное в ранг значительного, затем появились «не-точечные», или макрособытия — политические, социальные, экономические. Они обычно понимаются как целая цепь событий, охватывающих достаточно протяженный период (война, революция и др.). В подобные критические периоды события, следующие одно за другим и обычно относимые к рядовым (встречи, переговоры и т. д.), уже в глазах современников становятся историческими и определяют параметры макрособытия. В цепи событий, характеризующих макрособытия, нередко можно выделить центральное событие-символ: например, похищение Елены, Бостонское чаепитие, взятие Бастилии, выстрел в Сараево, залп «Авроры», поджог Рейхстага, 11 сентября (сплошной терроризм и экстремизм!).

События, следующие одно за другим, образуют временной ряд, который не является простой совокупностью несвязанных событий. Историческое мышление как раз и основывается на предположении (или априорном принципе) о существовании внутренних, или необходимых, связей между событиями во временном ряду, так что одно событие необходимо ведет к другому, и поэтому возможно вести исследование от настоящего к прошлому. Анализ, продвигающийся от «следствия» к «причине», когда единичное событие легко или с некоторыми трудностями увязывается с предшествующими фактами и кажется нам неотделимым от них, Фернан Бродель назвал излюбленной историками игрой.

Событие является исходным элементом структурирования времени в историческом повествовании. В рамках концепции «Время-1» время «заполняется» событиями, и датировка событий по существу означает маркирование точек на временной оси. Следующая функция события, связанная со структурированием исторического времени, — демаркация исторических периодов. Событие в этом значении трактуется как разрыв исторического времени, перерыв в постепенности. Периодизация необходима исторической науке как организующая и упорядочивающая схема знаний об исторических событиях и процессах. Отделив прежде всего настоящее время от прошлого, историография последовательно продолжает этот акт разделения. Хронология делится на эпохи (например, античность, Средние века, Новое

время, новейшая история), эпохи — на периоды, периоды — на этапы и т. д.

Уже античные историографы за основу деления истории на периоды брали события, но не любые, а только «значимые». Еще более характерна разметка прошлого по важным событиям для христианской историографии. Историография Нового времени придала эпохам и периодам совершенно новое звучание, наполнив их качественным содержанием. В бесконечной череде исторических событий выделяются события эпохальные. Это — события, определяющие век или эпоху. К несчастью для современников, это преимущественно события драматического, даже трагедийного плана. Историки рассматривают их как начало или даже как источник множества последующих событий и считают эпоху исчерпанной, когда влияние этих событий сходит на нет.

Поиски исходного события, события-ядра, требуют установления некоего предела, «порога фрагментации», за которым событие как таковое разрушается.

В историографии существуют общепризнанные случаи эпохальных событий. Одно из них — Великая французская революция. Значение этой революции в Европе и США было очевидно уже современникам, которые называли свое время эпохой революции и не сомневались, что процесс этот будет продолжаться. Возьмем для примера слова великого Гёте, произнесенные им в обращении к прусским офицерам накануне проигранной затем битвы при Вальми против французской революционной армии: «Отсюда и сегодня начинается эпоха в мировой истории, и вы можете сказать, что вы были при этом».

Социально значимое событие делает исторически важным соответствующий период времени. Таково, например, историческое значение для американцев 1929–1933 гг. («Великая депрессия») или 1861–1865 гг. (Гражданская война). Социальная значимость времени, отмеченного определенным событием, может существовать для одних социальных или политических групп и отсутствовать для других — например, 1937 г. в России. Впрочем, роль того или иного момента или периода, связанного с конкретным событием, может определяться не только политическими пристрастиями, но и кругозором той или иной обще-

ственной группы, спецификой ее образования или интересов. Сказанное особенно справедливо для событий, относящихся к сферам культуры, науки, техники и т. д.

Даже протяженность рассматриваемого периода оказывает влияние на отбор «значимых» событий и их интерпретацию. Однако как бы плотно ни был заполнен событиями период, привлечший внимание историка, между реальным временем событий и их исторической конструкцией пролегает глубокий разрыв. Прочитируем Георга Зиммеля:

«Историческая картина, именуемая нами Семилетней войной, не содержит в себе пустот, она тянется с августа 1756 г. по февраль 1763 г. Но в действительности непрерывны только события, которые длились в этих временных границах, а также в локализуемых войной пространственных границах. «История» этого времени никоим образом не является непрерывной... Историческая картина, которой мы действительно располагаем на основе исследований и фантазии, состоит из прерывных отдельных картин...»⁹.

С конца XIX в. в историографии идет непрекращающаяся дискуссия о роли событий в историческом исследовании. Очевидно, что событийная история в «чистом» виде, подразумевающем последовательное шествие событий в единой хронологической и каузальной связи, является весьма условной. Она может рассматриваться либо как простейшая форма исторического дискурса, либо, с современной точки зрения, как одна из крайних степеней абстракции исторического анализа. Например, мало кто будет спорить, что историю культуры невозможно интерпретировать в рамках линейного хронологического времени. Каждая группа явлений в искусстве имеет собственную временную последовательность, а хронологически они могут далеко отстоять друг от друга и занимать разные места на своих «кривых времени». То же относится к философским доктринам, истории коллективных представлений и многим другим социальным явлениям.

⁹ Зиммель Г. Проблема исторического времени [1917] // Зиммель Г. Избранное: В 2 т. / Пер. с нем. М.: Юрист, 1996. Т. 1. С. 525.

2. Структуры: статика и динамика

В Новое время в изучении истории постепенно сложились два основных подхода, ни один из которых в конкретном исследовании последовательно реализовать невозможно, но можно декларировать. Сторонники первого полагают, что история собственно состоит в описании событий, сторонники второго пытаются анализировать историю, по возможности игнорируя исторические события и фокусируя внимание на социальных целостностях (обществах, культурах, цивилизациях, общественно-экономических формациях, т. е. подсистемах социальной реальности и их элементах), которые интерпретируются как структуры.

Становление структурного анализа

Поскольку понятие «структура» используется в разных значениях, коротко остановимся на истории термина. Само слово «структура» (*лат.* *structura*) уже в классической латыни имело два значения: во-первых, здание, сооружение, постройка; во-вторых, расположение, порядок. В Средние века термин «структура» служил одним из способов определения понятия формы (форма как структура, т. е. организация содержания). В Новое время термин «структура» стал активно использоваться лишь в XIX в., прежде всего в химии, где он применялся в рамках возникшей в это время теории химического строения вещества. Заметим, что в современном русском языке исходные значения латинского «структура» адекватно передаются словом «строение», которое имеет два значения: 1) здание, постройка; 2) взаиморасположение и связь составных частей чего-либо, образующих единое целое.

В конце XIX в. термин «структура» начал применяться в психологии (так называемое структуралистское направление). Тогда же, в конце XIX в., термин «структура» впервые был применен в лингвистике (Фердинанд де Соссюр).

В первой половине XX в. понятие структуры берут на вооружение этнологи или культурные антропологи (начиная с работ Бронислава Малиновского и Альфреда Рэдклифф-Брауна) и литературоведы. В частности, в работах представителей русской

формальной школы в литературоведении — Владимира Проппа, Бориса Томашевского, Александра Реформатского и др. — «структура» связывалась и со средневековым значением «формы», и с психологическим понятием «гештальт». Наконец, во второй половине XX в. термин «структура» прочно утверждается в социальных и гуманитарных науках благодаря развитию так называемого структурно-функционального подхода в социологии (Толкотт Парсонс, Роберт Мёртон и др.) и структуралистского направления в культурологии (Клод Леви-Строс, Мишель Фуко в период «археологии знания» и др.).

Соотношение понятия «структура» с понятием «система» не вполне ясно. С одной стороны, под структурой часто понимаются компоненты или элементы системы. С другой стороны, точно так же структура определяется как совокупность устойчивых связей или отношений в системе. Наконец, структура может интерпретироваться как некая целостная система в совокупности ее элементов и связей, обладающая определенной устойчивостью и упорядоченностью. В результате возникает и четвертое значение, а именно «порядок» системы (социальный порядок, культурный порядок), ее внутренняя устойчивая организация.

Суммируя, можно сказать, что в целом понятия системы и структуры достаточно близки. Напомним, что в общем виде «система» (*греч.* σύστημα — целое, составленное из частей, соединение) определяется как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство. Но если система подразумевает постоянное изменение, то структура выражает устойчивые, относительно неизменные характеристики системы, ее «внутреннее устройство». Именно акцент на постоянстве, неизменности и был заложен во всех основных «структуралистских» концепциях — от Вундта и де Соссюра до Парсонса и Леви-Строса. В некотором смысле все концепции структуры исходили из химических или биологических ассоциаций: например, когда вы мнете пластилин, меняется его форма, но молекулярная структура остается неизменной; человек может двигаться, но его структура (органы и связи между ними) не меняются.

Как типичный пример структурной концептуализации можно привести существовавшие со времен античности и особенно

популярные в Средние века и раннее Новое время представления об обществе как подобии человеческого тела, выделявшие отдельные элементы (голова, руки, ноги и т. д.) и связи между ними. Легко заметить, что применительно к социальной реальности начиная с конца XIX в. понятие структуры используется в рамках всех трех дифференцированных нами подсистем — личности (структуры психики), общества (социальные структуры) и культуры (языковые структуры, текстовые структуры, а также структуры системы ценностей, системы знания и т. д.).

В XX в. системный подход, опирающийся на методологию внешне далеких от изучения общества дисциплин — биологии и кибернетики, — оказался мощным инструментом в руках представителей социальных наук. Неудивительно, что к нему активно начали обращаться и историки. С появлением современных социологических версий понятия «структура» — структурно-функциональной и структуралистской — в историческом исследовании, прежде всего в рамках «структурной истории», постепенно утверждается более формализованный анализ разных общественных структур. При этом представители разных историографических направлений и школ в зависимости от подхода к анализу социальной реальности анализируют не только разные структуры, но и используют разные структурные концепции.

В современной историографии можно выделить аналоги всех основных структурных подходов к анализу социальной реальности, прежде всего структурно-функциональный, где концепция структуры относится к комплексу социальных институтов (государство, семья и т. д.) и структуралистский, в центре внимания которого находятся структуры и системы культуры. Структурная история занимается конструированием не человеческих действий, а общественных структур (и, кстати, в структурной истории процесс *конструирования* прошлой социальной реальности предстает нам более наглядно). В то время как события инициируются и переживаются конкретными людьми, структуры надындивидуальны и интерсубъективны. Их никогда нельзя свести к отдельным личностям и лишь изредка можно связать с четко определенными группами. Временные константы структур пересекают хронологически обозримое пространство опыта, доступного субъектам, вовлеченным в события.

Проблема отношений между действиями индивидов и социальной структурой включает целый ряд вопросов, актуальных для современной социологии, и стимулировавших многолетнюю дискуссию. В этой дискуссии отчетливо различимы три основных подхода. Представители методологического индивидуализма, этнометодологии или феноменологической социологии считают первичным человеческое действие, отрицая детерминирующее воздействие структур на индивидов, которые сами «создают мир вокруг себя». В этом лагере можно встретить даже крайнюю позицию, утверждающую, что «никакой социальной структуры вообще не существует». Представители второго подхода, основы которого заложил Эмиль Дюркгейм и который получил наиболее последовательное развитие в работах функционалистов, предлагают заниматься исключительно социальными структурами, которые в свете их теорий определяют и действия, и характеристики индивидов.

Сторонники третьего, синтезирующего, подхода (например, Питер Бергер и Томас Лукман, Энтони Гидденс, Пьер Бурдьё) отвергают и идею структур, полностью детерминирующих действия индивида, и тезис об индивидах, свободно создающих свой мир. В их концепциях акцент делается на взаимовлиянии человеческих действий и существующих в социальном мире структур. Так, по мнению Бергера и Лукмана, смыслы, придаваемые индивидами своему миру, становятся институционализированными или превращаются в социальные структуры, а структуры становятся частью систем смыслов, используемых индивидами, ограничивая их действия. Очевидно, что ключевыми для указанного подхода являются следующие вопросы: каким образом структуры определяют действия индивидов или каким образом индивиды создают свой мир (и структуры этого мира); чем определяется соотношение между свободой действий субъектов и структурными ограничениями.

Легко заметить, что те же вопросы, переведенные в чуть-чуть другие формулировки, всегда представляли интерес для историков Нового времени: общество и индивид, социальные закономерности и свобода воли, роль личности в истории (структура и действующие субъекты), роль случая (события) в истории (структура и действие). Наиболее распространенным вари-

антом теоретического противопоставления объективных структур и субъективных действий в историографии является соотнесение структур и событий (которые, как было показано выше, в основном и являются действиями или результатами действий, оставляя в стороне внесоциальные события — природные и трансцендентные).

Колоссальное ускорение развитию структурной истории придали представители французской школы «Анналов», которые ставили своей целью разъяснение социальной действительности методом реконструкции объективных процессов и структур, низводя роль событий в историческом процессе до второстепенной. Эти идеи получили широкий отклик и в других странах.

По мере того как структурная история приближалась к своему идеалу, она все больше рисковала превратиться в историю без событий. Однако ее безраздельное господство в историографии оказалось относительно недолгим. В последние десятилетия историки стали утрачивать интерес к структурному анализу и все чаще вновь обращаются к событию. Нередко именно событие становится исходным пунктом исследования: маленькое или значительное, жизненный путь одного индивида или событие в жизни специфической группы. Более всего это характерно для таких направлений, как история повседневности, история семьи, но и в истории ментальности или истории женщины мы легко обнаружим примеры подобного рода.

В середине XX в., когда одним из контрапунктов исторической дискуссии стало противопоставление «событий» «структурам», на какое-то время возобладал дихотомический подход, при котором событие и структура рассматривались как оппозиции, взаимоисключающие друг друга. Но нам представляется более конструктивной точка зрения, согласно которой концепция структур и концепция событий взаимодополняют друг друга. В рамках этого подхода события и структуры трактуются как относительно автономные объекты, несводимые один к другому и в то же время неразрывно связанные. К концу XX в. большинство историков разделяло именно эту позицию.

Вторая важная проблема, возникающая при проведении структурного анализа, — это соотношение постоянства и изменений. Каким образом можно совместить представления о суще-

ствовании постоянных структур и относительной неизменности социальной реальности с не прекращающимся ни на минуту потоком социальных и культурных действий, каждое из которых в той или иной мере влияет на систему и обуславливает ее изменения? Уже в XIX в. многим обществоведам стало очевидно, что в теоретических целях анализ социальной реальности должен быть разделен на две части, отражающие идеи постоянства и изменчивости.

К тому времени такое разделение уже было концептуализировано в рамках одного из разделов физики, а именно — механики, где существовали понятия статики и динамики. В XIX в. основатель «социальной физики» Огюст Конт прямо перенес концепцию статики и динамики в социологию. В конце XIX в. эти понятия стали использоваться в экономической теории, причем экономисты пошли еще дальше и заимствовали из механики принцип равновесия системы (статического и динамического). Тогда же, в конце XIX в. Фердинанд де Соссюр фактически ввел понятия статики и динамики в лингвистический анализ языковой системы, но, чтобы слегка отмежеваться от физики, обозначил их как «синхронию» и «диахронию» (термины «диахрония» и «синхрония» образованы, соответственно, от *греч.* *διά* — через, *χρόνος* — время и *σύγχρονος* — одновременный). В дальнейшем именно эти термины стали активно использоваться в историографии (видимо, историки также хотели дистанцироваться от физики в большей степени, чем социологи и экономисты).

Говоря о диахроническом и синхроническом анализе, можно сказать, что в первом случае явление трактуется как звено в длинной исторической цепи и определяется его «генетический» код, связь, историческая преемственность и прерывность по отношению к однотипным, родственным явлениям. Во втором случае в поле зрения оказывается горизонтальный срез, анализируются связи данного феномена или процесса с другими, существующими и взаимодействующими с ним одновременно. Первый подход предполагает исследование эволюции явления, происходящей при сохранении внешней по отношению к нему причины (факторов), которые действуют на протяжении длительного периода. Второй — включает в поле зрения всю совокупность взаимодействующих явлений и процессов, которые и

определяют в конечном счете форму и историческую роль интересующего нас феномена.

Фердинанд де Соссюр нашел очень выразительный образ для объяснения идеи синхронии, сравнив ее с шахматной доской в некий момент шахматной партии. Для наблюдателя в общем безразлично, как получилось данное расположение фигур: оно совершенно освобождено от всего, что ему предшествовало. Наблюдатель, следивший за всей партией, не имеет ни малейшего преимущества перед тем, кто в критический момент пришел взглянуть на состояние игры. Может быть, де Соссюр был посредственным шахматистом и недооценивал важность элемента вовлеченности в игру для ее квалифицированного анализа, но суть исследования в рамках синхронистического подхода он выразил ясно.

Различие между «событийной» и «структурной» историей одно время также тематизировалось как «диахрония» и «синхрония». Изначально в самом деле структурная история была связана прежде всего с синхроническим анализом состояний систем социального мира, в рамках которого проблемы изменений, эволюции оказывались на заднем плане. Но полностью игнорировать динамику невозможно, и сторонникам структурного подхода все равно пришлось решать проблемы соотношения стабильности и изменений, постоянства и прерывности и вытекающую отсюда задачу деления прошлого на «однородные» состояния (эпохи или периоды) и периоды трансформации, «разрывов» и т. д. Далее мы наметим основные концептуальные подходы к этим проблемам.

Стационарные состояния и разрывы

С теоретической точки зрения, в основе любой простейшей содержательной периодизации истории общества лежат две посылки, которые, впрочем, редко артикулируются в явном виде. Первая состоит в представлении об относительной неизменности каких-то характеристик социальной реальности, вторая предполагает наличие «разрывов» или качественных изменений состояния системы (ее структуры). При этом посылка о постоянстве является частичной — она подразумевает выделение какой-

то одной неизменной структуры, но при этом могут анализироваться изменения во всех остальных структурах при условии, что они не влияют на ту, которая была выделена в качестве основы для периодизации.

Не менее важна и идея «разрывов» или «переломов», которая, впрочем, также имеет частичный характер и относится к радикальному изменению лишь какой-то определенной структуры.

В итоге можно говорить о создании своего рода разрывно-стационарной концепции, подразумевающей существование стационарных периодов относительно неизменной структуры, разделенных некими интервалами, когда эта структура резко меняется. Из вышесказанного очевидно, что на самом деле историки занимались структурированием прошлой социальной реальности задолго до появления «структурного подхода» и освоения структуралистских методов. На практике разрывно-стационарная модель исторического процесса издавна концептуализировалась двумя способами.

Первый и очень древний способ в качестве точек «разрыва» использует определенные события. Имплицитно предполагается, что данное событие (или действие) радикально меняет состояние системы (ее структуру), соответственно, история делится на «до» и «после» события.

Событие нередко служит вехой, отделяющей одно стационарное состояние от другого. Оно становится исторически значимым в рамках создания нарратива, когда отмечает *начало или конец* чего-либо, что считается важным. Понятно, что когда мы имеем дело с непродолжительными периодами, событие, как правило, и служит водоразделом при переходе от одной структуры к другой. Простейшая модель такого типа — период правления (по существу речь идет о структуре системы политической власти). Момент смены правителя и служит точкой «разрыва», до этого предполагается наличие одной структуры власти, после — другой. Еще один, более глобальный пример — Воплощение Христа: до этого события земной мир находился в одном состоянии, после — в качественно ином.

При таком подходе предельно очевидна и связь между структурой и человеческим действием. Например, решение начать войну, принимаемое в конечном итоге одним человеком, при-

водит к формированию структур общественной жизни в военных условиях, совершенно отличных от условий мирного времени. Это касается всех втянутых в войну государств, их институтов (в широком смысле) и ценностей, повседневной реальности и в не меньшей мере системы личности (психика и поведение индивидов в условиях войны претерпевают радикальные изменения). Точно так же день заключения мира, связанный с принятием важных решений и, соответственно, с человеческими действиями, для победителей и побежденных означает переход к иной структуре «мира» (контрибуции, восстановление экономики, формирование механизмов контроля над побежденными, оживление культуры и образования, воссоединение семей и т. д.).

Второй подход идет с другой стороны, от периодов стабильности определенных структур. В рамках структурного подхода к периодизации объектом исследования становились времена, наполненные определенным содержанием, например: Ренессанс, период абсолютизма, классицизм, викторианская Англия, нэп и т. д. Историческое время можно структурировать по стилям в искусстве или по поколениям культурных элит. Во всех таких случаях границы периода становятся более расплывчатыми, но в неявном виде наличие такой границы (и, соответственно, некоего разрыва) все равно подразумеваются. Подход такого рода первоначально возник за пределами собственно историографии, а именно в социальной философии или историософии, в XVIII в. Именно тогда начались попытки выделения различных стадий, эпох, периодов, этапов и пр.

Оба подхода можно проиллюстрировать на примере одной сугубо историографической системы периодизации — деления истории на Древнюю, Среднюю и Новую. Первоначально она шла от событий-разрывов (падение Западной Римской империи и падение Восточной Римской империи). Но в XVIII в. акценты меняются — исходной становится идея постоянства (содержания эпохи), а точное определение границ между ними отходит на второй план (хотя наличие разрывов все равно подразумевается). Уже с середины XIX в. «стационарно-разрывная» модель начинает фигурировать в исторических исследованиях в явном виде.

В дальнейшем развитие структурных подходов шло по нескольким направлениям. Речь идет, в частности, о переходе от «точечных» разрывов к интервалам и о дифференциации структур.

Первая новация была связана с возникновением понятия «переходный период». Исторически она возникла как следствие отказа от определения стационарных периодов по событиям и внимания к обратному процессу — выделению стационарных фаз, а затем — поиску границы, отделяющей один такой этап от другого. Но точная датировка «разрыва» в этом случае оказывается невозможной, поэтому «разрыв» тоже должен определяться как период.

Одним из первых таких периодов, привлечшим внимание историков, стал переход от Средних веков к Новому времени. В середине XIX в. началось обсуждение проблемы переходного этапа, пролегающего между двумя качественно различными (но внутренне однородными) периодами истории Запада: Средневековьем и Новым временем. Едва ли не первым автором, предпринявшим попытку обозначить переходный *период* между Средней и Новой историей, был Жюль Мишле, который в одном из томов своей истории Франции выделил в качестве такого переходного этапа эпоху Ренессанса.

В исторических работах «разрывы» концептуализируются как динамические переходные периоды, на протяжении которых формируются новые структуры. Часто эти периоды именуются как «кризисы». В исторической науке вопрос о необходимости использования разных подходов к изучению переходных периодов и фаз равновесия (стационарных периодов) первым поставил Фернан Бродель. В работе, посвященной Средиземноморью, он писал:

«Мне кажется, что история предстает перед нами как ряд кризисов, между которыми существуют какие-то площадки, эпохи равновесия, о которых историки говорят совершенно недостаточно»¹⁰.

Идея чередования «стационарных» и «переходных» или кри-

¹⁰ Braudel F. La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II. Paris: Colin, 1949. P. 1095.

зисных периодов в развитии общества и отдельных его подсистем к тому времени обсуждалась в обществоведении уже почти сто лет, но в основном в рамках теоретических стадияльных моделей (подробнее см. гл. 13).

Второе изменение в подходах было связано с осознанием необходимости дифференциации структур. В XVIII–XIX вв., по мере активизации структурного подхода (хотя само слово тогда еще не использовалось), начали множиться различные модели исторического процесса, делившие историю на периоды по разным структурам (экономическим, политическим, социальным, интеллектуальным и т. д. вплоть до стилей в искусстве). В XX в. это многообразие продолжало нарастать, в итоге стал образовываться своего рода хаос — каждый исследователь выбирал «свою» структуру, начинал выделять в ней стационарные периоды и разрывы и соответствующим образом проводить периодизацию.

Бродель попытался внести элемент упорядоченности в этот процесс, по крайней мере, на концептуальном уровне, предложив относительно целостную схему, подразделяющую исторические структуры на три уровня по критерию скорости происходящих в них изменений. Вместо равномерно текущего календарного ритма, размеченного большими и малыми событиями, Бродель в статье «История и общественные науки» (1958) разработал концепцию взаимодействия трех различных временных протяженностей, каждая из которых соответствует определенному типу исторических структур.

«Некоторые долговременные структуры становятся устойчивым элементом жизни целого ряда поколений. Иные структуры менее устойчивы. Но все они являются и опорой, и препятствием исторического движения... А как трудно преодолеть некоторые географические и биологические условия, некоторые пределы роста производительности труда и даже духовные факторы, ограничивающие свободу действия! (Узость духовного кругозора также может быть долгосрочной тюрьмой!)»¹¹.

¹¹ Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность [1958] // Философия и методология истории. Сборник переводов / Ред. И. С. Кон. М.: Прогресс, 1977. С. 124.

В самых нижних слоях общественного бытия господствует постоянство, стабильные структуры, основными элементами которых являются человек, Земля, космос. Время протекает здесь настолько медленно, что кажется почти неподвижным. Изменения взаимоотношений общества и природы, привычки мыслить и действовать измеряются столетиями. Это, по выражению Броделя, «длительная <временная> протяженность» (*longue durée*). На втором уровне находятся экономические и социальные структуры, где скорость изменения измеряется десятилетиями. Наконец, на поверхностном — политическом — слое истории события действительно определяются не отрезками времени, а хронологическими датами.

Такой подход естественно предполагал концентрацию интереса на изучении структур — говоря словами Броделя, «ансамбля, архитектуры исторических явлений». Существенно при этом, что Бродель понимал под структурой не умозрительную конструкцию, а историческую реальность, но не всякую, а лишь стабильную и, следовательно, медленно изменяющуюся во времени.

В дальнейшем можно выделить несколько направлений развития броделевских идей на конкретном историографическом уровне: теория стационарных периодов (Ле Руа Ладюри), концептуализация исторических кризисов, циклические модели (Иммануэль Уоллерстайн и др.) и версии равномерных изменений (Франсуа Фюре и Дени Рише, Пьер Шоню, Марк Ферро и др.) (подробнее см. главу 9). Правда, большая часть проявлений этой активности ограничилась 1960–1970-ми годами, была заметна в основном во французской литературе и в настоящее время представляет интерес скорее для историографов.

В завершение отметим еще одну тенденцию, связанную с негативным отношением к попыткам структурирования исторического времени. Поскольку компоненты социальной реальности относятся к разным подсистемам и структурам, то они все в некотором смысле принадлежат «разным временам» и не могут анализироваться в рамках единых исторических периодов. Очевидная ограниченность любой системы периодизации для нужд исторической интерпретации, конечно, провоцирует постоянную критику. В последние десятилетия XX в. возникло направле-

ние, полностью отрицающее темпоральную сторону структурного подхода. Эта позиция характерна для некоторых представителей системного анализа, экспериментирующих с использованием дехронологического подхода. Например, английский историк-неомарксист Перри Андерсон в исследовании о феномене абсолютизма пишет, что *времена* Абсолютизма необыкновенно разнообразны, и никакая единая темпоральность не охватывает их. По его мнению, даже те отдельные фундаментальные явления, которые хорошо укладываются в формальную сетку «периодов» и рассматриваются как одновременные, на самом деле таковыми не являются. Их даты те же, их времена разные.

Очевидная попытка адептов дехронологизации довести до логического конца постулат о «различии исторических времен» событий, даты которых совпадают, многими историками воспринимается с огромной озабоченностью. Как бы полезно ни было относить одно и то же явление к разным временам, не менее важно расположить множество человеческих действий в едином «историческом *континууме*», в котором события вступают между собой в отношения последовательности, причинности и взаимозависимости и — по воле историка — образуют самые разнообразные структуры.

* *

*

Конструкция исторического исследования, реализованная на основе структурного подхода, может задавать разную периодизацию для разных систем социальной реальности. Для любой системы сначала определяются элементы структуры, далее связи между ними, а затем выясняется, как долго такая структура оставалась относительно стабильной. Например, в демографической истории сначала определяются такие параметры, как численность населения, рождаемость, смертность, возраст вступления в брак, количество детей в семье и тип семьи в целом и т. д., затем их взаимовлияние, после чего «демографический процесс» делится на соответствующие отрезки. Далее исследователь может заняться выяснением причин перехода системы из одного состояния в другое, ориентируясь не только на эндоген-

ные, но и на экзогенные факторы, т. е. на элементы внешних, по отношению к демографической, систем: экономической (занятость, урожайность), политической (войны, репрессии), социальной (миграции, рост благосостояния) и т. д. вплоть до природных факторов (изменения климата, болезни). Аналогичным образом можно смоделировать множество структурных подходов к периодизации.

Надо сказать, что выделение исторических периодов на основе структурных характеристик все равно имеет связь с событием, но отбор и интерпретацию событий определяет дизайн структуры. Акцент на структуры подразумевает упорядоченность причинных факторов и постулирует, что репрезентация событий подчиняется логике конструкции, в основе которой лежат структурные элементы (экономические функции, социальные иерархии, культурные смыслы и т. д.), а не временная последовательность. Таким образом, во всех подобных работах события, попадающие в поле зрения историка, будут задаваться структурой, избранной для исследования.

Дуальность связи между событием и структурой состоит и в том, что нередко одно и то же явление можно трактовать и как событие, и как структуру, с чем мы и сталкиваемся в разных исследованиях. Так, выше мы рассматривали революции как модель макрособытия, воплощающего в себе множество человеческих действий, но во многих исследованиях они концептуализируются как самостоятельные структуры с повторяющимся набором элементов. Например, в господствовавшей более века классической либеральной интерпретации время Великой французской революции 1789—1799 гг. трактовалось как период трансформации, а сама революция — как результат системного кризиса феодального общества и становления институтов и ценностей общества буржуазного. Эта интерпретация охватывала одновременно экономические, социальные и политические структуры, в результате изменения которых во Франции за очень короткий исторический отрезок времени умер «старый порядок» и утвердился принципиально новый.

По мере развития исторического знания представления о содержании отдельных исторических периодов и их соотносимости между собой становятся все более сложными. Однако осно-

вополагающие принципы структурирования исторического времени до сих пор остаются непоколебленными. Более того, основная тенденция Нового времени состояла в совершенствовании и унификации хронологических и периодизационных систем, что и позволило в масштабах всеобщей истории классифицировать исторические свидетельства и разработать базовые схемы конструирования прошлой социальной реальности.

Глава 5

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Различение природной и социальной реальностей в историографии Нового времени создало особое предметное поле: область взаимодействия между указанными реальностями применительно к прошлому. В данной главе, продолжающей тему «предмет истории», нас прежде всего интересует взаимовлияние социальной системы и природного мира. Историческое пространство мы понимаем как взаимодействие социального пространства с географическим применительно к прошлому. Историческое пространство является неотъемлемой характеристикой прошлой социальной реальности, ибо только в пространстве она и существует. Историческое пространство постоянно изменяется во времени, более того понятие исторического времени объединяет в себе и время, и пространство, о чем писал, например, Михаил Барг:

«Так, когда мы говорим “время Грозного”, мы сознаем, что речь идет также и о стране, которой он правил, другими словами, в этом понятии время и пространство выражены в их неразложимом единстве, в котором смысл одного прозревается в очертаниях другого: пространственное олицетворение времени, равно как и временное обозначение пространства»¹.

Историческое пространство — это социально конструируемое понятие. С одной стороны, его границы могут определяться самим историком, с другой — историк может создавать такое

¹ Барг М. А. Шекспир и история. 2-е изд. М.: Наука, 1979 [1976]. С. 52.

пространство, которое существовало для участников взаимодействия. В последнем случае речь можно вести как о пространстве, присутствовавшем в качестве очевидного для исторических актеров, так и о пространстве, которое обсуждалось и рефлексировалось ими.

Роль исторического пространства, которую приходится учитывать при конструировании прошлого, многозначна. Пространство — это и природно-климатические условия, детерминирующие жизнь людей на определенной территории. Как пронизательно заметил Николай Гоголь в статье «О преподавании всеобщей истории» (1835),

«география должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный, как это могущее положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы»².

Историков пространство издавна интересовало так же как место размещения геополитических структур. Однако на протяжении XX в. определился гораздо более широкий спектр значений географического пространства, существенных для исторического исследования.

Одно и то же географическое пространство в истории обладает разным содержанием. Город остается на своем месте веками, а то и тысячелетиями, но это не один и тот же город, даже если говорить только о пространственных характеристиках: площади, ландшафте, архитектуре, коммуникациях. Еще сложнее эта проблема выглядит в контексте *исторического* пространства. Что общего между античным Римом, его средневековым преемником и столицей современной Италии? Что общего между столицей Пруссии Берлином, центром тысячелетнего Рейха

²Гоголь Н. В. О преподавании всеобщей истории [1835] // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 6. С. 41.

и городом, который был разделен Берлинской стеной? Все, что историк наблюдает как историческое пространство, включая соответствующие рефлексии людей по поводу своих мест обитания в разные периоды, качественно отлично.

Историческое пространство подвижно. Оно расширяется вместе с перемещениями народов и завоевателей, аннексиями, объединениями, географическими открытиями, обретением национальной независимости и потерей колоний. Оно, по тем же причинам, и сжимается. Теряя историческое качество, оно даже бесследно исчезает. История знает немало народов, которые вообще существовали только в подвижном пространстве. Другие жили в подвижных границах (этим, качеством, например, характеризовалось все европейское Средневековье). Историческое пространство может изолировать не только от соседей, но и от самой истории. Предельный случай такого рода — народы, отрезанные от цивилизации. Другой специфический вариант «разрыва» исторического пространства — страны переселенческого капитализма.

Категория пространства является важной, а до Нового времени — решающей в организации представлений о Другом. Другие, как правило, обитали «за границей» — за рекой, за горой, за морем, — и с ними связывались всяческие чудеса. В архаичном обществе за горой живут драконы, в античности люди с песьими головами существуют за пределами Греции, а средневековые бестиарии размещают экзотических животных и фантастические существа в «Индии». Только в эпоху модерна, когда представление о различии заменяется концепцией развития, Другой начинает рассматриваться в контексте исторической эволюции, и главной в его определении становится категория времени.

Географическое и геополитическое до сих пор переплетаются в историческом сознании с мифологическим. Элементы ландшафта легко преобразуются в символы, стоит только придать этому ландшафту исторический смысл. Вряд ли надо доказывать, что, например, Волга или Рейн осознаются и как реальные реки, и как культурные символы. Точно так же существует культурная интерпретация леса (Беловежская пуца) или горы (Арапат). На протяжении большей части истории человечества мо-

ря, леса и пустыни были не только источником реальных опасностей, но и универсумом фантастических и пугающих легенд. Один из самых необычных примеров симбиоза исторического пространственного объекта и мифологического архетипа — *дорога* Средневековья, по которой перемещаются профессиональные бродяги (нищие, прокаженные, обезземеленные), странствующие монахи и студенты, солдаты и королевский двор. В их сознании путь существовал не только как отрезок от точки А до точки Б, но и как архетип движения со всеми развилками и тупиками, присущими дороге.

Точно так же для историка немаловажно, что пространство Древнего мира и Средневековья было в значительной мере сакрализовано. В сакрализованном пространстве античности несли свои воды реки подземного мира: Коцит, Ахерон, Пирифлегетон и Стикс. Античный храм и средневековый собор представляли собой модель космоса. В средневековом пространстве различались места сакральные, профанные и проклятые. «Самое святое место» — Иерусалим — был географическим центром мира, точно так же, как Дельфы или Олимп у древних греков считались пупом земли. Средневековая карта с центром в Иерусалиме всегда совмещала в одной плоскости всю священную и земную историю. На большинстве средневековых карт в восточной части света размещался земной рай, сообщения о рае толковались и аллегорически, и буквально. Пилигримы в Средние века в Палестине создали топографию Святой земли, «идентифицировав» приметы библейского пейзажа. В европейских или российских лесах праведники жили в «пустыни», потому что именно в пустыне жили первые христианские отшельники. (Но неверно было бы думать, что лес для них был только аллегорией пустыни, лес и в самом деле был тогда пустынным.) Паломничество становилось не просто путешествием к святым местам, но и дорогой к Богу, а обращение иноверцев приводило к морально-религиозной трансформации пространства.

В начале Нового времени пространственные объекты все еще связывались с религиозными идеями. Например, первые поколения американских поселенцев не просто героически осваивали девственные земли. Они обретали «землю обетованную» и строили «град на горе». Перенос сакрального на профанное происхо-

дил не только в сознании. Земное пространство маркировалось сакральными объектами (Новый Иерусалим).

Десакрализация пространства, происшедшая в Новое время, не превратила историческое пространство в нейтральное. Оно идеологизировалось и стало делиться на «передовое» и «отсталое», «цивилизованное» и «нецивилизованное», на «мир социализма» и «мир капитализма», и само пространственное восприятие, выраженное в таких дихотомиях, содержит сильный импульс к противостоянию и экспансии. В то же время подобные способы пространственного деления очень историчны. Например, нынешнее использование противопоставления «Восток–Запад» связано с определенной фазой современности. Как заметил известный американский социолог Иммануэль Уоллерстайн, в историческом языке существовали и другие «Востоки–Запады»: Греция и Персия, Рим и Византия, Европа и Восток.

И, наконец, точно так же, как существуют переходные времена (эпохи), историки знают переходные пространства (территории), на которых происходило усиленное столкновение и скрещивание культур, например, эллинистический Восток, Испания Кордовского халифата и реконкисты, Сицилия XI–XIV вв.

Подавляющая часть исторических сочинений представляет собой истории пространственных образований: стран, регионов или поселений. Локальные, специфические особенности каждого территориального сообщества должны быть в полной мере учтены при объяснении исторических событий. Историческое пространство бывает и предельно небольшим. Это может быть всего-навсего *улица*, например знаменитая Ringstraße в Вене, которая для австрийцев сделалась символом эпохи, наподобие викторианства для англичан, или *вокзал*, такой как Финляндский в Петербурге или Белорусский в Москве. В этих случаях, конечно, на первом плане оказываются символические характеристики, но и без репрезентации пространства историк не может обойтись.

Одна из главных функций географического пространства в историческом исследовании состоит в том, что оно служит способом задать рамки предмету истории, т. е. очертить пространство социальных взаимодействий и тем самым трансформироваться в пространство историческое. При этом историк

может исходить из своего видения пространства, может говорить о пространстве, сконструированном участниками социального взаимодействия, а может изучать сам процесс конструирования пространственных образований в тот или иной период прошлого.

В первом случае речь идет о пространстве, определяемом умозрительно. Например, всеобщая или всемирная история до последнего времени существовала в пространстве, сконструированном в историософии, в то время как население Земли планетарными масштабами не оперировало, и глобалистское сознание появилось лишь в последние десятилетия XX в. Пространственные рамки задаются историками и в тех случаях, когда пишутся страновые истории, ориентированные на границы современных государств, хотя в XX в. такие условные наименования, как, например, «Франция», «Италия», «Германия», все чаще доопределяются. Подобный метод пространственной локализации объекта *post factum* можно экстраполировать и на более мелкие территориальные единицы. Во всех случаях, когда выделенная историком территория не осознавалась как единая в той социальной реальности, которая является предметом его исследования, мы имеем дело с историческим пространством, заданным «извне», т. е. сконструированным наблюдающим без учета представлений исторических актеров.

Если же в качестве объекта фигурирует пространство, существовавшее для самих участников социального взаимодействия, будь то греческий полис, феодальное владение или современное национальное государство, то мы имеем дело с другим случаем. (На практике очень долго в исторических исследованиях оба подхода могли использоваться одновременно, потому что различия в способе конструирования пространства просто не рефлектировались.)

Что касается третьего подхода к анализу исторического пространства, то он развивается только в последнем столетии. В рамках этого подхода исследователь концентрируется на том, что люди *думали* о своем и чужом пространстве, как они концептуализировали те или иные географические ареалы, как конструировали территориальные целостности и какими смыслами их наделяли. К таким исследованиям исторического простран-

ства относятся работы по истории формирования геоисторических (геополитических) конструкторов, например таких, как «Восточная Европа», «Евразия», «Балканы», «Кавказ». Можно также предложить в качестве примера длинный ряд исследований по истории «национальных государств» с акцентом на «исконные территории» и «исторические границы». К этому же типу анализа следует отнести и работы по культурной антропологии, в которых анализируется категория «пространство» (Арон Гуревич, Жак Ле Гофф, Эмманюэль Ле Руа Ладюри, Александр Подосинов), и историю «ментальных карт», на которой мы остановимся ниже, и труды представителей школы новой локальной истории (Уильям Хоскинс, Герберт Финберг).

1. Географический фактор

Знание о пространстве со времен античности постоянно развивалось, сочетая в себе географические познания с представлениями о чудесных сказочных странах. Именно таковы сведения Гомера, географический горизонт которого ограничивался берегами Средиземного или даже лишь Эгейского моря. Италия, Сицилия и все области, лежащие западнее, а также и побережье Черного моря представлялись ему в совершенно фантастическом свете. В географических описаниях Геродота также немало чудесного, но область его познаний куда обширнее и нередко поражает точностью. Он был осведомлен в географии Египта, Северо-Восточной Африки, Центральной Азии, Скифии. Географические представления эллинистической эпохи включали в пределы известного мира Британию и Скандинавию, Канарские острова, тропическую Африку, Индию и Цейлон.

Со времен античности историки уделяли большое внимание влиянию природных факторов на социальную реальность. Идею о том, что географические условия влияют на общество и его историю, можно найти уже у Геродота, Фукидида и Платона. Аристотель в «Политике» описывал природные условия, наиболее благоприятные для основания полиса. Вполне отчетливо осознавалось влияние различий в климате. Об этом достаточно подробно писали римские авторы Сенека и Плиний. Полибий в своей «Всеобщей истории» отдельно выделял историю, посвя-

ценную переселению народов, основанию городов и развитию колоний.

Связующим звеном между античностью и Средневековьем стала «Естественная история» Плиния, которую средневековые авторы использовали как основной источник сведений о географическом пространстве и природном мире. Регионы, к сообщениям о которых со времен Плиния добавилось мало нового, оставались областью чудесного. Например, по средневековым представлениям, в «Индии» жили пигмеи, которые сражались с аистами, и великаны, воевавшие с грифонами. Там имелись люди со ступнями, повернутыми назад, и с восемью пальцами на каждой ноге; кинокефалы, т. е. люди с собачьими головами и когтями, лающие и рычащие; люди, которые насыщаются от одного запаха пищи; безголовые люди, у которых глаза находятся в желудке, а также множество ужасных зооморфных чудовищ, сочетающих в себе признаки нескольких животных.

Средневековые авторы, продолжая античные традиции, сохранили привычку к описанию (*descriptio*) местности, города, явлений природы. Некоторые, например, Ламбер Сент-Омерский или Матвей Парижский, умело использовали карты. Сообщая сведения о пространстве, авторы Средневековья, конечно, опирались не только на античные описания, но и на труды своей эпохи, сообщения случайных путешественников и слухи. Освоение пространства, продолжавшееся на протяжении Средних веков, расширяло и уточняло знания об окружающем мире, и историческая литература фиксировала приращение знания.

Известные авторы Средневековья отмечали влияние окружающей среды на народы, населяющие разные климатические области. Например, Гервасий Тильберийский (XII в.) в сочинении «Императорские досуги» утверждал, что характер различных европейских народов меняется в зависимости от климатических условий, и в соответствии с различиями в климате «римляне — мрачны, греки переменчивы и ненадежны, африканцы — хитры и коварны, галлы — свирепы, а англичане и тевтоны — сильны и здоровы»³. Подобные рассуждения можно встретить и

³Цит. по: Райт Дж. К. Географические представления в эпоху Крестовых походов / Пер. с англ. М.: Наука, 1988 [1925]. С. 166.

у других авторов XII в., например Гиральда Камбрейского или Оттона Фрейзингенского. Арабский средневековый мыслитель Абдуррахман Ибн Хальдун объяснял своеобразие развития отдельных стран различием их природных условий, полагая, что географическая среда непосредственно влияет на характер и сознание людей, а через них — на развитие общества в целом.

Наиболее важным средневековым источником, из которого более поздние авторы заимствовали сведения о географии, были средневековые энциклопедии и сочинение Павла Орозия «История против язычников» (V в.), которое пользовалось огромной популярностью у хронистов. Работа Орозия предварялась десятками страниц подробнейшего описания трех континентов. Необходимость столь пространныго экскурса в географию сам Орозий объяснял в следующих словах:

«... намереваясь вести повествование от сотворения мира... полагаю необходимым описать сначала сам круг земель, который заселяет человеческий род, как он есть, разделенный предками на три части, затем поделенный на области и провинции; чтобы, после того как бедствия войны и недугов будут отнесены к определенным местам, пытливые люди обрели бы не только знание о событиях и временах, но и представили бы, где они произошли»⁴.

Однако в целом историки Средневековья не испытывали необходимости определиться в пространстве. Так, Оттон Фрейзингенский в своей «Хронике» в нескольких словах отделяется с описанием мира, за остальными же подробностями отсылает читателя к Орозию.

Важнейшую роль в изменении средневековой картины мира сыграла эпоха крестовых походов. «Дорога» крестоносцев в указанном выше двойном смысле этого понятия привела к идее безграничного универсума взамен характерного для раннего Средневековья представления, что мир является конечным, замкнутым и иерархически организованным пространством.

Великие географические открытия, завершив Средневековье и открыв Новое время, оказали огромное влияние на самые разные стороны европейской жизни, включая и знания об обществе. Во многом благодаря географическим знаниям складывалось

⁴ Павел Орозий. История против язычников I, 1, 14–17.

представление о разнообразии социального мира, о различии политических и культурных систем, которое концептуализировалось в терминах «развития», стадийного или циклического. В XVII–XVIII вв. географию часто рассматривали как вспомогательную дисциплину по отношению к истории.

В XVIII–XIX вв. расцвет детерминизма в разных формах вызвал к жизни и географический детерминизм. Любая история, написанная сторонником этого направления, начиналась с описания пространства и природно-климатических условий, точно так же как история, выходящая из-под пера экономического детерминиста, предварялась анализом экономического положения. Шарль Монтескьё, Анн Тюрго, Иоганн Гердер связывали с географической средой, и особенно с климатом, обычаи и «нравы», и, развивая эту линию, объясняли специфику правовых норм разных государств.

Роль географической среды активно эксплуатировалась позитивистским направлением, поскольку природа, аналогии с природой и влияние природы лежали в основании «социальной физики». Если одни позитивисты уподобляли общество биологическому организму, то другие рассматривали социальные законы как результат воздействия природных условий. Один из самых авторитетных представителей позитивизма английский историк Генри Бокль (Buckle) в сочинении «История цивилизации в Англии» (1857–1861) писал, что жизнь и судьбы народов определяются четырьмя главными факторами: климатом, почвой, пищей и ландшафтом.

В американской историографии с географической интерпретацией истории выступил в середине XIX в. ученый-энциклопедист Джон Дрепер, известный своими открытиями в области физики, химии, физиологии и одновременно работами по истории и социологии. Дрепер, под большим впечатлением от идей Бокля, пытался решить вопрос о влиянии географической среды на политические идеи. Идея централизации, чувство «единства нации», согласно Дреперу, ощутимо присутствовали в политическом сознании в США уже в XVIII в., однако разнообразие природных условий, различный климат на севере и юге страны привели все же к временному торжеству идеи разделения. Жаркий климат Юга развил стремление использовать невольничий

труд и породил аристократическую форму правления; «сознательная демократия», напротив, была следствием не столь изнеживающей природы американского Севера.

К середине XIX в. в исторических исследованиях наметились два «географических» направления: геоистория и историческая география. Историческая география, в отличие от геоистории, дисциплины с ощутимой проблемной начинкой, была и осталась относительно менее притязательной. Она подразделяется на историческую физическую географию, историческую географию населения, историческую географию хозяйства и историческую политическую географию. В последнюю входят география внешних и внутренних границ, размещение городов и крепостей, пути военных походов, картосхемы сражений и т. п. Историческая география больше связана с описанием пространства, изменяющегося под влиянием человеческих действий, а геоистория — с влиянием природных условий на социальную реальность.

Ключевыми фигурами, оказавшими влияние на развитие геоистории, были основатели «географии человека»: немецкий географ Фридрих Ратцель и французский — Поль Видаль де ла Блаш. «Антропогеография» (1899) Ратцеля стала эпохальным произведением. Питер Бёрк сравнивает Ратцеля по значению с психологом Вильгельмом Вундтом, отмечая, что оба создали сходные по масштабу сочинения о так называемых «детях Природы» (*Naturvölker*). Один при этом сосредоточился на проблеме адаптации к физической среде, а другой — на коллективной ментальности.

В основе геоисторических представлений лежит идея синтеза пространства и времени. В историзации географического пространства огромную роль сыграл Поль Видаль де ла Блаш. Он начинал свою карьеру как историк, что, может быть, и сделало его концепцию *genre de vie* столь влиятельной среди французских историков. Географическая среда оказалась в роли одной из главных «исторических топик» во французской историографии XX в. во многом вследствие того, что во Франции география институционально встроена в изучение истории.

История была впервые включена в программу средней школы (лицеев) при Наполеоне, а в 1818 г. установили принцип,

согласно которому историю должен вести отдельный преподаватель (заметим, что во французской начальной школе история начала преподаваться фактически только с 1880 г.) как самостоятельный обязательный предмет. В программу профессионального конкурса-экзамена («агрегации») на должность штатного преподавателя истории в лицеях (а с конца XIX в. — и в университетах), учрежденного с 1830 г., с самого начала были включены вопросы по географии, и преподавателям истории вменялось в обязанность также вести занятия по этому предмету. Эти правила закреплялись в системе высшего образования: подготовка профессиональных историков изначально велась, как известно, на филологических факультетах, и поэтому во Франции география также изучается на филологических (историко-филологических), а не на естественнонаучных факультетах, как в других странах.

Активное присутствие географии обнаруживается в исследованиях многих представителей французской исторической школы, начиная от Люсьена Февра и Фернана Броделя и до геоисториков 1960-х годов. При этом в 1950–1960-е годы французская историография развивалась, осваивая различные пространства: от небольших областей и провинций до океанских просторов.

Один из самых интересных вопросов прошлого, который находится в ведении геоистории, — вечный вопрос о «естественных» и «исторических» границах, который затем транслируется в политическую, национальную и другие типы историографии. Естественные границы обычно складывались в далеком прошлом по рекам, горным хребтам, морским побережьям. Будучи природными и удобными, они имеют тенденцию увековечиваться и уже оттого попадают в разряд «исторических». Тем самым граница, будучи всего лишь линией на земном пространстве, переходя в область исторического, в прямом смысле становится двигателем истории. Она нередко провоцирует политические и военные конфликты, что мы недавно наблюдали при распаде СССР и Югославии.

История определения границы между Европой и Азией также демонстрирует главенство не географических, а в первую очередь идеологических мотивов. Так, например, потребность в разделении России на Европу и Азию выражала стремление

молодой Российской империи соответствовать европейской модели, т. е. состоять из метрополии (европейской) и периферии (азиатской). При Петре I известный русский историк Василий Татищев выдвинул идею, что граница между континентами пролегает по Уралу, и в конце XVIII в. эта концепция утвердилась в Европе.

Поскольку географические представления о пространстве традиционно проявляются в картах, карта давно стала источником для историка. Ныне историки значительно модернизировали свои взгляды, взяв на вооружение понятие «ментальные карты», которое из когнитивной психологии успешно переключалось в культурологию, социологию и даже в географию. В связи с важностью государственных границ в геоистории, главный инструмент географии — географические карты — в Новое время сыграли колоссальную роль в создании государств, особенно в колониях. Карта в прямом смысле предшествовала истории новых стран и задавала условия, которые должны были впоследствии сделать возможными государства Америки, Африки и даже в определенной степени Азии (например, границы Бирмы, Пакистана, Индонезии и др.). Геополитическая игра, подобно военной, начиналась с разметки карт, и карта переставала быть научной абстракцией реальности.

«Именно карта предвосхитила пространственную реальность, а не наоборот. Иными словами, карта была не моделью той реальности, которую она намеревалась представить, а образцом для сотворения самой этой реальности. . . Карта была необходима новым административным механизмам и войскам для подкрепления их притязаний. . . Дискурс картографирования был той парадигмой, в рамках которой осуществлялись административные и военные действия и которую эти действия фактически обслуживали. . . Триангуляция за триангуляцией, война за войной, договор за договором — так протекало соединение карты и власти»⁵.

При этом географические представления и в Новое время отличались, мягко говоря, невысокой точностью. Так, при заключении англо-американского договора в 1783 г. некоторые члены

⁵ *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001 [1991]. С. 191, 192.

континентального конгресса, путая реку Миссисипи с Миссури, критиковали участников переговоров за то, что они установили границы слишком далеко на восток — обычное для того времени недоразумение размером в одну треть миллиона квадратных миль.

Граница играла и другую роль в конструировании прошлой социальной реальности. Напомним оригинальную интерпретацию эволюции американских институтов и национального характера как следствия постоянного приспособления переселенцев к новой географической и социальной среде, которую еще в конце XIX в. предложил американский историк Фредерик Тёрнер в работе «Граница в американской истории» (1893). Оспаривая общепризнанные концепции, в которых опыт США рассматривался как продолжение европейского, Тёрнер заявил, что американская история — это прежде всего продукт естественных условий самой Америки, результат последовательных этапов продвижения «фронта» (*frontier*), что обусловило специфику американского национального характера и общественно-политических институтов. Каждый шаг «границы» на Запад отдалял Америку от Европы, и чем дальше продвигалась «граница», тем сильнее становилась самобытность общественного развития, формировавшая специфику американского «демократического индивидуалиста», который мог не вступать в иерархические отношения и на практике реализовывать идею демократического равенства.

Если Тёрнер рассматривал границу прежде всего как фактор формирования национального характера и политических институтов США, то, например, Бродель анализировал границы Франции как важнейшую детерминанту всего военного строительства на протяжении истории страны (размеры и размещение армии, строительство и содержание военных крепостей и портов, обеспечивающих выходы в море, и т. д.).

История границы — лишь один из вариантов зависимости предмета истории от пространственных характеристик. Другим важным фактором помимо границы всегда были водные пути. Многие древние цивилизации, сложившиеся в долинах великих рек, не случайно называют «речными». Немало написано о роли рек в экономике, политике и даже национальной иденти-

фикации. Столь же важным в политической истории разных стран был выход к морю. Россия посвятила решению этой задачи целый век своей истории. Прошлое всех стран, обладавших естественными морскими границами, представляет собой постоянные усилия по созданию и поддержанию морского флота и укреплению портов. Море давало относительную изолированность и защищенность, оно же стимулировало географические открытия, заморскую торговлю и колонизаторство.

Фактор пространства использовался иногда как критерий в членении исторического времени. Так, русский социолог Лев Мечников в работе «Цивилизации и великие исторические реки» (1889 посм.) предложил весьма любопытное деление всемирной истории на три эпохи по географическому признаку: период «древних речных цивилизаций», «средиземноморскую эпоху» и «океаническую цивилизацию». Соотнося эту схему с общепринятой, легко увидеть, что период «древних речных цивилизаций» примерно соответствует истории Древнего Востока. «Средиземноморская эпоха» объединяет вторую часть истории Древнего мира, т. е. античность, со Средневековьем. (Правда, здесь возникают проблемы с норманнами, которые никак не вписываются в «средиземноморскую эпоху».) Начало перехода к «океанической цивилизации», соответствующей эпохе Новой истории, Мечников видел в географических открытиях XV–XVII вв.

2. Структура исторического пространства

Для выделения пространств (территорий) социальных взаимодействий, происходивших в прошлом, необходимо использовать те или иные критерии. Понятно, что такими критериями могут быть культурная или религиозная общность (цивилизация), единое экономическое или политическое пространство (империя, герцогство, государство, провинция), общность, заданная природными условиями (Междуречье, Средиземноморье, Кавказ), наконец, «место жительства». Каждый тип территориальной истории имеет свои древние традиции в европейской мысли, идущие со времен античности.

С учетом пространственного аспекта мы выделяем четыре основных уровня исторических исследований:

а) *всемирная история* (история всего «мира» или «человечества»);

б) *региональная история* (история больших территорий, выходящих за пределы государственных границ, история отдельных цивилизаций или культур);

в) *страновая история* (включая историю народов и национально-государственных образований);

г) *локальная история* (от дома или улицы до поселков и городов, штатов, графств, провинций, «субъектов федерации» и т. д.).

Нам кажется, что эта структура, будучи вполне традиционной, в то же время позволяет связать разные типы пространственных образований с современными теоретическими подходами. Например, предложенная типология отчасти коррелирует с «уровнями социологического теоретизирования», которые американский социальный историк Чарльз Тилли определил как:

«метаисторический: попытка распознать временные модели во всем человеческом опыте;

миросистемный: прослеживание последовательности миросистем — крупнейших связанных совокупностей человеческих взаимодействий;

макроисторический: исследование крупномасштабных структур и процессов внутри миросистем;

микроисторический: изучение опыта индивидов и хорошо выявляемых групп в пределах, установленных крупномасштабными структурами и процессами»⁶.

Конечно, каждый тип пространственной конструкции не привязан лишь к какому-то одному уровню теоретизирования, тем не менее структуризация исторического пространства подразумевает использование определенных теоретических концепций.

⁶ Тилли Ч. Будущая история [1988] // Время мира. Новосибирск, 1998. Вып. 1. С. 131.

Всемирная история

Особенностью античной историографии был преимущественный интерес к местным историям, историям отдельных полисов или группе полисов. Однако античная историография знает и блестящие примеры всемирных или региональных историй. Провозвестник этого направления в исторических работах — Эфор, автор «Всеобщей истории Греции» (IV в. до н. э.). Как заметил один из самых глубоких философов истории XX в. Робин Коллингвуд,

«Греки осознали в пятом столетии и даже ранее, что существует такая реальность как человеческий мир, совокупность всех частных социальных единиц. Они называли его *ἡ οἰκουμένη* <ойкумена> в отличие от *ὁ κόσμος* <космоса>, мира природы. Но единство человеческого мира было для них только географическим, а не историческим. . . Благодаря завоеваниям Александра Великого, которые сделали *οἰκουμένην* <ойкумену> или по крайней мере значительную ее часть (ту, что включала в себя все те негреческие народы, в которых греки были особенно заинтересованы) единым политическим целым, «мир» становится чем-то большим, чем просто географическое понятие. Он делается историческим понятием»⁷.

Необычайный успех «всеобщих» или «всемирных» историй, последовавших за сочинением Эфора⁸, был ярким выражением универсализма и космополитизма эллинистической эпохи. Конечно, подлинно всемирной истории Древний мир не знал. Те или иные негреческие или неримские народы появлялись в истории только тогда, когда приходили в соприкосновение с греками или римлянами. Только христианские авторы IV–V вв. привнесли представление о единстве человеческого рода, что вытекало из универсального характера христианской доктрины. Однако «универсальные истории» средневековых авторов на самом деле

⁷ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 32–33.

⁸ В III в. до н. э. — историк диодохов Иероним из Кардии, историк Сицилии и Карфагена Тимей, во II в. до н. э. — Полибий и Посидоний, в I в. до н. э. — Диодор Сицилийский, Тимаген и Николай из Дамаска, секретарь иудейского царя Ирода, в I в. н. э. — Помпей Трог, во II в. н. э. — Аппиан.

сочетали в себе заимствования из Библии или иных литературных источников с заурядной провинциальной хроникой.

Одним из прототипов всеобщей истории Средневековья были всемирные хроники (*chronicon universale, chronica mundi*), которые включали «историю человечества» до падения Римской империи и «протонациональные истории», начиная от историй племен (англов, франков, лангобардов и т. д.), и доводились до историй формирующихся наций. Правда, за пределами христианского мира пространство утрачивало свои позитивные качества, там начинались леса и пустоши варваров.

Другим прототипом всемирных историй средневековья были сочинения об образе мира. Самое популярное из них так и называлось «*De imagine mundi*» (ок. 1100) и приписывалось разным авторам (сначала св. Ансельму, затем Гонорию Августодунскому или Гонорию Затворнику). Подобные энциклопедические сочинения, наряду с географическими главами, заимствованными в основном у Исидора, Орозия, Августина и Беды, содержали этнографические и исторические сведения, легенды и прочие сведения о жизни разных народов. Сюда же следует отнести и «большие энциклопедии» XIII в.

Всеобщие истории Нового времени продолжили обе традиции средневековой историографии. Огромная библиотека всемирных историй делится на компендиумы страновых историй и на универсальные истории человечества. Первые представляют собой, как правило, многотомные объединения национальных историй, собранные вместе и выстроенные в хронологическо-синхронистическом порядке. Вторые объясняют развитие всего человечества с использованием тех или иных универсальных законов. Это могут быть законы исторического материализма Карла Маркса, или 26 законов «ступенчатого развития» Курта Брейзига, или природно-исторические законы Генри Бокля и множество других «законов исторического развития», но в любом случае второй тип всемирных историй в основном относится к историософии (см. главу 13), а с середины XIX в. чаще всего опирается на позитивистские или марксистские концепции (включая их последующие варианты с приставками «нео», «пост», «нео-нео», «пост-пост» и др.).

Этимология понятия «всемирная история» показывает по

сути единое понимание термина: история всего мира (или его очень большой части, за пределами которой — не вполне «история» или не вполне «мир»). В немецком для обозначения этого понятия употребляются варианты *Weltgeschichte*, *Universalhistorie*, *Allgemeine Geschichte*; во французском — *histoire générale*, *histoire universelle*, *histoire du monde*; в английском — *general history*, *universal history*, *world history*, *global history*; в русском — всеобщая история, всемирная история. Во всех указанных языках часто используется и название «история мировых цивилизаций».

На протяжении последних двух с половиной столетий многих историков, в том числе и очень известных, привлекала идея создания картины всемирной истории. Леопольд фон Ранке написал полотно всеобщей исторической жизни, которая последовательно движется от одной нации или группы наций к другой, а Марк Блок говорил, что «единственно подлинная история... — это всемирная история»⁹. Но при этом историки пытались подходить к решению этой задачи по-своему, не столь умозрительно, как философы. Для историков самым универсальным средством для конструирования всемирной истории оказывается хронологическое время — гомогенный посредник, который беспристрастно объединяет вместе все возможные события. Ведь те, кто занимается сравнительной историей, сопоставляя одно место с другим или изучая одну проблему или институт — власть, государство, культуру или религию, — выбирают каждый свою структуру исторического времени. Но всемирная история требует единого и последовательного способа структурирования времени как для целого, так и для отдельных частей.

Гомогенность и необратимость хронологического времени предполагают, что все события, которые произошли в определенный момент, как-то связаны. Тем более связаны между собой последовательные события. Создавая панораму всемирной истории, историк концентрируется на том, что представляется более или менее продолжительной последовательностью собы-

⁹ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Наука, 1986 [1942/1949 посм.]. С. 29.

тий, пытается проследить их ход на протяжении веков и поделить временную протяженность на отрезки, которым приписывается определенное качество. И именно благодаря последнему обстоятельству всеобщая история может рассматриваться как регулятивный идеал в кантианском смысле, как идея «единого исторического мира», которой должен руководствоваться историк в поисках взаимосвязей и которая часто воплощается в образе линейного исторического времени. Другой распространенной моделью всемирной истории является циклическая модель цивилизаций или культур.

Если универсальная история ныне довольно редкое явление, то «всемирная история», составленная из описаний национальных историй, по-прежнему процветает, хотя бы в том смысле, что издается и переиздается большими тиражами, а значит читается. Наиболее очевидные примеры такой всемирной истории — соответствующие многотомные издания, как академические, так и популярные, написанные, чаще всего коллективно, например, известные серии Кембриджской истории. В какой-то мере сюда можно отнести исторические энциклопедии (словари) и другие компендиумы, охватывающие историю «всегда и везде». История такого рода обычно расставлена по географическим ареалам. Конечно, это — не компиляции отдельных исторических трудов, как у античных или средневековых авторов «Всеобщих историй», но все же по способу изготовления что-то схожее.

В Новое время у истоков всемирной истории очень заметно присутствие немцев, каждый из которых совершал свой титанический подвиг в одиночку: Август Шлёцер (1772), Иоганн фон Мюллер (3 т., 1812 посм.), Карл фон Роттек (6 т., 1812–1818), Фридрих Шлоссер (8 т., 1815–1841) создают многотомные всемирные истории. На рубеже XIX–XX вв. количество томов растет: Леопольд фон Ранке пишет 16 томов (1881–1888), а Вильгельм Онкен — 46 томов (1879–1893). Французы этого периода представлены, к примеру, известной «Историей» Эрнеста Лависса и Альфреда Рамбо (12 т., 1893–1901). В первой трети XX в. английские историки коллективно издают три серии «Кембриджской истории» (история Древности — 12 т., история Средних веков — 8 т., история Нового времени — 12 т.). И это

далеко не все. В середине XX в. на передний край выходят французы: среди авторов «Всеобщих историй» — Анри Пиренн, Морис Крузе, Рене Груссе и Эмиль Леонар. Советские историки в конце 1950-х годов тоже предприняли попытку создания марксистского варианта глобальной историографии в 10-томной «Всемирной истории».

Всеобщая история, написанная подобным образом, представляет собой гибрид, что-то среднее между справочником и сценарием, и напоминает подробный вариант учебника, по которому в школе запоминают даты битв и правления королей. (Мы уж не говорим о настоящих учебниках «Всеобщей истории» — прежде всего школьных, но иногда и университетских.) Потрясающую устойчивость этого жанра исторической прозы можно объяснить только не менее потрясающей любознательностью как ее создателей, так и читателей, круг которых, конечно, не ограничивается профессионалами. Может быть, как раз профессионалы не считают обязательным для себя читать эти «Истории...» и используют их чаще как справочные издания.

Однако в нашем столетии внимание историков больше привлекают другие варианты «всемирных историй», в которых мир прошлого анализируется как система: социальная или культурная (цивилизация). Ее истоки тоже прослеживаются с древности: Орозий, затем Ибн Хальдун. Теория цивилизаций разработана в историософских трудах, относящихся к упомянутой выше универсальной истории, от «Оснований новой науки об общей природе наций» Джамбатиста Вико к сочинениям Вольтера, Иоганна Гердера, Франсуа Гизо, Виктора Кузена, Шарля Ренувье и Генриха Рюккерта.

В XX в. радикальные перемены в развитии этого подхода были связаны с эволюцией как философского, так и научного знания. Для представления самой большой единицы анализа человеческого общества было предложено понятие крупномасштабного «сложного общества». Его концепция была разработана в философии истории, исторической социологии и антропологии (Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби, Герберт Уэллс, Питирим Сорокин, Филмер Нортроп, Карл Ясперс, Альфред Крёбер, Эрих Фёгелин и др.). Никто из перечисленных ученых не был

историком по профессии и не опирался на традиционные исторические методы: Питирим Сорокин — социолог, Альфред Крёбер — антрополог, Освальд Шпенглер и Филмер Норттроп — социальные философы, Арнольд Тойнби и Карл Ясперс — религиозные философы, Эрих Фёгелин — политический философ. По существу эти исследователи не удовлетворялись рамками анализа общества-государства, полагая, что история национально-государства не представляет связного и последовательного поля исследования для изучения и осмысления исторических процессов. Кроме того, их явно увлекала тема динамики межкультурных взаимодействий.

Во второй половине XX в. изучение всемирной истории становится более аналитическим и профессиональным во многом благодаря очередной волне «исторической социологии» и становлению «новой научной истории». Всеобщая история продолжает разрабатываться в традиционных амбициозных проектах, но с конца 1960-х годов появляется, условно говоря, «новая научная» всемирная история.

В XIX в. отдельным историкам всеобщая история была еще по плечу, ведь она писалась в основном как политическая (иногда социальная или культурная). Поставленная в XX в. задача «исторического синтеза», требование «тотального» (или комплексного, или междисциплинарного) подхода делает написание всемирной истории в одиночку крайне затруднительным, да просто нереальным предприятием. Даже с учетом того, что общества прошлого были несколько менее сложными, чем современное, отдельному историку явно не под силу анализировать социальный мир в целом, в равной мере охватывая все компоненты социальной реальности. Однако и успешные коллективные проекты — тоже большая редкость. Одна из основных «потерь» исторического труда, созданного объединенными усилиями — как раз целостность. В большинстве своем историки работают не лабораторным способом, а в одиночку; и в силу ограниченности возможностей индивида достаточно редко ставят перед собой задачу анализа социальной реальности в целом. Даже если такая цель и ставится, на практике в любом исследовании акцент делается на определенных компонентах социального мира. Очень немногие историки, среди них Уильям

Макнил и Лефтен Ставрианос, писали действительно всеобщую историю.

Хотя всемирная история, создаваемая историками, в отличие от историософских схем, претендует на гомогенность исторического времени, заполнение его событиями и фактами, она, по словам известного французского антрополога Клода Леви-Строса,

«все же не что иное, как сочленение нескольких локальных историй, среди которых (и между которыми) пустоты гораздо более многочисленны, чем заполненные места. И напрасно верить, что умножая число сотрудников и интенсифицируя исследования, мы получим лучший результат: если только история жаждет смысла, она обрекает себя на то, чтобы выбирать регионы, эпохи, человеческие группы и индивидов в этих группах и выделять эти фигуры в качестве прерывистого из непрерывного, вполне подходящего, чтобы служить декорацией на заднем плане»¹⁰.

Региональная история

Под региональной историей мы в данном случае подразумеваем историю больших территорий, выходящих за пределы государственных границ. Это могут быть континенты или их части, которые концептуализируются не как географические, а как историко-политические понятия, например, Восточная Европа, Балканы или Средиземноморье.

1. История Европы. Упрочившаяся в XX в. идея уникальности западной цивилизации привела к падению популярности классических историософских схем и постепенному отказу от них. На смену «универсальной истории» пришла едва ли не столь же общая и генерализованная «история Запада» или «история Европы». В отличие от проектов «всемирной истории» (универсально-объясняющего толка) попытки создания единой истории Европы или западной цивилизации считаются в историческом сообществе, начиная с Франсуа Гизо и Леопольда фон

¹⁰ *Леви-Строс К. Неприрученная мысль [1962] // Леви-Строс К. Первобытное мышление / Пер. с фр. М.: Республика, 1994. С. 317.*

Ранке, более сильными, а потому и более корректными с научной точки зрения. Соотношение географии с историей в понятии Европы удачно определил французский историк Реми Браг:

«Как “место” Европа есть пространство... Как “содержание” Европа есть комплекс исторически конкретных фактов, имевших место именно здесь. Эти события могли быть точечными или покрывать собою долгие периоды времени... Европа как “место” предшествует Европе как “содержанию”»¹¹.

Вопреки тому, что идея единства европейской истории, не говоря уже о степени ее внутренней синхронии, представляется далеко не бесспорной, подавляющее большинство специалистов ее принимает. Концепции «всемирной истории» в этом случае трансформируются в различного рода периодизационные схемы европейского исторического развития.

Однако применительно к надстрановым территориям внутри Европы действуют разнообразные отграничительные дискурсы: Западная и Восточная Европа, Центральная Европа, Южная Европа, Балканы. Эти понятия вовсе не являются нейтральными географическими терминами для маркирования определенных территорий, за ними стоит содержательная экономическая, политическая, культурная история с выраженной идеологической основой.

Во времена крестовых походов Восточная и Северо-Восточная Европа представлялась жителям Запада столь же туманным и неведомым краем, как Центральная Азия. Относительно систематизированные представления об истории Европы в целом складываются лишь в XIII–XIV вв. на основе локальных историй отдельных народов, королевств, аббатств и т. д. В эпоху Ренессанса Европа делилась на Южную (Италия) и Северную (варварскую), и еще в первой половине XVII в. Франсуа Рабле называл в одном ассоциативном ряду москвичей, индусов, персов и троглодитов, а уже в XVIII в. западные европейцы стали различать Западную и Восточную Европу (правда, еще не договорились, где начинается Азия). Западная и Восточная

¹¹Браг Р. Европа, Римский путь / Пер. с фр. М.: Аллегро-Пресс, 1995 [1993]. С. 5.

Европа возникали как взаимодополняющие конструкты, построенные по принципу сходства и различия (компаративистика вообще издавна используется как подход в исторических исследованиях).

В последние десятилетия появился новый подход к региональной, в том числе европейской, истории, связанный, безусловно, с представлением о процессе конструирования реальности в прошлом, в который активно была вовлечена география. География рассматривается ныне как вид знания-власти, закреплявший в атласах и энциклопедиях отношения Западной Европы с остальным миром. Так, главная идея работы Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения» (1994) состоит в том, что Восточная Европа — продукт воображения эпохи Просвещения, разделившего Европу на цивилизованную и нецивилизованную (или получивилизованную), где по-прежнему сохранялись рабство, деспотизм, нищета массы населения, «варварская» культура низов. «Изобретение» Восточной Европы, согласно Вульфу, стало итогом философского (идеи Просвещения) и географического (результаты географических исследований и геополитических действий) синтеза.

Надо сказать, что точка зрения Вульфа представляется отнюдь не бесспорной. Немецкий историк Фритшоф Шенк, например, утверждает, что понятие «Восточная Европа» возникло только в XIX в. и вплоть до начала Первой мировой войны употреблялось как синоним понятия «Россия». Но так или иначе в XVIII в. парижское общество устраивало шумные проводы французам, уезжавшим за пределы Франции, чтобы нести «светоч Разума» в страны Восточной Европы. В 1774 г. из парижского салона Мирабо-старшего физиократ отправлялся в Польшу под звуки фанфар, точно так, как в 1989 г. отбывал туда же профессор-экономист из Гарварда.

Подобным образом, только намного позднее, была сконструирована Центральная Европа. Концепт Центральной Европы возник в ходе Первой мировой войны, при любом исходе предполагавшей новый передел континента. Особенно прочно он укоренился в Германии, являя собой вариант подхода к «немецкому вопросу» (и в Третьем Рейхе, и после Второй мировой

войны в ФРГ идея Центральной Европы в разных вариантах обсуждалась в политических дискуссиях). В 1980-е годы идея была востребована интеллектуалами Польши, Чехословакии и Венгрии, которые, естественно, фокусировали внимание не на «немецком вопросе», а на задаче отграничения своих государств от «очагов тоталитаризма». Показательно, что о Центральной Европе размышляли в том числе и такие всемирно известные представители художественной элиты из восточноевропейских государств, как Милан Кундера, Вацлав Гавел, Чеслав Милош, которым непременно хотелось даже с помощью названия географического ареала отграничить свои страны от СССР. При этом выбор для самообозначения отдельного понятия говорит о том, что близость с Западом или даже перспективы сближения вовсе не казались им беспспорными.

2. Надгосударственное пространство. История надгосударственного пространства подразумевает некую гомогенность, выходящую за рамки отдельных государств. Сюда можно отнести и этнические истории, и истории *отдельных* цивилизаций и культур, пересекавших страновые границы, и «тотальную историю» (*histoire totale*) в варианте Броделя.

Как и все в историческом знании, история надгосударственного пространства «стара как мир». «Эпоха эллинизма» одновременно была пространством эллинизма. Может быть, в некотором смысле таковой можно считать и историю Римской империи, точнее — римский мир (ср. *Orbis Romana et Pax Romana*). Отчасти христианский мир Средневековья можно трактовать и как всеобщую историю, и как надгосударственную. Впрочем, применительно к средневековому знанию государственный и надгосударственный уровни — понятия условные, ибо средневековый мир не знал понятия «государство».

Для историографии Нового времени надгосударственный уровень истории — понятие также достаточно условное, но совсем по другим причинам. Становление национальных государств в Новое время практически вытеснило историю надгосударственных ареалов. Пространственное деление определялось в основном интересами политической истории и совпадало с политическими (обычно государственными) границами.

Вследствие сознательного выбора в пользу непрерывности в

историческом исследовании, надгосударственное пространство как предмет истории вновь утвердило себя и приобрело совершенно иные измерения в трудах представителей школы «Анналов» во Франции в середине XX в. Переход от мира, разделенного политическими границами, к миру, объединенному общей средой обитания, совершил Фернан Бродель в работе «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (1949)¹². Пьер Шоню писал о «Средиземноморье» Броделя, что это

«пространство в три миллиона квадратных километров воды, два миллиона квадратных километров суши, четыре тысячи лет истории (поскольку письменные источники зародились тоже здесь). Средиземноморье оказалось — и это явилось потрясающим открытием — пространством без государства, пространством реальным, то есть пейзажем, диалогом человека с землей и климатом, извечным сражением человека с материальным миром вещей, без государственного посредничества, без ограничивающих права человека национальных пределов с их административной географией и границами»¹³.

Начиная с Броделя, историки стали активно изучать исторические ареалы, жизнь которых определялась единой геодемографической средой независимо от границ политических образований.

К истории внегосударственного пространства мы отнесли бы также огромное число исторических работ, описывающих культуры и цивилизации, начиная от Древнего Египта и Междуречья (независимо от того, каковы их политические границы). Цивилизации могут включать несколько культур, а могут и одну, причем достаточно локальную. Если использовать определение Альфреда Крёбера, то цивилизации можно рассматривать как общества, включающие набор определенных паттернов: систем искусства, философии, религии¹⁴.

¹²Интересно, что понятие «Средиземноморье», которое, благодаря Броделю, стало знаковым для историков XX в., появляется уже у Исидора Севильского (VII в.) и закрепляется затем в XII в. в упоминавшемся «Образе мира» и у Гервасия Тильберийского.

¹³Шоню П. Экономическая история: проблемы и перспективы [1974] // THESIS. 1993. Вып. 1. С. 143.

¹⁴Kroeber A. Anthropology. New York: Harcourt, Brace, 1948. P. 311.

Но поскольку цивилизаций в современной литературе упоминается более 100 и они не образуют связного ряда, оперировать этим понятием без введения дополнительных классификационных систем невозможно. Взяв в качестве образца хорошо известную культуру Флоренции и не столь широко известную «цивилизацию» литовского города Вильно, специалист по цивилизациям Роджер Уэскотт показал, что обе могут быть отнесены по разным уровням сначала к всемирной, затем к западной цивилизации, а далее первая, соответственно к итальянской, тосканской и собственно флорентийской, а вторая — к восточноевропейской, балтийской, литовской и виленской «цивилизациям». В пространственном измерении этим уровням соответствуют: глобальный, континентальный, национальный, провинциальный и локальный.

Страновая история

Страновая история — это история догосударственных и государственных образований, или, говоря словами Броделя применительно к Франции,

«многоликие, перепутанные, трудноуловимые узы, связующие историю <страны> с ее территорией, которая сплачивает эту страну, служит ей основанием и определенным образом (хотя, разумеется, и далеко не полностью) ее объясняет»¹⁵.

Многие страновые истории напоминают всеобщие, представляя собой те же хронологически выстроенные исторические панорамы, прежде всего политические, но также социальные, экономические, культурные, религиозные. Однако формат, в котором существует история стран, более разнообразен. Это могут быть многотомные сочинения, охватывающие все прошлое (от исторических корней). Такие сочинения прежде писались авторами-одиночками, теперь, как и всеобщие истории, они, как правило, под силу только научным коллективам. Это могут быть и истории определенных периодов, от эпохи до века (редко короче), и подобных «историй» намного больше. От других типов

¹⁵ Бродель Ф. Что такое Франция? Кн. 1: Пространство и история / Пер. с фр. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994 [1986]. С. 19.

историографии страновая отличается тем, что ее предметом являются не отдельные системы или элементы прошлой социальной реальности, а вся эта реальность, ограниченная определенными территориальными рамками, а именно государственной границей. Поэтому-то страновая историография, несмотря на объемность, проще всего редуцируется в исторический учебник путем отбора наиболее значимых исторических моментов, событий и личностей. К страновой истории мы отнесли бы и компаративную историю, где объектом сравнения являются отдельные страны, например, Англия и США или Германия и Россия.

Если речь идет об истории современного государства, то прошлая социальная реальность конструируется, как правило, в границах его нынешней территории (или большей — история России, написанная сегодня, безусловно, включит историю Российской империи и СССР, история Австрии — империи Габсбургов, история Литвы — Великого княжества литовского). Применительно к современности страновая история совпадает с историей государства (государства-нации). Но термин «страновая» кажется нам более удачным, так как включает историю до появления национальных государств.

До XVII в. обзоры национальной истории были редкостью, и в любом случае понятие «нация» имело совсем другие значения. В европейские языки это слово пришло из латыни (*natio*, от *lat. nasci* — рожден), что означало родовую общность. В средневековых университетах «нация» означала землячество, например, в Парижском университете различали норманскую, пикардийскую, английскую и галльскую «нации». Английская «нация» при этом включала также немецких, польских и скандинавских студентов. Столь же причудливым образом консолидировались «нации» на других «международных» форумах Средневековья, например, на церковных соборах. Формирование современного понятия «нация» происходит постепенно на протяжении XVII в., и только в 1694 г. в Словаре Французской академии нация была определена как совокупность всех жителей «одного и того же государства, одной и той же страны, которые живут по одним и тем же законам и используют один и тот же язык»¹⁶.

¹⁶ *Альтерматт У.* Этнонационализм в Европе / Пер. с нем. М.: РГГУ, 2000 [1996]. С. 33–34.

В XVIII в. появляются первые современные версии страновых историй. Дэвид Юм написал историю Англии, Уильям Робертсон — историю Шотландии, Шарль Эно — хронологическую историю Франции (1744), которой французы пользовались вплоть до середины XIX в., Август Шлёцер — историю славянских стран и т. д. Окончательно значение «государство-нация» утвердилось в ходе Французской революции, и появление этого понятия и феномена резко изменило ситуацию в тематике и приоритетах исторических исследований, породив в XIX в. мощную волну сочинений по страновой истории, которая сопровождалась массивным изданием документальных материалов. В XIX в. создание истории своего государства, в форме преимущественно политической истории, становится своеобразным вызовом любому историку, претендующему на национальное признание. Учитывая общественное положение историков в XIX в., их политическую ангажированность, нетрудно понять, сколь велика была роль страновых историй в становлении национально-государственного сознания и в формировании национальной идентичности.

Страновые истории в XIX в. помимо научных преследовали две главные политические цели: решение задачи конструирования феномена «нация» и утверждение идеи национального величия за счет в том числе наращивания знаний о прошлом своей страны. В осуществлении первой цели историки объединяли свои усилия с филологами, деятелями культуры, с одной стороны, и политиками — с другой. Реализация второй задачи в значительной мере оказалась возложенной на плечи историков, и надо сказать, что это были мощные плечи. К концу XIX столетия основные европейские государства обладали сочинениями по национальной истории, многие из которых вышли из-под пера крупнейших национальных историков. Таковы, например, 9-томная «История Франции» (1821–1842) Жана Симонда де Сисмонди и последовавшие за ней произведения знаменитых французских историков, представителей романтической (Амабль де Барант, Огюстен Тьерри, Жюль Мишле и др.) и политической школ (Франсуа Гизо, Луи Адольф Тьер, Франсуа Минье), работы английских историков от Генри Галлама (Hallam) и Фрэнсиса Палгрейва до знаменитой 4-томной

«Истории Англии» (1848–1855) Томаса Маколея, русских — от Николая Карамзина до Сергея Соловьёва и Василия Ключевского.

Национальные истории в XIX в. оказались весьма политизированной областью исторического знания, нередко политический заказ находился в явном противоречии с «объективным подходом», а претензии на «научность» разбивались о национальные чувства авторов. Пристрастность национальной истории была особенно заметна в странах, где творение истории государства предшествовало созданию самого государства, как, например, в Германии.

Многие немецкие историки, прежде всего представители прусской (малогерманской) школы, сами активно участвовали в процессе объединения Германии и проводили эту линию в своих программных сочинениях. Так, 14-томная «История политики Пруссии» (1868–1886) Иоганна Дройзена, по общему признанию — одно из высочайших достижений немецкой исторической науки того времени (немногие работы даже немецких историков основывались на таком количестве нового документального материала) — была задумана в период политического затишья, с целью напомнить о том, что долг Пруссии состоит в объединении Германии. Что уж говорить о 5-томной «Истории Германии в XIX веке» (1879–1894) Генриха фон Трейчке, историка, который всегда гордился своим «горячим сердцем». Как заметил в свое время английский историк Джордж Гуч, «если задача истории состоит в том, чтобы подвинуть нацию к действиям, то к величайшим среди историков принадлежали Дройзен, Зибель и Трейчке»¹⁷.

Тенденция решения государственных задач средствами пристрастной национальной истории оставалась достаточно заметной вплоть до Первой мировой войны. Только во второй половине XX в. отступление и кризис политической истории, равно как и изменившееся в результате двух мировых войн отношение к национализму, с одной стороны, понизили ранг страновых историй, а с другой — сделали их более нейтральными и много-

¹⁷ *Gooch G. P. History and Historians in the Nineteenth Century. London; New York; Toronto: Longmans, Green and Co., 1928 [1913]. P. 155.*

плановыми, включающими, наряду с политической, подсистемы экономики и «общества», а также характеристики системы культуры.

К такому новому типу выдающихся произведений по страновой истории мы отнесли бы, например, трехтомное исследование Томаса Нипперда «Немецкая история (1866–1918)» (1987). При явной склонности к политическим темам, Ниппердай достаточно подробно и на современном уровне теоретического анализа излагает и социально-экономические сюжеты. А написанная им история религии и культуры демонстрирует такую компетенцию, какой редко могут похвастаться историки. Столь же мощное исследование Ганса-Ульриха Велера «Германская кайзеровская империя» (1994) мы бы квалифицировали как социальную историю национального государства (стоит только сравнить заголовки).

Относительно «чистым» примером страновой истории, свободной от национальных пристрастий, могут служить многие сочинения по истории зарубежной (по отношению к автору) страны. Конструирование «чужих историй» — судьба всех «древников» (знаменитые истории античных государств Эдуарда Гиббона, Теодора Моммзена) и многих медиевистов. Историки, писавшие страновую историю Нового и Новейшего времени, больше привязаны к «своей» стране, тем не менее можно привести немало примеров как пристрастного и даже враждебного, так и вполне нейтрального конструирования «чужого» прошлого.

Леопольд фон Ранке почти 20 лет жизни посвятил созданию историй Франции и Англии. В предисловии к «Истории Франции», которая стала выходить с 1852 г., он писал, что для него особенно важна универсальная сторона истории Франции, потому что именно в этой стране зарождались ферменты многих политических явлений. Хотя в работе Ранке встречаются нелюбимые оценки национальной психологии французов, в целом его подход к французской истории отличается от пристрастных работ его соотечественников Генриха фон Зибеля или Генриха фон Трейчке (тем более от Генриха Лео, который называл французов «нацией обезьян»).

Что касается Англии, то к этому государству Ранке вообще относился с большой симпатией. «История Англии», которая за-

вершила цикл его работ, посвященных великим державам Европы, основывалась на том же принципе, что и «История Франции»: Ранке концентрировался на изучении тех периодов, когда английское влияние на человечество было особенно ощутимо. Поэтому в центре его исследования находится проблема формирования парламентской монархии и две революции XVII в. Ранке одним из первых на основе новых документов показал значение английской революции для Европы, и в целом нужно признать, что в изучении «чужеземных» стран он предстал не как «немецкий», а как «европейский» историк.

В XX в. появилось немало авторитетных «историй зарубежных стран», написанных иностранными авторами и признанных их коллегами в странах, историю которых они освещали. В этой связи интересно отметить, что в 1990-е годы, когда возник определенный внутренний кризис в процессе осмысления российской реальности (как прошлой, так и нынешней), удельный вес «чужого» знания о нашем прошлом заметно повысился, о чем свидетельствовала популярность появившихся в то время переводов работ Ричарда Пайпса, Никола Верта, Эдварда Карра, Алена Безансона и др.

Однако, как правило, «истории зарубежных стран» легче получают статус «знания», «истины», т. е. признания у соотечественников автора, чем в той стране, о которой он пишет, так как в целом общество гораздо менее критично относится к мнениям о другой реальности, чем о своей. Мало того, что в «чужой» истории на задний план чаще отступают идеологические пристрастия и национальные интересы, не столь существенными представляются и фактические детали, точность и непротиворечивость общей картины. Эти параметры важны для описания своей реальности, так как без этого трудно в ней ориентироваться и существовать, но другая реальность меньше нуждается в «достоверных» приметах. Знание же о прошлом другой страны представляет собой суперпозицию двух «других», отделенных от «своей» реальности как во времени, так и в пространстве (прежде всего культурном, но также и географическом). В результате такого двойного наложения или отчуждения в значительной мере утрачиваются прагматические потребности, играющие достаточно заметную роль как в пространственном, так и

в темпоральном конструировании в отдельности. Страновая история, написанная «чужеземными» авторами, дает по существу конструкцию «дважды другой» реальности.

Локальная история

Локальная история в современной историографии — понятие одновременно устойчивое и противоречивое. Так, для французского историка — это преимущественно история отдельных провинций и более мелких административных единиц, для американского — история штатов, графств и городов, а для английского идеалом локальной истории является тотальная история. Локальную историю можно систематизировать по размерам и содержанию пространства, например: провинция, город, деревня. По времени: «передовые рубежи цивилизации» (для XIX в. — фабричные города, для XX в. — мегаполисы), центры культуры (Флоренция XV в., Вена рубежа XIX–XX вв., Париж начала прошлого века) и в то же время множество краев, «где прошлое отказывается умирать». Для одной только Франции Бродель исчислял их сотни. Именно такие захолустные деревеньки часто выбирают историки повседневности и специалисты по микроистории. И, наконец, по типу исследования локальную историю можно разделить на несколько разновидностей: история «малой родины», субдисциплинарная история на малом пространстве и тотальная история. Из этой классификации мы и будем исходить.

1. «Малая родина». История «малой родины» (области или города) примыкает к краеведению или вообще включается в него. Исторически это самый древний тип локальной истории и одновременно самый устойчивый, с непрерывной традицией со времен античности. У истории «малой родины» очень выраженная прагматическая составляющая, она обеспечивает фундамент для исторической памяти жителей соответствующей местности. Эта функция локальной истории сохраняется и поныне, о чем свидетельствует массовое увлечение местной историей.

Локальная история, в отличие от национальной, питает привязанность человека к месту проживания, связывает его с конкретным прошлым, в том числе с историей материальной куль-

туры, представляет примеры героического или просто достойного былого предков. Локальная история такого типа тесно смыкается с архивоведением (в том числе поиском и сбором новых местных документов), музееведением; она давно институционализована в местных исторических ассоциациях и исторических журналах. В некоторых странах, например в США, история вообще только во второй половине XIX в. dorocлa до страновой или национальной, начавшись «снизу», с графств и штатов. И до сих пор в США на национальных конференциях локальных историков подавляющее число докладов по жанру относится именно к истории «малой родины».

2. Субдисциплинарная история. Субдисциплинарная история может выбирать небольшие локальные объекты по той же причине, по какой предпочитают ограниченные хронологические рамки исследования. Обозримые географические пределы делают труд историка посильным и дают возможность внимательного анализа наличных источников. Так, историк революции может изучать революцию или контрреволюцию в отдельном городе или провинции; экономический историк — экономическое развитие определенной области или производство, сосредоточенное в конкретном месте; представитель культурной антропологии — праздники и обряды в отдельных поселениях, историк рабочего движения — становление рабочей культуры в эпоху модернизации в конкретных фабричных городах и поселках.

Нередко выбор «места» диктуется наличием источника. В каком месте и в каком времени находится источник, в том месте и времени удастся осуществить исследование. Не оставь инквизитор Жак Фурнье записи проводившегося им *слушания*, современный французский историк Эмманюэль Ле Руа Ладюри никогда не расслышал бы голосов простых крестьян рубежа XIII–XIV вв., населявших деревню Монтайю, «удаленную от властей всех мастей» («Монтайю, окситанская деревня (1294–1324)»). Или можно привести в пример микроисториков, которые на базе очень небольшого исторического пространства плодотворно используют современные теории социальных наук, например, социального обмена или межличностного взаимодействия. Использование теорий, рассчитанных на современное общество, об-

ладающее обширной, структурированной и доступной информацией, ставит историка в заведомо трудное положение. Требуется найти специфические и достаточно репрезентативные источники, что применительно к прошлому является в большой мере делом случая или следствием немалой изобретательности.

Строго говоря, в локальной истории этого типа — главное, конечно, не география, а социальное пространство. Место действия автоматически задает социальные характеристики; например, в американском городе Линне середины XIX в. можно изучать не ремесленников или рабочий класс в целом, а именно сапожников и рабочих-обувщиков. То же самое происходит при изучении прошлого любой деревни: место детерминирует объект — крестьян. Локальная география может предлагать и систему социальных связей, и типы социального взаимодействия, иерархии, образцы культуры. Более того, не все, что называется локальной историей, даже формально, «по пространству», укладывается в заданную нами в этой главе структуру. Речь, прежде всего, идет о школе новой локальной истории, представители которой (Уильям Хоскинс, Герберт Финберг) отказались от локально-территориального принципа, сосредоточившись на описании и анализе реально существовавших социальных организмов, т. е. представители этого, более современного, направления не исходят из территориальных границ, а наоборот, сами в результате исследования определяют границы, которыми очерчивается то или иное явление. Такая локальная история не начинается с заданного пространства, а завершается начертанием его контуров.

3. Тотальная история. Наиболее ёмкая форма локального исследования — тотальная история. Это направление, ориентирующееся на исторический синтез и концептуализированное школой Анналов, ставит перед историком задачу охватить жизнь человека во всем ее многообразии. Признанным образцом тотальной истории считается уже упомянутый труд Фернана Броделя «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», в котором дан детальный анализ географии, экономической и социальной жизни, социальных структур и политической борьбы.

Однако следует признать, что канон, заданный Броделем, оказался далек от реализации идеала «тотальной истории» во многом в силу пространственного размаха. Последовательные попытки создать масштабное историческое полотно в конце концов убедили историков, что сколько-нибудь полное воплощение «тотального» замысла возможно только на очень небольшом географическом пространстве. Именно поэтому парадоксальным образом «тотальная история» на деле превратилась в «локальную историю» и в микроисторию, а «тотальный историк», используя известное высказывание Уильяма Хоскинса об историке локальном (что часто одно и то же), некоторым напоминает уже почти стершегося из памяти старомодного персонажа истории медицины, который «лечил человека в целом».

Бесспорным преимуществом тотальной истории является не только ее более строгий научный характер, но и действительно реализующаяся в ее рамках возможность охватить в одном исследовании все три системы социальной реальности и существующие между ними связи (таковы, например, известные работы Ле Руа Ладюри «Крестьяне Лангедока» (1966) и «Монтайю, окситанская деревня» (1975)). В теоретическом отношении, наверно, всех других историков превзошел итальянский микроисторик Джованни Леви, который выбирает один объект и прикладывает к нему десяток теорий, в отличие от обычной практики социальных наук, где одна теория прикладывается ко многим объектам. (Напомним попутно, что полем тотальной истории не обязательно бывает пространство, это может быть и личность.)

Конечно, и здесь есть свои лимиты, речь вовсе не идет обо всех элементах прошлой социальной реальности. Тем не менее со старомодным врачом ассоциируются, по нашему мнению, скорее его современники из второй половины XIX — начала XX в., представители культурно-исторического синтеза (Якоб Буркхардт, Эберхард Готхайн, Карл Лампрехт), которые пытались интегрировать культурные, политические и социально-экономические компоненты в единое целое. Тотального историка мы бы скорее считали аналогом приверженцев «системных заболеваний» в нынешней медицине.

Издавна понимая важность «места действия», историки обращались к географии, чтобы истолковать прошлое. Географи-

ческие карты, планы, схемы, атласы, путеводители и даже расписания движения транспорта используются и «прочитываются» как исторические источники. В историографии разработан собственный понятийный лексикон, позволяющий соотнести социальную и природную реальность и создать контекст исторического пространства с помощью таких терминов, как: «среда обитания», «географический фактор», «историческое место», «социальная топография», «хронотоп», «места памяти» и многих других. (Некоторые очень важные для историка смыслы пространственных социальных образований до сих пор не выражены в понятиях, и в таких случаях мы имеем дело с высказываниями типа: «то, что мы называем Францией применительно к Средневековью».)

По мере усложнения знаний о прошлом и фрагментации предмета истории представления об историческом пространстве модифицировались под влиянием самых разных форм знания. Такие сугубо «географические» понятия, как ландшафт, граница или дорога, анализируются ныне и как факторы «исторического развития», и как социокультурные конструкты прошлого, ибо существуют не только на земной поверхности, но и в сознании людей. Мифологические архетипы, сакральные объекты, символика романтической литературы и живописи, экзистенциальные философские переживания — все это можно обнаружить в конструкциях исторического пространства, объекты которого наделены специфическими культурными смыслами. Современная историография продемонстрировала совершенно новые возможности, задавшись вопросом, каковы были эти смыслы и как они изменялись во времени. Как нам кажется, эта тема — перспективное поле не только для исторической антропологии, но и для исторической психологии, ибо в данном случае конкретный объект в пространстве и времени дает возможность анализировать вызванную им работу сознания.

С историческим пространством в такой интерпретации связано формирование символического универсума системы культуры: мистические компоненты традиции, приметы «малой родины», дизайн места обитания и базовые основы национальной идентичности.

Раздел III

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Глава 6

ЭМПИРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Обозначение исторического знания как «науки» возникло сравнительно давно, в начале Нового времени (впрочем, в те времена «наукой» называли и философию). Но с XVI по XIX в. история трактовалась как опытное, описательное, фактологическое знание, и за ней сохранялся второстепенный, вспомогательный статус относительно «теоретических» наук. Надо сказать, что такое отношение к истории имело некоторые основания, она во многом представляла собой свод историй, хроник, сведений и т. д., что отмечал еще английский философ Робин Коллингвуд:

«До конца XIX — начала XX в. исторические исследования находились в положении, аналогичном положению естественных наук догалилеевской эпохи. . . Историограф в конечном счете, — как бы он ни пыжился, морализировал, выносил приговоры, — оставался компилятором, человеком ножниц и клея. В сущности его задача сводилась к тому, чтобы знать, что по интересующему его вопросу сказали “авторитеты”, и к колышку их свидетельства он был накрепко привязан, сколь бы длинной ни была эта привязь»¹.

Фактически становление истории как полноценной науки происходит в конце XIX в., одновременно с выделением общественных наук как самостоятельного типа знания, отделенного

¹Коллингвуд Р. Джс. Идея истории [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Джс. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 367.

от естествознания. В этот период формируются основные общественнонаучные дисциплины — экономика, социология, психология, этнология, которые раньше были в большей или меньшей степени растворены в философии общества. В последней трети XIX в. самостоятельной дисциплиной становится и история, она обретает полноценный академический статус и научную организацию: кафедры, факультеты, общества, дипломы. Так, хотя первые самостоятельные кафедры истории были учреждены в Берлинском университете в 1810 г. и в Сорбонне в 1812 г., но, например, в Англии первые кафедры истории появились в Оксфорде в 1866 г. и в Кембридже в 1869 г. Точно так же хотя уже в конце XVIII — первой половине XIX в. во всех европейских странах издавалось множество исторических периодических изданий (только в Германии в 1790 г. их было 131), первые профессиональные национальные исторические журналы появляются лишь во второй половине XIX в.

Профессиональная специализация истории, ее выделение в качестве самостоятельной научной дисциплины существенно изменили характер дискуссий о методологии истории. Вплоть до конца XIX в. обсуждение этой проблемы не было связано с конкретной дисциплиной в ее сегодняшнем понимании, а относилось к некоей по-разному определяемой, но в любом случае весьма широкой области знания. Следы такого понимания «истории» отчасти обнаруживаются и в XX в., в том числе и после Второй мировой войны. Однако ныне уже можно провести довольно четкое разграничение дискуссий о специфике общественнонаучного знания в целом (в том числе охватывающего историю), и обсуждения собственно исторической дисциплины как научного знания о прошлой социальной реальности.

Наука отличается от других способов познания прежде всего тем, что научные исследования ведутся в соответствии с определенными правилами, организующими и направляющими научный процесс. Совокупность правил, принятых профессиональным сообществом, именуется «научными методами». Проблема метода — это история научных традиций, научных школ и внутринаучной коммуникации. Это проблема ярлыков и искренней веры, пожизненных научных споров, нелицеприятных нападок и резких отповедей. Ибо, как заметил американский философ

Пол Фейерабенд, процедура, осуществляемая *в соответствии с правилами*, считается научной; процедура, *нарушающая эти правила*, считается ненаучной. Тот факт, что эти правила существуют, что наука своими успехами обязана их применению и что правила эти рациональны в некотором безусловном, хотя и расплывчатом смысле, сомнению не подвергается.

История в полной мере удовлетворяет современным критериям научного знания. В частности, она является социальным и общественным предприятием, выполняемым в соответствии с принятыми правилами и методами и неявно принятыми критериями приемлемости, которые историки, здесь и сейчас, принимают в качестве корпорации.

Внутренними критериями научного знания выступают рациональность и взаимная соотнесенность эмпирики и теории. В частности, для включения того или иного исторического сочинения в социальный запас знания необходимо, чтобы автор каждого утверждения о прошлом мог ясно показать, почему — на основе каких документов и каких свидетельств — он предлагает именно данную последовательность событий и такую интерпретацию, а не другую.

Примерно об этом же говорит немецкий историк Вольфганг Моммзен: исторические работы и исторические суждения являются научными, потому что они «интерсубъективно понятны и верифицируемы». Интерсубъективность исторического знания конституируется через суждения других людей, прежде всего историков. Точно так же очевидна верифицируемость исторических суждений (дискурсов), которая достигается на основе, по крайней мере, трех вполне конкретных критериев:

- 1) Были ли использованы относящиеся к данному вопросу источники и были ли приняты во внимание результаты предшествующих исследований, в том числе последних?
- 2) В какой мере в этих исторических суждениях интегрированы все имеющиеся исторические данные?
- 3) Являются ли явные или лежащие в основе данного суждения объясняющие модели строгими, когерентными и непротиворечивыми?²

²Mommsen W. J. Social Conditioning and Social Relevance in Historical Judgements // History and Theory. December 1978. Vol. 17. N 4. P. 33.

Можно предложить и другие критерии, но возможность согласия специалистов относительно ценности той или иной исторической работы является главным доказательством «научного» характера истории и краеугольным камнем исторической объективности. В целом история признается наукой уже более ста лет, и на протяжении всего этого периода, что вполне естественно, не утихают дискуссии о специфике, особенностях, характере научных методов, присущих современному историческому знанию. Удивление, однако, вызывает то обстоятельство, что сам тезис о том, что история является наукой, до сих пор вызывает определенные сомнения. Эти сомнения можно условно разделить на две разновидности.

Сомнения первого рода сводятся к мысли о том, что история — это *не только* наука. Здесь происходит смешение понятия истории как *научного* знания о прошлой социальной реальности с другими типами знания о прошлом: философией, искусством, религией, идеологией и т. д.

Вторая разновидность сомнений в научности исторического знания сводится к тезису о том, что история — это *не вполне* наука или «недостаточно научная» наука. На наш взгляд, источником подобных представлений является некорректный выбор базы для сравнений, т. е. «эталона научного знания». Зачастую историю продолжают сравнивать с естествознанием; при этом используются представления о естественных науках на уровне школьной программы, которая на самом деле в среднем примерно соответствует знаниям XIX в. (это касается и самих естественных наук, и философии естествонаучного знания). Естественные и общественные науки, к которым принадлежит история, — это два разных типа знания, и в настоящее время сходства между ними не больше, чем между естествознанием и философией. Как писал Марк Блок:

«... мы ныне лучше подготовлены к мысли, что некая область познания, где не имеют силы Евклидовы доказательства или неизменные законы повторяемости, может, тем не менее, претендовать на звание научной. Мы теперь гораздо легче допускаем, что определенность и универсальность — это вопрос степени. Мы уже не чувствуем своим долгом навязывать всем объектам познания единообразную интеллектуальную модель, заимствованную

из наук о природе, ибо даже там этот шаблон уже не может быть применен вполне»³.

1. Эмпирические данные

В основном споры о «научности» современного исторического знания связаны с обсуждением исторических методов и, прежде всего вопроса о степени «теоретичности» истории. Однако наука является эмпирико-теоретическим знанием, поэтому прежде всего мы хотим обсудить вопрос об эмпирической составляющей исторических исследований. Нельзя сказать, что эта тема была обойдена вниманием историков; фактически именно ей специально занимается важнейшая историческая дисциплина — источниковедение. Но в рамках источниковедческого подхода акцент по существу делается на изолированном рассмотрении эмпирической базы собственно исторических исследований, ее специфичности и «особости». Лишь в последние годы в источниковедении начали развиваться более широкие, универсалистские подходы к этой проблеме, но пока речь идет лишь о первых шагах в этом направлении.

В данном разделе мы попытаемся показать, что эмпирическая составляющая истории как знания о прошлом, с точки зрения современного науковедения, не имеет принципиальных отличий от эмпирической основы других общественных наук, занимающихся изучением «настоящего». Но вначале коротко отметим основные этапы развития представлений об эмпирических основаниях исторического знания.

Свидетельства

Как показано в многочисленных исследованиях, в Древней Греции словом «история» с *предметной* точки зрения обозначались любые знания о социальной, божественной или природной реальности. Но с самого начала «историческими» знаниями или

³ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Наука, 1986 [1942/1949 посм.]. С. 13–14.

«историей» обозначался далеко не каждый *тип* или разновидность знания. В соответствии с этимологией слова «история», к «историческим» относились знания, полученные прежде всего путем наблюдения (знания об увиденном, наблюденном).

Ориентация на увиденное или на свидетельства (увиденное другими) — отличительный признак сочинений, которые начали называть «историями» в эпоху эллинизма. Так, работа Геродота начинается с заявления, что он собирается излагать «сведения, полученные путем расспросов». Точно так же и у Фукидида: «я рассматриваю в свете данного свидетельства». Тем самым уже в Древней Греции историческое знание стало рассматриваться как знание эмпирическое, а в качестве эмпирической основы выступали личные наблюдения и свидетельства, основанные на личных наблюдениях «свидетелей». Говоря о том, что подобное понимание возникло в Древней Греции, мы не утверждаем, что оно было господствующим — скорее речь шла о еще слабой тенденции, существовавшей наряду с иными значениями и смыслами термина «история».

Греческая философия различала два типа мысли: знание в собственном смысле слова (ἐπιστήμη) и то, что в русском языке переводится как «мнение» (δόξα). В применении к историческим сочинениям этот принцип сводился в общем виде к тому, что изложение увиденного автором или пересказ прямых свидетельств очевидцев обычно считались «знанием» (эпистемой), а изложение вторичных сведений, в том числе относящихся к более отдаленному прошлому, рассматривалось как «мнение» (докса). Это разделение выражалось и в существовании двух типов «историографий», описывающих события, произошедшие при жизни автора и до его рождения. Первый вид сочинений не обязательно основывался на увиденном лично самим автором, но по крайней мере предполагал использование автором прямых свидетельств его современников, бывших очевидцами описываемых событий. Наряду с этим как относительно самостоятельный вид историографии существует описание событий или деяний, происходивших до рождения автора, «не на его памяти». И хотя оба типа «историй» часто сочетаются в одном сочинении, они пишутся и воспринимаются по-разному.

Оценивая ориентацию античной историографии на личные

наблюдения и устные свидетельства очевидцев, это явление следует признать симптомом начала движения по пути становления истории как науки. Совершенно очевидно, что, в отличие от современного положения, в те далекие времена свидетельства очевидцев были гораздо более надежным и доступным видом эмпирического материала, чем какие-либо письменные документы. Роль письменных документов постепенно увеличивалась — первые серьезные шаги в этом направлении были сделаны уже в эпоху эллинизма благодаря созданию Александрийского мусейона. Тем не менее приоритетное внимание, уделявшееся свидетельствам очевидцев и личным воспоминаниям, еще долго проявлялось в исторических сочинениях, и в первую очередь в лучших из них.

Например, Фукидид описывал прежде всего те события, современником которых он был сам. Точно так же и Полибий (ок. 200 — после 120 г. до н. э.), притязая на создание «Всемирной истории», на самом деле в основном описывает период, почти целиком относящийся к его жизни (примерно с 210 г. до н. э.), применительно к которому он мог собрать воспоминания свидетелей тех или иных событий, дополнив их своими личными наблюдениями. И хотя у Фукидида и Полибия есть главы, посвященные более ранним периодам, они имеют главным образом предваряющий, вводный характер. В римской историографии различие между прямыми и косвенными наблюдениями несколько ослабевает, но тем не менее не исчезает полностью, о чем свидетельствуют известные рассуждения Цицерона об истории.

В средневековых исторических сочинениях разделение прямых и косвенных сведений резко усиливается. Главное внимание по-прежнему уделяется лично увиденному и услышанному, что подкреплялось ссылкой на Божественный пример: «И что Он видел и слышал, о том и свидетельствует» (*Ин.* 3, 32). Что же касается уже существовавших текстов, которые могли использоваться в качестве источников, то для средневековой «историографии» в целом характерно некритическое отношение к ним. Любой мало-мальски древний автор служил авторитетом для последующих сочинителей исторических хроник. Базовый текст не вызывал сомнений у средневекового хрониста, сомне-

ния у него возникали из-за естественных расхождений между *разными* текстами. Именно поэтому средневековые авторы при описании событий, современниками которых они сами не были, обычно старались ограничиваться одним источником для того, чтобы не путаться в противоречиях. При этом, как отмечал русский медиевист Евгений Косминский, пересказ этого одного источника с течением времени делался все более и более кратким. Эту характерную для средневековых хронистов черту немецкие исследователи называют принципом одного источника (Einquellenprinzip). Однако, если автор хроники переходил к рассказу о событиях, опираясь на свидетельства очевидцев или на собственные наблюдения, стиль повествования заметно преобразался.

«Например, существует значительная разница между “Хроникой, или Историей двух градов” Оттона Фрейзингенского и его “Историей (Gesta) императора Фридриха I”, где он описывает события либо на основании того, что он сам видел, либо главным образом на основании рассказов непосредственных свидетелей событий. Здесь и язык, и стиль меняются, все изложение делается гораздо живее»⁴.

Таким образом, в Средние века была заложена традиция «источника», практиковавшая использование косвенных сведений в форме письменного текста для освещения событий отдаленного периода. При этом средневековый «источник», как правило, воспринимался хронистами не как мнение, а как знание, не подвергаемое сомнению (критическому анализу).

Источники

В эпоху Ренессанса начинается новый этап в развитии эмпирической базы исторического знания. Этот этап характеризуется, во-первых, сдвигом от свидетельства (наблюдения) к документу (тексту). Во-вторых, эмпирическая база исторического знания расширяется за счет включения в нее материальных предметов. Первоначально критика текстов и собирание древностей существовали параллельно и были слабо связаны друг с

⁴Косминский Е. А. Историография Средних веков (V в. — середина XIX в.). Лекции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. С. 32.

другом. Но постепенно они стали выступать как взаимодополняющие части единой эмпирической основы исторического знания, получившей позднее название «исторических источников».

Так, Петрарка собирал древние монеты и использовал их как исторические свидетельства, например, чтобы узнать, как выглядел Веспасиан; его интересовала история костюма, и свои знания греческой одежды он употребил для объяснения строки в «Илиаде». Его друг Джованни Донди посетил Рим в 1375 г., копировал надписи и описывал руины. А в XV в. коллекционирование древностей становится одним из самых уважаемых занятий, которому посвящают себя состоятельные люди.

К середине XV в. изучение античных текстов и собирание древностей выходят из любительской стадии и становятся частью профессиональных исследований. Своего рода точкой отсчета принято считать трактат Лоренцо Валлы «Рассуждение о подложном и вымышленном дарении Константина» («De falso credita et ementita Constantini donatione Declamatio», 1440), который рассматривается как первый опыт критики текста. Практически в то же время Флавио Бьондо на основе изучения античных памятников и надписей пишет трактат «Восстановленный Рим» («Roma Instaurata», 1444–1446), в котором пытается реконструировать топографию имперского Рима.

Уже в эпоху Ренессанса начинается работа с текстами, ставшая составной частью процесса становления исторических исследований: сбор, расшифровка, датировка, атрибуция, классификация, публикация, комментирование, критика. Из этого почетного занятия в XVIII в. возник целый ряд вспомогательных исторических дисциплин — археография, палеография, дипломатика, эпиграфика, папирология и т. д. Именно в этот период и появляется понятие «исторического источника», по сути отсутствовавшее в эпоху Средневековья, более того, возникает фигура автора. Ведь в Средние века мысли и слова восходили прямо или косвенно к единому, божественному источнику. В *этом* смысле понятия авторства не существовало.

В XVIII в. огромный вклад в развитие эмпирической базы исторических исследований внесли французские мавристы (члены бенедиктинской конгрегации св. Мавра, основанной в 1618 г.), сыгравшие выдающуюся роль в собирании и публика-

ции западноевропейских средневековых рукописей. С целью отстоять от критики протестантов авторитет католической Церкви, мавристы выявили и издали огромное количество источников по ее истории. Кроме того, ими была составлена история французской литературы (более 40 томов), а также многотомные истории отдельных провинций (Лангедока, Бретани и др.), в приложениях к которым напечатано множество документов. Заслуга мавристов, среди которых наиболее известны имена Жана Мабильона, Бернара де Монфокона, Мориса Буке, — выработка правил критического издания памятников, создание вспомогательных исторических дисциплин.

В XIX в. главная заслуга в усовершенствовании методики определения подлинности документов, их датировки и локализации принадлежит школе немецкого историка Леопольда фон Ранке. Если до Ранке историки преимущественно опирались на источники, созданные с целью прославления своего времени (античники — на сочинения Тацита, Цезаря, Светония, медиевисты — на известные хроники типа сочинений Жана Фруассара), то в итоге «ранкеанской революции» приоритетным стало изучение источников, не ориентированных «на будущее», прежде всего — текущей государственной документации. Именно в семинаре Ранке в Берлинском университете была выведена «новая порода» академических историков, практиковавшихся прежде всего в критическом изучении и оценке источников в соответствии с позитивистскими представлениями о научности.

В результате техника критики текстов, идущая от Лоренцо Валлы и итальянского гуманизма XV в., через труды бенедиктинцев св. Мавра, появившихся на фоне кризиса европейского сознания накануне эпохи Просвещения, до исторического толкования Библии в немецких университетах XIX в., достигает уровня формального совершенства.

Общественное признание ценности исторических документов выразилось в масштабных усилиях, направленных на составление максимально полных описей имеющихся источников и их публикацию. Начало было положено в 1826 г. публикацией *Monumenta Germaniae Historica* при государственной поддержке и при участии крупнейших немецких историков. Несколько позже

и другие страны последовали этому примеру. В XIX в. создавались громадные коллекции тщательно просеянного материала: своды латинских надписей, новые издания исторических текстов и документов всякого рода.

Параллельно с расширением текстовой базы исторических исследований шло развитие материально-предметной составляющей. С начала XVII в., когда увлечение древностями охватило всю Европу, возникают попытки систематической классификации и изучения древних находок, прежде всего памятников искусства и надписей (эпиграфика). В начале XVIII в. Бернард де Монфокон публикует десятитомный свод античных древностей, тогда же организуются первые научные археологические экспедиции (до этого раскопки велись в целях наживы и были разновидностью кладоискательства). Особое значение имели научные раскопки Геркуланума и Помпей в конце XVIII в., которые впервые привлекли внимание к особенностям античного быта. Египетский поход Наполеона 1798–1801 гг. и расширяющееся влияние английской Ост-Индской компании открыли археологам доступ в страны Востока, в результате чего XIX в. становится веком расцвета археологии. Но все же эмпирическая база истории преимущественно состоит из текстов, и подавляющее большинство историков собирают свой материал, не выходя за порог библиотек и архивов.

«Классические» представления об источниковедении впервые были сформулированы Иоганном Дройзенем в середине XIX в. Подход Дройзена к проблеме источников имел, как минимум, две примечательных особенности.

Во-первых, Дройзен использовал необычайно широкую трактовку исторических источников, не многим отличающуюся от современной. К историческому материалу он относил не только архивные «деловые документы» (корреспонденции, счета, юридические грамоты и т. д.), но также «изложение мыслей, выводов, духовных процессов всякого рода» (мифы, философские и литературные произведения, а также «исторические труды как продукт своего времени»), сказания и исторические песни, речи в суде и парламенте, публицистические речи и проповеди, воспоминания (мемуары), «произведения искусства всякого рода», надписи, медали, монеты и т. д., «произведения, кото-

рым дал форму человек (художественные, технические и т. д.)», вплоть до дорог и общинных лугов, «любые монументальные отметки для памяти вплоть до пограничного камня, титула, герба, имени»; наконец, сохранившиеся в настоящем «правовые институты нравственных общностей» (нравы, обычаи и традиции, законы, государственные и церковные установления), и этим список далеко не исчерпывается.

Во-вторых, говоря об источниках, Дройзен постоянно отмечал их неполноту и фрагментарность, не позволяющую получить полную картину прошлого. Поэтому «мерой достоверности исследования» он полагал «четкость в обозначении пробелов и возможных ошибок». А отсюда вытекает необходимость анализировать разные виды источников в поисках точки пересечения между ними⁵.

Эти идеи были развиты в конце XIX в. в работах Эрнста Бернгейма, Эдварда Фримена, Шарля-Виктора Ланглуа и Шарля Сеньобоса. В частности, ими были предложены первые развернутые классификации «источников», т. е. эмпирического материала, используемого в исторических исследованиях. Ключевым элементом этих классификаций было введенное Дройзеном и развитое Бернгеймом разделение «исторических остатков» и «исторических преданий» (текстов). Несмотря на известную спорность и неоднозначность такого деления, оно сыграло важную роль в развитии источниковедения в конце XIX — первой половине XX в.

Информация

В XX в. инструментарий историков, традиционно изучавших письменные источники с помощью текстологии, палеографии, эпиграфики и т. д., существенно обогатился методами сопредельных социальных наук. Благодаря появлению количественной истории в обиход вошли процедуры критики статистических источников, а социология, антропология и демография способствовали укоренению в исторических штудиях контент-анализа, устного анкетирования и т. д., вплоть до технических процедур

⁵ Дройзен И. Г. Очерк истории [1858/1882] // Дройзен И. Г. Историка / Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 468–474.

климатологии, примененных французским историком Эмманюэлем Ле Руа Ладюри.

Однако главное изменение в эмпирической базе исторических исследований произошло не в самом материале и методах его обработки, хотя прогресс здесь очевиден, а в новом понимании роли эмпирического материала. Это новое понимание можно условно обозначить как переход от «источника» к «информации». С конца XIX в., т. е. с начала превращения истории в науку, понятия информации и источника по сути начинают разделяться. Если раньше считалось, что каждый источник несет конкретную и фиксированную информацию, то теперь стало ясно, что один и тот же документ или предмет может быть источником разной информации.

Формально, информационный подход или анализ информационных систем не получил в исторических исследованиях сколько-нибудь заметного распространения. Слово «информация» используется в исторических работах, но не как четкое научное понятие, а лишь как *синоним* «сведений», «данных» и т. д. В частности, даже в период всплеска интереса к теории информации число работ по применению информационного анализа в истории было сравнительно невелико. Тому есть, как минимум, две причины.

Первая и достаточно очевидная — высокий уровень формализации общей теории систем, теории информации и, соответственно, их комбинации — теории информационных систем. Традиционное для историков отсутствие математической подготовки естественным образом сдерживало попытки освоения этих теорий и их приложения к историческим исследованиям.

Второе, не менее важное обстоятельство — незавершенность самой теории информационных систем и ее недостаточная разработанность, которая отчетливо проявляется при попытке ее приложения к сложным социальным объектам. Если первая причина не требует комментариев, то на второй следует остановиться более подробно. Но вначале введем некоторые основные понятия информационной теории (см. *Вставку 1*).

В рамках системно-информационного подхода весьма важным является различие между «информацией» и «данными» («сведениями», «сообщениями»), которые могут рассматривать-

Вставка 1. Понятие информации

«В теории информации рассматривается система, включающая: получателя информации; систему-объект, на котором получатель задает априорное распределение вероятностей его состояний (в случае полного незнания все состояния объекта равновероятны для получателя); передаваемое по каналу сообщение (сигнал), которое изменяет это распределение вероятностей состояний объекта у получателя сообщений. Соотношение апостериорного (после того, как сообщение принято) и априорного распределения вероятностей или уменьшение неопределенности знаний получателя об объекте здесь рассматривается как *информация*. В классическом случае шенноновской теории система включает: приемник, передатчик, связывающий их канал, по которому передается сигнал или последовательность сигналов, воспроизводящих состояние передатчика. Затем эта система усложняется введением помех, отражающих воздействие внешней среды, и т. д. . . .

Информация — не вещь, а некоторое отношение между средой и данной системой, объектом и наблюдателем, отправителем и получателем, которые вместе, в свою очередь, образуют рассматриваемую информационную систему. . . . Сами по себе любые сведения, данные о каких бы то ни было объектах не тождественны информации об этих объектах. Данные и соответствующие сообщения можно охарактеризовать с разных сторон — по содержанию, по числу символов, их записи и т. д. Но сообщения несут информацию лишь постольку, поскольку они снимают неопределенность, увеличивают знание получателя, потребителя этих данных об интересующем его объекте. Следовательно, информация зависит от соотношения априорного и апостериорного знания получателя об объекте (до и после получения сообщения), от способности получателя понять сообщение и сопоставить его с прежними сведениями, данными (если он ими располагал). Необходимой предпосылкой является также включение объекта, о котором поступает сообщение, в систему, рассматриваемую наблюдателем. В противном случае данные об этом объекте как бы не фиксируются наблюдателем и не несут для него никакой информации»⁶.

ся как синоним традиционного термина «источник» (хотя последний используется также в значении «носитель информа-

⁶ *Майминас Е. З.* Процессы планирования в экономике: Информационный аспект. 2-е изд. М.: Экономика, 1971. С. 241, 244–245.

ции»). Применение системно-информационного подхода позволяет наглядно структурировать основные проблемы, связанные с применением эмпирического материала в исторических исследованиях. В частности, можно сказать, что здесь существует своего рода «системная неопределенность». Это можно показать на конкретном примере.

Предположим, что мы имеем некий «источник» типа «исторических преданий» по Бернгейму, например, написанный в XI в. текст о крестовом походе. При работе с этим текстом возможны следующие системно-информационные подходы.

1. Мы считаем системой-объектом общество XI в., автора текста рассматриваем как канал передачи сообщения об объекте, сам текст — как сообщение, а себя рассматриваем как систему-приемник сообщения. Это сообщение несет для нас информацию в той мере, в которой оно уменьшает неопределенность наших знаний об объекте (обществе XI в.).

2. Мы по-прежнему считаем себя системой-приемником, а системой-объектом — общество XI в., но рассматриваем автора текста в качестве элемента этой системы (или вообще рассматриваем его как самостоятельную систему). В этом случае текст является сообщением об авторе (его мышлении, знаниях и т. д.) и только через него — сообщением об обществе, составной частью которого он являлся.

3. Наконец, сам текст может рассматриваться как система-объект (в данном случае стационарный, а не динамический, т. е. не изменяющий своего состояния, но это по существу не меняет дела). При чтении этого текста мы осуществляем его мыслительную интерпретацию. Если мы фиксируем эту внутреннюю интерпретацию в виде текста, предполагая самим фактом его написания, что его кто-то прочитает, то дальше происходит переход к одному из двух предшествующих вариантов, с той разницей, что в качестве системы-приемника сообщения выступает читатель нашего текста:

За) наша интерпретация рассматривается как сообщение о тексте как системе-объекте, а мы сами — как канал передачи сообщения;

Зб) наша интерпретация рассматривается как сообщение о нас как о системе-объекте или как об элементе (подсистеме) на-

шей социальной реальности в целом. В этом случае наш текст может трактоваться как сообщение о нашей социальной реальности или о нас как о системе личности.

Это реально существующее разнообразие подходов к анализу текстов с точки зрения теории информационных систем (более того, на практике эти подходы смешиваются в рамках одного исследования), корреспондирует с различием подходов к интерпретации текстов в рамках герменевтики и семиотики. В основе герменевтической интерпретации лежит представление о тексте как объективации духа. Смыслообразующими компонентами здесь выступают «индивидуальность», «жизнь», «внутренний опыт», «объективный дух» и т. д. Методологическую основу структурно-семиотической интерпретации составляет трактовка текста как совокупности определенным образом взаимосвязанных элементов (знаков); смыслообразующими компонентами в этом случае оказываются независимые от субъекта «порядки», по которым эти знаки организованы. В герменевтике интерпретация направлена на постижение смысла текста как сообщения, адресованного потенциальному читателю, в структурализме — на расшифровку кода, обуславливающего взаимодействие знаков.

Легко видеть, что здесь обсуждаются практически те же проблемы, которые возникают при анализе текстов в рамках информационного подхода. В рамках герменевтического подхода системой-объектом является автор текста и через него — окружающая его реальность (см. выше случай 2), в рамках структурно-семиотического подхода системой-объектом является сам текст (см. выше случай 3).

В последние десятилетия в дискуссиях об историческом знании много говорится о так называемом «лингвистическом повороте», начало которому положила известная работа Хейдена Уайта «Метаистория» (1973). На самом деле это название вводит в заблуждение: в соответствии с общепринятым определением метатеорий, выработанным в логической семантике, работа Уайта относится не к метаистории, а к металингвистике (метариторике, метапоэтике, метастилистике и т. д.) и оказывается по сути не историческим, а семиотическим исследованием. Объектом истории является прошлая социальная реальность,

т. е. человеческие действия и их результаты, а сами тексты — это объект семиотики.

Тот факт, что историки имеют дело с текстами, не означает, что единственным объектом их исследования должны быть сами эти тексты. Например, физики имеют дело с показаниями приборов, но ведь из этого не следует, что единственным объектом их изучения должны быть приборы. Впрочем, чтобы не злоупотреблять сравнениями с естественными науками, обратимся к опыту наук общественных. Все обществоведы работают с текстами (в широком смысле, включая статистические данные и т. д.). Однако это не означает, что тексты договоров, к которым обращаются специалисты по международным отношениям, являются конечным объектом их исследования, равно как изучение текстов и таблиц, характеризующих выполнение государственного бюджета или финансовую деятельность фирмы, отнюдь не является конечной целью экономистов. Эти утверждения достаточно очевидны для любого обществоведа.

Конечно, существуют научные дисциплины, в которых именно текст может рассматриваться как конечный объект исследования — в семиотике, филологии и т. д. Однако не вполне ясно, почему представители этих специальностей вдруг стали настойчиво убеждать историков, что *конечной целью* исторических исследований также должно быть изучение текстов. Еще менее понятно, почему сами историки переполошились по этому поводу и вообще включились в полемику.

Реальность прошлого

Одной из основных характеристик эмпирического материала, используемого в научном знании, выступает интерсубъективность этого материала, его доступность для любого исследователя. Но особенность социальной реальности, радикальным образом отличающая ее от природной, состоит в том, что значительная часть объектов исследования имеет ограниченно интерсубъективный характер. В основе социальной реальности как продукта человеческой деятельности лежат акты мышления, недоступные для прямого наблюдения. Поэтому в качестве первичного объекта при изучении социальной реальности выделя-

ются человеческие действия (социальные и культурные). Однако человеческие действия (*res gestae*) локализованы во времени и пространстве и являются ограниченно intersубъективными. Эти действия intersубъективны только в момент их совершения и в силу локальности оказываются доступны для наблюдения только для ограниченного числа людей. Любое данное конкретное действие имеет разовый, единичный характер, и не воспроизводимо как объект для повторных наблюдений. В связи с этим в общественных науках, в том случае, когда речь идет об изучении человеческих действий, действительно intersубъективными являются только *данные* наблюдений, а не сами объекты наблюдений.

Вообще для того, чтобы заниматься анализом какого-либо общества, его не обязательно видеть. Например, можно заниматься американской экономикой, политикой и т. д., ни разу не будучи в США (в советские времена так оно и было). И даже если побывать в стране, это вряд ли даст вам больше для ее понимания, чем чтение нескольких книг, что отмечал еще Фернан Бродель:

«Клод Леви-Строс утверждает, что один час беседы с современным Платоном сказал бы ему о монолитности (или же, наоборот, разобщенности) древнегреческой цивилизации больше, чем любое современное исследование. И я с ним вполне согласен. Но он прав только потому, что в течение многих лет слушал голоса многих греков, спасенных от забвения. Историк подготовил ему путешествие. Час в сегодняшней Греции не сказал бы ему ничего или почти ничего о монолитности или раздробленности современного греческого общества»⁷.

Тезис о том, что историческое познание отличается от других общественных наук тем, что историки не имеют возможности наблюдать исследуемый объект, по существу, конечно, верен. Однако на самом деле подавляющее большинство обществоведов также не занимается непосредственными наблюдениями, в отличие от ученых-естественников, которые в среднем уделяют

⁷ Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность [1958] // Философия и методология истории. Сборник переводов / Ред. И. С. Кон. М.: Прогресс, 1977. С. 131.

наблюдениям достаточно много времени. Социологи же имеют дело с данными (сообщениями) об объекте, и в этом смысле мало чем отличаются от историков. Конечно, здесь есть и исключения — например, культурная антропология, в значительной мере психология и отчасти лингвистика (в рамках изучения живых естественных языков) активно опираются на прямые наблюдения. Однако в большинстве общественных и гуманитарных дисциплин — экономике, социологии, политологии, международных отношениях, праве, не говоря уже о филологии, — ученые имеют дело с сообщениями (данными, текстами и т. д.).

В этом смысле историческая наука, где прямые наблюдения вообще отсутствуют, представляет собой лишь крайний случай общей ситуации, присущей всем общественным наукам. Отсюда понятна та роль и, соответственно, внимание, которое в XX в. приобрел анализ текстов, знаковых сообщений и символических систем. Наука Нового времени ориентирована на изучение реальных объектов. Очевидно, что безоговорочный статус «реальности» или «существования» в социальном мире имеют только знаки (язык, текст, символы, дискурсы и т. д.), в отличие от обозначаемых ими объектов, статус реальности и существования которых зачастую неопределен. Поэтому сдвиг интереса к сторону текстов есть, в некотором смысле, следование традиционным правилам «научности». Историки отдают себе отчет в том, что единственно доступная им реальность заключается в документе. Вместе с тем ясно, что конечной целью исследования в общественных науках в целом и в истории, в частности, является социальная реальность, а не знаки сами по себе, о чем иногда забывают сторонники «лингвистического поворота».

В качестве одного из доводов в пользу отличия эмпирической базы истории от других общественных наук выдвигается также тезис об отсутствии в исторических исследованиях обратной связи между теорией и эмпирическими данными. Подразумевая под теоретической составляющей научного знания, в самом широком смысле, постановку вопросов и поиски ответа на них, можно сказать, что для ответа на новые вопросы исследователь нуждается в новой *информации*. Эта новая информация

может возникать как за счет новых данных (сведений), так и благодаря новому использованию имеющихся данных.

В принципе в XX в. историческая наука продемонстрировала колоссальные возможности развития и того, и другого — как вовлечение в оборот новых данных («сообщений») или «источников» на языке историков, так и извлечение радикально новой информации из уже использовавшихся ранее «сообщений» (источников). Конечно, здесь есть какие-то ограничения — историк не может организовать социологический опрос, обследовать конкретное предприятие или провести психологическое тестирование какого-то человека в прошлом. Однако следует заметить (и, думаю, с этим согласится каждый обществовед), что наличие у специалистов по «нынешней реальности» *потенциальной* возможности получения подобных данных имеет мало отношения к *реальным* возможностям.

Социолог, который сам не работает в каком-либо центре по изучению общественного мнения, почти не имеет шансов добиться включения интересующего его вопроса в опросные листы (кстати, и для сотрудников самих этих центров это не так просто). Специалист по международным отношениям в подавляющем большинстве случаев не может присутствовать на переговорах (кроме небольшого числа отобранных МИДом экспертов, да и то не всегда). Экономист не может получить доступ к документам конкретной фирмы, и почти невозможно добиться, чтобы статистические органы начали собирать новые данные (в лучшем случае на это уходят годы). Психолог вряд ли может рассчитывать на то, что ему удастся затащить в свою лабораторию сколько-нибудь известную личность и уговорить ее пройти парочку тестов. Ну а юристы и литературоведы в принципе лишены возможности инициирования новых данных в соответствии со своими исследовательскими интересами.

Как заметил еще Робин Коллингвуд,

«историки не снаряжают экспедиций в страны, где происходят войны и революции. И они не делают этого не потому, что менее энергичны и смелы, чем естествоиспытатели, или же менее способны добывать деньги, которых бы потребовала такая экспедиция. Не делают они этого потому, что факты, которые можно было бы добыть с помощью экспедиции, равно как и факты, ко-

торые можно было бы получить путем преднамеренного разжигания революций у себя дома, не научили бы историков ничему такому, что они хотят знать»⁸.

В полной мере это заключение относится ко всем обществоведам (конечно, если речь идет об ученых).

Наконец, представление о науке как об эмпирико-теоретическом знании включает не только посылку о том, что теория должна опираться (при всех возможных оговорках) на эмпирические данные, но и теоретические построения должны каким-то образом проверяться с помощью эмпирических данных. Это служит еще одним поводом для сомнений в «научности» исторического знания, поскольку считается, что историки, в отличие от других обществоведов, не имеют возможности «проверять» свои концепции «на практике».

На это прежде всего следует возразить, что, как показано во множестве современных исследований в области социологии и философии науки, на самом деле теории не опровергаются и не подтверждаются только с помощью эмпирических данных, и проверки такого рода — лишь один, далеко не самый существенный механизм формирования социального запаса научного знания. Идея о том, что история отличается от «нормальной» науки тем, что в истории невозможен эксперимент, базируется на естественнонаучном представлении о научных «нормах» и по сути архаична.

Другой крайностью является попытка «подогнать» историческую науку под стандарты естественнонаучного знания. Например, как полагал немецкий философ Мартин Хайдеггер, естественнонаучному эксперименту соответствует в историко-гуманитарных науках критика источников. На самом деле эксперимент, если подразумевать под ним искусственные манипуляции с объектами исследования с целью получения исследовательских результатов, невозможен практически ни в одной общественной науке (исключение составляет только психология). Тот факт, что некоторые мероприятия отдельных правительств начинают постфактум именовать «экспериментами» (больше-

⁸ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 238.

вистский эксперимент, фашистский эксперимент и т. д.), не имеет никакого отношения к научным экспериментам, даже если в основе этих практических действий и лежали некоторые научные или псевдонаучные концепции (социальные, экономические, расовые и т. п.).

В сущности ни один обществовед не может провести научный эксперимент в *реальности*, и историки в этом смысле отнюдь не являются каким-то исключением. Если же говорить о *мыслительных* экспериментах, то здесь у историков точно такие же, если не большие, возможности для экспериментирования, как у любого экономиста или политолога.

2. Теория в исторических исследованиях

В предшествующем параграфе мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные с эмпирическим характером исторического научного знания. Здесь же мы обсудим возникающие в историческом знании проблемы теории и теоретизирования. К сожалению, и в рамках обсуждения данной темы продолжают циркулировать архаичные представления о том, что теория — это что-то вроде закона Бойля—Мариотта. В соответствии же с современными представлениями о науке теория трактуется гораздо шире и означает «всего-навсего» осмысление в понятиях тех или иных эмпирических наблюдений. Это *осмысление* (наделение смыслом, приписывание смысла) является синонимом теоретизирования. Так же как и сбор информации (эмпирических данных), теоретизирование является неотъемлемым компонентом любой науки, в том числе и исторической.

Надо сказать, что идея о том, что в любом историческом дискурсе присутствует понятийный или концептуальный теоретический компонент, отнюдь не нова. В явном виде ее сформулировал, насколько нам известно, еще Георг Гегель, хотя в его времена «история» понималась значительно шире, чем в XX в., и сближалась с современным понятием «обществоведения». В частности, Гегель отмечал, что

«даже обыкновенный заурядный историк, который, может быть, думает и утверждает, будто он пассивно воспринимает и доверя-

ется лишь данному, и тот не является пассивным в своем мышлении, а привносит свои категории и рассматривает данное при их посредстве»⁹.

Существенное развитие тезис о том, что историческое знание является теоретическим, получил в работах Генриха Риккерта в конце XIX — начале XX в. И хотя Риккерт также пользовался расширительной трактовкой исторического знания, сближая его с обществознанием («науками о культуре») в целом, в его работах впервые прозвучала мысль о роли *осмысления в понятиях* как сути теоретического анализа. Дальнейший вклад в становление современных представлений о роли теории в историческом знании внес в начале нашего века Макс Вебер, который развил и конкретизировал идеи Риккерта. В частности, Вебер подчеркивал, что любое историческое исследование теоретично, поскольку ученый

«с самого начала — в силу ценностных идей, которые он неосознанно прилагает к материалу исследования, — вычленил из абсолютной бесконечности крошечный ее компонент в качестве *того*, что для него единственно *важно*. . . Установление значимого для нас и есть предпосылка, в силу которой нечто становится *предметом* исследования»¹⁰.

«Уже первый шаг к вынесению исторического суждения — и это надо подчеркнуть — являет собой, следовательно, процесс *абстрагирования*, который протекает путем анализа и мысленной изоляции компонентов непосредственно данного события (рассматриваемого как комплекс *возможных* причинных связей) и должен завершиться синтезом “действительной” причинной связи. Тем самым уже первый шаг превращает данную “действительность”, для того чтобы она стала историческим “фактом”, в *мысленное* построение — в самом факте заключена, как сказал Гёте, “теория”»¹¹.

⁹Цит. по: *Wehler H.-U.* Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918. Göttingen: Vandenhoeck, 1994. Bd 1. S. 12–13.

¹⁰*Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания [1904] // Вебер М. Избр. произв. / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 380, 374.

¹¹*Вебер М.* Критические исследования в области логики наук о культуре [1905] // Там же. С. 472.

Конечно, присутствие теории в историческом труде проявляется не только в рамках выбора темы или объекта анализа. То же самое относится ко всем остальным стадиям исследования. Существенную роль в истории, как и в других науках, в частности, играют гипотезы. Но гипотетический статус исходных посылок не должен забываться историком, и они не должны восприниматься им как истины. Выводы, получаемые при реконструкции, также должны соотноситься с гипотезами, а не с постулатами.

В итоге, конечный результат работы историка — исторический дискурс, даже самый «простенький» — содержит в явном или неявном виде огромное количество теоретических концепций, на которые имплицитно опирается историк, начиная хотя бы с датировки описываемого события (идет ли речь об эпохе или просто указании года в некоей системе летоисчисления).

Но исторический дискурс настолько «пропитан» теорией, что многие историки просто не замечают этого. Так, известный американский историк Майкл Каммен пишет, что все еще возможно писать великолепные работы, в которых теория вообще ничего не значит, и в качестве одного из примеров приводит монографию Эужена Вебера «Из крестьян во французы: модернизация сельской Франции, 1870–1914» (1976). Но даже заглавие этой работы свидетельствует о роли теории в этом исследовании. По сути название все состоит из теоретических понятий или концептов: крестьяне, французы, модернизация, сельская Франция и, наконец, просто Франция, не говоря уже о рассматриваемом периоде, который концептуализируется в первую очередь в рамках циклических и стадийных моделей развития европейской экономики.

Теоретизирование (осмысление в понятиях) может принимать разные формы. Существуют разнообразные способы структурирования теорий, типов их классификации. Не вдаваясь в детальное рассмотрение видов и уровней теоретического анализа, мы используем наиболее простую концепцию, которая достаточно широко распространена в современной философии науки, в отличие от множества других более детальных схем, создаваемых отдельными авторами.

В рамках данной схемы, которая восходит по меньшей мере

к написанным в начале XX в. работам французского физика и философа науки Пьера Дюэма, научные теории подразделяются на два «идеальных типа» — описание и объяснение. Пропорции, в которой эти части присутствуют в той или иной теории, могут существенно варьироваться, равно как может различаться и степень взаимопроникновения этих двух компонентов теоретического анализа. Этим двум частям или типам теории соответствуют философские понятия частного и общего (единичного и типичного). Любое описание прежде всего оперирует частным (единичным), в свою очередь объяснение опирается на общее (типичное).

По сути дела, продолжающиеся уже более двух тысячелетий споры по поводу исторического знания (какой бы смысл ни вкладывался в это понятие в ту или иную эпоху), сводятся именно к дискуссиям об описании и объяснении и, соответственно, о единичном и типичном.

Забегая вперед, скажем, что, на наш взгляд, историческое знание (как и любое другое научное знание), может быть и преимущественно описанием (впрочем, неизбежно включающим некоторые элементы объяснения), и преимущественно объяснением (но непременно включающим некоторые элементы описания), равно как и представлять эти два типа теории в любой пропорции. Второе предварительное замечание состоит в том, что даже если научное знание выступает в виде описания, это не означает, что оно не является теоретическим или является «менее теоретическим», чем знание в форме объяснения. Некоторая путаница возникает из-за того, что до начала XX в. знание в форме описания именовали «фактографией», а знание в форме объяснения — «теорией». К сожалению, этот архаичный понятийный и терминологический аппарат продолжает до сих пор использоваться некоторыми авторами.

Эволюция представлений (от античности до XIX в.)

Различение описания и объяснения возникает еще на заре развития философской мысли, и уже в Древней Греции в рамках обсуждения этого различения начинает так или иначе фигурировать история. Забавно отметить, что, по мнению совре-

менных исследователей, у ионийских логографов обычно обзоры именовались «теориями» (θεωρεῖν), а исследования — «историями» (ἱστορεῖν). Исходя из сегодняшних представлений, основоположниками двух типов исторического дискурса — описания и объяснения — оказываются, соответственно, Геродот и Фукидид. На это (в чуть иной терминологии) указывал, в частности, Робин Коллингвуд: «... Геродота главным образом интересуют сами события, главные же интересы Фукидида направлены на законы, по которым они происходят»¹².

С упрочением христианства в эпоху поздней римской империи и в еще большей степени — после ее падения и начала эпохи, именуемой ныне Средними веками, эти дискуссии сходят на нет. История (исторический дискурс) становится практически исключительно описанием, а история-объяснение на долгие века исчезает из практики. Ведь средневековая историография в сравнении с античной следовала принципиально иной концепции причинности. Вместо причины и следствия, расположенных на оси времени, средневековая историография, поместив ряд причин в сферу вечности, оставила в человеческой истории только ряд следствий.

Радикальное изменение отношения к истории наступает только в XVI в. Прежде всего как объясняющий фактор, помимо Провидения и индивидуальных мотивов, все чаще фигурирует Фортуна, постепенно теряющая антропоморфный мифологический образ и все больше напоминающая нечто вроде безличной исторической силы. Следующее изменение значения и смысла «истории» происходит в XVII в., и этот переворот совершает Фрэнсис Бэкон в работе «О достоинстве и приумножении наук» (1623). Бэкон, в частности, возрождает античное различие описания и объяснения, смыкая его с анализом исторического знания.

«История... имеет дело с единичными явлениями (individua), которые рассматриваются в определенных условиях места и времени... Все это имеет отношение к памяти... Философия имеет дело не с единичными явлениями и не с чувственными впечатлениями, но с абстрактными понятиями, выведенными из них...

¹² Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории* [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории: Автобиография* / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 31.

Это полностью относится к области рассудка... Историю и опытное знание мы рассматриваем как единое понятие, точно так же как философию и науку»¹³.

Иными словами, под историей Бэкон подразумевает любые описания, а под философией/наукой — любые объяснения.

Схема Бэкона получила широкую известность и использовалась многими философами XVII–XVIII вв. Она оказала огромное влияние на развитие представлений о месте исторического знания и его функциях. С одной стороны, Бэкон необычайно возвеличил историю, отведя ей самое почетное место в системе познания и придав ей исключительно широкий смысл. С другой стороны, с его легкой руки «исторические науки» по существу стали синонимом «описательных наук» или «фактографии», и это стойкое представление во многом не преодолено до сих пор.

Томас Гоббс, воспроизведший бэконовскую схему в своей известной работе «Левиафан» (1651), еще отчетливее подчеркнул синонимичность «истории» и «описательных наук», с одной стороны, и «философии» и «объясняющих наук» — с другой. Позже представления о структуре знания, сформулированные Бэконом и Гоббсом, были восприняты и популяризованы французскими энциклопедистами — Дени Дидро и Жаном-Лероном д'Аламбером. В результате вплоть до конца XVIII в. под историей понималось научно-описательное знание, которое противопоставлялось научно-объясняющему знанию. В терминологии того времени это сводилось к противопоставлению фактов и теории. В современных терминах, напомним, факт — это высказывание о существовании или осуществлении, признаваемое истинным (соответствующим критериям истинности, принятым в данном обществе или социальной группе). Иными словами, факты — это составная часть описания. В свою очередь то, что во времена Бэкона и Гоббса называлось теорией, ныне именуется объяснением, а под теоретическими подразумеваются в том числе и описательные высказывания.

Взгляды Бэкона, Гоббса и французских энциклопедистов на историческое знание отчасти унаследовали позитивисты XIX в.

¹³ Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук [1623] // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. / Пер. с лат. и англ. М.: Мысль, 1977–1978. Т. 1. С. 149–150. Перевод уточнен нами. — И. С., А. П.

При этом в позитивистских исследованиях, так же как в работах XVII–XVIII вв., не проводилось различия между естественными и общественными науками. Последние не имели четкого дисциплинарного деления и зачастую были представлены всего лишь двумя-тремя общими названиями. В исходной схеме, предложенной основоположником позитивизма Огюстом Контом в работе «Курс позитивной философии» (1830), к общественным наукам относились две обобщенные дисциплины: объясняющая («теоретическая») наука — социология, и описательная («фактографическая») — история.

При этом Конт обозначал социологию как «историю, в которой нет имен индивидов и даже имен народов», считая, что эта новая наука должна начаться с открытия фактов о жизни человека (решение этой задачи он отводил историкам), а затем переходить к поиску причинных связей между этими фактами. Социолог тем самым как бы поднимал историю до ранга науки, осмысливая научно те факты, о которых историк мыслит только эмпирически.

В работах последователей Конта в области методологии науки — Антуана Огюстена Курно, Джона Стюарта Милля, Герберта Спенсера — эта установка в целом сохранялась¹⁴. И хотя список общественных наук начинает постепенно увеличиваться за счет экономики, психологии и т. д., под историей продолжают понимать описательную часть общественнонаучного знания, которой придается второстепенный, вспомогательный статус по отношению к объясняющей части обществознания. История тем самым специфицировалась как область познания конкретных фактов в противоположность «настоящей» науке, занимающейся познанием общих законов.

Позитивистские позиции Конта и его последователей, требовавших, чтобы исторические факты использовались в качестве сырья для чего-то более важного и интересного, чем сами факты, разделялись не только философами, но и многими историками. Эта установка на практике отдаляла историков от

¹⁴В классификации наук Фридриха Энгельса в «Анти-Дюринге» (1878) общественные науки были представлены только «историей», но под ней подразумевалась контовская «социология» или «исторический материализм», в последующей марксистской терминологии.

читателей, так как исторические работы становились слишком специальными, сухими и скучными.

В последней трети XIX в. начинается антипозитивистская «контрреволюция». Одно из ее программных заявлений принадлежит популяризатору дарвинизма Томасу Гексли (Хаксли), который предложил проводить различие между проспективными науками — химией, физикой (где объяснение идет от причины к следствию), и науками ретроспективными — геологией, астрономией, эволюционной биологией, историей общества (где объяснение исходит из следствия и «поднимается» до причины). Два типа наук, по его мнению, предполагают соответственно два типа причинности. Проспективные науки предлагают «достоверные» объяснения, в то время как ретроспективные (по существу исторические) науки, в том числе история общества, могут предложить лишь объяснения «вероятные». По существу Хаксли первым сформулировал идею о том, что в рамках научного знания могут существовать разные способы объяснения. Это создавало возможность для отказа от иерархии научного знания, уравнивания «научного статуса» разных дисциплин. Но эта идея, к которой мы вернемся чуть ниже, была востребована только в середине XX в.

Гораздо более существенную роль в развитии философии науки в последней трети XIX в. сыграла борьба за суверенность обществознания. Это течение возникло в Германии во второй половине XIX в. как противостояние контовско-спенсеровскому «натурализму», стремившемуся превратить историю в придаток социологии с ее «объясняющими законами». Представителей этого направления объединяла прежде всего идея о принципиальном различии естественных и общественных наук, отказ от попыток построения «социальной физики». Основной их задачей было доказательство «инакости» обществознания и борьба с представлениями о второстепенности этого другого, по сравнению с естественнонаучным, вида знания.

Впервые этот новый подход был развит в середине XIX в. Иоганном Дройзеном в «Очерке истории» (1858). Как писал в 1922 г. немецкий философ Эрнст Трёлльч,

«В общем в этой важной книге затронуты все новейшие понятия, связанные с логикой истории: понятие исторического времени;

понимание в противоположность объяснению; преобразование, но не отражение прошлого в исторических понятиях; идиографический и номотетический метод¹⁵; иррационализм истории и свободы в противовес рационализму в естественных науках; понятие относительно-исторического и потому относительно закономерного; диалектика; формула историзма»¹⁶.

Дальнейшее развитие эти идеи получили у Вильгельма Дильтея, Вильгельма Виндельбанда и Генриха Риккерта, работы которых приобрели гораздо большую известность, а «первопроходческое» сочинение Дройзена оказалось незаслуженно забытым.

В рамках этого нового подхода понятие «история» в значении «знание» снова изменило свой смысл. Если у Бэкона, Гоббса и французских энциклопедистов «историей» обозначалось все описательное знание, а у позитивистов — описательная часть общественнонаучного знания, то упомянутые немецкие мыслители начали именовать все общественные науки «историческими». В результате в их интерпретации «история» все еще обозначала не самостоятельную дисциплину, а группу дисциплин, но определяемую иным образом, чем это делали Фрэнсис Бэкон или Огюст Конт.

Дройзен, Дильтей, Виндельбанд и Риккерт отказались от традиционного деления описательного и объясняющего знания, поскольку в XIX в. «описание» по-прежнему имело устойчивый второстепенный статус. В качестве обобщающего признака общественных наук они начали использовать термин «понимание», которое и противопоставлялось ими естественнонаучному «объяснению».

Исторически первое употребление понятия «понимание» относилось к письменным текстам. В этом применении «пони-

¹⁵ Номотетический и идиографический методы — понятия, употребляемые представителями баденской школы неокантианства для обозначения методов естественных наук и «наук о духе». Применяемый в естествознании номотетический, или, по Риккерту, генерализирующий (обобщающий), метод вырабатывает общие понятия и законы, в то время как идиографический (индивидуализирующий) метод, используемый науками, которые изучают общественные явления, выявляет не общее, а отдельное.

¹⁶ *Трёлльч Э.* Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994 [1922]. С. 541, сноска 55.

ние» синонимично истолкованию, интерпретации и т. д. Анализ проблем, связанных с пониманием текстов, восходит как минимум к концу античности и раннему Средневековью, когда впервые распространяется практика истолкования библейских текстов (уже в иудаизме существовала практика истолкования Торы, а в христианстве родоначальником этого направления считается Ориген). В Новое время понятие «истолкования» или «герменевтики» (*греч.* ἐρμηνευτική) в приложении к текстам как ключевому элементу системы культуры утверждается в XVIII в. благодаря историко-филологическим исследованиям, а основы герменевтики как общей теории интерпретации текстов были разработаны в начале XIX в. Фридрихом Шлейермахером.

С конца XIX в. в работах Дройзена, Дильтея, Виндельбанда и Риккерта акцент сместился на анализ различий между естественнонаучным и общественнонаучным (гуманитарным) знанием. Они выдвинули идею о том, что естественные и общественные (исторические) науки различаются как объектом, так и методом. Но акцент на различии естественных и общественных наук по методу оказался не слишком плодотворным.

«Основоположники» различения естественных и общественных наук по линии объяснение–понимание, строго говоря, вкладывали в эти понятия абсолютно разный смысл. Особенно наглядно это проявляется при сопоставлении концепций Дильтея и Риккерта. Так, Дильтей одним из первых выделил систему личности в качестве специфического для общественных наук объекта изучения. Его концепция «понимания» отталкивалась от традиционной герменевтики, как искусства понимания текстов, но с учетом необходимости понять внутренний мир, «состояние души» автора текста. Риккерт, в свою очередь, сдвинул акцент с рассмотрения «внутреннего мира» человека на его внешние проявления, т. е. действия. При этом объектом понимания становится соотносительность этих действий с ценностями (как действующего субъекта, так и исследователя).

По существу Дильтей и Риккерт принципиально по-разному определяли объект общественнознания, что проявлялось и на уровне терминологии («науки о духе» и «науки о культуре» соответственно). При этом процессы познания, обозначаемые ими как «понимание», по существу радикально различались не толь-

ко по объекту познания, но и по методу. Неудивительно, что они использовали разные немецкие слова для обозначения «понимания» (соответственно, *Verstehen* и *Auffassung*).

Современные взгляды

В XX в. проблема соотношения двух типов теории — описания и объяснения — стала обсуждаться в явном виде и оказалась едва ли не центральной в дискуссиях вокруг роли теории в современном историческом знании. Прежде всего речь шла о том, присутствует ли в историческом знании теоретизирование в форме объяснения. На самом деле этот вопрос имеет относительно частный характер: как отмечалось выше, теория может существовать и в виде описания. Но так или иначе вопрос об историческом объяснении оказался в центре методологических штудий, быть может, по инерции, идущей от дебатов XIX в. В результате обсуждение проблемы объяснения в истории в значительной мере оказалось частью общей дискуссии по проблеме объяснения в общественных науках в целом. Благодаря этому обсуждению, т. е. по существу лишь ко второй половине XX в., завершился (на концептуальном уровне) процесс размежевания естественнонаучного и общественнонаучного типов знания, начавшийся в конце XIX в.

Существенную роль здесь сыграл Макс Вебер, который попытался синтезировать идеи Дильтея и Риккерта о природе социальных наук в рамках так называемой «понимающей социологии», в основе которой лежит тезис о том, что понимание окружающего мира и других людей является неперенным условием человеческих действий и социального и культурного взаимодействия.

Как показал Вебер, научное объяснение социального мира неотделимо от понимания. Исследователю для того, чтобы объяснить происходящее, нужно понять, чем руководствуются люди при совершении данных действий. Именно поэтому Вебер ввел понятие «объясняющего понимания», которое позволяет ликвидировать это искусственное противопоставление. В самом деле, даже на уровне обыденной семантики вряд ли можно дать объяснение тому, что ты не понимаешь, точно так же, как пони-

мание (прежде всего человеческих действий) достигается прежде всего через их объяснение (см. *Вставку 2*).

Вставка 2. Макс Вебер об историческом знании

«... Для формулирования исторической каузальной связи необходимо применение абстракции в обеих разновидностях — изолировании и генерализации... Даже самое элементарное историческое суждение об историческом “значении” “конкретного факта” очень далеко от простой регистрации “преднажденного” и представляет собой не только конструированное с помощью категорий мысленное образование, но и чисто фактически обретает значимость лишь благодаря тому, что мы привносим в “данную” реальность все наше “номологическое” опытное знание.

Историк возразит на это, что весь фактический процесс исторического исследования и фактическое содержание исторического изложения носит совсем иной характер. Историк открывает “каузальные связи” с помощью врожденного “такта” или “интуиции”, а отнюдь не посредством генерализаций и применения “правил”... Наконец, изложение, данное историком, также всецело зависит от его “такта”, от наглядности его сообщения, которое воздействует на читателя, заставляет его “сопереживать” события, подобно тому как и сам историк интуитивно пережил и увидел, а не рассудочно измыслил их... В аргументации такого рода происходит смешение различных сторон, а именно: психологического процесса возникновения научного познания и избранной для “психологического” воздействия на читателя “художественной” формы изложения познанного, с одной стороны, и логической структуры познания — с другой.

Ранке “угадывал” прошлое; впрочем, историк более низкого уровня тоже вряд ли преуспеет, если он вообще не обладает даром “интуиции”; в этом случае он навсегда останется своего рода мелким чиновником от истории. Однако и там, где речь идет о действительно крупных открытиях в области математики и естествознания, дело обстоит совершенно так же: они внезапно озаряют в виде “интуитивной” гипотезы, порожденной фантазией исследователя, а затем “верифицируются”, то есть исследуются с точки зрения их “значимости” посредством применения к ним уже имеющегося опытного знания, и логически корректно формулируются. Совершенно то же происходит и в истории»¹⁷.

¹⁷ Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре [1905] // Вебер. М. Избр. произв. / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 474–475.

В середине прошлого века уже другой немецкий автор, философ Мартин Хайдеггер, столь же ясно высказался по поводу исторического объяснения:

«Основанное на критике источников историческое объяснение, конечно, не сводит факты к законам и правилам. Однако оно не ограничивается и простым сообщением о фактах. В исторических науках, не меньше чем в естественных, метод имеет целью представить постоянное и сделать его предметом»¹⁸.

Важным направлением концептуализации исторического объяснения стал логико-лингвистический анализ, проведенный в работах представителей аналитической философии истории. В монографиях Уолтера Гэлли «Философия и историческое понимание» (1964), Артура Данто «Аналитическая философия истории» (1965), Мортона Уайта «Основы исторического знания» (1965) и др. было показано, что с формально-логической точки зрения в описательных высказываниях также может заключаться ответ на вопрос «почему?». Иными словами, элементы объяснения (т. е. каузального анализа) содержатся даже в простейших нарративных высказываниях о прошлой социальной реальности.

Надо сказать, что, несмотря на все усилия представителей аналитической философии, идея о том, что в истории, как и в любой науке, непременно присутствуют элементы объяснения, до сих пор не является общепринятой, а тезис о присутствии объяснений в историческом дискурсе продолжает вызывать настороженное отношение. По сути, речь идет даже не столько об объяснении, сколько о явном и неявном отрицании научного характера исторического знания, причем это отрицание принимает разные формы.

Зачастую отрицание присутствия объясняющего теоретизирования в истории облекается в скрытую форму, путем перевода проблемы в плоскость отрицания исторической генерализации. На самом деле, как показано в исследованиях по логической семантике, высказывания, содержащие объяснение (каузальных связей) должны быть обязательно основаны на генерализациях

¹⁸ Хайдеггер М. *Время картины мира* [1950] // Хайдеггер М. *Время и бытие* / Пер. с нем. М.: Республика, 1993. С. 45.

(обобщениях), и наоборот. Проще говоря, не вдаваясь в специальные логико-семантические вопросы, объяснение и генерализация — это по существу синонимы.

Тезис о том, что «история» занимается единичным, а не общим, идет, как известно, от Аристотеля, хотя он вкладывал в это слово совсем иной смысл, чем оно имеет в XX в., и более того, речь шла даже о другом значении имени «история». В раннее Новое время этот тезис был возрожден Фрэнсисом Бэконом, а своего апогея он достигает в работах Дильтея, Виндельбанда и Риккерта. В конце XIX в. немецкие философы отстаивали тезис о том что во всех социальных науках (науках о духе, культуре и т. д.) генерализация невозможна, что они все имеют дело только с единичными явлениями. Экономисты, социологи, психологи, политологи и представители других общественных наук в XX в. просто игнорировали эти заявления, что же касается истории, то здесь ситуация складывалась не так однозначно.

Надо сказать, что сами историки, занимающиеся вопросами методологии, давно и отчетливо отстаивают наличие генерализации (и, соответственно, объяснений) в современном научном знании и исторических дискурсах. Чтобы не злоупотреблять ссылками на авторитеты, приведем в качестве примера лишь наиболее категорично сформулированное мнение Жака Ле Гоффа (хотя аналогичные суждения можно найти у Лоуренса Стоуна, Арона Гуревича и многих других известных историков): «Как и любая наука, история должна генерализировать и объяснять»¹⁹.

В то же время многие представители иных областей знания (быть может, в силу слабого знания предмета рассуждений) и в XX в. продолжают утверждать, что история занимается единичным, особенным и т. д. Как ни удивительно, но историки, специально не занимающиеся методологическими проблемами, также во многих случаях продолжают склоняться к тому, что в истории нет генерализаций и объяснений. С чем связана стойкость подобных убеждений — нам неизвестно. То ли речь идет о последовательном следовании принципу «нет пророка в своем (историческом) отечестве», то ли сказывается традиционное

¹⁹ *Le Goff J. History and Memory. New York: Columbia Univ. Press, 1992 [1981/1988]. P. 121.*

предпочтение авторитетов прошлого. Так или иначе даже сегодня приходится сталкиваться чуть ли не с программными заявлениями о том, что историки не должны заниматься генерализациями и объяснениями (хотя элементарный семантический анализ показывает наличие генерализаций и объяснений в любой исторической работе, в том числе и у авторов подобных заявлений).

Конечно, генерализация в общественных науках в принципе отличается от генерализации в естествознании — она имеет более локальный характер и ограничена рамками данного общества, культуры и т. д. Это служит объективной основой для представлений о том, что в исторической науке генерализация вообще невозможна, — историки, в отличие от представителей большинства других общественных наук (за исключением, естественно, антропологов) имеют дело не с одним, а с многими обществами и культурами, и уложить их все в рамки единой научной теории практически невозможно (такие универсальные концепции разрабатываются только в субстанциальной философии истории). Но в любом случае какая-то генерализация или обобщения, выявление неких закономерностей или устойчивых (типичных, часто повторяющихся) связей в рамках каждого *данного* общества являются абсолютно неизбежными. Невозможно написать серьезное историческое исследование, не используя при этом никаких общих понятий, категорий, концепций или терминов, которые и являются генерализациями того или иного рода.

Подчеркнем также, что в любой общественной науке так или иначе сочетается анализ единичного и общего. Эти две категории неразрывно связаны между собой и, строго говоря, одна без другой не могут существовать. Применительно к исторической науке это отметил еще в 1929 г. американский историк Генри Смит в эссе «Место истории среди наук», где он писал, что главная проблема историка — использование единичного и общего в разумных пропорциях.

Теоретизирование, основанное на генерализации и объяснении, включает целый комплекс традиционных понятий, используемых в историческом знании. В частности, речь идет о таких понятиях, как «уникальный», «случайный», «выдающийся» и тому подобных характеристиках феноменов прошлой социаль-

ной реальности. Даже с точки зрения обыденной семантики очевидно, что все рассуждения о казусах, выдающихся событиях или людях, уникальных явлениях и т. д. возможны только если при этом, хотя бы неявно, определена соответственно закономерность, обыкновенное событие, типичная личность, массовое явление и т. д.

По сей день приходится сталкиваться с утверждениями о том, что история не является наукой, поскольку не оперирует «законами». Но эти утверждения по сути воспроизводят давно ставшие архаикой и почерпнутые из естествознания представления о существовании социальных законов.

Добавим к этому, что закономерность и случайность — это всего лишь взаимосвязанные аналитические концепты. Случайность — это то, что нарушает закономерность. Например, «случайный исход сражения» означает, что при данных условиях обычно выигрывает сторона А (например, имеющая больше войск, лучшую позицию, лучших военачальников и т. д.), но в данном конкретном сражении победила сторона Б. Это произошло благодаря случайному событию (например, лошадь главнокомандующего понесла, он свалился с нее и сломал шею). Данное событие просто является относительно редким — как правило, лошади, приученные к сражениям, ведут себя спокойно, военачальники — хорошо держатся в седле, и обычно, даже если человек падает с лошади, это не кончается смертельным исходом. Ясно, что определение случайности невозможно, если мы не знаем наиболее вероятного исхода события, т. е. без генерализации и выявления некой закономерности.

Итак, в историческом дискурсе, как и в любой науке, можно выделить два «идеальных типа» теорий — описание и объяснение. В неявном виде эта идея формулируется уже во времена античности, когда «история» в значении знания еще имела совсем иные смыслы. В явном виде существование двух типов исторического дискурса начинает осмысливаться лишь в XX в. Заметим, что наряду с терминами «описание и объяснение» используются и другие названия, например, «описательная» и «проблемная» история. Однако эти термины кажутся нам менее удачными, так как в этом случае создается впечатление, что в «описательном» дискурсе не анализируются проблемы.

В ходе дискуссий о характере исторического знания, проходивших в XX в., концепция «описание–объяснение» была существенным образом уточнена. Во-первых, было убедительно доказано, что в истории действительно используются оба вида теоретических дискурсов — описание и объяснение, а не только описание, как считали некоторые исследователи. Во-вторых, было показано, что теория–объяснение может принимать разные формы; в частности, в исторической науке она имеет иную форму, чем, скажем, в физике. В-третьих, было продемонстрировано, что описание и объяснение являются равномогущими типами теорий, в частности, теория–описание не является «менее теоретической», чем теория–объяснение. В-четвертых, было акцентировано то обстоятельство, что описание и объяснение — это теоретические конструкты («идеальные типы теорий») и на практике редко существуют в чистом виде: как правило, в любом описании есть элементы объяснения, и наоборот.

Теперь естественно рассмотреть вопрос о том, чем *отличается* история как теоретическое знание от других общественных наук. В самом общем виде здесь можно выделить два основных отличия (со всеми оговорками о различиях общественнонаучных дисциплин в целом).

Первое отличие состоит в том, что в истории роль теории–описания выше, чем в большинстве других общественных наук, хотя среди них есть дисциплины, где роль описания столь же высока — например, в этнологии и в психологии. Одной из причин большего, по сравнению с историей, удельного веса объяснений в общественных науках (экономике, социологии, политологии) являются особенности разделения труда в системе знания. В современном обществе значительная часть работы по его описанию вынесена за рамки «чистой» науки — в частности, ее берут на себя средства массовой информации. В любом случае ученый, который анализирует то, что происходит «здесь и сейчас», может тратить относительно меньше усилий на создание первичного описания объекта, чем когда речь идет об иной, «ненынешней» или «нетутошной» социальной реальности.

Второе основное отличие истории от других общественных наук состоит не в том, что история менее теоретична, а в том, что она в меньшей степени занимается выработкой собственной

теории и в большей степени использует теоретический аппарат (включая теоретические понятия, концепции и способы объяснения) из других общественных наук (подробнее см. главу 10). Во многом это определяется ограниченностью ресурсов, выделяемых обществом для изучения прошлых социальных реальностей.

В отличие от конкретных общественных наук, специализирующихся на изучении какой-то *одной* части *определенного* общества, история изучает практически *все* элементы *всех* известных обществ прошлых. Конечно, в исторической науке также существует специализация, но если сравнить, например, количество историков, специализирующихся на изучении английской экономики раннего Нового времени, с числом экономистов, занимающихся современной английской экономикой, ситуация станет очевидной. Более того, несмотря на специализацию, историки зачастую вынуждены заниматься изучением нескольких, а то и всех элементов той или иной прошлой реальности (особенно это относится к древним или мало известным обществам).

Потребность общества в научном знании о прошлых (или в целом «иных») социальных реальностях существует, но она заметно уступает спросу на научное знание о своей собственной социальной реальности. Общество не может оплачивать труд такого количества историков, которое позволило бы части из них специализироваться в создании «чистой теории», как это имеет место в других общественных науках. Но все это не означает, что история не является теоретической дисциплиной — любой исторический дискурс «насквозь пропитан» теорией. Просто с учетом имеющихся объективных ограничений и специфических функций исторического знания теоретизирование здесь принимает несколько иные формы, чем в других общественных науках.

Глава 7

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИСТИНА

С древности и до недавнего времени важнейшей задачей исторического знания и, соответственно, задачей историков (независимо от того, какой конкретный смысл придавался слову «история»), считалось достижение «объективной истины»: историк должен «говорить правду», т. е. писать о том, что «было на самом деле» (см. *Вставку 1*). В последние десятилетия ситуация существенно изменилась, и упоминания о том, что исторические дискурсы должны быть истинными, почти не встречаются в литературе. Причиной ослабления внимания к проблеме истины стала прежде всего существенная общая релятивизация данного понятия и ряда связанных с ним.

¹ *Аристотель*. Поэтика, 1451b.

² *Цицерон*. Об ораторе, II, 15, 62.

³ *Цицерон*. О законах, I, 5.

⁴ *Лукиан*. Как следует писать историю, 38.

⁵ *Augustinus*. De doctrina christiana, II, 28; цит. по: *Вайнштейн О. Л.* Западноевропейская средневековая историография. М.; Л.: Наука, 1964. С. 87.

⁶ *Лев Диакон*. История I, 1.

⁷ John of Salisbury. *Historia Pontificalis* / Ed. and transl. by M. Chibnall. London: Nelson & Sons, 1956 [ca. 1163]. P. 4, 17.

⁸ *Вольтер*. История [1765] // История в энциклопедии Дидро и д'Аламбера / Пер. с фр. Л.: Наука, 1978. С. 7.

⁹ *Ranke L., von*. Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535 [1824] // *Ranke L., von*. Hauptwerke. Wiesbaden: Steiner, 1957. Bd 1. S. 10.

¹⁰ *Conkin P. K., Stromberg R. N.* The Heritage and Challenge of History. New York: Dodd, Mead & Co., 1971. P. 131.

Вставка 1. История и истина

Аристотель (IV в. до н.э.): «... Историк и поэт различаются... тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть»¹.

Цицерон (I в. до н.э.): «Кому же не известно, что первый закон истории — ни под каким видом не допускать лжи; затем — ни в коем случае не бояться правды; не допускать ни тени пристрастия, ни тени злобы»². «... В историческом повествовании следует соблюдать одни законы, в поэзии — другие... Ведь в первом все направлено на то, чтобы сообщить правду, во второй большая часть — на то, чтобы доставить людям удовольствие»³.

Лукиан из Самосаты (II в. н.э.): «Единственное дело историка — рассказывать все так, как оно было»⁴.

Аврелий Августин (V в.): «Задача истории — рассказывать факты правдиво и в целях пользы»⁵.

Лев Диакон (X в.): «Постараюсь изложить свою историю по возможности подробно... стараясь как можно ближе держаться истины, ибо правдивость больше всего приличествует истории. Люди, сведущие в науке, говорят, что риторике присуща сила выражения, поэзии — мифотворчество, истории же — истина»⁶.

Иоанн Солсберийский (XII в.): «Историк должен служить истине, ибо стремясь понравиться немногим, он на свою погибель обманывает всех... Лживый историк обрекает на гибель и свою репутацию, и свою бессмертную душу»⁷.

Вольтер (XVIII в.): «История — это изложение фактов, приведенных в качестве истинных, в противоположность басне, которая является изложением фактов ложных»⁸.

Леопольд фон Ранке (XIX в.): «История взяла на себя обязанность судить прошлое, поучать настоящее на благо грядущих веков. Данная работа <«История романских и германских народов». — *И. С., А. П.*> не может служить источником вдохновения для таких возвышенных целей. Ее цель состоит только в том, чтобы показать то, что происходило на самом деле»⁹.

Питер Конкин (XX в.): «История — это правдивый рассказ о человеческом прошлом»¹⁰.

1. «Истина», «объективность» и «факт»

В XX в. представления о том, «что есть истина», равно как «объективность», «реальность» и «факт» претерпели существенные изменения. Не претендуя на исчерпывающий анализ, мы попытаемся вкратце охарактеризовать современные подходы к концептуализации перечисленных понятий.

«Истина»

Прежде всего возникли радикально новые подходы к самому понятию «истина». Традиционное философское определение, идущее от Аристотеля, трактовало истину как соответствие утверждения реальности (так называемая корреспондентская или корреспондентная концепция истины). Это определение в свою очередь было тесно связано с трактовкой знания: считалось, что корпус знания состоит именно из истинных высказываний. Но, начиная с Иммануила Канта, анализ «истины» все теснее связывается с мыслительной деятельностью¹¹, а в философии XX в. именно это направление стало доминирующим. В настоящее время условно можно выделить три основных философских подхода к концептуализации понятия «истина».

Первый подход развивался в рамках формально-логической разновидности неопозитивизма (логического позитивизма). В принципе здесь сохранялось исходное аристотелевское требование соответствия высказывания реальности, но акцент был смещен в сторону логического анализа самих высказываний. Этот подход получил развитие в работах Альфреда Тарского, Рудольфа Карнапа, Бертрانا Рассела, Карла Поппера и др. Соответственно, было разработано так называемое семантическое определение истины, в рамках которого центральным является требование логической непротиворечивости.

Второй подход сформировался в рамках прагматистской философии, родоначальником которой считается Чарльз Пирс. Что касается истины, то она была определена Пирсом как общезначимое принудительное верование, к которому по каждому

¹¹Напомним, что в общем виде Кант понимал «истину» как согласие мышления с самим собой, и прежде всего с так называемыми априорными формами мышления.

исследуемому вопросу пришло бы беспредельное сообщество исследователей, если бы процесс исследований продолжался вечно. Идеи Пирса были развиты психологом Уильямом Джеймсом, который окончательно отказался от корреспондентской теории истины и сформулировал ее четкое прагматистское понимание: истинность идеи (высказывания) определяется ее успешностью или работоспособностью, ее полезностью для достижения той или иной цели, которую ставит и осуществления которой добивается человек.

Наконец, третий основной подход к концептуализации понятия истины берет начало в феноменологии Эдмунда Гуссерля. Здесь было сформировано *онтологическое* понимание истины, противостоящее традиционному гносеологическому подходу. В частности, Гуссерль определял истину и как определенность бытия, т. е. единство значений, существующее независимо от того, усматривает его кто-то или нет, и как само бытие, «бытие в смысле истины»: истинный друг, истинное положение дел и т. д. Трактовка истины у Гуссерля тесно связана с концепцией *интуиции*, понимаемой им как «сущностное видение», «идеация», непосредственное постижение «идеальных сущностей» («эйдосов»), а не фактов. В дальнейшем гуссерлевские концепции истины и интуиции были развиты в немецком (Мартин Хайдеггер) и французском (Жан-Поль Сартр) экзистенциализме. При всех различиях здесь под истиной понимается «истинное бытие» или «бытие в истине», а интуиция, также утрачивающая в экзистенциализме свои гносеологические характеристики, оказывается одним из основных способов такого бытия.

Три указанных подхода к определению понятия истины (логический, прагматический и интуитивистски-экзистенциальный) Вадим Руднев наглядно поясняет на примере детективной литературы — соответственно, английской, американской и французской (см. *Вставку 2*).

Применительно к истории можно обозначить два современных уровня концептуализации «исторической истины»: первый связан с философской рефлексией по поводу исторического знания, второй — с историографической практикой.

В рамках философии исторического знания проблема «исторической истины» трансформируется в вопрос о том, како-

Вставка 2. Истина и детективная литература

«Главное содержание детектива составляет... поиск истины... Соответственно в истории детектива можно выделить три <его> разновидности.

Первой хронологически был аналитический детектив, связанный непосредственно с гениальными умами Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Это английский детектив, его особенностью было то, что действие... могло быть редуцировано к аналитическим рассуждениям о методах раскрытия преступления... Англия недаром страна, в которой (в стенах Кембриджа) родился логический позитивизм... Задача у детектива-аналитика и аналитического философа, в сущности, была одна и та же — построить идеальный метод, при помощи которого можно обнаружить истину...

Второй хронологической (1920-е годы)... разновидностью детектива был американский “жесткий” детектив С. Дэшила Хэммета... Истина здесь оказывается синонимом хитрости, силы и ловкости ума. Это прагматический детектив (истина в прагматизме — это “организующая форма опыта”).

Теперь, видя как прочно массовая культура связана с национальным типом философской рефлексии, мы не удивимся, что в третьем (и последнем) типе классического детектива — французском — господствует идеология экзистенциализма. Сыщик здесь, как правило, совпадает с жертвой, а поиск истины возможен лишь благодаря некоему экзистенциальному выбору, личностно-нравственному перевороту»¹².

во «истинное содержание» данного типа знания. Можно выделить три основных подхода, доминировавшие во второй половине XX в. В некотором смысле они сопрягаются (хотя и не полностью) с выделенными выше общими философскими концепциями истины — аналитической, прагматической и интуитивистской.

Первый подход к пониманию истины имеет очевидный коррелят в философии исторического знания — речь идет об аналитической философии истории. Это направление, представленное известными работами Карла Гемпеля, Эрнста Нагеля, Уильяма Дрея, Мортона Уайта, Артура Данто и др., особенно активно

¹² Руднев В. П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1998. С. 79–80.

разрабатывалось в 1950–1960-е годы. При всех различиях, перечисленных авторов объединяет стремление обнаружить «истинную суть» исторического знания через анализ структуры и логики высказываний, содержащихся в историографических работах.

Второе по времени появления направление философии исторического знания — постмодернизм или постструктурализм, возникший как общеполитическое течение в 1960-е годы, — начал применяться к истории уже в 1970–1980-е годы. Связь постмодернизма (точнее, постструктурализма как собственно философской составляющей этого интеллектуального течения) с упомянутым выше прагматистским подходом к понятию истины не столь очевидна, но тем не менее она все же просматривается. Достаточно вспомнить о том, что крупнейший представитель современного прагматизма Ричард Рорти одновременно был одним из основоположников так называемое «лингвистического поворота», ставшего затем ключевым символом постмодернистской философии истории. Другим символом этого направления, позволяющим связать его с прагматизмом, можно считать концепцию «дискурсивной практики», предложенную Мишелем Фуко. Наконец, постмодернизм объединяет с прагматизмом (в его крайнем варианте) полный отказ от корреспондентской концепции истины. Впрочем, постмодернизм можно связать с чем угодно, поэтому мы не будем подробнее развивать тему его отношений с прагматизмом. В постмодернистских философских рефлексиях по поводу исторического знания доминирует «текстовое» направление, в то время как в историографической практике — «политическое» (к этому вопросу мы вернемся чуть ниже). Постмодернисты сводят «истинную суть» исторического знания прежде всего к тому, что это знание представлено в форме текстов, которые в этом случае оказываются «истиной в себе».

Дело в том, что любой текст, конструирующий любую реальность, обладает неким автономным существованием; более того, автономное существование приобретает и сконструированная в данном тексте реальность (ее изображение или описание). Если мы остаемся только в рамках данного текста, то и критерии истинности также формируются только в пределах самого этого текста как замкнутой системы. В результате к любой текстовой

реальности (создаваемой в рамках конкретного текста), включая вымышленные реальности, оказывается применимо понятие эндогенной (внутренней) истины. В рамках философии вымысла и семантики возможных миров высказывания, относящиеся к вымышленной реальности, могут быть как истинными, так и ложными, но прежде всего в зависимости от их соотносительности с данным конкретным текстом¹³. Понятно, что эти критерии немедленно меняются, как только мы делаем систему открытой, т. е. соотносим данный текст с другими текстами, не говоря уже об иной информации.

Третье, самое «молодое» и относительно менее известное течение современной философии исторического знания обычно именуется как «новая философия истории». Это направление возникло в 1980–1990-е годы и представлено прежде всего работами Франклина Анкерсмита. «Новая философия истории» прямо соотносится с интуитивистски-экзистенциальным подходом к понятию «истины», в данном случае — «истинной сути» исторического знания: главным объектом интуитивного постижения здесь является экзистенциальный опыт самого историка и отражение этого опыта в создаваемых им произведениях.

Переходя от философии истории (исторического знания) к историографической практике, мы также можем обнаружить три разных подхода к «исторической истине» — аналитический, прагматистский и интуитивистский. Но понятие «истины» в историографии и в философии исторического знания различны — в философии, как отмечалось выше, делается попытка определить «истинную суть» исторических произведений, в историографии же подразумевается «истинная картина» прошлого. Понятие «истинной картины» при этом трактуется весьма широко, причем не обязательно как соотносительность с реальностью (хотя такая соотносительность прокламируется в большинстве случаев). По сути же речь идет о «правильной» картине прошлого, и здесь более уместен термин «историческая правда». (Напомним, что в русском языке слово «правда» имеет значение не только «ис-

¹³ Воспользовавшись популярным примером, можно сказать, что в пределах реальности романов Конан Дойла высказывание «Шерлок Холмс жил на Бейкер-Стрит» может рассматриваться как истинное, а высказывание «Шерлок Холмс жил на Лейн-Роуд» — как ложное.

тина», но также «правильность» и «справедливость».) Кроме того, в отличие от появлявшихся относительно последовательно трех направлений философии исторического знания, три основные направления в историографии существовали параллельно на протяжении большей части XX в.

Предшественниками современной аналитической линии в историографии являлись, с одной стороны, субстанциальная философия истории, с другой — позитивистская историография. Унаследовав их достоинства, аналитическая историография смогла обеспечить создание четкой и логичной картины прошлого. Речь идет о таких известных направлениях, как структурная история, различные варианты так называемой «новой истории» («новая социальная», включая «новую рабочую», «новая экономическая», «новая политическая»), клиометрика и т. д. — короче, всем спектре «сциентистских» исторических исследований, как на макро-, так и на микроуровне.

Второе направление современной историографии, условно обозначаемое как «прагматистское», выступает преемником партийно-политической и националистической историографии XIX в. Пройдя через период крайностей, реализовавшихся в нацистской и советской историографиях, в последней трети XX в. это направление приняло менее экстремистские формы — истории женщин, истории меньшинств (расовых, этнических, сексуальных) и т. д., хотя и здесь иногда встречаются перегибы. Прагматистское направление во всех его разновидностях вырастает из практики, прежде всего политической. В историографии этого типа в полной мере реализуется философия постмодернизма — по сути речь идет о практической реализации провозглашенной Жаном-Франсуа Лиотаром борьбы с традиционными «большими нарративами» или «метанарративами».

Наконец, третье, «интуитивистское» направление в историографии XX в. связано со стремлением к «погружению» в прошлое, конструированию его самобытных фрагментов, воссозданию его «духа». В XIX в. начало этому направлению положили историки-романтики. Такие способы конструирования прошлого, как «вчувствование» и «погружение», в XX столетии получили развитие в трудах литературно одаренных историков, стоящих несколько особняком (например, Йохана Хейзинги), а с

середины века эти мотивы зазвучали в авангардных историографических школах — от истории ментальностей до истории частной жизни и повседневности. Основная задача историка в рамках этого подхода — дать читателю «почувствовать» прошлое, и прежде всего прошлое как другую социальную реальность.

В целом в XX в. радикально изменился подход к соотношению истины и знания: классическая философия познания все больше вытесняется социологией знания. В философии познания полагается, что истина является первичной, т. е. что сначала определяется конечный статус высказывания (истинное–ложное), а затем из истинных высказываний формируется корпус знания. В социологии знания на первый план выдвигается проблема «знания», т. е. того набора представлений о реальности, которые признаются знанием той или иной социальной группой. Все, что признано данной группой знанием, автоматически считается истинным, поэтому здесь, в отличие от философского подхода, претендующего на абсолютное, конечное определение истины, акцентируется культурная и социальная обусловленность «знания» или «истины». В частности, как отмечал еще Карл Манхейм в 1920-е годы:

«...не только представление о знании вообще зависит от конкретно имеющегося, считающегося парадигматическим знания и от осуществленных в его рамках типов знания, но и “понятие истины” обусловлено существующими в данный период типами знания»¹⁴.

Таким образом, выработка «исторической истины» по существу оказывается результатом формирования социального запаса исторического знания. Этот процесс включает постоянную оценку и отбор как новых «мнений», так и переоценку признанных ранее «знаний» на основе разнообразных, изменчивых и не всегда формализуемых критериев. Но именно механизм социального отбора и оценки знаний и обеспечивает достижение «исторической истины».

¹⁴ Манхейм К., *фон.* Идеология и утопия [1929] // Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ. М.: Юрист, 1994. С. 244.

«Объективность»

Существенное влияние на релятивизацию понятия *объективной* истины оказали исследования в области психологии, прежде всего психологии науки. Вплоть до начала XX в. считалось, что базовые характеристики научного знания — рациональность и взаимная соотнесенность эмпирики и теории — являются не только необходимыми, но и достаточными условиями для обеспечения «истинности» и «объективности» научных дискурсов.

Что касается истории, то, независимо от вкладываемого в это слово смысла, всегда существовало понимание субъективности индивидуальных исторических дискурсов. Уже античные критики пытались выделить факторы, влияющие на авторов исторических сочинений и на содержание их произведений. Однако все эти попытки были связаны со стремлением выявить причины появления «неправильных» или «лживых», с точки зрения критиков, «историй». Тем самым предполагалось, что существуют некие «объективные» исторические работы, авторам которых удалось полностью избежать субъективных «искажений» действительности.

Например, еще Полибий упоминал о том, что картина истории часто «искажается» под влиянием личных симпатий и антипатий историка. Лукиан полагал, что на создание «лживых» сочинений историка толкают «страх перед имеющим власть, надежда на вознаграждение с их стороны, расположение или, напротив, неприязнь к тем, о ком он пишет». Аммиан Марцеллин также считал, что «искажению» истории часто способствуют страх перед властителями и те выгоды, которых может добиться историк, прибегающий к «мерзкой лести». Уже в конце XIX в. Шарль Сеньбос, продолжая ту же традицию, попытался существенно расширить список факторов, вызывающих появление «неправильных» исторических сочинений, относя к ним практическую выгоду; групповые, национальные, партийные, региональные, семейные и другие пристрастия автора, его философские, религиозные или политические предпочтения; личное или групповое тщеславие; стремление понравиться публике и др.

В рамках современных представлений подход к этой проблеме претерпел существенные изменения. Было признано, что

процесс «производства знаний», т. е. соответствующей мыслительной деятельности, всегда субъективен: не существует никакого идеального «объективного» знания, в том числе и научного. Процесс производства научных дискурсов в целом (и исторических в частности) в огромной степени зависит от индивидуальных психологических характеристик исследователя. Характер дискурса определяется, в частности, эмоциональными характеристиками личности: как заметил еще Фрэнсис Бэкон, «наука часто смотрит на мир глазами, затуманенными всеми человеческими страстями». Существенно также, что производство научных дискурсов представляет собой причудливое смешение как сознательных, так и бессознательных мыслительных актов, и в большинстве случаев ученый не может четко сформулировать, почему он «думал» так или иначе.

Процесс собственно производства научного (т. е. эмпирико-теоретического) знания условно можно разделить на несколько этапов. На первом этапе происходит выбор темы исследования, определяется объект изучения. Второй этап — это работа с первичными данными (наблюдениями, эмпирическим материалом): сбор, отбор, систематизация, обработка, анализ и т. д. Третий — интерпретация имеющегося материала и формулирование высказываний о существовании отдельных элементов реальности. Четвертый этап — превращение отдельных высказываний в их связанный набор (построение «текста» или «дискурса» в современной терминологии), т. е. создание целостной картины некоего сегмента «реальности». Субъективный, индивидуальный характер научного творчества проявляется на каждом из этапов производства нового знания (точнее, «мнения», так как «знание» формируется на коллективном уровне).

Уже самый первый этап производства знания — выбор темы или объекта исследования — представляет собой, как отмечал еще Макс Вебер, субъективный творческий акт. Применительно к истории психологические факторы, влияющие на выбор темы, подробно обсуждались, в частности, в послевоенной немецкой литературе. Стремление к избавлению от психологической травмы, связанной с фашистским прошлым, выражалось или в подсознательном «забывании», уходе от истории межвоенного периода, или, наоборот, в постоянном навязчивом возврате к

этому этапу немецкого прошлого. Во втором случае происходило нечто вроде фрейдовского психоаналитического «катарсиса», достигаемого за счет перевода подсознательных комплексов на уровень сознания.

В свою очередь выбор объекта исследования хотя бы отчасти очерчивает границы того эмпирического материала, который может использоваться для анализа этого объекта. Но и здесь возникает широкий простор для творчества — успехи исторической науки в Новое время, и прежде всего в XX в., были во многом связаны именно с использованием новых, нетрадиционных материалов о традиционных объектах.

Еще более индивидуализированным и субъективным оказывается процесс извлечения информации из используемых данных (в том числе и из личных наблюдений). Как мы уже объясняли, в соответствии с современными представлениями, радикально отличающимися от взглядов позитивистов XIX в., одни и те же данные могут быть источником разной информации об одном и том же объекте. Кроме того одни и те же данные могут выступать в качестве источника информации о самых разных объектах, что возвращает нас к предыдущему этапу — отбору данных, рассмотрение которых полагается уместным при анализе выбранного объекта.

Процесс «извлечения» информации из данных включает множество аналитических операций. Прежде всего речь идет об оценке «качества» данных, которая в каждой области научного знания имеет свою специфику. В истории этот процесс эволюционировал от анализа устных свидетельств «очевидцев» к детально разработанным приемам «критики источников», включая их датировку, атрибуцию, аутентичность и т. д. Заметим, что в общественных науках, в том числе в истории, обсуждение данных также может вестись с точки зрения их «истинности». В естественных науках сами сообщения (данные) не могут иметь статус «истинности» или «ложности» — таковой статус придается только их интерпретациям. В общественных же науках в качестве первичных данных (сообщений) часто выступают вторичные по своей сути высказывания (в терминологии Эрнста Бернгейма, историки имеют дело не только с «остатками», но и с «преданиями»).

Но оценка «качества» есть лишь один из этапов процедуры отбора «релевантных» данных, которые исследователь считает носителями «нужной» ему информации. Если на первом этапе принимается решение о том, какие данные включать в рассмотрение, то на втором — какие из отобранных ранее данных не рассматривать. И в этом случае на решение исследователя оказывает влияние множество разнообразных факторов.

В последние десятилетия большое внимание в психологии науки уделяется творческим аспектам научной деятельности, проблеме «открытий», «озарений», «гениальных догадок» и т. д. В истории эта сторона производства дискурсов играет меньшую роль, чем в естественных науках. Зато в истории индивидуальные творческие способности ярко проявляются в особенностях формы создаваемого дискурса (текста). В принципе влияние на исторические произведения литературного таланта, авторского стиля, композиционных способностей историка и т. д. осознавалось достаточно давно. Об этом выразительно написал, например, Робин Коллингвуд:

«Различия между научным мировоззрением Геродота и Фукидида не менее заметны, чем различия их литературных стилей. Стиль Геродота легок, спонтанен, убедителен. Стиль Фукидида угловат, искусствен, труден. Читая Фукидида, я спрашиваю самого себя, что происходит с этим человеком, почему он так пишет. И отвечаю: у него большая совесть. Он пытается оправдать себя за то, что вообще пишет историю, превращая ее в нечто такое, что не является историей»¹⁵.

Но как объект специального анализа литературная, стилистическая сторона историописания стала привлекать особое внимание специалистов в рамках упомянутого выше «лингвистического поворота». Одними из первых эту тему начали разрабатывать историки Хейден Уайт и Питер Гай в первой половине 1970-х годов.

Процесс создания научных дискурсов не был обойден вниманием и философов науки, прежде всего представителей аналитической философии и философии языка. Применительно к

¹⁵ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории* [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории. Автобиография* / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 30.

истории в рамках этого подхода было показано, что сами процедуры научного исследования, например: редуцирование, генерализация и т. д., предполагают некие манипуляции с образом прошлого, поскольку неизбежно подразумевают «включение» в анализ или «исключение» тех или иных данных (сведений) из рассмотрения. Например, как писал американский историк Генри Коммейджер,

«мы объединяем тысячи вещей и называем их Просвещение. Мы идем даже дальше. Мы требуем, чтобы все события этого периода укладывались так или иначе в Просвещение, в противном случае мы отвергаем их»¹⁶.

Но подобного рода «издержки концептуализации» присущи практически любому серьезному историческому исследованию.

«Факт»

В большинстве типов знания (в частности, в религии, философии, естественных и общественных науках) как отдельные высказывания, так и их связанные наборы могут иметь значения «истина» и «ложь». В науке высказывания, которым придается статус «истины», обычно именуется «фактами». Это слово также может иметь разные значения, но в строгом определении к «фактам» относят *высказывания о существовании* (каких-либо элементов реальности), которым придается значение «истина».

Заметим, что процесс придания значений высказываниям происходит как на индивидуальном, так и на групповом уровне. В процессе индивидуального научного творчества, формулируя некое высказывание о существовании чего-либо (явления, связи, действия и т. д.), автор высказывания придает ему значение «истины» и называет «фактом». Однако «фактом» как элементом знания это высказывание становится только в случае его социального признания в качестве «истины». Тем самым содержание данного высказывания превращается в элемент реальности для соответствующей социальной группы. Иными словами, так

¹⁶ *Commager H. S.* Is there a «Philosophy of History»? // *Mind, Science, and History* / Eds. H. E. Kiefer, K. Munitz. Albany (N. Y.): State Univ. of New York Press, 1970. P. 305.

же как мы распознаем индивидуальные «мнения» и социально признанное «знание», следует различать такой конкретный вид «мнений», как «истинные высказывания», именуемые в науке «фактами». В частности, на индивидуальном (авторском) уровне мы предпочли бы обозначить этот класс высказываний как «утверждения» или «суждения» (которые в логике определяются как «мысль о предмете, в которой что-либо о нем утверждается или отрицается»), зарезервировав слово «факт» для социально признанных истинностных высказываний. К сожалению, такое различие практически не проводится в литературе, что способствует некоторой терминологической путанице.

Заметим также, что в принципе слово «факт» происходит от *лат. factum* (сделанное, деяние, дело; действие, поступок), и в строгом смысле это слово относится только к высказываниям о совершенных *действиях и их результатах*. Поэтому, с этимологической точки зрения, данный термин применим только к утверждениям о социальной и трансцендентной реальностях, где предполагается наличие субъектов действий. Однако в современной практике слово «факт» приобрело расширительное толкование и используется, в том числе, в высказываниях о природной реальности.

Что касается проблемы исторических фактов, то здесь уместно вспомнить высказывание Джона Лукача, заметившего, что речь идет не столько «о том, сколько фактов в истории, сколько о том, сколько истории в слове “факт”»¹⁷. Уже просветители придали «факту» значение категории реальности, но в отделении «истины» от «лжи» решающую роль они, как и средневековые авторы, все еще отводили вере. Именно так проблематизируется «факт» в энциклопедии Дени Дидро и Жана-Лерона д'Аламбера:

«**Факт.** Этот термин трудно определить: сказать, что он употребляется при всех известных обстоятельствах, когда что-либо вообще перешло из состояния возможности в состояние бытия, — отнюдь не значит сделать его яснее... Мы знаем о некоторых фактах все то, что наш разум и наше положение могут позволить нам знать; и мы должны... либо отбросить эти факты как

¹⁷ *Lukacs J. Historical Consciousness, or The Remembered Past. New York; London: Harper & Row, 1968. P. 99.*

лживые, либо принять как истинные... Но что же научит нас отличать эти возвышенные истины?.. Вера»¹⁸.

В XIX в. «факт» становится «эмпирическим» в полном смысле этого слова. Мироздание и познающая внеположенную реальность наука основываются прежде всего на Фактах. Тип историографии, который может быть назван позитивистским, развился под воздействием естественнонаучного подхода, предполагающего установление фактов в непосредственном чувственном восприятии и разработку законов путем обобщения фактов посредством индукции. Английский историк Эдвард Карр не случайно назвал XIX век «великой эпохой фактов». В соответствии с установками позитивного метода представители историзма второй половины XIX в. стремились утвердить в исторической науке примат объективного факта.

Историки-позитивисты признавали реальность прошлого, считая, что оно непосредственно дано прежде всего в виде «остатков»: исторических документов и вещественных памятников. В соответствии с требованиями позитивного знания историк не может знать больше того, что заключено в документах. То, чего нет в документе (мнения, слухи), не существует для истории. Поэтому задача состоит в том, чтобы возможно более точно воспроизвести прошлое по документам.

Современная наука отказалась от концепции эмпирического факта XIX в., в рамках которой факт определялся как нечто, «объективно» существующее и лишь воспринятое и зафиксированное наблюдателем. Представления о соотношении между результатами наблюдений и интерпретациями, превращающими их в «факты», все более усложняются. Как отметил Пол Фейерабенд, «наука вообще не знает “голых” фактов, а те “факты”, которые включены в наше познание, уже рассмотрены определенным образом, а следовательно, существенно концептуализированы»¹⁹. Развивая эту мысль, Андрей Юревич пишет:

¹⁸ Дидро Д. Факт [1756] // История в энциклопедии Дидро и д'Аламбера / Пер. с фр. Л.: Наука, 1978. С. 18, 20.

¹⁹ Фейерабенд П. Против методологического принуждения [1975] // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1986. С. 149.

«Результаты наблюдения приобретают статус *фактов*. В то же время факты не идентичны результатам наблюдения, а включают их определенные *интерпретации*. Научный факт не существует как таковой — в виде “чистых” данных, он всегда включен в определенную интерпретативную структуру... В мышлении эмпирический факт вытекает из интерпретативной структуры, а не порождает ее. Более того, факты просто бессмысленны вне определенных концептуальных рамок, которые формируются до фиксации фактов и всегда предопределены внеэмпирическими обстоятельствами»²⁰.

Интерпретация факта в исторической науке XX в. также представляет собой решительный разрыв с его позитивистским толкованием. Современную трактовку факта предложил Люсьен Февр в лекции «Суд совести истории и историка», прочитанной в Коллеж де Франс в 1933 г., заявив, что исторические факты создаются, а не являются данными (см. *Вставку 3*). С тех пор ничего радикально нового, пожалуй, предложено не было (если отвлечься от постмодернистских крайностей, выводящих факт за пределы исторического исследования). В последующих работах эта фундаментальная идея Февра лишь развивалась и конкретизировалась. Но несмотря на то, что современная трактовка исторического факта была сформулирована много десятилетий назад, часть историков все еще живет представлениями XIX в., искренне полагая, что существует некий идеальный вариант историописания «как это происходило на самом деле».

Однако хорошо известно, что выбор тех или иных событий в качестве «исторических фактов» зависит от эпохи — присущих ей знаний, идеологических установок и т. д., равно как и от субъективных представлений и концептуальных подходов конкретного историка: у каждого автора свой набор фактов и, соответственно, своя «область исключенного». Это же верно и на уровне любой социальной группы или общества в целом в каждый конкретный период времени. Как писал Юрий Лотман, «можно было бы составить интересный перечень “не-фактов” для различных эпох»²¹.

²⁰ *Юревич А. В.* Скрытое лицо науки // Алахвердян А. Г. и др. Психология науки. М.: Флинта, 1998. С. 253.

²¹ *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. Человек–текст–семиосфера–история. М.: Языки русской культуры, 1996 [1990]. С. 303.

Вставка 3. Исторические факты

Люсьен Февр: «Установить факт — значит выработать его. Иными словами — отыскать определенный ответ на определенный вопрос»²².

Робин Коллингвуд: «... Научный историк рассматривает утверждения источников не в качестве констатаций исторических фактов, а как основание для своих суждений»²³.

Эдвард Карр: «Исторические факты не могут быть полностью объективными, ведь они становятся историческими фактами лишь в силу значения, которое придает им историк»²⁴.

Майкл Постан: «Исторические факты, даже те, что в научном обиходе фигурируют как “твердо установленные”, можно считать лишь “относящимися к делу” аспектами явлений прошлого, соответствующими интересам исследователя в тот момент, когда он проводил свои изыскания»²⁵.

Джон Тош: «... Исторические факты являются результатом отбора, <поэтому> необходимо установить критерии, по которым они отбираются... Используемые историком критерии значимости определяются характером исторической проблемы, которую он стремится разрешить»²⁶.

Впрочем, производство «фактов», т. е. отдельных «истинных» высказываний о существовании элементов реальности, является лишь промежуточной задачей любого исследователя. Конечной целью любого историка можно считать создание некой более или менее общей целостной картины прошлой социальной реальности или по крайней мере ее сегмента. В этом случае исследователь, в соответствии с правилами, принятыми при производстве научного знания, опирается на «факты», но

²² Февр Л. Суд совести истории и историка [1933] // Февр Л. Бои за историю / Пер. с франц. М.: Наука, 1991. С. 15.

²³ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 261.

²⁴ Carr E. H. What Is History? London: Macmillan, 1961. P. 120.

²⁵ Postan M. M. Fact and Relevance: Essays on Historical Method. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1970. P. 51.

²⁶ Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.: Весь Мир, 2000 [1984/2000]. С. 158.

опять-таки занимается их интерпретацией. Результаты интерпретации «фактов», а тем самым и получаемая картина реальности, могут быть самыми разными. Например, существует множество интерпретаций личности и деяний Наполеона, основанных на одних и тех же фактах (история Наполеона очень хорошо документирована) и полностью противоречащих друг другу.

Люсьен Февр в уже упоминавшейся лекции определял историческое повествование как «хитросплетение... фактов, созданных, воссозданных, вымышленных или сфабрикованных историком при помощи гипотез и предположений». В самом деле, на основе одних и тех же исходных данных и даже одного набора «фактов» можно сконструировать самые разные дискурсы. В частности, речь идет как о базовых типах научных дискурсов (описание и объяснение), так и о конкретном виде того или иного исторического повествования — временной последовательности, каузальных связях и т. д.

2. Формирование социального запаса исторического знания

Процесс конструирования социальной реальности, т. е. формирования социального запаса знания, по терминологии Альфреда Шюца, можно условно разделить на два этапа. На первом — на индивидуальном уровне происходит создание дискурсов (мнений). На втором — осуществляется социальная оценка дискурсов, в результате чего индивидуальные мнения отвергаются или признаются некими социальными группами. Оценка «мнений» производится на основе критериев, специфичных для данной социальной группы. В случае признания «мнение» обретает статус знания в пределах данной группы, а его содержание становится частью ее социальной реальности.

И сами авторы исторических текстов, и их читатели всегда руководствовались определенными параметрами или критериями, которым должны соответствовать исторические произведения. Авторы старались следовать принятым в данный момент правилам или, по крайней мере, заявляли, что они это делают, а профессиональная экспертная группа пыталась оценить,

насколько данное произведение «на самом деле» соответствует установленным критериям.

Попытки выработки правил или критериев разделения «фактов» и «вымысла», «истинных» и «ложных» дискурсов, «правильного» и «искаженного» описания прошлой реальности возникают еще в глубокой древности. Например, как отмечает известный лингвист Виктор Топоров,

«В первых образцах “исторической” прозы (хотя бы в условном понимании этой историчности) “историческими” признаются только “свои” предания, а предания соседнего племени квалифицируются как лежащие в мифологическом времени и, следовательно, как мифология»²⁷.

В дифференцированных обществах процесс формирования социального запаса знания, механизм признания «мнений» становятся гораздо более изоциренными.

Важнейшим внутренним критерием, которому должны соответствовать исторические произведения, является работа с «источниками». Начиная с Геродота, историки так или иначе старались использовать «истинные» сведения или, по крайней мере, заявляли, что они это делают. Процесс отбора сведений, которые могут быть использованы при написании «истории», в Новое время получил название «критики источников», но в той или иной форме он существовал всегда.

Как мы уже говорили, изначально в качестве «источников» выступали личные впечатления автора и устные свидетельства других людей, затем к ним стали относить и письменные тексты. В свою очередь устные свидетельства так или иначе подразделялись на индивидуальные и «молву», письменные включали как предшествующие исторические сочинения, так и свидетельства «не историков». Уже в Средние века к ним добавляются документы и даже надписи, прежде всего на могильных камнях. Тогда же в зачаточной форме начинают использовать как источники предметы материальной культуры, а в Новое время спектр «источников» быстро расширяется (см. главу 6).

²⁷Мифы народов мира. Энциклопедия / Ред. С. А. Токарев. В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 572.

Историк всегда должен был (согласно существовавшим канонам) использовать наиболее надежные источники, и это служило важным критерием оценки его труда. Но иерархия источников постепенно менялась. В эпохи античности и Средних веков на первом месте шло увиденное (*visa*), на втором — услышанное (*audit*) и лишь на третьем — прочитанное (*lecta*). Считалось, что исторические сочинения должны содержать прежде всего рассказ об увиденном самим автором как наиболее надежное «свидетельство». Соответственно, автор должен был описывать в первую очередь «настоящее», а не «прошлое». Сами историки также веками способствовали поддержанию этой иллюзии, постоянно упоминая о том, что были очевидцами описываемых ими событий. Но на самом деле удельный вес собственных наблюдений автора в любом античном или средневековом историческом труде был ничтожен, шла ли речь о военном сражении или царствовании какого-нибудь правителя.

Тем не менее «современность» автора описываемым им событиям много веков считалась одним из основных показателей «истинности» сочинения и основанием для его признания в качестве знания. Именно на этом основании «История о разрушении Трои», якобы написанная ее непосредственным участником Даретом Фригийским, много столетий относилась к истинным историческим сочинениям, а, скажем, «История бриттов» Гальфрида Монмутского, написанная в XII в. и рассказывающая о короле Артуре и о волшебнике Мерлине, якобы живших в VI в., сразу стала вызывать сомнения у историков, в частности, Уильяма Ньюбургского (хотя легенда о короле Артуре по сей день продолжает пользоваться успехом у политиков, деятелей искусства и «широких масс»).

Установка на «современность» довольно долго сдерживала становление истории как знания о прошлом и начала преодолевать только в Новое время. Это не значит, что исторические сочинения не включали никаких сведений о прошлом, выходящих за пределы жизни самого автора, но в этом случае следовало пользоваться предшествующими сочинениями, написанными современниками этого «прошлого». Еще в XV в. Лоренцо Валла заявлял: «Ведь всякий, кто сочиняет историю о прошедшем времени, либо говорит по внушению Святого Духа, либо следу-

ет авторитету древних авторов, и именно тех, которые писали о своем времени»²⁸.

Но главным источником все же были чужие свидетельства, которыми пользовался автор, и именно они в первую очередь подвергались оценке. Собственно говоря, это делали и сами авторы — отсюда шли бесконечные упоминания о «надежных свидетельствах». Простейшим критерием надежности выступала личность свидетеля — насколько он «достоин доверия», «авторитетен» и т. д., а это представление в свою очередь определялось социальными позициями: например, в Средние века — тем, является ли свидетель или очевидец (источник, информатор) клириком, человеком благородного происхождения и т. д. Учитывая расплывчатость таких оценок, начиная с Геродота возникает практика «дистанцирования» автора от свидетеля в тех случаях, когда истинность его «показаний» внушала сомнения.

В принципе, надежность любых сведений могла подвергаться сомнению, но в Средние века из этого общего правила была исключена Священная история. Для любого средневекового хрониста эпизоды библейской истории были «историческими фактами» в гораздо большей степени, чем непосредственно описываемая им вчерашняя битва. О том, насколько не подвергалась сомнению истинность Божественного откровения, свидетельствует, например, такое высказывание Фрэнсиса Бэкона: «Священная история обладает прерогативой рассказывать о фактах, как до того как они произошли, так и после этого»²⁹.

Постепенно все большую роль в исторических работах начинали играть письменные источники, и на смену оценке надежности свидетелей приходит оценка текстов — сочинений предшествующих историков, а затем и документов. Ненадежность исторических сочинений и необходимость критического отношения к ним осознавалась уже в античности (поскольку они, в сущности, были разновидностью свидетельств). В Средние века, с началом более широкого употребления неисторических текстов, возникла

²⁸Цит. по: *Гене Б.* История и историческая культура средневекового Запада / Пер. с фр. М.: Языки славянской культуры, 2002 [1980]. С. 223, сноска 52.

²⁹Цит. по: *Боллингброк Г.* Письма об изучении и пользе истории / Пер. с англ. М.: Наука, 1978 [1735/1752]. С. 22.

проблема фальшивых или поддельных документов. Иногда такие документы создавали сами историки, но гораздо чаще этим занимались другие. Хорошо известно, что изготовление фальсификатов и, соответственно, использование их в качестве основы для исторических сочинений пышно расцвело в Средние века, особенно начиная с IX в., когда Церковь впервые после падения Западной Римской империи почувствовала угрозу подрыва своего господства из-за усиления светской власти. «Исидоровы декреталии» и «Константинов дар» положили начало множеству подделок, придуманных с целью подтверждения имущественных или политических прав того или другого монастыря, епископства или Церкви в целом.

Следует, правда, иметь в виду, что отношение к эмпирическому материалу в тот период было совершенно иным, чем ныне. В современных условиях автор, при всех возможных оговорках, все же движется от эмпирического материала к интерпретации «картины мира». Такого рода движение является базовым правилом науки как эмпирико-теоретического знания. На донаучной стадии соотношение между картиной мира и эмпирическим материалом было иным — во многих случаях автор исходил из некоторой априорной картины мира, а эмпирические данные выстраивал в соответствии с этой картиной. Например, монастыри часто составляли те или другие грамоты и придавали им вид подлинных потому, что они были глубоко убеждены, что такого рода грамота существовала и что ее надо воспроизвести.

Так или иначе историки вынуждены были начать разрабатывать способы определения фальшивок. Одним из первопроходцев в этой области был Лоренцо Валла, и с XV в. техника «критики текстов» постоянно совершенствовалась. Благодаря этому изготовление фальшивых документов и, соответственно, их использование в исторических сочинениях, постепенно сокращалось, но по сути не прекращается по сей день. Например, в работах Владимира Козлова собраны примеры наиболее известных фальсификатов, относящихся к русской истории и создававшихся на протяжении XVIII–XX вв., от «Соборного деяния на мниха Мартина Арменина» и «Сказания о Руси и вещем Олеге» до «Влесовой книги» и различных документов, связываемых с Лениным, Зиновьевым, Сталиным и т. д. Среди знаменитых фаль-

сификатов конца XIX — первой половины XX в. нельзя не упомянуть и «Протоколы сионских мудрецов». Подавляющая часть фальсификатов создавалась не самими историками, но многие из фальшивок активно использовались ими (не всегда ясно, по добросовестному заблуждению или по иным причинам).

Хотя историки в подавляющем большинстве стараются бороться с фальшивками и использовать максимально надежные источники, экспертное сообщество также осуществляет контроль за качеством источников. Поэтому, в частности, система ссылок, которая изначально выполняла функцию «подкрепления» авторского текста авторитетами, в настоящее время играет и роль механизма контроля за материалом (хотя мотив ссылки на авторитеты тоже сохраняется). Одновременно читатели получают возможность узнать, какие источники *не использовались* при написании данной работы. Этот тип контроля связан с известной со времен древности проблемой умолчания.

Еще римский историк Аммиан Марцеллин в конце IV в. писал: «Историк, сознательно умалчивающий о событиях, совершает не меньший обман, чем тот, кто сочиняет никогда не происходившее»³⁰. Согласно современным нормам, умолчание о каких-либо данных также является нарушением правил построения дискурса. Историк должен не только искать свидетельства, подтверждающие его тезис, но и свидетельства его уязвимости. Однако учитывая, что граница между отбором существенных для данного исследования материалов и умолчанием является зыбкой, этот аспект оценки исторических дискурсов представляется гораздо более дискуссионным, чем создание несуществующих данных или их искажение.

Справедливости ради надо сказать, что различного рода фальсификации, искажения, подтасовка данных и т. д. наблюдаются отнюдь не только в истории — в не меньшей, если не в большей степени они распространены в естественных науках. В частности, ныне установлено, что такие выдающиеся естествоиспытатели, как Иоганн Кеплер, Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Грегор Мендель и другие систематически «улучшали», а то и просто придумывали эмпирические данные, подтверждающие

³⁰ Аммиан Марцеллин. Римская история (Res gestae) XXIX, 1, 15.

их идеи. Фальсификациями не брезгают и современные ученые. Среди опрошенных Майклом Махони ученых 42% ответили, что хотя бы однажды сталкивались в своей исследовательской практике с подделкой данных, причем биологи (57%) чаще, чем представители гуманитарных наук — психологи (41%) и социологи (38%)³¹. Александр Кон, обобщивший многочисленные случаи того, что он называет «мошенничеством» в науке, пришел к выводу, что оно носит массовый характер, является правилом, а не исключением³².

Внутрицеховые критерии «истинности» или «правильности» исторических исследований весьма многообразны. Понятно, что полностью проверить соответствие всем критерием (равно как и полностью их выполнить) в каждой исторической работе практически невозможно. Поэтому в качестве дополнительного критерия «истинности» выступает оценка личности автора. Эта оценка всегда играла не менее важную роль, чем анализ самого исторического сочинения, и часто ставилась даже на первое место. Так, в 1453 г. Энеа Сильвио Пикколомини писал:

«Не следует непременно верить всему написанному, и только Писание обладает таким авторитетом, что сомневаться в нем нельзя. В других случаях следует выяснить, кто автор, какую жизнь он вёл, какова его религия и какова его личная доблесть. Надобно также учитывать, с какими иными рассказами он согласен, с какими не согласен, правдоподобно ли сказанное им, созвучно ли времени и месту, о коих он повествует»³³.

Итак, признание того или иного дискурса в качестве «истинного», «правильного» и т. д. в значительной степени определялось (и отчасти продолжает определяться) уровнем доверия к автору. Сочинения «авторитетного» человека считались «истинными» или «достоверными» книгами (*libri autentici*). В Средние века, когда не существовало устойчивого профессио-

³¹ *Mahoney M. J. Scientists as Subjects: The Psychological Imperative. Cambridge (MA): Ballinger, 1976.*

³² *Kohn A. False Prophets: Freud and Error in Science and Medicine. Oxford: Basil Blackwell, 1986.*

³³ Цит. по: *Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада / Пер. с фр. М.: Языки славянской культуры, 2002 [1980]. С. 166.*

нального сообщества, авторитет автора мог быть подтвержден кем-либо.

«Это мог быть папа или император, епископ, церковный капитул, светский государь; это мог быть любой знаменитый человек. А поскольку среди этих авторитетных лиц одни были значительно более других, то, соответственно, одни тексты оказывались более истинными, чем другие. Точно так же <как> одни свидетели оказывались более истинными, чем другие»³⁴.

Позднее эта система упростилась, и в обиход вошел термин «одобренный», применявшийся уже не столько к авторам, сколько к конкретным книгам. Иногда такое «одобрение» давало профессиональное сообщество: например, когда некто Роландино Падуанский, нотариус, магистр грамматики и риторики в Падуанском университете, написал в 1262 г. свою хронику, он устроил чтение своего текста в присутствии почтенных магистров, бакалавров и студентов университета и, как гласила надпись, сделанная затем в начале хроники, «специально собранные для этого, они своим магистерским авторитетом похвалили, одобрили и признали истинной указанную книгу, то есть хронику»³⁵. Но такие случаи были достаточно редки, и обычно было достаточно получить «одобрение начальства». Следствием борьбы за «высочайшее одобрение» явилось возникновение официальной или государственной историографии, а затем и введение должностей официальных историографов, которые во многих странах Европы просуществовали до конца XIX в. Ну, а в неофициальном виде «официальная» историография, как известно, сохраняется по сей день.

Помимо квалификации, при оценке автора того или иного исторического сочинения традиционно учитывается его групповая принадлежность и внутригрупповой статус. Издавна внимание обращалось на происхождение и социальное положение. Начиная с Реформации существенную роль стало играть вероисповедание, с XVIII в. значимость приобретает национальность, а с XIX в. — партийная позиция автора. Влияние групповой идентификации на индивидуальные дискурсы и, соответственно, на

³⁴ Там же. С. 158.

³⁵ Цит. по: Там же. С. 161.

оценку этих дискурсов было особенно сильным во второй половине XIX — первой половине XX в. В последние десятилетия, на наш взгляд, влияние этого фактора стало уменьшаться, но отнюдь не исчезло (более того, к традиционным групповым параметрам добавилась, например, гендерная принадлежность и даже сексуальная ориентация).

И все же главным показателем в настоящее время является уровень квалификации. Роль этого параметра осознавалась уже в античности: так, еще Полибий писал, что «неправда» в исторических сочинениях может быть обусловлена просто недостаточным знанием материала, неведением. Но в качестве существенного показателя уровень квалификации стал фигурировать только в Новое время. Например, Жан Боден в работе «Метод легкого познания историй» (1566) подчеркивал, что доверия заслуживают лишь авторы, компетентные в вопросах, о которых они пишут. «Поэтому, — объяснял он, — я не могу принять мнение Полибия о религии или Евсевия о ратном деле»³⁶.

В современной науке, в том числе и исторической, выработана разветвленная система прямой и косвенной оценки уровня квалификации авторов индивидуальных дискурсов. Прежде всего, речь идет о «цеховой» квалификационной системе, начинающая со свидетельств о профессиональном образовании, прослушанных курсах и успеваемости и кончая научными степенями и членством в различных профессиональных обществах. С этой системой тесно связана идентификация по месту работы и занимаемой должности — общий уровень того или иного учреждения многое говорит о квалификации работающего в нем ученого. О степени компетентности автора свидетельствует список его предшествующих публикаций и отзывов на них (от рецензий до системы ссылок). В результате косвенным параметром, позволяющим оценивать уровень квалификации, оказывается возраст: молодые авторы вызывают меньше доверия, и их работы чаще подвергаются тщательной проверке и перепроверке.

Об этом свидетельствует история, связанная с одной из ранних работ ныне весьма известного и уважаемого историка Ло-

³⁶ Боден Ж. Метод легкого познания истории / Пер. с лат. М.: Наука, 2000 [1566]. С. 53.

уренса Стоуна, опубликованной в 1948 г., когда он работал в Оксфорде. В своей статье Стоун доказывал, что с XVII в. начался процесс экономического упадка английской землевладельческой аристократии и одновременно усиление экономических позиций джентри, что, в свою очередь, рассматривалось как предпосылка гражданской войны в Англии.

Коллега Стоуна по университету Хью Тревор-Роупер подверг его работу уничтожающей критике, продемонстрировав, что выводы Стоуна об ухудшении экономических позиций земельной аристократии базировались на абсолютно неверном анализе эмпирических данных. Во-первых, Стоун смешал разные поколения аристократов с одной фамилией. Во-вторых, он рассматривал изменения величины владений по графствам, не учитывая, что аристократы владели землями в разных графствах и часто продавали мелкие владения в одном графстве, но одновременно приобретали новые владения в другом. Наконец, Стоун вообще не принимал во внимание величину маноров, а оперировал только их численностью, хотя в этот период аристократы активно расширяли площадь уже существующих владений за счет приобретения близлежащих земель. В результате Стоун был вынужден сначала публично признать свои профессиональные ошибки, а затем покинуть Оксфорд и перебраться в США, где, собственно, уже и стал историком с мировым именем.

До сих пор мы говорили о «внутренних», «цеховых» критериях истинности исторических сочинений. Но достаточно важную роль играют и внешние критерии, а именно соотнесенность с другими типами знания, существующими в данном обществе. Понятно, что в Средние века история должна была соотноситься с религией, в тоталитарных обществах XX в. она точно так же должна была соответствовать господствующей идеологии. Исторические сочинения, которые каким-то образом противоречили доминирующему типу знания, если случайно и появлялись, то немедленно запрещались властью предрешающими.

Но требование соотнесенности с другими типами знания предъявляется к историческим сочинениям не только в таких крайних случаях. Признание или непризнание тех или иных работ достаточно часто определяется политическими, идеологическими, моральными или какими-либо иными соображениями,

связанными с иными типам представлений. Приведем только один пример сохраняющегося до наших дней влияния идеологии на процесс признания исторических работ, причем в наиболее «демократической» стране — США.

Молодой историк Дэвид Эбрэхем, придерживавшийся марксистских взглядов, в 1981 г. опубликовал в издательстве Принстонского университета книгу «Коллапс Веймарской республики», в которой обвинял германских капиталистов в том, что они способствовали крушению республики и приходу к власти нацистов. Первоначально книга подверглась критике только за свою излишнюю политизированность и прямолинейность, которую рецензенты связывали с чрезмерно упрощенным марксистским толкованием истории. Затем один из наиболее ярких критиков, Генри Тёрнер, также занимавшийся историей Германии первой половины XX в. и известный своими антимарксистскими взглядами, обвинил Эбрэхема в фальсификации некоторых процитированных им архивных материалов. Под действием этой критики один из профессоров Принстонского университета, Джеральд Фельдман, который ранее рекомендовал книгу Эбрэхема к печати и поэтому воспринял нападки Тёрнера как удар по собственной репутации, поручил одному из своих аспирантов провести тотальную сверку приведенных в книге цитат. И здесь обнаружили уже сотни неверных цитат из документов, писем и других архивных материалов, на которые опирался автор.

Несмотря на попытки Эбрэхема доказать, что все эти ошибки имели неумышленный характер и являются не более чем описками, Фельдман обвинил его в преднамеренной фальсификации и добился его увольнения с факультета и лишения докторской степени в области истории. Эбрэхем был вынужден снова поступить на учебу, но уже в другой университет и на отделение права, и затем переквалифицироваться в юристы.

Заметим, что работа Эбрэхема стала объектом столь жесткой проверки не только потому, что автор, как и Лоуренс Стоун в приведенном выше примере, был молод, но и по очевидным идеологическим причинам. В этом случае присутствует и еще один аспект — моральный. Речь идет о различии между добросовестным заблуждением и сознательной ложью.

Еще св. Августин в трактате «О лжи» акцентировал раз-

личие между «ложью» и «обманом»: «Не всякий, кто говорит ложь, повинен в обмане, если только он думает или верит в истинность того, что он говорит». Отношение историков к умышленной фальсификации истории всегда было жестко негативным. Кодекс исторического цеха в общем предполагает стремление к «истине» и осуждает *преднамеренное* отклонение от нее. Но граница между преднамеренным и непреднамеренным созданием «неверной» картины реальности, увы, по сей день остается нечеткой в любой области знания, и история здесь не является исключением. Это то же самое, что доказывать в суде намеренное лжесвидетельство в деле, где очень сложно доказать умысел. Поэтому сейчас попытки разделить «предумышленное» и «непредумышленное» нарушение правил конструирования исторических дискурсов становятся все более редкими. Однако, как показывают два описанных случая, моральные соображения все же играют определенную роль: в случае со Стоуном речь шла о непредумышленных ошибках, а в случае с Эбрэхемом — о сознательном искажении «фактов», что существенно повлияло на дальнейшую судьбу двух историков.

Наконец, упомянем коротко о метакритериях признания знания применительно к историческим дискурсам, поскольку в последнее время эта проблема привлекает внимание многих историков. В течение столетий «историческое сообщество» вело борьбу за отделение «фактов» от «вымысла», за «чистоту» исторического знания. В современной терминологии речь идет о разделении двух базовых типов дискурса — fiction и non-fiction (к сожалению, в русском языке пока не существует устойчивых переводов этих терминов). Различение между ними проводилось прежде всего с точки зрения способа конструирования реальности или типа создаваемой реальности — вымышленной или действительной. Но любой письменный дискурс есть разновидность литературы, и должен соответствовать неким метакритериям построения текста.

В частности исторический текст должен удовлетворять металогическим критериям — быть связанным, непротиворечивым и т. д. Эта сторона исторических произведений была детально исследована в рамках аналитической философии истории. Но точно так же исторический текст должен соответствовать ме-

талингвистическим критериям, причем не только в пределах правил грамматики, но и на уровне риторики/поэтики. Историк, как и автор любого «художественного» текста, стремится создать увлекательное повествование, привлечь внимание к своему творчеству, и в этом случае соблазн преувеличить, приукрасить, присочинить может толкать его на создание «вымышленной» реальности. Об этом упоминал еще Полибий, анализируя причины написания «неправильной» или «ложной» истории: «Прежде всего, это стремление придать своему сочинению увлекательный характер, поразить читателя необычностью описываемых событий и ситуаций»³⁷.

Стремление воздействовать на воображение читателя было особенно характерно для средневекового хрониста.

«Цифры, которые приводят средневековые писатели, обычно очень преувеличены. Например, средневековые писатели насчитывают никак не меньше 300 тысяч участников первого крестового похода... Или возьмем, например, “Славянскую хронику” Гельмольда (ум. 1177 г.), где мы находим описание сражения, в котором было убито 100 тысяч язычников, между тем как христиане потеряли только одного человека... Такого рода преувеличения следует всецело отнести за счет риторической манеры повествования, при которой автор не столько заботится о точности передачи, сколько о силе производимого впечатления. Словом, в количественных определениях, в цифрах очень дает себя знать влияние, с одной стороны, гиперболического библейского стиля, а с другой — римской риторики»³⁸.

В аналогичных случаях, которые в большом ассортименте представлены и в современной литературе, историческое сочинение прежде всего отвечает потребности читателя узнать о другой реальности. Чем красочнее описание этой прошлой реальности, тем она интереснее. Но, конечно, то что было дозволено средневековому хронисту, не дозволено современному историку. Одним из последних крупных историков, кому простились подобные прегрешения, был романтик Жюль Мишле. Известно, что он умышленно переставлял факты, чтобы создать яркий образ, и вообще никогда не гнался за академической точностью,

³⁷ *Полибий*. Всеобщая история, VII, 7, 6.

³⁸ *Косминский Е. А.* Историография Средних веков (V в. — середина XIX в.). Лекции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. С. 28–30.

которая в его время постепенно уже утверждалась как канон исторического исследования. Однако уже более века подобные сочинители (типа Эдварда Радзинского), которых достаточно повсюду, не числятся по разряду исторической науки. В сочинениях, претендующих на научное содержание, лишь очень ограниченно можно пользоваться подобными средствами. Тем не менее, как показано в многочисленных исследованиях, во многих исторических произведениях (и прежде всего в лучших из них), используется достаточно богатый арсенал стилистических фигур, тропов и других литературных приемов, улучшающих форму изложения и, соответственно, способствующих читательскому восприятию.

Но присутствие в исторических текстах риторических приемов, свидетельствующих о следовании некоторым метатеоретическим критериям, не ликвидирует разницу между fiction и non-fiction, что хорошо понимали еще в античности. Ответственность за классификацию дискурсов на fiction и non-fiction, в том числе конструирующих прошлую реальность, обычно несут экспертные группы из соответствующей области non-fiction. Эта явная и неявная экспертная оценка проявляется на многих уровнях, включая символический: например, в современном западном книжном магазине историческая литература fiction и non-fiction стоит не только на разных полках, но и в разных отделах магазина. Заметим, что в нынешней России, в связи со слабостью профессионального научного сообщества, различие между fiction и non-fiction в истории в значительной мере стерлось (что хорошо видно опять же в книжных магазинах).

Конечно, в рамках типологии fiction и non-fiction множество произведений всегда имело и продолжает иметь смешанный характер, когда конструируемая реальность отчасти является «вымышленной», а отчасти — «действительной». Это порождало бесчисленные попытки отделить «факты» от «вымысла» в рамках каждого произведения. Но, в соответствии с современными научными представлениями, любой дискурс, в котором присутствует хотя бы один случай «вымысла» или один элемент «вымышленной реальности», сразу целиком относится к fiction и выводится за рамки научного знания.

Глава 8

СТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДА

В основе исторического метода лежат два базовых принципа научного исследования: работа с эмпирическим материалом и построение объясняющих моделей.

Уже на ранних этапах формирования исторического знания Нового времени эти два принципа постепенно приобрели форму работы с «источниками» по определенным правилам (историческая критика) и выявления причинно-следственных связей. Как становление исторической критики, так и развитие представлений об историческом континуитете и взаимообусловленности исторических событий связаны с гуманистами, прежде всего итальянскими.

Традиционно основоположником исторической критики считается Лоренцо Валла¹, но с точки зрения влияния особо следует выделить эрудитское направление, идущее от Флавио Бьондо (1392–1463). Для развития историографии важнейшее значение имеют «Декады историй от падения Римской империи» (*Historiarum ab inclinatione Romanorum imperii decades*), изданные в 1483 г., через 20 лет после его смерти². Бьондо — историк-эрудит в том смысле, что для него важно было прежде всего установление исторического факта, а не решение политических

¹Напомним, что его знаменитое «Рассуждение о подложном и вымышленном дарении Константина», написанное в 1440 г., впервые было опубликовано только в 1517 г. в Германии.

²В данном случае под «декадами» имеются в виду разделы, каждый из которых включает 10 книг (декаду). Бьондо успел написать три полных декады (десятки) книг и первую книгу из четвертой декады, т. е. всего 31 книгу или главу, в современной терминологии.

задач или извлечение политических уроков. Анализируя факты, он обращался как к повествовательным источникам, так и к документальным материалам, предпринимал первые попытки филологического анализа текстов, привлекал нетекстовые (вещественные) источники, географические материалы и т. д.

Бьондо и его последователи (Помпонио Лето, Тристан Калько, Бернардо Джустиниани и другие) заложили основы систематической научной критики источников и подготовили своими работами последующее появление целого сонма вспомогательных научных дисциплин. Одним из известных продолжателей традиции историко-филологической критики источников был немецкий гуманист Беат Ренан, который для оценки достоверности источников различал их по времени возникновения и по содержанию, и в своем сочинении «Три книги [историй] германского мира» («*Regum Germanicarum libri tres*», 1531) использовал критический метод уже не эпизодически, а систематически. Французский историк Этьенн Пакье в сочинении «Исследования о Франции» («*Les recherches de la France*», 9 т., 1560–1621) впервые стал делать ссылки на использованные работы и источники.

Развитию критики источников и методов работы с документами сильно способствовала «историографическая война» между протестантами и католиками, возникшая во второй половине XVI в. (см. главу 13). Эта борьба началась с противостояния лютеранских «Магдебургских центурий» (13 т., 1559–1574), написанных под руководством Флация Иллирика, и фундаментального ответа католического кардинала Чезаре Баронио («*Церковные анналы*», 12 т., 1588–1607). Адептам протестантизма приходилось доказывать, чем ранняя Церковь отличалась от средневековой, а католики, в свою очередь, искали факты, о которых не знали или умалчивали протестанты. Целью и тех, и других была прежде всего победа в религиозном противостоянии, но в результате были найдены и введены в оборот ценные исторические документы.

В XVII–XVIII вв. развитие исторической критики было связано, как мы уже говорили в главе 6, прежде всего с деятельностью бенедиктинцев, которые, продолжая диспут с протестантами, разработали уже не азы, а по существу каноны исторической критики.

1. Каузальность

Становление научного знания о прошлом было связано также с выработкой собственно исторического метода. Уже предшественники современной научной историографии формулировали важнейшие методологические задачи исторического познания. Их главная цель состояла в том, чтобы попытаться дать рациональное объяснение прошлому, установить причинно-следственные связи в последовательности событий, понять мотивы действий исторических личностей, соотнести закономерность и случайность исторических эпизодов, структурировать историческое время.

Ответ на вопрос «почему» лежит в сфере объяснения, и важность анализа причин для исторических сочинений обсуждалась уже Фукидидом во времена античности. Однако средневековым хронистам для объяснения исторических событий достаточно было сослаться на Провидение (что не исключало, кстати, ответы на другие вопросы: с какой целью, как, кем и т. д., характерные для описательного дискурса). Связь настоящего с прошлым в средневековых сочинениях обеспечивалась более всего «связью времен». Поскольку едва ли не каждое повествование начиналось с Сотворения мира, то одно это создавало впечатление последовательности событий во временной непрерывности и имплицитно порождало ощущение преемственности и даже каузальности: «после этого — вследствие этого». Контекст преемственности обеспечивался также хорошо прописанными родословными или генеалогическими узами.

В эпоху высокого Средневековья каузальные связи постепенно начинают играть и самостоятельную роль. Так, уже Ордерик Виталий в первой половине XII в. писал о необходимости «освещать происхождение» какого-либо явления или «освещать причины» событий. Но только со времен Ренессанса понятия причинности, следствия, противоречия, случайности, возможности становятся базовыми категориями исторического анализа, с помощью которых осуществляется структурирование и систематизация прошлой социальной реальности. Все они так или иначе связаны с представлением о каузальности, которое вообще есть

ключевой элемент научного знания, что отметил еще Альберт Эйнштейн:

«Развитие западной науки... покоится на двух великих достижениях: изобретении системы формальной логики... греческими философами и открытии возможности выявлять каузальные отношения... в эпоху Ренессанса. Мне кажется, что удивляться надо не тому, что китайские мудрецы не додумались до этого, а тому, что эти открытия вообще были сделаны»³.

В трудах гуманистов принцип каузальности становится одним из ключевых способов исторического познания. Исчезают христианская эсхатология и вера в действие потусторонних сил. При обработке источников, как средневековых, так и античных, устраняется все, не поддающееся рациональному толкованию, — мифы, легенды, чудеса. Историк, объясняя исторические события, стремится обнаружить их «естественные» причины, и объяснение от причины к следствию или от следствия к причине становится главным методом конструирования прошлого.

Так же как в XIX в. Дройзен скажет: «Ищите методы!», историки Ренессанса призывали искать причины. Например, в «Зерцале для правителей» (1559) можно найти такие строки:

... Считая, что причины являются главной целью,
Которая должна преследоваться историком,
Чтобы люди могли узнать,
 к какому результату каждая причина приводит,
Те недостойны имени хронистов,
 кто не включает причины в свои летописи
 или сомнительно о них сообщает,
Ибо в этом заключается главная польза от чтения истории⁴.

Конечно, каузальные связи в литературе Возрождения представляли собой достаточно наивные по форме объяснения исторических событий прежде всего действиями исторических персонажей. Каузальная интерпретация практически целиком сводилась к попыткам понять и объяснить мотивы действий от-

³ *Einstein A.* Letter to J. S. Switzer, April 23, 1953; цит. по: *Boorstin D. G.* Cleopatra's Nose. New York: Random House, 1994. P. 3.

⁴ Цит. по: *Барг М. А.* Шекспир и история. 2-е изд. М.: Наука, 1979 [1976]. С. 112.

дельных лиц. Надо заметить, что этот способ аргументации благополучно дожил до наших дней и широко используется в так называемой нарративной истории, особенно политической, когда изложение идет от действий людей к анализу их возможных мотивов и выбору наиболее достоверной версии.

К эпохе Возрождения также относятся истоки того направления историографии Нового времени, в котором абсолютизируется роль случайности. В ситуациях, весьма нередких, когда гуманисты испытывали затруднения в поисках объяснений, они прибегали к заимствованному у древних понятию случая (фортуны). В начавшем формироваться в этот период историческом знании фортуна символизировала иррациональность истории в значении реальности. Она служила для обозначения комбинации не поддающихся строгому учету факторов, среди которых особое место занимает характер исторического деятеля, его *virtu* (доблесть, сила духа, природный талант).

Соотношение фортуны и *virtu* наиболее подробно разработал Никколо Макьявелли. Фортуна всемогуща, если ей не поставить преграды в виде усилий человека, его *virtu*. Поскольку она переменчива (то благоприятна, то неблагоприятна), человек должен не полагаться на нее, а уметь понимать свое время. Качества политического или военного деятеля, а не случайность, определяют его успех или приводят к гибели. Значение, которое придавали случаю в эпоху Ренессанса, во многом объяснялось политическим опытом. Символом политики, как и фортуны, было колесо, которое то поднимает людей к власти, то сбрасывает их.

Вообще политике, точнее, ранней республиканской политической теории Нового времени, принадлежала немалая роль в формировании исторического метода. Важный компонент республиканской теории — да и любого политического учения — составляют идеи о времени, о происхождении случайных событий, измеряемых временем, о неизбежной последовательности отдельных происшествий, которые в совокупности и образуют то, что мы называем историей. Именно эти особенности республиканской теории позволяют считать ее ранней формой историзма.

Существенную роль здесь сыграло начавшееся с конца XIII в. распространение аристотелианского учения, которое в разных версиях предлагало набор понятий и терминов, вполне

пригодных для описания новой политической реальности. Республика Аристотеля в том виде, в каком ее концепция возродилась в гражданской гуманистической мысли XV в., была одновременно универсальной, в том смысле, что она существовала, чтобы реализовать для граждан все ценности, которые человек способен осуществить в своей жизни, и частичной, в том смысле, что она была конечной и расположенной в пространстве и времени.

Возрождение республиканского идеала в трудах Никколо Макьявелли и других флорентийцев поставило проблему создания общества, в котором воплотилась бы политическая природа человека, описанная Аристотелем, и которое при этом стремится существовать в рамках христианской схемы времени, отрицающей возможность любого секулярного воплощения. Возможности европейской мысли той эпохи были слишком ограничены, чтобы объяснить секулярное время. Но решение проблемы существования республики во времени могло быть найдено при использовании таких понятий, как обычай, добродетель и фортуна, что и определило специфику мысли флорентийцев.

Сам политический словарь Возрождения — «искусство возможного», «авантюризм правителей», «корабль, прокладывающий себе путь в бездонном и безбрежном море», — говорит о том, что политика оказывала сильное влияние на развитие светской историографии, если иметь в виду область случайного в истории, «игру случайного, неожиданного и непредсказуемого» (Джон Покок). Таким образом, история в период Нового времени генетически оказалась связанной прежде всего с политическими процессами, характерными для трансформации традиционного общества в современное.

Политическая теория немало способствовала темпорализации истории Нового времени. Она стала одним из первых блоков в фундаменте возникающего историзма. Республиканизм, будучи доступным сознанию мыслителей Возрождения, объединял в единое целое событие, случай и время как среду, организующую ход и последовательность событий.

Разработка проблемы причины и случая (и Провидения) в исторической литературе снова активизировалась уже в XVII в. Одна из лучших иллюстраций в этой области — известная и

очень влиятельная работа графа Кларендона (Эдуарда Хайда), который после реставрации Стюартов стал первым министром (лордом-канцлером) Карла II. В сочинении, посвященном Английской революции («Истинное историческое описание мятежа и гражданских войн в Англии», в 3 т., ок. 1670/1702–1704 посм.), Кларендон пытается понять причины мятежа и приходит к выводу, что никаких серьезных *причин* для мятежа в стране, где царил порядок и благоденствие и политика монарха не давала поводов для серьезного недовольства, не существовало. Он заключает, что произошедшее — дело *случая*, результат успешной интриги кучки смутьянов, которые посеяли недовольство и обрекли страну на гражданскую войну. А закончилось все по воле *Провидения* реставрацией короля и воцарением мира и спокойствия.

Согласно господствующей в современной науке точке зрения, следующая эпоха — Просвещение — в целом оказалась неблагоприятной для развития исторического метода. Абстрактный подход к прошлому, пренебрежение критическим методом, расцвет философии истории и политическая ангажированность — все эти факторы сдерживали процесс становления научного исторического знания.

И все же в одной области усилиями французских и немецких просветителей был сделан важный шаг в развитии исторической методологии. Именно они сформулировали принцип каузальности в современной, характерной для исторического сознания Нового времени, манере. В их конструкциях прошлого каузальное объяснение получило форму детерминизма, который был направлен против фатализма и волюнтаристских концепций, не видевших в истории ничего, кроме цепи следствий или хаоса случайностей. Учитывая множество фактов и исходя из неизбежности того, что произошло, детерминисты прочерчивали линию, с наибольшей надежностью ведущую к известному заключительному пункту. Более того, детерминизм представляет собой своеобразный способ связи настоящего не только с прошлым, но и с будущим, поскольку его сторонники исходят из того, что знание законов позволяет не только познать существующую реальность и реконструировать генезис, но и предсказать ее эволюцию в будущем.

Детерминизм в интерпретации просветителей имел абсолютно жесткий характер и не оставлял места исторической случайности. «Вечные», «неизменные» законы либо заимствовались из естествознания, либо понимались как «законы разума», «прогресса» или «абсолютного духа». Идея развития, где предсказуема каждая следующая стадия, прилагалась к общественной жизни, мыслям и поступкам людей. Таким образом объяснялось развитие стран, культур и экономик. Вот как писал, например, Поль Гольбах:

«Во время страшных судорог, сотрясающих иногда политические общества и часто влекущих за собой гибель какого-нибудь государства, у участников революции — как активных деятелей, так и жертв — нет ни одного действия, ни одного слова, ни одной мысли, ни одного желания, ни одной страсти, которые не были бы необходимыми, не происходили бы так, как они должны происходить, безошибочно не вызывали бы именно тех действий, какие они должны были вызвать сообразно местам, занимаемым участниками данных событий в этом духовном вихре»⁵.

Мы уже отмечали, что значительную роль в формировании исторических интерпретаций сыграли на этом этапе геополитические концепции. Возникло целое направление, объяснявшее нравы и историю народов природными условиями. В знаменитом сочинении «О духе законов» (1748) Шарль Монтескьё писал, что географическая среда, и прежде всего климат, детерминируют психологию, нравы и обычаи людей, а эти последние обуславливают характер законодательства соответствующих государств. Особую роль географический фактор играл в исторических концепциях Анна Тюрго, Иоганна Гердера и многих других философов XVIII в.

Идеи просветителей продолжали оказывать колоссальное влияние и на мыслителей XIX в. Например, детерминистский подход к прошлому развивали многие историки во Франции — представители политической школы (Франсуа Гизо, Франсуа Минье, Луи Тьер), которые полагали, что масштабные исторические явления во все века развиваются по одним и тем же

⁵ Гольбах П. Система природы, или О законах мира физического и мира духовного [1770] // Гольбах П. Избр. произв.: В 2 т. / Пер. с фр. М.: Соцэкгиз, 1963. Т. 1. С. 351.

законам (хотя и не имеющим столь абсолютный характер, как физические). Можно напомнить и о марксовых «неумолимых законах» истории.

Но постепенно жесткий детерминизм просветителей и позитивистов, их попытки применить к исследованиям прошлого господствующее в общественном сознании стремление «объяснять все законами» начал встречать противодействие со стороны историков, по крайней мере наиболее талантливых. Даже признавая примат детерминизма, они всегда вводили массу градаций и оговорок и в собственное повествование, и в объяснение своей теоретической позиции. Например, Алексис де Токвиль, который в своих сочинениях искал ответ на вопрос, почему то или иное историческое событие завершает «дело, которое мало-помалу завершилось бы само собой», полагал, что

«...в любую эпоху одну часть событий, происходящих в этом мире, следует относить к событиям весьма общего характера, а другую их часть объяснять чрезвычайно конкретными, особыми причинами»⁶.

2. Историзм

Дальнейшее распространение причинно-следственного анализа на временные последовательности стало результатом применения к истории генетического метода, который в социально-гуманитарной сфере принял форму «историзма». В некоторых случаях историзм использовался в качестве эволюционистского варианта детерминизма, позволявшего обобщать историю и культуру до универсальных мер и законов мироздания. Но одновременно историзм оказался настоящим прорывом в историческом знании, объединяющим разные исторические школы XIX в., в результате чего история действительно стала заниматься изучением прошлой социальной реальности.

⁶ Токвиль А., *де*. Демократия в Америке / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1994 [1835, 1840]. С. 366.

Историзм (*нем.* Historismus) — это принцип мышления, в основе которого лежит представление о постепенном «органическом» развитии любого явления и о каждом этапе в истории как определенном и необходимом звене в историческом процессе. Ядром историзма, согласно формулировке одного из ведущих специалистов по этой проблеме Фридриха Мейнеке, является замена генерализирующего взгляда на то, как действуют исторические и человеческие силы, рассмотрением индивидуализирующим.

Реакция на «неисторическое мышление» периода Французской революции (когда, в частности, были уничтожены многие архивы) и ее «историческую» политическую практику (когда социальная реальность изменялась непрерывно) дала импульс к более глубокому пониманию историчности, истоков происходящего. Принцип историзма подразумевает, что не только прошлое, но и институты и культура современности могут быть поняты только исторически. Для того, кто не имеет представления об их развитии в предшествующие века, их природа остается непостижимой. И наоборот, историческая проекция какого-либо явления сама по себе может служить достаточным доказательством той или иной интерпретации.

Решающую роль в становлении историзма сыграли романтики. Романтиков справедливо было бы назвать историками по призванию. Узаконив историзм, они создали историю языка, права, культуры, искусства, литературы, определили образы основных эпох.

В рамках немецкого романтизма возникло, а затем прочно утвердилось в научной историографии, направление историко-филологического анализа и сформировался особый тип историка-филолога. Историзм как метод познания утвердился в мифологической школе, представленной йенскими (Фридрих Шеллинг, братья Август и Фридрих Шлегели) и гейдельбергскими (Людвиг Ахим фон Арним, Констан Брентано, братья Якоб и Вильгельм Гримм) романтиками, которые заложили основы сравнительно-исторического изучения мифологии, фольклора и литературы.

Немецкая «историческая школа права» также пыталась конструировать прошлое на основе принципа исторической преем-

ственности. Учения государствоведов Фридриха Савиньи, Карла Эйхгорна и других правоведов оказали сильное влияние на историографию первой половины XIX в. своими четкими формулировками концепции органической связи и преемственности в развитии народа и государства, идеи нации как «коллективной индивидуальности», идеи народного духа как главной творческой силы в истории.

Последователи историзма утверждали, что для того, чтобы один век мог понять другой, необходимо признать, что по прошествии времени фундаментально изменились и условия жизни, и сознание субъектов истории, и, возможно, даже сама человеческая природа. Необходимо усилие воображения для того, чтобы отодвинуть ценности дня сегодняшнего и увидеть предшествующий век изнутри. Но историзм заключал в себе больше, чем просто призыв изучать былое в его самобытности. Романтики, обращая внимание на исторические корни и преемственность, отличались тем, что акцентировали *развитие*, становление. Иными словами, их занимало, как из прошлого выросло настоящее. Идея развития распространялась и на классическую античность, и на восточные культуры, и даже на «ненавистный» XVIII век.

В прагматическом плане именно историзм позволил удовлетворить растущий интерес как к национальному прошлому, так и к истокам западной цивилизации. Фридрих Мейнеке считал историзм вторым по важности событием после Реформации. В середине XIX в. идея историзма становится ключевой как в философии истории, так и в историографии. Например, Токвиль, автор далекий от романтических веяний, рассматривает Старый порядок не как то, против чего произошла революция, а как то, из чего она выросла. Идея абсолютного разрыва с прошлым была заменена признанием, что в прошлом существовали корни нового и что прошлое продолжает присутствовать в настоящем:

«По мере углубления в мое исследование я поражался, постоянно подмечая в жизни Франции тех времен черты, удивляющие нас в жизни сегодняшней. Я находил там во множестве чувствования, которые, как я думал, порождены Революцией; я находил там во множестве идеи, которые, как я до сих пор считал, также

происходят из эпохи Революции; я находил там тысячи привычек, <относительно которых я> полагал, что и они также привнесены Революцией. Повсюду находил я корни современного общества, глубоко вросшие в ту старую почву»⁷.

В Германии практически одновременно с романтической историографией (или чуть позже) развивались и другие исторические направления, причем гораздо более известные, чем немецкая «нарративная романтическая» школа. Это прежде всего либеральная гейдельбергская (Фридрих Шлоссер) и консервативная берлинская (Леопольд фон Ранке) школы. Немецкие исторические школы первой половины XIX в., противопоставляя свой подход романтизму, тем не менее тоже сделали историзм основополагающим принципом исследований, но при этом минимизировали «издержки» романтизма (мистицизм, сентиментализм, художественную риторику) и в большей степени дистанцировались от образцов художественной прозы романтиков.

Представители ранкеанской тенденции разрабатывали свои методологические принципы, полемизируя с романтиками. Уже в предисловии к своей первой работе «История романских и германских народов с 1494 по 1535» (1824) молодой Леопольд Ранке декларировал, что «задача исторического труда состоит в точной презентации фактов», что правда интереснее любого вымысла, и поставил себе целью избегать всякого вымысла и игры воображения. И, наконец, там же Ранке формулирует задачу истории в классических словах: показывать «как это было на самом деле». Эта фраза на немецком — *parole* историков, они знают ее на память наряду с расхожими латинскими афоризмами.

Как философское понятие историзм окончательно концептуализируется в первой трети XX в., прежде всего в работах Эрнста Трёльча и Фридриха Мейнеке. Но в качестве историографической практики, по мере сокращения удельного веса работ по большим периодам, он начинает сходить на нет, переходя в основном в область философии истории. Тем не менее видение прошлого историками по-прежнему опирается на принцип историзма.

⁷ *Токвиль А. де. Старый порядок и революция* / Пер. с фр. М.: Московский философский фонд, 1997 [1856]. С. 5.

Идее историзма, согласно которой каждый период рассматривался как уникальное проявление человеческого характера, собственной культуры и ценностей, соответствовала задача создания исторического *контекста* — примет времени, духа времени и, наконец, человека времени и его ментальности. Со времен романтиков требование воссоздания *исторического контекста* стало неперенным требованием к исторической работе, даже самой схематичной. В рамках позитивистской школы исторический контекст был проблематизирован представителями культурно-исторической школы (Ишполит Тэн и др.). В последние десятилетия контекстуальность получила развитие в исследованиях исторической ментальности, которая трактуется как сочетание (*франц. ensemble*) способов и содержаний мышления и восприятия, которое является определяющим для данной группы в данное время и выражается в действиях.

3. Интуитивизм

Несколько в стороне от магистрального развития исторического метода стоит интуитивизм. Развитие этого направления связано с тем, что в знании о прошлом неизбежно присутствуют пустоты, связь между которыми историк устанавливает с помощью воображения. Кроме того, историку приходится сталкиваться с непонятными представлениями и мотивами людей прошлого, для проникновения в суть которых часто не находится рациональных оснований.

Романтики начали использовать прием, который позднее называли «вчувствованием» — погружение, переживание исторических событий как событий собственной жизни. Согласно удачно придуманному Жюлем Мишле для себя неологизму, который после него не осмеливались применять, он стал «воскресителем» (*resusciter*). В длинном послесловии ко второму тому своей «Истории Франции» Мишле писал:

«Большую часть того, что написано в этом томе, я извлек из Национальных архивов. В тиши переходов я вскоре стал улавливать некое дуновение, ропот, и это не был голос смерти. . . Все живы и небессловесны. . . И по мере того, как я сдувал с них пыль, я ви-

дел, как они поднимались. Из гробниц тянулись их руки, головы, как в “Страшном суде” Микеланджело или “Пляске смерти”»⁸.

Читатель тоже должен был «вчувствоваться» в предлагаемые обстоятельства. И интересно, что если историк-романтик уподоблял себя Вальтеру Скотту лишь в области подачи исторического материала, то его адресат практически не отличался по своему восприятию от читателя исторического романа, или, точнее, отличался в основном лишь знанием того, что перед ним произведение историка, а не литератора.

Вместе с тем из общей идеи настроения у историков-романтиков вытекало в конечном счете *объяснение* прошлой реальности. Арсенал приемов конструирования прошлого в романтической историографии с самого начала соотносился с задачами достижения «исторической истины». Историки-романтики считали интуицию и воображение более надежными способами познания, но не могли ограничиваться только ими. Романтик, создающий исторические образы на основе воображения, тем не менее стремился дисциплинировать свои озарения не только потому, что цель его — создание «правильной» картины, но и потому что он был ориентирован на соучастие читателя.

Основными отличительными чертами интуитивистского способа конструирования прошлой социальной реальности в романтической историографии стали: вчувствование, воображение, интерес и доверие к документам, создание колорита эпохи, построение исторического нарратива как романа, использование риторических приемов, характерных для художественной литературы.

Сегодня понятие «воображение» употребляется литературоведами, литературными критиками, философами и историками (оставляя за скобками психологов). В приложении к историографии оно обычно используется не-историками для доказательства меньшей строгости истории по сравнению с другими науками. Этот тезис в последние десятилетия активно эксплуатировали и постмодернисты, утверждая, что все исторические

⁸Цит. по: *Ле Гофф Ж.* Средние века Мишле [1974] // *Ле Гофф Ж.* Другое Средневековье / Пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 2000 [1977]. С. 14.

произведения в некотором роде являются художественными.

В дискуссиях о методологии истории на протяжении XX в. понятие «воображение» (и в этом прослеживается продолжение романтической традиции) продолжало использоваться в разных смыслах. Первый относился к способности историка понять или обобщить природу прошлого, второй — к способности историка передать свое понимание читателю. Бесспорным позитивным результатом такого подхода стало продолжение традиции работы над *Другими* прошлыми, последовательное преодоление анахронизмов в историческом знании. Этот аргумент и поныне приводят те историки и философы, которые высказываются в пользу воображения в историческом труде.

Робин Коллингвуд в 1930–1940-е годы разработал развернутую концепцию исторического воображения, опираясь на идеи Канта, понимавшего воображение как всеобщее свойство сознания. Главной новацией Коллингвуда стало введение понятия «историческая конструкция», в которой воображение трактуется как структура, существующая *a priori*. Именно это конструктивное воображение создает каркас воображаемого прошлого, в котором исторические свидетельства играют роль опорных точек. Такое воображение мобилизуется не для развлечения публики, оно собственно суть современного исторического сознания и им, как особым свойством сознания, наделен, согласно Коллингвуду, любой человек, а отнюдь не только историк.

«... картина предмета исследования, создаваемая историком, безотносительно к тому, является ли этот предмет последовательностью событий или же состоянием вещей в прошлом, представляет собой некую сеть, сконструированную в воображении, сеть, натянутую между определенными зафиксированными точками — представленными в его распоряжение свидетельствами источников; и если этих точек достаточно много, а нити, связующие их, протянуты с должной осторожностью, всегда на основе априорного воображения и никогда — на произвольной фантазии, то вся эта картина будет постоянно подтверждаться имеющимися данными, а риск потери контакта с реальностью, которую она отражает, будет очень мал»⁹.

⁹ Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории* [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории: Автобиография* / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 231.

Идеи Коллингвуда, с одной стороны, подверглись серьезной критике в последующие годы, но с другой — получили продолжение в некоторых направлениях философии истории. Введенный им термин «историческая конструкция» стал основанием теории исторического знания, известной под именем конструктивизма. Но к основоположникам этого направления Коллингвуда, как и Кроче, относят не вполне обоснованно, так как в конструктивизме принципиально существует отказ от «исторического реализма», от трактовки исторического воображения (равно как и других ментальных операций исторического исследования) как способа *отражения* реальности.

Представители конструктивизма выступают против концепции «исторического реализма», утверждающей, что историк открывает «действительную» природу реальных феноменов (событий, личностей, институтов). В рамках этого методологического направления (представленного в работах Карла Беккера, Мориса Мандельбаума, Уильяма Дрея, Мортона Уайта и др.) историк рассматривается как «творец», а не как «открыватель», в прямом смысле как создатель «конструкции», а не «реконструкции». Конструкционисты утверждают, что реальное прошлое, независимо от того, существует оно или нет, ничего общего с историческим знанием не имеет. Если реалисты считают, что то, во что «свидетельства заставляют нас верить», соответствует независимо существовавшему «реальному» прошлому, то конструкционисты настаивают на том, что историческое прошлое — это всего лишь прошлое, созданное в рамках исторической дисциплины и существующее исключительно в историческом знании.

В свою очередь в работах Хейдена Уайта и последовавших за ним представителей «новой интеллектуальной истории» (Франклин Анкерсмит, Доминик ЛаКапра, Лайонел Госсмэн, Ганс Келлнер и др.), в отличие от позиции Коллингвуда, историческое воображение — это не внутренне присущая сознанию структура в метафизическом кантианском смысле, а отражение социокультурно обусловленных конвенций, которые, обладая когнитивными функциями, формируют определенный способ репрезентации знания о прошлом. В основании работ представителей «лингвистического поворота», сосредоточивших усилия на изу-

чении художественной стороны процесса исторического творчества, «содержания формы» текста, языка и речи, письма и чтения, лежала идея ревизии содержания исторической реальности как предмета изучения. Постструктуралисты ввели понятия *образ реальности* и *эффект реальности*, которые и противопоставили объективной исторической реальности.

Воображение, особенно, когда оно имеет орнаментальный, украшательский характер, и все связанные с ним интуитивистские техники (вчувствование, сопереживание и т. д.) подразумевают и определенные способы создания непосредственного чувства прошлого, его «воскрешения» с помощью риторических средств. В этом случае речь идет уже о литературном мастерстве, а не о когнитивном значении воображения. После романтиков профессиональные историки в большинстве своем сначала сознательно, а потом руководствуясь установившимся каноном, все меньше заботились о литературной стороне своих произведений. Более того, если историк отличался излишней литературностью стиля, то это нередко возбуждало серьезные сомнения относительно его способности к историческому мышлению. Считалось, что внимание к выразительности, как правило, идет в ущерб «исторической правде». Если кто и завораживал читателя своим слогом, то скорее некоторые представители философии истории — Ницше, Шпенглер, Ясперс, Тойнби, — в произведениях которых впечатляющие интерпретации и схемы исторического процесса соединяются с литературностью изложения.

Больше всего историки мобилизовали метод интуитивизма, когда ставили перед собой задачу проникнуть в сознание человека прошлого, иными словами, понять его ментальность. Очевидно, что умы, например, средневековых людей были устроены иначе, и без вчувствования здесь не обойтись. Правда, по нашему мнению, интуитивистский подход к исследованию ментальности прошлых эпох правильнее ограничить подступами к этой тематике историков первой половины прошлого века (Берр, Хейзинга, Февр), потому что впоследствии, когда история ментальностей сформировалась как самостоятельная субдисциплина, она пошла по пути эмпирического описания логик восприятия и поведения, соотнесения смыслов с обрядами и т. д., т. е. по вполне аналитическому пути.

4. Позитивизм

Следующей после утверждения историзма крупной новацией в концептуальном оснащении историографии XIX в. была методологическая перестройка на основе позитивизма. Тип историографии, который может быть назван позитивистским, развился под воздействием естественнонаучного подхода, предполагающего установление фактов в непосредственном чувственном восприятии и разработку законов путем индуктивного обобщения фактов. Позитивистский подход притязал на разработку четких теорий общественного развития. Первые теоретики позитивизма (Огюст Конт, Герберт Спенсер, Льюис Морган), оказавшие колоссальное влияние на последующую социальную мысль, начертали схемы эволюции и разработали теории стадий общественного развития. В органиологии позитивистской школы Конта и позднее — Спенсера общество сравнивалось с «материальным» организмом, а социальная жизнь объяснялась с помощью биологических аналогий, часто просто вульгарных.

В соответствии с установками позитивного метода историки второй половины XIX в. стремились утвердить в своей науке примат объективного факта. Они признавали реальность прошлого, считая, что оно непосредственно дано исследователю в виде остатков: исторических документов и вещественных памятников. В соответствии с установками позитивного знания историк не может знать больше того, что заключено в документах. Поэтому его задача состоит в том, чтобы возможно более точно воспроизвести прошлое по этим документам и избегать умозрительных рассуждений.

В результате утверждение позитивного метода в исторической науке парадоксальным образом угрожало историческому познанию лишением права на категориальное мышление, научные гипотезы, дедукцию и т. п. — превращением историографии во вспомогательную по отношению к социологии дисциплину. Именно позитивизм привил историографии склонность к фактографии, к чистому «описанию» и сугубо внешней систематизации верифицируемых фактов. Историки-позитивисты видели свою задачу в создании логичной и достоверной картины прошлого, в которой факты (документы) не существуют сами по себе.

Эмпирический подход и эмпирическая установка у исследователя-позитивиста состояла, конечно, не в том, что он ограничивается презентацией фактов, а в том, что он строит объяснение, интерпретируя эмпирические данные, а не развивая априорные социальные теории. При этом вне сферы внимания оказывались области прошлого, не поддающиеся рациональному истолкованию, связанные с проявлением массовых настроений, нарушением социальных норм, отклоняющимся поведением (а часто и просто индивидуальными действиями).

Во второй половине XIX в. к позитивистскому направлению в историографии принадлежало большинство наиболее известных историков. Манифестом позитивизма в истории считается статья Габриэля Моно в первом номере «*Révue historique*» (1876). В ней говорилось, что история должна развиваться как позитивная наука, а историк обязан строго ограничивать себя областью документов и фактов, отвлекаясь от всяческих политических и философских теорий. Отказ от приверженности философским системам и идеологическим интересам суммировался в словах Моно: «Мы не поднимаем никакого знамени».

Благодаря подобным установкам происходит сдвиг от идейно-политических ориентиров к приоритету научных критериев. С позиций позитивистской парадигмы, дифференциация историков осуществляется не по признаку национальной, политической или идеологической принадлежности, а на основе научных позиций. Если историки-романтики привнесли свои политические взгляды как во всеобщие, так и в национальные истории, то историки-позитивисты возвели в программу (и по мере сил следовали этому в своих работах) отказ от националистической и партийной тенденциозности. В идеале история не должна была быть ни немецкой, ни французской, ни католической, ни протестантской, ни либеральной, ни марксистской, а — «достоверной». Она строится «не в ущерб фактам», которые не должны зависеть от чьих бы то ни было мнений, а призваны лишь подкреплять их своей совокупностью.

Облик исторической науки второй половины XIX в. очень заметно изменился под влиянием позитивистского подхода, представители которого, с одной стороны, много сил приложили к

тому, чтобы отделить историю от философии, а с другой — передоверили задачи исторического анализа социальным наукам, сделав уделом историка сбор эмпирического материала. Лишение истории мандата на философствование, казалось бы, вводило ее в русло науки, но одновременно теоретическая часть работы по конструированию прошлого возлагалась на представителей других социальных наук. Конечно, подобные установки не реализовались полностью: в историографии сохранились и философствующие, и теоретизирующие субъекты. Прямо скажем, их насчитывается немного, но именно благодаря им сформировались устойчивые понятия научной исторической школы и исторического метода. В этой связи обратим внимание на две очень несхожие фигуры: Леопольд фон Ранке (1795–1886) и Иоганн Дройзен (1808–1884), работая в рамках позитивистской парадигмы, каждый по-своему преодолевали запреты на теорию в профессии историка.

Ранке и историческая школа

Наиболее последовательным воплощением облика возникшей исторической науки стала историческая школа, ассоциировавшаяся с именем Леопольда фон Ранке и множества его учеников (самые известные из них — Георг Вайц, Вильгельм Гизебрехт, Генрих фон Зибель). Труды самого Ранке, как и творчество любого выдающегося ученого, не встраиваются полностью в ряд позитивистских исторических работ. Сочинения Ранке не были ни механистическими, ни сугубо фактологическими. Скорее идеи, подходы, мысли и в целом наследие Ранке можно рассматривать как высшее достижение времени, проникнутого «позитивным» духом.

Как мы отметили выше, уже в своих первых работах Ранке принял на вооружение выдвинутый романтиками принцип историзма, но отмежевался от романтизма, стремясь сознательно подавить романтические импульсы своей сентиментальной натуры. Известно также, что Ранке находился под сильным влиянием философии Гегеля. Но если Гегель подчинял историческую реальность схемам всемирной истории, то Ранке, напротив, отдавал приоритет изучению реальности во всем ее многообразии.

В результате то, что Ранке считал правильным реалистическим методом описания прошлого — это то, что оставалось после отказа от романтического искусства, социологизирующей науки и идеалистической философии его времени. Поэтому его исторические конструкции не были жесткими.

В созданной Ранке системе исторической интерпретации центральным было понятие «нация», которую он считал единственным возможным принципом организации человечества для обеспечения «мирного прогресса». На протяжении всей своей творческой жизни Ранке не поддавался соблазну создания универсальных концепций и даже

«... когда уже на склоне лет взялся за составление *Weltgeschichte* [“Всемирной истории”], то старательно отделил ее от истории мира в целом, заявив, что она “заплутала бы среди призраков и философов”, если б оторвалась от твердой почвы национальных историй в поисках иной всеобщности кроме всеобщности наций»¹⁰.

При этом историческая мысль Ранке развивалась в широких временных и пространственных границах. Его интересовал не скрупулезный анализ узких тем, а большие исторические сюжеты и продолжительные периоды, нередко заключавшие в себе череду эпох. А главное — о чем бы он ни писал, перед его глазами всегда была всемирная история. Наверно, не случайно «Всемирной историей» завершился его жизненный путь.

Когда историк лорд Актон (Джон Дальберг) в 1876 г. в последний раз встретился с Ранке, тому уже перевалило за восемьдесят. Он являлся автором огромного количества сочинений, среди которых были многотомные работы по истории папства, истории Германии во времена Реформации, истории Пруссии, Англии и Франции. Ранке, старый, тщедушный и почти слепой, с трудом мог читать и писать. Покидая его, Актон подумал, что следующее известие о Ранке будет известием о его смерти. Вместо этого Ранке вновь заявил о себе созданием многотомной «Всемирной истории», которая оборвалась на периоде позднего Средневековья, когда великий историк умер на 91-м году жизни.

¹⁰ *Кроче Б.* Теория и история историографии / Пер. с итал. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917]. С. 174.

Три основные принципа историописания, составлявшие историческую традицию от Фукидида до Гиббона, оставались незабываемыми в творчестве Ранке:

— корреспондентская теория истины, предполагающая, что историк описывает людей, которые реально существовали, и действия, которые реально происходили;

— убеждение, что человеческие действия отражают намерения людей, и задача историка понять эти намерения;

— диахроническая концепция исторического времени.

Как отмечал Бенедетто Кроче, от своего метода Ранке не отступал никогда, за что и удостоился невиданных триумфов: убежденный лютеранин, он написал историю папства в период Контрреформации, и ее с благосклонностью приняли во всех католических странах; немец, он создал историю Франции и не вызвал неудовольствия французов.

Именно под влиянием идеи универсальности истории и диалектического подхода к пониманию общественных процессов в произведениях Ранке утвердились представления о непрерывной преемственности развития общества во времени, от эпохи к эпохе. Возникнув в тесной связи с романтизмом, школа Ранке придавала огромное значение традиции как квинтэссенции прошлого, сохраняющейся в настоящем и переходящей в будущее, но отличалась от нарративно-романтического направления сознательным стремлением к строго научному, «объективному» воспроизведению действительности. Именно поэтому Ранке столько усилий отдал разработке принципов отбора и исследования источников.

Относясь к прошлому уважительно и бережно, Ранке тем не менее признавал, что у исторического исследования есть и внешние цели. Возможно, он был последним крупным историком, который верил, что результатом его собственных и других подобных сочинений станет обнаружение руки Бога в человеческой истории. В общем смысле философской основой творчества Ранке был провиденциализм. Исторический процесс, по Ранке, — это осуществление «божественного плана управления миром», придающего единство всему происходящему. Причинные связи между событиями также предуказаны Богом, а задача историка — разглядеть их. Ранке полагал, что «каждая эпоха

стоит в непосредственном отношении к Богу», в то же время, по его мнению, каждый исторический период имеет свою «руководящую идею», и наряду с религиозной идеей важное место занимает идея политическая.

Представления Ранке о будущем тем более отличались от историософских концепций его времени: в грядущем он видел множество альтернатив. Он достаточно критически относился не только к способности историков предсказывать ступени будущего развития, но даже и к самой идее о безоговорочной прогрессивной направленности хода истории. Ранке обращал внимание на то, что теория прогресса базируется на локальном (европейском) опыте и напоминал ее сторонникам о том, что случилось с цивилизациями Азии.

Вкладом Ранке в развитие исторической науки является его методика, которая находится в некотором внешнем противоречии с характерным для него масштабом исследований и связана с общим тяготением научной мысли XIX в. к позитивизму. Исследовательская методика Ранке, вполне в духе позитивистского понимания задач исторического анализа, основывалась на следующих положениях: объективные факты содержатся главным образом в архивных материалах политического характера — в донесениях послов, переписке государственных деятелей и т. д.; то, чего нет в документе (мнения, слухи), не существует для истории; правильное использование источников требует филологического анализа, установления аутентичности и достоверности документа и других операций внешней и внутренней критики текста.

Вместе с тем, как мы уже сказали, Ранке воплощал в историческом исследовании не только принципы позитивизма, но и идеи универсальности истории, требующие широких обобщений. Он говорил о том, что историк не может написать историю, не прибегая к генерализациям, т. е. о прошлом можно судить по документам и установленным фактам, но многое можно узнать о прошлом такого, что лежит за рамками известных событий, путем умозаключений. Но он же подчеркивал, что историку в отличие от философа необходима любовь к детали, человеку и событию в их уникальности.

Заслуги Ранке состояли в том, что он отделил изучение про-

шлого от страстей настоящего; был не первым, кто использовал архивы, но первым, кто использовал их хорошо; развил критический метод применительно к анализу государственных источников. И все это сделало немецкую историческую школу лучшей в Европе.

Стремление следовать научной парадигме позволило немецким историческим школам во второй половине XIX в. занять лидирующие позиции в историческом знании, вписаться в позитивистскую конструкцию и стать тем признанным «образцом» западноевропейской историографии, который сознательно выбирали для себя другие национальные школы (русская, американская и т. д.). Одновременно в работах немецких историков развивалась новая культура исторического труда. Если романтики, хорошо зная документальные материалы, не ссылались на источники, чтобы не нарушать романский жанр повествования, то в немецких исторических школах, напротив, подробный и даже тяжеловесный справочный аппарат становится одним из главных показателей владения ремеслом историка. Требования, предъявляемые к историческому исследованию, распространялись на оформление комментариев и библиографии, содержание и структуру исторических журналов и т. д., благодаря чему мы сегодня имеем все тот же стандарт научного аппарата исследования, которому должно соответствовать историческое произведение.

Но хотя Ранке считался главой «немецкой исторической школы» второй половины XIX в., всю немецкую историографию этого периода можно связывать с его именем лишь с очень большими оговорками. Немецкая «историческая школа» в действительности была чрезвычайно далека от универсализма Ранке и его всемирно-исторического конструктивного духа.

Дройзен и методология истории

Имя Иоганна Дройзена — одно из первых и по времени, и по значению в отнюдь не длинном ряду методологов истории XIX в. Примечательно, что, будучи крупным «практикующим» историком¹¹, Дройзен оказался одновременно и одним из первых

¹¹Уже в 1830-е годы Дройзен выступает с крупными историческими ра-

теоретиков только возникающей исторической науки. Основные подходы к трактовке исторического знания Дройзен изложил в речи, произнесенной при вступлении в Берлинскую Академию наук в 1868 г. Он отметил, что с древних времен над историей «тяготеет предвзятое мнение, что она представляет собой занятие, лишенное метода, равно как и господствующее в классической античности представление, что она относится к области риторики». Это представление, по его словам, вновь возродилось в тезисе, что история является одновременно и наукой, и искусством (сколько еще раз впоследствии воспроизводился этот тезис!).

Точно так же Дройзен выступал против сведения истории к эмпирической работе, призванной лишь поставлять материал для философов. И наконец, Дройзен вступал в открытую полемику с тогдашней «философией истории». Он говорил (это существенно с точки зрения современных дискуссий о характере исторического знания), что если бы философы взяли на себя только обоснование процесса исторического познания (курсив наш. — И. С., А. П.), то это «в высшей степени заслуживало бы благодарности». Но философы занялись и созданием субстанциальной философии истории, разработкой концепций исторического процесса, что привело к довольно плачевным последствиям для исторической науки.

«В одной системе... был сконструирован общий исторический труд всего рода человеческого как самодвижущаяся идея. В другой же системе учили об этом самом общем труде человечества, что “всемирная история, собственно говоря, есть только случайная конфигурация и не имеет метафизического значения”. С третьей стороны, требовали в качестве научной легитимизации нашей науки, обозначая как ее задачу, нахождение законов, по которым движется и изменяется историческая жизнь. Ей рекомендовали заимствовать норму из географических факторов и “первозданной естественности”; в связи с так называемой

ботами, публикуя сначала «Историю Александра Великого» (1833), а затем два тома «Истории эллинизма» (1836–1843), которые составили ему репутацию известного специалиста по античности. Более 30 последних лет жизни Дройзен отдал сочинению 14-томной «Истории политики Пруссии» (первый том вышел в 1855 г, последний — в 1886 г., уже после его смерти).

“позитивной философией” была сделана весьма привлекательная попытка “возвести” историю, как заявляли, “в ранг науки”¹².

Имена Гегеля, Конта, Бокля и других известных архитекторов философии истории легко прочитываются в резюме Дройзена, равно как и его отношение к подобным взглядам на прошлое и научное знание о нем.

Неудовлетворенный в равной мере, хотя и по разным основаниям всеми этими подходами, Дройзен видел задачу историков своего времени (и в первую очередь свою собственную цель) в том, чтобы обобщить имеющиеся в распоряжении историков методы, объединить их в систему, разработать их теорию и таким образом установить не законы истории, а только законы исторического познания.

Эту цель он попытался реализовать в лекционном курсе, который неоднократно читал студентам Берлинского университета с 1857 по 1883 г. Полностью этот курс, который Дройзен называл «Энциклопедия и методология истории»¹³, был издан только в 1936 г., но Дройзен при жизни несколько раз опубликовал краткие тезисы своей концепции под названием «Очерк историки».

Свою теорию исторической науки Дройзен именовал «историкой» или «наукоучением истории», и она включала следующие разделы: методика, систематика и топика (изложение) истории (в разное время они компоновались по-разному). Методика делилась на эвристику, критику и интерпретацию (исторического материала), отвечая на вопросы: *почему, каким образом, с какой целью*. Систематика определяла область применения исторического метода, отвечая на вопрос: *что* может исследовать история. К топике относился анализ форм исторического изложения (план выражения, как сказал бы современный исследователь). И в каждом из указанных разделов мы обнаруживаем идеи, к которым не применимо словарное определение: *устар.*

¹² Дройзен И. Г. Речь, произнесенная при вступлении в Берлинскую Академию наук [1868] // Дройзен И. Г. Историка / Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 577.

¹³ Назван Дройзеном по образцу курса лекций Августа Бёка «Энциклопедия и методология филологических наук», который он прослушал в молодости.

Дройзен, как и Ранке, был последовательным сторонником историзма, и высказывания на эту тему есть в его сочинении, но в центре его внимания находится собственно методология исторической науки. Представления Дройзена об исторической науке могут быть проиллюстрированы несколькими тезисами его «Историки»:

«История — не сумма происшествий, не общий ход всех событий, а некоторое знание о происшедшем».

«Наша наука — не просто история, а *istoriá*, исследование, и с каждым новым исследованием история становится шире и глубже».

«Материалом нашего исследования является то, что еще не исчезло из былых времен».

«Задача истории есть понимание [прошлого] путем исследования».

Остановимся на некоторых из этих тезисов чуть более подробно.

Прежде всего Дройзен, в соответствии с традициями школы Ранке (который работал в том же Берлинском университете и работы которого Дройзен очень высоко ценил), уделял существенное внимание эмпирическому материалу исторического исследования. При этом он всячески выступал против «фетишизации» источников, настойчиво подчеркивая, что источники — это только материал для изучения, их анализ и критика — лишь подготовительный этап, а самое сложное в работе историка начинается на стадии собственно исследования.

«Результатом критики [источников] является не “подлинный исторический факт”, а то, что материал подготовлен для получения на его основе относительно точного и конкретного мнения. Добросовестность, не идущая дальше результатов критики, заблуждается, предоставляя дальше работать с ними фантазии, а надобно было бы поискать для дальнейшего исследования правила, которые гарантируют его корректность»¹⁴.

Такая трактовка процесса производства исторического знания непосредственно связана с абсолютно актуальным и четко артикулированным представлением о предмете исторической

¹⁴ Дройзен И. Г. Очерк историка [1858/1882] // Дройзен И. Г. Историка / Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 474.

науки. Дройзен полагал что в конечном счете таковым является не прошлое, а *человеческие действия, совершенные в прошлом* (по терминологии Дройзена, *волевые акты*). Подчеркивая важность изучения истории «макрофеноменов», в современной терминологии, и детально рассматривая проблемы написания истории племен, народов и государств; политической, правовой и экономической жизни; искусства, науки и религии и т. д., Дройзен одновременно напоминал: «Когда мы говорим: “Государство, народ, церковь, искусство и т. д. делают то-то и то-то”, то мы имеем в виду “благодаря волевым актам” [людей]».

При такой постановке вопроса Дройзен вступал в прямую полемику с позитивистами, полагавшими, что социальная жизнь определяется историческими законами, а поступками людей можно либо пренебречь, либо искать в них лишь проявления этих самых законов.

Акцент на человеческих действиях как на основе всех явлений прошлого приводит Дройзена к проблеме «понимания» в истории. Как мы писали, лишь много позднее эта тема возникла в работах Дильтея, Риккерта и др., вплоть до «понимающей социологии» Вебера. Акцентируя роль «понимания», Дройзен противостоял как естественнонаучным методологическим дискуссиям об «описании и объяснении», так и представлениям романтиков о возможности вчувствования, проникновения в мысли людей прошлого. (Как легко заметить, и естественнонаучные и романтические представления об историческом знании не изжиты полностью по сей день.)

«Понимание является синтетическим и одновременно аналитическим, индукцией и дедукцией»¹⁵, — так тезисно сформулировал Дройзен свое представление о «понимании» в «Очерке истории». Расшифровывая эти тезисы в «Энциклопедии и методологии истории», он писал:

«Наша задача может заключаться только в том... чтобы попытаться узнать путем исследований имеющихся у нас материалов, чего хотели те люди, которые созидали, действовали, трудились, что волновало их Я, что они хотели высказать в тех или иных выражениях и отпечатках своего бытия. Из материалов, какими бы фрагментарными они ни были, мы пытаемся познать их

¹⁵ Там же. С. 463, 464.

воления и деяния, условия их желаний и поступков; из отдельных выражений и образований, которые мы еще можем понять, мы пытаемся реконструировать их Я, или в том случае, если они действовали и созидали сообща, постичь это общее... частицей и выражением которого они являются»¹⁶.

При этом следует обратить внимание на слово «пытаться», которое не случайно встречается в процитированном абзаце три раза. Дройзен прекрасно понимал ограниченные возможности и пределы нашего понимания людей прошлого, их мыслей и чувств.

«Необходимо длительное и трудное опосредование, чтобы вникнуть в чуждое, ставшее для нас непонятным, чтобы восстановить представления и мысли, которыми люди руководствовались сто, тысячу лет назад, совершая те или иные поступки, по-своему их воспринимая; необходимо как бы понять язык, на котором говорят странные для нас теперь события и социальные отношения»¹⁷.

Конечно, сам термин «понимание» ныне выглядит немного архаично и в значительной мере уже ушел из современного научного лексикона. Но по сути именно проблему понимания людей прошлого пытается решить современная историческая культурная антропология, возникшая спустя почти сто лет после создания «Историки».

* *
*

Анализируя вклад Ранке и Дройзена в развитие исторической науки, мы, конечно, оцениваем его с позиций сегодняшних представлений об историческом знании. Реальная судьба их идей и концепций складывалась достаточно специфическим образом.

Многие последователи метода Ранке стали считать главным достоинством исторического сочинения строгую документиро-

¹⁶ Дройзен И. Г. Энциклопедия и методология истории [1857/1936] // Дройзен И. Г. Историка / Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 71.

¹⁷ Там же. С. 144.

ванность, в итоге все больше перегружая исторические исследования бесконечными ссылками и анализом источников. Некоторые историки вообще ограничивали свою деятельность публикацией архивных документов, снабжая их огромными комментариями. Такая ситуация неминуемо приводила к сужению предмета исследования, ибо скрупулезный исследователь не мог справиться с обилием источников. В то же время не только публику, но даже и профессионалов за рамками узкого круга специалистов по той или иной теме, как правило, не могли интересоваться только анализ фактов и комментарии документов, относящихся к очень конкретным проблемам. В целом позитивистская историография выглядела «скромненько, но научно». Недаром Блок называл представителей этого направления историками, которые извлекли «урок трезвого смирения».

Последователи Ранке в области политической и дипломатической истории также не поражали масштабом своих работ. Кроме того, неоранкеанцы на рубеже веков во многом свели свою историографию к апологетике прусского государства, а национальное государство объявили доминирующей исторической силой.

Если у Ранке не оказалось настоящих исследователей, то Дройзену не повезло и самому да еще дважды. Первый раз потому, что его «Энциклопедия и методология истории» не была издана тогда, когда была создана. Хотя имя Дройзена, как правило, упоминается в ряду основоположников теоретических основ исторической науки второй половины XIX в. и тезисы его были известны, но обычно читались и соответственно цитировались написанные и опубликованные позднее монографические исследования Эрнста Бернгейма, Шарля-Виктора Ланглуа и Шарля Сеньбоса, а также, когда речь шла об определении характера исторического знания — Вильгельма Виндельбандта, Генриха Риккерт, Вильгельма Дильтея — мыслителей, которые вообще не были историками.

Второй раз Дройзену не повезло потому, что впервые его лекции были изданы в Германии в 1936 г. Время и место — роковые для произведения, содержащего концепцию *исторического* знания. Публикация сочинения примерно совпала по времени с появлением теоретических работ Чарльза Бирда, Карла Бекке-

ра, Марка Блока, Люсьена Февра, Робина Коллингвуда, но ведь написано оно было на 80 лет раньше! Тем не менее, по нашему мнению, публикация могла бы стать заметным явлением в исторической науке и в 1930-е годы, если бы не изоляция нацистской Германии в интеллектуальном пространстве. В результате текст Дройзена оказывается, как правило, вне поля зрения историков.

Но какие бы перипетии не переживали идеи Ранке и Дройзена, как бы далеко вперед не ушли социальные науки и по содержанию, и по форме, методологические достижения этих выдающихся ученых по сути оставались актуальными в контексте дискуссий о характере исторического знания на протяжении всего XX в.

Позитивистские критерии научности исторического исследования во многом до сих пор определяют научную этику исторического сообщества и предлагают ориентиры, пользуясь которыми можно отличить историка-ученого от идеолога, легитимизирующего настоящее с помощью прошлого. Историка предписывается не манипулировать историческими данными. Историк должен считаться с исторической информацией, в том числе с новой, и, учитывая ее, корректировать свои конструкции и выводы. И, наконец, историк непременно использует принятые в науке его времени методы, в то время как пропагандист опирается на подходы, характерные скорее для псевдонауки.

Глава 9

МАКРО- И МИКРОИСТОРИЯ

Ядро современной исторической науки составляет аналитическая историография, т. е. исследования, в которых в явном виде используются различные теоретические концепции и модели. Конечно, далеко не всю современную историю можно трактовать как аналитическую. Во-первых, существуют и иные типы исторических сочинений — например, прагматическая или интуитивистская историография. Во-вторых, многие, если не большинство исторических работ, хотя и опираются на те или иные концепты, но в них теоретическая составляющая не выражена в явном виде.

Что касается собственно аналитической историографии, то сегодня она может быть разделена на два главных направления: макро- и микроисторию. Это разделение, с одной стороны, характеризует различия по объекту исследования, с другой — по используемым методам. Макрообъектам соответствуют макротеории, микроанализ подразумевает опору на иные теории, разработанные специально для изучения микрообъектов. Исходно аналитическая историография была ориентирована в первую очередь на макроанализ, и со второй половины XIX в. до последней четверти XX в. макроистория занимала доминирующие позиции в исторической науке. Микроистория начинает активно развиваться лишь в последние десятилетия, но быстро завоевывает признание и сегодня уже достаточно заметна в аналитической историографии.

1. Макроисторический подход

При анализе макроисторических работ, основанных на использовании тех или иных теоретических концептов, постоянно возникает вопрос: являются ли эти макроконцепции научными или философскими? Иногда научность той или иной исторической концепции очевидна, иногда же ее квалификация с этой точки зрения представляет большую сложность. В любом случае этот момент все время надо «держат в уме».

Так или иначе, уже в первой половине XIX в. в истории стали использоваться различные макротеории и динамические макромоделли, начиная с теории происхождения классов, концептуализации исторических эпох или обоснования таких социальных концептов как капитализм, феодализм, формация, цивилизация, революция, кризис и т. д.

Утверждение позитивного метода и отчасти связанное с ним формирование таких социальных дисциплин, как социология, социальная психология, антропология сопровождалось проникновением новых идей в историческую науку. Огюст Конт, Герберт Спенсер и Льюис Морган предложили целостную модель социальной эволюции и социальных изменений, которая в разных модификациях (важнейшая из них — теория модернизации) развивалась в течение всего XX в. и на протяжении этого периода была постоянно востребована историками. Карл Маркс разработал концепцию социальных формаций, основанных на сменяющих друг друга экономических системах (способах производства), движущей силой изменений в которой выступают противоречия между развивающимися производительными силами и производственными отношениями, разрешаемые в антагонистическом обществе путем социальной революции. Эмиль Дюркгейм в отличие от Маркса акцентировал идеи солидарности и согласия в обществе и внес важнейший вклад в понимание общества как ценностно-нормативной системы. Макс Вебер обосновал теорию возникновения современного мира, главными характеристиками которой были процессы секуляризации («расколдование мира») и возникновения рациональных форм организации («бюрократизация мира»), с протестантским представлением о

«призвании» и аскезой в качестве необходимого условия этих процессов.

В результате создания мощных объясняющих теорий в арсенал историков прочно входят такие концептуальные темы, как генезис капитализма, происхождение государства, происхождение нации, психология толпы и т. д. В исторической науке экономика, общество, государство, право, религия, искусство начинают рассматриваться по существу как социальные подсистемы, наделенные самостоятельной ролью в развитии общества. В зависимости от принадлежности историка к той или иной школе этим областям социальной жизни приписываются неодинаковые значения, и историк видит свою задачу в том, чтобы создать картину прошлого, показывающую, как эти подсистемы влияют друг на друга. Тем самым в процесс исторического объяснения включается интерпретационный потенциал разных социальных дисциплин. Эта линия начинается от Ипполита Тэна, Карла Лампрехта, Курта Брейзига, ведет к Марку Блоку и Люсьену Февру, а во второй половине XX в. представлена грандиозными историческими эпопеями, вроде созданных Фернаном Броделем, Эриком Хобсбоумом или Томасом Ниппердаем.

Немецкие историки — Эберхард Готхайн, Карл Лампрехт и Курт Брейзиг — в конце XIX в. в очередной раз обратились к идее универсальной истории, но на этот раз с верой, что ключом к объяснению мировой истории служат социальные теории. «Культурно-исторический» дизайн развития «культур» Готхайна, или концепция «духа» и «менталитета» Брейзига, или теория «исторической психологии» Лампрехта представляли собой попытки аналитически описать общественную жизнь, социальные силы и «культурную жизнь в целом» (в религии, литературе, искусстве, хозяйстве, праве и государстве), объединяя немецкий историзм и позитивистскую социальную науку с типичными для позитивизма элементами механицизма и натурализма. В результате этот опыт оказался не слишком удачным, поскольку в значительной мере представлял собой обновленный вариант историософии.

В это же время во Франции философ и социолог Анри Берр сформулировал задачу создания целостного «культурно-исторического синтеза». Берр занимает очень важное место в раз-

витии современной аналитической историографии, хотя он и не был историком. Смыслом его очень активной научной деятельности стала борьба против «социологического империализма», что противоречило господствующей тенденции к социологизации истории. Уже в 1893 г. в своей диссертации Берр начал разрабатывать программу культурно-исторического синтеза, представляя историю как синтезирующую науку, находящуюся на перекрестке разных социальных и гуманитарных дисциплин (отсюда — именно *исторический* синтез). С позиций сегодняшнего дня, конечно, Берр оставался в рамках позитивистской парадигмы. Но его идея о центральном, синтезирующем месте истории по отношению к социальным наукам стала важным стимулом в развитии исторической теории, прежде всего во Франции.

Вообще задача исторического синтеза долгое время рассматривалась как одна из центральных в аналитической историографии, и ее важность представлялась неоспоримой — достаточно вспомнить слова Ньюма Фюстель де Куланжа, сказанные в конце XIX в.: «Для одного синтеза требуются годы анализа».

Берр считал, что история должна объединиться с психологией, социологией и другими науками и только тогда она сможет объяснить прошлое человечества глубже, чем любая другая дисциплина. Этой идеей был продиктован план создания «Журнала исторического синтеза» («Revue de synthèse historique», 1900), в котором представлен целый спектр дисциплин: история, филология, психология, социология, география. (В полной мере на практике этот план реализован не был, полем синтеза стала историческая география.) С целью популяризации своих идей Берр с 1920 г. начинает публикацию 100-томной серии монографий «Эволюция человечества, Библиотека исторического синтеза». Она задумывалась как продолжение знаменитой «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера и должна была осветить историю человечества с учетом позиций всех гуманитарных наук. В 1925 г. он создает Международный центр синтеза.

Именно под воздействием Берра возникла школа «Анналов» (известный журнал «Анналы экономической и социальной истории» был создан в 1929 г.). Основатели школы «Анналов», Марк Блок и Люсьен Февр, тесно сотрудничали с Берром, стремясь

реализовать его идею исторического синтеза путем организации междисциплинарных исследований. Нежелание следовать идеям универсализации, социальной инженерии, генетической эволюции привело к тому, что представители школы «Анналов» поставили перед собой цель не только использовать методы макроанализа социальных наук для познания прошлого, но и разработать собственные исторические теории.

Может быть, не столь престижное на том этапе положение социальных наук, некоторая неосведомленность относительно их достижений или недооценка их успехов дали очень важный результат. Представители школы «Анналов», прежде всего Блок, а за ним Бродель, создали самостоятельные исторические концепции. «“Историки, рассказывающие историю” — прозвище для нашей корпорации оскорбительное, ибо в нем суть истории определяется как бы отрицанием ее возможностей», — писал Блок¹. Он и его единомышленники многое сделали для того, чтобы раздвинуть пределы интерпретации прошлого, преодолеть отставание в сфере теории. И в духе своего времени они, бывало, называли собственную научную деятельность «борьбой».

В первой половине прошлого века претензии историков на продуцирование собственных теорий явно были выше, чем ныне, и результатом активного теоретического поиска стала, например, работа Марка Блока «Феодальное общество» (1939–1940), представляющая собой, по его собственным словам, «попытку анализа некой социальной структуры и ее связей» и выявление основных черт европейского феодализма. Блок предложил целостную концепцию общества, включающую в себя экономическую и социальную историю, а также историю социальных установлений и историю ментальности. Впрочем, уже во времена Блока стало очевидно и другое, а именно, что, по его же словам, на пути создания теорий истории «трудно идти в ногу со всеми остальными науками» и что, как научная дисциплина, история находится в начале пути.

Третья линия развития исторического макроанализа в конце XIX — начале XX в. была представлена американской «новой

¹Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Наука, 1986 [1942/1949 посм.]. С. 12–13.

историей». Именно так тогда называли направление, включающее виднейших американских историков того времени, хотя их на самом деле трудно объединить в границах единой школы и скорее можно рассматривать как прообраз «новой научной истории» 1960–1970-х годов. Чарльз Бирд считал движущей силой истории экономический и социальный конфликт и, соответственно, заложил основы экономической интерпретации истории США. Джеймс Робинсон, Вернон Паррингтон и Карл Беккер аналогичную роль отводили идеям и создали американскую интеллектуальную историю. Фредерик Тёрнер обратился к географическому фактору, предложив для объяснения «американской исключительности» знаменитую «историю границы». Надо отметить, что, избирательно заимствуя из фонда социальных наук, «новые историки» США не стремились создать всеобъемлющую систему или схему, как некоторые из их европейских коллег (Карл Лампрехт, Курт Брейзиг, Франсуа Симиан). Этим они также близки «новым научным историкам» 1960–1970-х годов.

Во второй половине XX в. начинается новый этап развития макроистории. Влияние социально-политических процессов середины XX в. — опыт тоталитарных режимов, Второй мировой войны, подъем национально-освободительных движений, а затем становление системы независимых государств Азии и Африки — значительно обострили чувство социальной ответственности историков. Эти масштабные и драматические социальные изменения повлияли и на направление размышлений представителей аналитической историографии. Они, во-первых, обратились к поискам причин или истоков только что пережитых и продолжающихся потрясений; во-вторых, что вполне объяснимо, увидели в этих событиях действие надындивидуальных сил или структур: экономических, технологических, социальных.

На первый план во многих исторических исследованиях выдвигается проблема перехода к Новому времени, в котором ищут истоки драмы XX в., а также темы революций, войн и конфликтов, феноменов власти и массовых движений. Одновременно усиливается интерес историков к большим обобщающим социальным и экономическим историческим описаниям, в первую

очередь в рамках национальных историй. Как писал известный немецкий историк Ганс-Ульрих Велер в предисловии к своему программному сочинению «История немецкого общества» (1987),

«... современная история понимает свой предмет как общество в целом; следовательно, она стремится охватить как можно больше базовых процессов, которые... определяют историческое развитие крупной системы, существующей обычно в государственно-политических рамках»².

Макроанализ как метод и как цель исторического исследования приобретает особое значение при написании национальной, региональной, континентальной или всемирной истории, где центральной темой становится структурообразующее взаимодействие экономики, власти и культуры в современной истории. В результате, начиная с 1950-х годов, происходит становление структурной истории, и в 1960-е годы этот макроисторический подход занимает лидирующие позиции в основных национальных историографических школах: немецкой, американской, английской, французской.

Структурный анализ становится основой многих исторических сочинений, а макротеории активно заимствуются в основном из социологии и экономической науки и адаптируются к прошлому. Становление структурной истории сопровождалось очень важными изменениями в методах: возникновением научных школ, связанных с введением в оборот принципиально новых типов источников и способов их обработки. Начиная с 1960-х годов развиваются такие направления как клиометрика, серийная история, контент-анализ.

В основе структурной истории лежит представление, что человеческий мир можно представить как совокупность базовых подсистем или макроэлементов. Чаще всего в качестве фундаментальных макрообъектов выделяются экономика, политика и культура. Как отмечал Ганс-Ульрих Велер в упомянутой выше работе, каждая из этих сфер имеет относительно автономную

² *Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 5. Bde. München: Beck, 1987... Bd 1. S. 6.*

значимость, ее нельзя выводить из других, какими бы смешанными и взаимозависимыми ни казались их отношения при анализе исторической реальности. Задача историка исследовать, как воздействует власть на экономику и культуру, культура — на власть и экономику и т. д.³

Но предметом макроанализа могут выступать и относительно самостоятельные объекты, например, демографические, властные, геополитические, ментальные процессы и множество других. Именно концентрация исследовательских интересов на таких объектах и попытки их комплексного осмысления во второй половине XX в. привели к развитию соответствующих исторических субдисциплин.

2. Структурная история

Поскольку во второй половине XX в. макроисторические подходы реализовались в первую очередь в рамках так называемой структурной истории, остановимся на этой теме чуть более подробно. В качестве примеров мы рассмотрим две наиболее известные школы, представляющие данное направление исследований, — французскую и немецкую.

Французская школа

Ключевую роль в развитии французской структурной истории сыграла работа Фернана Броделя «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (1949). Можно выделить несколько направлений развития сформулированных в этой работе идей: теория стационарных периодов, концептуализация исторических кризисов, циклические модели, версии равномерных изменений.

Первое направление поисков было связано с выделением стабильных структур и превращением их в самостоятельный предмет исследования. Это совпало и, наверно, стимулировалось спадом интереса к политической истории и переходом к более детальному изучению тех сторон жизни общества, где изменения происходят относительно медленно.

³Ibid. S. 7.

Противопоставив событийной истории изучение длительных процессов и явлений (историческую географию, демографию, изучение климата, питания, болезней, обычаев и культуры), последователи Броделя сконцентрировали внимание на диалектике исторического развития, взаимоотношениях пространства и времени, человека и природной среды. Главный резервуар подобных идей исторических изменений представляет собой школа «Анналов», представители которой начали исследовать прежде всего долговременные (длящиеся столетие и больше) изменения на макроуровне. Историческое время в их исследованиях характеризовалось большой протяженностью, малой скоростью и размеренным ритмом.

Предельное выражение концепция *longue durée* нашла в исторических работах, в которых абсолютно самостоятельную роль начал играть анализ статических состояний. В 1973 г. Эмманюэль Ле Руа Ладюри выступил с программной лекцией на тему «Неподвижная история». Эта лекция в последующие десятилетия сама стала сюжетом исторической науки. Она надолго приковала к себе внимание, ее постулаты дискутировались и опровергались, причем в этом процессе активно участвовал сам автор, который впоследствии неоднократно комментировал и пересматривал положения своего знаменитого выступления.

Ле Руа Ладюри выдвинул идею «неподвижной» истории, предполагающей в конечном счете неизменность, постоянно самовоспроизводящуюся через изменения. Он предложил очень сжатое, но поражающее дерзостью и оригинальностью представление о взаимодействии структур и институтов французского мира на протяжении периода 1320–1720 гг., выдвинув тезис о том, что характеристики этого общества и этого периода «восстают против самого существования цифр, уводя назад, к старым представлениям о возможностях почти неподвижного состояния».

Концепция Ле Руа Ладюри в каком-то смысле придала схеме Броделя логическую завершенность, констатируя почти абсолютную неподвижность, отсутствие даже очень медленных изменений, которыми характеризуется *longue durée*. Нетрудно заметить, что новый тип исторического времени у Ле Руа Ладю-

ри образовывался путем синтеза с динамичным временем весьма драматических событий (войн, эпидемий и т. д.), значимость которых практически утрачивается, если рассматривать длительные временные интервалы.

В рамках второго направления наряду с темой устойчивых состояний или «площадок», по выражению Броделя, не менее активно продолжала разрабатываться проблематика переходных, нестационарных периодов, или кризисов. До XIX в. термин «кризис» (*греч.* κρίσις — решение, поворотный пункт, исход) традиционно использовался в медицине, и обозначал перелом в течении болезни, сопровождающийся *быстрым* понижением температуры и исчезновением всех признаков недуга. Кризис противопоставлялся лизису (*греч.* λύσις — растворение, развязывание), т. е. *постепенному* ослаблению болезни и понижению температуры. Таким образом кризис скорее имел положительные коннотации. Но в XIX в., во многом в связи с экономическими кризисами, этот термин начал использоваться применительно к социальным явлениям и приобрел скорее негативный оттенок.

Начиная с 1930-х годов в исторических исследованиях понятие кризиса распространяется за пределы экономики или, точнее, экономические кризисы начинают увязываться с другими сферами жизни общества. Так, в начале 1930-х годов Франсуа Симиан опубликовал работы о связи крупных политических событий с мировыми кризисами. Чуть позднее Эрнест Лабрусс, исходя из анализа движения цен на сельскохозяйственную продукцию, поставил вопрос об экономическом кризисе в сельском хозяйстве как важнейшем факторе Французской революции 1789 г. Он утверждал, что революция была вызвана «кризисом нищеты» и произошла в период длительного спада конъюнктуры.

В 1960-е годы для нового поколения историков проблема экономических кризисов отошла на второй план, но термин «кризис» оставался популярным и прилагался к самым разным явлениям. Он стал использоваться как антоним стационарного состояния, для характеристики периодов быстрого изменения любых структур. Традиционно к таким периодам относились, помимо экономических кризисов, периоды войн и революций. Но

постепенно этот термин стал применяться и в расширительном смысле⁴.

Третье направление — модели исторических циклов — возникло как попытка осмыслить одновременное присутствие в историческом дискурсе концептов кризиса и равновесия. Циклические концепции исторического развития, популярные со времен архаики, относительно мало интересовали историков, оставаясь уделом философов. Лишь со второй половины XIX в. циклические модели начинают использоваться в работах по экономической истории, но в довольно ограниченных масштабах. Однако экономический кризис 1930-х годов привлек внимание не только к собственно кризисам, но и к экономическим циклам. В это же время начинаются эксперименты с циклами разной продолжительности, а также предпринимаются попытки связать экономические циклы с социальными и политическими процессами.

Некоторые из последователей Броделя пытались применить концепцию циклов, и прежде всего 50-летних (так называемых циклов Кондратьева или «длинных волн») для анализа разноплановых исторических явлений. Они использовали ее для интерпретации экономической динамики, войн, революций, политической борьбы, идеологий, их характера и последствий. Этот же ритм они искали в течении культурных и демографических процессов. Будучи безусловными апологетами концепции длинных волн, они не столько применяли ее в качестве инструмента анализа, сколько предпринимали попытки доказать ее универсальность. Последнее им безусловно удавалось в одном-

⁴В исторической литературе определение какого-то этапа как «кризиса» необычайно популярно. Это приводит к забавным результатам: при сопоставлении нескольких работ с соответствующими заглавиями возникает картина своего рода «перманентного европейского кризиса» (видимо, историки не знают слово «лизис») — ср., в частности, «Время реформ: кризис христианства, 1250–1550», «Кризис Ренессанса, 1520–1600», «Кризис в Европе, 1560–1660», «Европа в кризисе, 1598–1648», «Экономика Европы в век кризиса, 1600–1750», «Кризис европейского сознания, 1680–1715», «Век кризиса: человек и мир в французской мысли XVIII в.», «Надвигающийся кризис, 1848–1861» и т. д. Особенно «кризисным» почему-то выглядит период с середины XVI до середины XVII в. — ср. например: «Кризис аристократии, 1558–1641», «Кризис датского дворянства, 1580–1660», «Аграрный кризис в Иль-де-Франс, 1550–1670» и т. д.

единственном смысле: результаты всегда сходились с заранее известным ответом.

Сам Бродель также отдал дань этому модному увлечению, причем наряду с 50-летними кондратьевскими циклами он рассматривал и более длительные периодические колебания, которые именовал «вековыми трендами» (*trend séculaire*), граничившими по продолжительности с популярными в историософии циклами культур, цивилизаций и т. д. Каждый вековой тренд Бродель связывал с расцветом и упадком европейских миров-экономик и перемещением центра этих миров. Центром первого векового тренда была Италия (Венеция, Генуя и другие торговые города), центром второго — сначала Испания (Мадрид) и Португалия (Лиссабон), затем Голландия (Антверпен и Амстердам); центром третьего векового тренда была Англия (Лондон). Тем самым схема Броделя близка и к еще одной политико-философской концепции, а именно — циклов мировой гегемонии.

Представители четвертого направления под влиянием идей Броделя выдвигали тезис об отсутствии исторических разрывов, предлагая чисто эволюционную модель развития. Вариант «долговременной протяженности», т. е. медленных постепенных изменений, применительно к самым динамичным историческим событиям отстаивали в своих работах французские историки Франсуа Фюре и Дени Рише, Пьер Шоню, Марк Ферро и др. Они пытались доказать, что даже в ходе революций, включая промышленную революцию, при внимательном анализе не обнаруживается качественных скачков.

Ратуя за универсальный подход, предполагающий в качестве задачи исторического исследования реконструкцию «длительной протяженности» и вековых ритмов, упомянутые историки считают бессмысленным придавать сколько-нибудь серьезное значение совокупности событий одного, пусть и бурного, десятилетия. Ни войны, ни революции в этом смысле не кажутся им объектами достойными внимания. Например, даже известный специалист по революциям Франсуа Фюре причисляет революцию к разряду явлений, пригодных для удовлетворения «навязчивой склонности историков датировать события».

Немецкая школа

Немецкую структурную макроисторию, конечно, многое связывало в методологическом отношении с французской школой «Анналов», но исследовательские интересы большинства французских историков в значительной мере ограничивались миром дореволюционной Франции и оставались далекими от актуальных проблем современности. Главной же немецкой темой стало историческое объяснение именно современного, нынешнего мира, порожденного промышленно-техническим развитием и переживающего национально-революционные потрясения. Если в традиции школы Анналов доиндустриальная Франция изучалась скорее как «реальность *sui generis*» (особого рода), пользуясь выражением Дюркгейма, то в немецкой макроистории знание доиндустриальной эпохи рассматривалось как предпосылка рационального объяснения немецкой драмы в XX в., которое можно было найти только через контрастное сравнение нового общества с досовременным, доиндустриальным, дореволюционным миром.

Немецкие историки активнее своих европейских и американских коллег искали ответы на вопросы, связанные с только что пережитым катастрофическим опытом нацизма и Второй мировой войны. Отчасти такая ориентация объяснялась и необходимостью восстановления престижа немецкой историографии, потерявшей лидирующие позиции из-за существования в условиях фашистского режима. Причем позиции надо было восстанавливать сразу в двух областях — политической и научной.

Новационным поворотом к структурной истории немецкая историческая наука обязана прежде всего Вернеру Конце, который и сформулировал ее цели в 1957 г. в докладе «Структурная история индустриально-технической эпохи. Задачи исследования и преподавания». Уже в названии доклада были обозначены и избранная методология, и хронология, и цели исторического сообщества. Конце критиковал узкую специализацию немецких историков и ратовал за такие темы, методы и постановку вопросов, которые преодолевают разделение истории на политическую, социальную, экономическую, культурную, духовную и т. д. Именно эту всеобъемлющую, синтезирующую задачу при-

звана была, по его мнению, выполнить «структурная история» (иногда он в качестве синонима использовал термин «социальная история»), которая не должна выносить политическую историю за скобки, а, скорее, должна сама быть ею, но «только для того, чтобы учитывать в первую очередь не *res gestae*, а структуры в их непрерывности и трансформации».

Научные и организационные усилия Конце в итоге воплотились в очередной гейдельбергской исторической школе, на этот раз ее называли: «гейдельбергская школа Вернера Конце». Методологические основания школы Конце, исходящей из неизбежности взаимодействия социальных наук и обязательности знания историком «хотя бы минимума теории», кратко и точно суммировал один из достойнейших учеников Конце Райнхарт Козеллек. Он подчеркнул, что структурная история в ее немецком варианте предполагала не вытеснение политической или духовной истории, занимавших до тех пор доминирующее положение в историографии, а, наоборот, широкое и интегральное взаимодействие всех составляющих исторической науки, потому что историческая реальность не дискретна, она, скорее, образует «замкнутый круг».

Другим центром, в котором, вслед за гейдельбергской школой, развивалась структурная история, стал Билефельдский университет, где возникла так называемая социально-критическая школа. Самые известные ее представители, мощно заявившие о себе еще в 1970-е годы, — Юрген Кокка, Вольфганг Моммзен, Ганс-Ульрих Велер. На первом этапе все они придавали первостепенное значение теории модернизации, в которой «всемирная история» предстает как последовательная смена разных типов общества: доиндустриального (аграрного, традиционного) — индустриального (модернизированного) — постиндустриального (информационного, технологического и т. д.).

Представители социально-критической школы концентрировались на проблеме изменения социальной структуры немецкого общества, перехода от «традиционной» к «модернизированной» системе социальных отношений и связей. Свою задачу они видели в том, чтобы исследовать социальные, экономические, технологические, культурные феномены, не настаивая на прима-

те какого-либо из них, а пытаясь понять существовавшие между ними взаимосвязи. Социально-критическая школа в большой степени опиралась на «немецкое» наследие, в частности на концепцию Макса Вебера, который интерпретировал исторический процесс как процесс возрастания рационализации всех сфер общественной жизни.

Социально-критическая школа, развивая в целом принципы, сформулированные Конце, в итоге отклонилась от них, по крайней мере в двух важных аспектах. Во-первых, в исследованиях ее представителей все больше проступал тезис о запрограммированности истории. Во-вторых, и это особенно проявилось в работах Велера, представители билефельдского направления в своих научных работах эксплицитировали критическую, оценочную функции историографии.

* *
*

Как любой методологический подход, структурный анализ является односторонним, что, естественно, рано или поздно должно было сделать его уязвимым для критики. Концентрируясь на длительных, устойчивых макрофеноменах и их взаимодействиях, структурная история предлагает метод, который можно применить ко всем сферам исторической деятельности, т. е. как к социальной сфере, так и к политической, как к экономическому развитию, так и к миру идей и культуры, но в итоге на переднем плане оказываются «отношения» и «обстоятельства», надындивидуальные тенденции и процессы. Прошлая реальность предстает как схема, в ней нет конкретных людей, их воли, решений, поступков, страстей.

В этом отношении структурная история унаследовала и развила недостатки методологии исторического синтеза, которые были очевидны уже для Февра. Осторожно критикуя своего друга Блока за «возврат к схематизму и социологизму», который является весьма соблазнительной формой абстракции, он писал о блоковском «Феодалном обществе»:

«Меня больше всего поражает — после того как я закрыл прочитанную книгу — то, что личность отдельного человека в ней почти

не видна. В труде, который учит нас, что век феодализма, что оба века феодализма, первый и второй, “плохо умели отделять конкретный образ вождя от абстрактной идеи власти”, — в книге этой ни разу не выступил “конкретный образ” какого-нибудь определенного вождя. . . Почему бы не показываться время от времени, отделившись от массы, — человеку? Или, если мы и впрямь требуем слишком многого, показали бы нам хотя бы какое-нибудь человеческое деяние, поступки отдельных людей»⁵.

Надо сказать, что если в ретроспективе структурного анализа невозможно разглядеть отдельных людей, то в ней неплохо представлены «малозначительные» элементы и связи: семья, конкретные поселения, школа, литературные кружки, светские салоны, тайные общества и т. д. Однако структурная история не очень внимательна к явлениям, не отягощенным «перспективой развития», которые быстро преобразуются, появляются и исчезают, не превращаясь в видимые «тенденции». В определенной степени структурная история противостоит событийной и конструирует достаточно формализованную модель социальной реальности.

В целом надо признать, что содержание исследований, проводившихся в русле структурной истории, свидетельствовало о необыкновенной устойчивости макротеоретического подхода в исторической науке, о влиянии идеи исторического синтеза и марксистской теории (последнее обнаруживается в том числе в работах самых крупных «структуралистов», от Броделя до Хобсбоума). В более общем смысле можно говорить и об устойчивости позитивистской парадигмы: этапы развития капитализма, равно как и теория модернизации — типично позитивистские конструкции. В духе позитивизма структурный подход часто нацелен на охват широких связей, на исторический процесс в целом, в его синхронном, а подчас и диахронном измерении.

Когда структурная история достигла зрелости, ее ограничения — неполнота и неадекватность макроисторических выводов, ненадежность среднестатистических показателей, сведение широкой панорамы исторического прошлого к ведущим тенденциям, образцам или типам — проявились более отчетливо.

⁵ *Февр Л.* Феодальное общество [1940/1941] // *Февр Л.* Бои за историю / Пер. с фр. М.: Наука, 1991. С. 155–156.

Усталость от макроанализа, наступившая уже к концу 1970-х годов, привела не только к переключению внимания на исследования по исторической антропологии, но и резко повысила привлекательность конкретных исследований. Одни историки вернулись на давно проторенную дорогу описания индивидуальных, единичных случаев с естественным отказом от макромоделей, другие, склонные к теоретизированию, нашли новые возможности и начали заимствовать из социальных наук принципиально иные концепции.

Естественной реакцией исторического сообщества на «засилье» макроистории стал отказ от структур и переход к исследованиям «сети» отношений, построенных вокруг события или биографии, отказ от территориального подхода в духе «человеческой географии», а также от понимания социальных дифференциаций как логически первичных. С 1970-х годов в исторической науке все более явственной становится новая тенденция, связанная с фрагментацией предмета истории. Массовое заимствование теорий у вполне уже зрелых и во многом формализованных социальных наук продолжается, но история быстро делится на множество субдисциплин, предметно соответствующих отдельным наукам или даже конкретным областям отдельных социальных и гуманитарных наук.

3. Микроанализ и микроистория

В связи с процессом фрагментации предмета истории, обращением к конкретным элементам социальной реальности и отказом от макротеорий с конца 1970-х годов утверждается новое для исторического знания явление — микроанализ. Возникает интерес к методам микроанализа, с которыми давно и успешно работают социальные науки. В аналитическом арсенале исторической науки появляется и утверждается новое направление — микроистория.

Определений микроистории немногим меньше, чем авторов работ, принадлежащих к данному направлению. Это обстоятельство позволяет нам предложить и аргументировать свой вариант дефиниции. Мы определяем микроисторию как историографическое направление, изучающее прошлую социальную

реальность на основе микроаналитических подходов, сформировавшихся в современных социальных науках (прежде всего в социологии, социальной психологии, экономической теории и культурной антропологии), включая как выбор объектов исследования, так и соответствующие им методы (теоретический и эмпирический инструментарий). Иными словами, микроистория — это исследование прошлой социальной реальности, использующее в настоящее время методы микроанализа, разработанные в социальных науках, и модифицирующее их с учетом исторической специфики.

Предложенная трактовка микроистории вытекает из нашего понимания истории как определенной области знания, а именно специализированной части общественных наук, ориентированной на изучение прошлого человечества. Использование в исторических исследованиях микроанализа — очередной шаг на пути применения теоретического инструментария социальных и гуманитарных наук.

Понятие микроанализа

Как известно, в научной терминологии «микро-» используется в качестве первой составной части сложных слов, указывающей на малый размер объекта, к которому она прилагается. Например, микроб (микро — малый, биос — жизнь) — общее название всех микроорганизмов. Иными словами, это прежде всего характеристика размеров объекта, а не его значимости или роли. Соответственно, микроистория предполагает изучение малого исторического объекта. Небольшая величина объекта в свою очередь определяет специфику методов его изучения.

Поскольку микроистория, согласно нашему определению, конструирует историческое исследование по образу и подобию соответствующих областей социальных наук, естественно вначале рассмотреть, как там трактуется объект и каковы основные направления микроаналитического подхода.

Прежде всего отметим, что далеко не все социальные дисциплины оперируют понятием микроанализа. Наиболее последовательно оно концептуализировано в экономике и социологии, что, возможно, связано с историческим становлением этих наук как

системных (в отличие, скажем, от психологии, которая всегда имела дело с отдельным субъектом). Ориентация обществоведения XIX в. на изучение экономических и социальных систем на определенном этапе познания, а именно в первой половине XX в., вызвала вполне осознанную потребность в исследовании малых экономических объектов или первичных уровней социального взаимодействия.

В экономической теории четкое разделение микро- и макрообъектов и соответствующих им методов анализа сложилось уже в 1920–1930-е годы, но канонический характер это различие приобрело после выхода в свет учебника «Экономическая теория» Пола Самуэльсона в 1945 г. В социологии различие микро- и макроанализа возникло несколько позднее, чем в экономической науке. Формирование микросоциологии как самостоятельной области начинается с 1930-х годов, а отчетливое размежевание на микро- и макросоциологию произошло в конце 1960-х годов, т. е. ненамного опередило появление микроистории.

В социальной психологии понятие микроанализа или микросоциальной психологии не используется, но по существу разделение микро- и макроподходов вводится на уровне различения психологии малых и больших групп. При этом подавляющая часть экспериментальных (лабораторных) исследований осуществляется, естественно, в рамках опытов с малыми группами. Поэтому социальная психология, особенно в ее американском варианте, по существу ориентирована преимущественно на микроанализ.

Что считать объектом микроанализа, в каждой науке определяется по-своему. Например, объектом микроэкономики является рыночное поведение (принятие решений, взаимодействие и т. д.) отдельных экономических агентов, определяемых по их экономическим функциям: потребителей (домохозяйств), предпринимателей (фирм), собственников и т. д. В центре ее внимания — цены и объемы производства и потребления конкретных благ, состояние отдельных рынков, распределение ресурсов между альтернативными целями. Макроэкономика исследует функционирование экономической системы в целом и крупных ее секторов. Объектом ее изучения являются национальный доход и общественный продукт, совокупные потребитель-

ские расходы и сбережения, деньги и экономическая деятельность государства, общий уровень цен и инфляция.

В свою очередь микросоциология определяется как область социологического знания, ориентированная на изучение сферы непосредственного социального взаимодействия (межличностных отношений и процессов социальной коммуникации, сферы повседневной реальности и т. д.). К микроуровню относится также анализ социальных групп, находящийся на стыке с социальной психологией — членство, структура, групповая идентичность, внутригрупповое взаимодействие (отношения власти, способы коммуникации, распределение ролей и т. д.). Макросоциология традиционно ассоциируется с анализом крупномасштабных социальных явлений и связана с агрегатными моделями социальных структур (наций, государств, социальных институтов и организаций, классов, социальных групп и т. д.).

Как видно из этих стандартных определений, несмотря на вполне естественные различия в конкретных определениях предмета, общий подход к разделению микро- и макрообъектов анализа в экономике и социологии (а также в социальной психологии) оказывается достаточно однотипным. На микроуровне объектом анализа выступает поведение экономических или социальных субъектов и их локальное взаимодействие.

Разделение предметных областей микро- и макроанализа сопровождается формированием специализированного инструментария изучения соответствующих объектов. Иными словами, различие в предмете неотделимо от различия в методе. И в экономике, и в социологии для анализа микро- и макроявлений и процессов используются разные теории, концепции, подходы, методы, предпосылки, исследовательские процедуры, способы представления материала и т. д.

Заметим, что деление объектов анализа на «микро» и «макро» ни в экономике, ни в социологии не является абсолютно жестким. Здесь, в частности, проявляется обратная связь между предметом и методом — не только специфика предмета диктует необходимость выработки специальных методов его анализа, но и использование конкретных теорий, концепций или предпосылок определяет трактовку объекта их приложения как «микро» или «макро».

Таким образом, микроподход (в не меньшей, если не в большей степени, чем макроподход) связан с определенными концепциями, подходами или моделями. Микроанализ в социальных науках — это прежде всего некая область теоретических исследований (что, естественно, не исключает проведение соответствующих данным теориям эмпирических разработок).

Как показывает опыт экономической науки и социологии, сам по себе микроанализ не является школой или направлением. Последние возникают в рамках микроаналитического подхода. Но большинство историков не очень считается с этим опытом, и часто микроистория определяется как направление, представленное итальянскими историками, группирующимися вокруг журнала «*Quaderni storici*» и серии «*Microstorie*», выходившей в издательстве «Эйнауди». Эта дефиниция, конечно, не вполне соответствует требованиям, предъявляемым к определению научных школ. Но, может быть, за географическим названием стоит школа (как франкфуртская или чикагская)? Или знаковое значение для посвященных имеет само название журнала (подобно «*Анналам*»)? Отчасти верно и то, и другое. Но если франкфуртская школа, чикагская школа или школа «*Анналов*» отличались, прежде всего, методологическим единством, то, как справедливо замечает Эдоардо Гренди, ученым, выдвинувшим программу микроисторических исследований, «не было свойственно единство мнений по многим вопросам (как теоретического, так и практического характера), которое дало бы им чувство принадлежности к одной школе»⁶.

Кроме того, если быть точным, применение микроанализа в исторической науке начинается в другом месте и в другое время. Известная статья американцев Альфреда Конрада и Джона Мейера 1958 г., с которой начинается клиометрика или новая экономическая история, — это не что иное, как микроистория, и в рамках экономической истории микроанализ интенсивно развивался в последующие десятилетия. Сюда же справедливо отнести школу новой локальной истории, представители которой (Уильям Хоскинс, Герберт Финберг) отказались от локально-

⁶ Гренди Э. Еще раз о микроистории [1994] // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории 1996, 1997. С. 292.

территориального принципа, сосредоточившись на описании и анализе реально существовавших социальных организмов. Социологическая теория обмена Джорджа Хоманса стала использоваться в английской историографии уже в конце 1960-х годов. Уильям Хоскинс не только применил микросоциологические теории в историческом исследовании, но и задумывался о возможности введения в научный оборот термина «микроистория», однако отказался от этой идеи. Но благодаря итальянцам термин утвердился, и микроистория была институционализирована.

Так же, как в социологии, обращение к микроанализу в истории было реакцией на доминирование макроподхода. Как писали Карло Гинзбург и Карло Пони в одном из текстов, положившем начало систематическим размышлениям о микроистории, «большой успех микроисторических реконструкций находится во взаимосвязи с возникающими сомнениями по поводу известных макроисторических процессов»⁷.

Другая важная причина появления микроистории — сциентистская реакция на постмодернизм. Так, Джованни Леви подчеркивает антирелятивистский настрой и стремление к формализации, которые присутствуют в работе микроисториков. Эту же мысль проводит Карло Гинзбург:

«В последнее десятилетие Джованни Леви и я все время polemизировали с релятивистскими взглядами, сводящими историографию к текстуальному измерению и лишаящий ее какой бы то ни было познавательной ценности». В итальянской микроистории «акцентирование конструктивного начала, присущего исследованию, сочеталось с четким отказом от скептических (постмодернистских, если угодно) выводов, столь широко распространенных в европейской историографии 80-х — начала 90-х годов»⁸.

В середине 1950-х годов Конце написал, что «время одинокого историка прошло». На самом деле это не так — занятия историей по-прежнему требуют уединенности, и большинство

⁷ *Ginzburg C., Poni C. Was ist Mikrogeschichte? // Geschichtswerkstatt, 1985, Н. 6. S. 49.*

⁸ *Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю [1994] // Современные методы преподавания новейшей истории / Ред. А. О. Чубарьян и др. М.: Европейский ун-т, 1996. С. 226.*

историков, даже причисляющих себя к какой-либо школе, остаются «одинокими старателями». Но, может быть, микрообъект как раз посилен «одинокому историку», который именно при ограниченном размере изучаемого объекта в состоянии одновременно освоить источниковую базу, овладеть соответствующей социальной теорией и адаптировать ее к прошлому. Сегодня мы имеем достаточно много интересных примеров конструирования микроистории по образу и подобию микросоциологии и микроэкономики с применением соответствующих концепций.

Исследовательские интересы Джованни Леви, Карло Пони, Карло Гинзбурга или представителей английской новой локальной истории отличаются разнообразием. Они свободно оперируют набором имеющихся социальных теорий микроанализа, прикладывая их к экономическим, социальным, политическим и культурным объектам. Так, некоторые итальянские историки не только разрабатывали микроэкономическую и микросоциологическую проблематику, но и, опережая политическую науку, осуществили исследования по микрополитологии в истории.

То, что микроисторический подход оказался примененным к политической истории, вообще знаменательно, ибо как раз в 1960-е годы с той же категоричностью, с какой век назад политическую историю относили к самой передовой отрасли исторического знания, ее стали числить чуть ли не самой теоретически отсталой. Для того чтобы она смогла присоединиться к «новым» историческим субдисциплинам, потребовалось ее полное методическое переоснащение: конструирование структур, использование методов социального анализа и достижений семиотики.

Программа, намеченная в начале 1970-х годов Жаком Ле Гоффом для теоретического переоснащения политической истории, в значительной мере реализовалась именно в микроисторических исследованиях. Развитие микроанализа в политической истории было также связано с применением антропологических и социологических понятий (таких, как клиентела, *файда*, посредники или «социальная практика») и моделей (например, «изучения феноменов коммуникации») и стало одним из редких примеров теоретического авангардизма в исторической науке.

Наконец, еще одно беспорное достижение микроистории от-

носится к области выполнения информационной функции — сбора и обработки источников. Результатом пристального изучения прошлого, основанного на микроанализе, стало создание новых типов коллекций источников.

Дискуссионные вопросы

1. Генерализация и индивидуализация. Представление о том, что цель микроисторических исследований состоит «не в воспроизведении панорамы явлений или процессов, но в осмыслении поведения одного или группы индивидов или же в переосмыслении какого-либо одного конкретного события»⁹, способствовало оживлению старой дискуссии о генерализирующем и индивидуализирующем подходе. Надо сказать, что дебаты по этому вопросу, давно решенному в социальных науках, в историографии возрождаются всякий раз, когда речь идет об изучении традиционных «индивидуальных» объектов; особенно это касается истории событий. Что уж говорить об исследовании, ориентированном на микрообъект.

В контексте привычных историку дихотомий: общее—особенное (частное), массовое—единичное, закономерное—случайное — микроистория, естественно, тяготеет ко второму компоненту. Однако, вопреки представлениям многих историков, история здесь не специфична. В любой науке изучается как общее, так и особенное, но изучение особенного (частного) всегда подразумевает наличие общего, концептуализированного в явном виде. И в решении вопроса об отношении уникального объекта, изучаемого с помощью микроанализа, к типичному, общему и т. д., историки, к сожалению, тоже делятся на «хорошо» и «не так хорошо» образованных.

Говоря о противопоставлении генерализирующего и индивидуализирующего познания применительно к микроистории, Джованни Леви пишет:

«... Мы считаем, что микроанализ есть анализ отдельных примеров... ради упрощения процедуры анализа: селекция позволяет

⁹ *Бессмертный Ю. Л.* Как писать историю. Французская историография в 1994–1997 гг.: методологические веяния. М.: ИВИ РАН, 1998. С. 3.

проиллюстрировать на примерах общие концепции в определенной точке реального мира»¹⁰.

При этом, как подчеркивает Леви, в рамках микроанализа взаимодействие общего (массового) и единичного идет не только от первого ко второму (проверка общих теорий на практике), но и в обратную сторону — от единичного наблюдения к теоретическим обобщениям. Микроистория

«не склонна отринуть всякую абстракцию: малозаметные признаки или отдельные казусы могут содействовать выявлению более общих феноменов. В слабой науке... даже мельчайшее несоответствие <постулированным ранее общим закономерностям. — *И. С., А. П.*> образует такие знаковые показатели, которые могут стать общезначимыми»¹¹.

Такой подход не закрывает перспективу «общего», а в определенном смысле раздвигает ее, позволяя идентифицировать новые, не обнаруживаемые на макроуровне тенденции. «Нормальное исключение» подразумевает документы и факты, которые только кажутся исключительными, а на самом деле способны открыть для историка пласты, в которых эти исключения являются нормой, или даже заставить усомниться в господствующей парадигме.

Но наряду с таким подходом, который с позиций современной социальной теории может быть охарактеризован как здравый, не составляет большого труда найти, например, высказывания, связывающие возникновение микроистории с «инстинктивным предпочтением дисциплины, которая относится с недоверием к общим формулировкам и абстракциям»¹².

2. Мелочи и подробности. В процессе концептуализации микроисторического подхода зачастую смешиваются проблемы

¹⁰ *Леви Дж.* К вопросу о микроистории [1991] // Современные методы преподавания новейшей истории / Ред. А. О. Чубарьян и др. М.: Европейский ун-т, 1996. С. 170.

¹¹ Там же. С. 184.

¹² *Ревель Ж.* Микроанализ и конструирование социального [1994] // Современные методы преподавания новейшей истории / Ред. А. О. Чубарьян и др. М.: Европейский ун-т, 1996. С. 237.

специфики объектов микро- и макроанализа, с одной стороны, и степени детализации исследования — с другой, которые лежат в разных плоскостях. Этому, к сожалению, отчасти способствовало известное высказывание Джованни Леви: «Микроистория означает не разглядывание мелочей, а рассмотрение в подробностях»¹³. И хотя Леви, как отмечалось выше, пожалуй, наиболее четко выстраивает микроисторию по канонам соответствующих разделов социальных наук, это выражение явно не согласуется с общепринятыми представлениями о микроанализе. Дело в том, что и в экономике, и в социологии микроанализ отличается от макроанализа именно «разглядыванием мелочей», т. е. изучением «мелких» объектов, а отнюдь не степенью детализации исследования («рассмотрением в подробностях»).

Проще всего это различие пояснить на примере экономики. Как отмечалось выше, типичным микрообъектом является фирма, столь же типичным макрообъектом — государство. В свою очередь типичным источником информации о деятельности фирмы является ее баланс (доходов/расходов или активов/пассивов), а главным источником сведений о государственной экономической политике — государственный бюджет (который также является не чем иным, как балансом государственных расходов и доходов).

Оставляя в стороне различия между теориями фирмы и теориями государственного регулирования экономики, на эмпирическом уровне балансы фирмы используются в микроанализе, баланс государственных расходов и доходов (бюджет) — в макроанализе. При этом подразумевается, что по сравнению с государственными финансами баланс фирмы — микрообъект («мелочь»), хотя на практике это далеко не всегда верно (например, если мы сопоставим оборот «Дженерал моторс» и государственный бюджет Лихтенштейна).

Совершенно очевидно, что как баланс фирмы, так и баланс государственного бюджета могут публиковаться и изучаться с самой разной степенью детализации. Например, при публикации в прессе в доходной и расходной частях обоих балансов выделяется всего несколько высокоагрегированных статей. На самом

¹³Цит. по: Медик Х. Микроистория [1994] // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 193.

же деле и баланс фирмы, и баланс государственного бюджета состоят из сотен, если не тысяч статей доходов и расходов. Чем выше степень детализации баланса («рассмотрения подробностей»), тем больше исследователь может сказать о деятельности фирмы или государства. Именно поэтому так называемые «полные» балансы недоступны для широкого ознакомления и составляют предмет коммерческой или, соответственно, государственной тайны.

В любом случае даже максимально подробный баланс государственного бюджета не делает его объектом микроанализа, равно как и самый агрегированный баланс фирмы не превращает его в макрообъект.

3. Понятия и образы. В ходе международной дискуссии по проблемам микроистории, развернувшейся в 1990-е годы, некоторые научные понятия (концепции), используемые представителями итальянской микроистории, начали трактоваться как образы, и, наоборот, некоторые образы стали применяться для концептуализации микроистории. В результате исходные тезисы приобретают некий новый смысл, который может существенно отличаться от первоначального. В качестве примера мы рассмотрим два таких случая или «казуса».

Первый связан с понятием «масштаб», который в работах микроисториков используется в качестве концепта. Концепция «масштаба социального взаимодействия» была предложена социологом и антропологом Фредриком Бартом. В соответствии с ней масштаб является важной характеристикой социального взаимодействия, которая включает числовые параметры взаимодействия и его различные пространственные среды. В рамках этого подхода делается попытка

«описать разные комбинации масштабов взаимодействия в различных существующих социальных организациях, чтобы измерить роль, которую они играют в отдельных сферах жизни, придавая им особую форму»¹⁴.

Здесь, как подчеркивает Джованни Леви,

¹⁴ *Barth F. Conclusions // Scale and Social Organization / Ed. F. Barth. Oslo, etc.: Universitetsforlaget, 1978. P. 253–273 (P. 273.*

«масштаб есть предмет анализа и служит для измерения реальных параметров поля взаимодействия, но вовсе не <способ изображения объекта> и <не> процедура анализа»¹⁵.

В понятийном аппарате микроистории термин «масштаб» стал весьма популярным и с энтузиазмом использовался многими авторами. Однако данное слово стало применяться не для обозначения предмета анализа («масштаба социального взаимодействия»), а в качестве характеристики метода изображения в соответствии с первоначальным значением слова «масштаб». Наконец, это слово стало активно использоваться и в переносном смысле, как синоним «размера, размаха», в результате чего возникла окончательная путаница с тем, что такое «мелкий» и «крупный» масштаб.

Другое ключевое слово — «микроскоп», с которым произошло обратное превращение. Появившись впервые в качестве метафоры в одной из работ Джованни Леви, «микроскоп» стал очень популярным образом при разъяснении непосвященным или сомневающимся, чем же собственно занимаются историки-микроаналитики. Но со временем понятие микроскоп стало применяться чуть ли не как концепт (в том числе в словосочетании «микроскопическое исследование»), используемый для определения сущности микроисторического анализа.

Известно, что метафоры и аналогии — вещь в науке не безопасная. Тем не менее, коль скоро представители микроистории выбрали для себя такую аналогию, мы тоже проследуем некоторое время по этому пути, но затем все же сойдем с него как не слишком плодотворного.

Как известно, микроскоп используется в качестве одного из инструментов в микробиологии. При этом объектом микробиологического анализа являются микробы (в современной терминологии — микроорганизмы). Поэтому при обсуждении микроистории в «биологических» терминах естественно прежде всего задаться вопросом, что в этом случае является микроскопом, а что — микробом? Иными словами, как в микроисторическом

¹⁵ *Леви Дж.* К вопросу о микроистории [1991] // Современные методы преподавания новейшей истории / Ред. А. О. Чубарьян и др. М.: Европейский ун-т, 1996. С. 169.

анализе концептуализируются инструментарий и объекты исследования? Именно с ответов на эти вопросы, как мы попытались показать выше, начинается концептуализация микроанализа в общественных науках, занимающихся современностью.

Образ микроскопа не вполне применим к микроисторическим исследованиям и еще по одной причине. Дело в том, что изобретение микроскопа позволило обнаружить нечто такое, о существовании чего естествоиспытатели раньше не подозревали (микроорганизмы). Так ли это в микроистории? Удалось ли микроисторикам изобрести новые инструменты анализа? Были ли в ходе этого анализа обнаружены некие неведомые ранее обществу микрообъекты? Пожалуй, нет — большинство методов и объектов исторического микроанализа давно известны в социальных науках и лишь заимствованы оттуда историками.

4. Взаимодействие микро- и макроанализа. В принципе эта тема уже появляется в историографических дебатах, но, как показывает опыт экономической науки и социологии, данная проблема далеко не так проста, как это представляется некоторым историкам. Позиция многих участников дискуссии сводится к формуле «пусть расцветает сто цветов» — пусть будет и микро-, и макро-, и вообще любая история. Если же обсуждается проблема «синтеза» микро- и макроистории, то одни участники дискуссии выступают в защиту синтеза макро- и микроуровней, другие настаивают на его принципиальной недопустимости. Одни обеспокоены «раздроблением истории», другие вдохновляются открывающимися возможностями «смены парадигм». Дело, однако, не столько в программных установках «за» или «против» «синтеза», сколько в объективных трудностях, о которых хочется напомнить.

Если долгое время макроаналитические модели служили инструментом для истолкования локальных процессов, то с появлением микроистории возникает другое искушение — использовать микроисторические исследования в качестве «первичных блоков» для построения макроисторических нарративов. Но, как показывает опыт полувековых дискуссий о соотношении макро- и микроанализа, ведущихся в экономике и социологии, эти два подхода не сводимы один к другому.

В настоящее время микроистория как самостоятельное направление аналитической историографии еще находится в периоде становления, который в других общественных науках (и, прежде всего, в экономике и социологии) завершился несколько десятилетий назад. Количество работ, которые однозначно относятся к микроуровню исторического анализа, пока сравнительно невелико (напомним, что к микроисторическому направлению мы относим работы, в которых используются элементы теоретического анализа микросоциальных объектов). В то же время, например, в экономической науке количество работ в области микроэкономики многократно превышает число работ из сферы макроанализа, а в последние годы и в социологии соотношение микро- и макроисследований начинает складываться в пользу первых, не говоря уже о социальной психологии, где, как отмечалось выше, абсолютно подавляющее большинство исследований ведется на микроуровне (на основе изучения малых социальных групп).

В целом многие предпосылки и составляющие научного исторического исследования — соответствие ресурсов историков задачам работы, проводимой с учетом достижений современной социальной теории; модификация социальных теорий с учетом времяположения объекта; возможность «экспериментальной» проверки теории; реальность создания достаточно полных информационных баз, описывающих анализируемые объекты, — характеризуют именно микроисторию. Поэтому нам представляется, что у этого направления неплохие перспективы. Но при этом надо учитывать, что ряды микроисториков пока крайне малочисленны, и, при существующих сегодня эпистемологических и институциональных ограничениях, вряд ли приходится ожидать значительного роста микроисторических исследований.

По понятным причинам более всего микроистория распространяется в специфических направлениях фрагментированной историографии: локальной истории, истории повседневности, истории семьи. Но нам кажется, что и у любителей исторического синтеза после ряда разочарований, связанных с невозможностью «синтезировать» все, что составляет социальную реальность, появился достойный воплощения «микроисторический» идеал в виде «тотальной истории».

Глава 10

ИСТОРИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Одной из характерных черт историографии второй половины XX в. было использование для анализа прошлой социальной реальности теорий разного уровня, созданных в иных социальных и гуманитарных науках. Эта тенденция обсуждается в большом числе работ, посвященных «историографическим поворотам» (к экономической, социальной, психологической антропологии и т. д.), и мы довольно подробно осветили эту тему в главе 3. Здесь же мы хотим предложить некоторые более общие соображения о модусе существования исторической дисциплины среди других социальных и гуманитарных наук, о моделях междисциплинарного взаимодействия.

Если предположить дальнейшее развитие модели историографического анализа, суть которой может быть обозначена фразой «за поворотом — поворот», то основная интрига будет заключена в вопросе: что там, за очередным поворотом? Иными словами, в фокусе нашего внимания находится проблема междисциплинарности, которая применительно к истории отличается явно выраженной спецификой и проявляется в двух основных конфигурациях, которые можно обозначить как «стратегия присвоения» и «специализация по времени».

Хотя междисциплинарность как методологическая проблема историков вышла на первый план лишь во второй половине XX в., сам междисциплинарный подход в области методологии стал отличительной чертой аналитической историографии по существу с момента ее формирования. Достаточно взглянуть

на это направление исторического знания еще в XIX в., чтобы понять, что аналитическое историческое знание, будь то утверждающаяся марксистская историография, геоистория или социально-культурная история, уже в период самоопределения находилось в зависимости от методологического инструментария различных социальных и гуманитарных наук. Однако бесспорно, использование методов других наук оказывалось плодотворным лишь при сохранении за историей собственных способов конструирования прошлой социальной реальности.

Во второй половине XX в. продолжалось активное размежевание социальных и гуманитарных наук, их оформление, в том числе и институциональное, в самостоятельные дисциплины. К сожалению, процесс разделения труда и специализации в большинстве случаев не сопровождался развитием общих междисциплинарных взаимосвязей. Когда такие взаимосвязи возникали, они, как правило, осуществлялись в форме опять-таки относительно специализированных областей (экономическая социология, социальная психология, психолингвистика и т. д.), которые или выделялись в самостоятельные дисциплины, или оказывались локализованными и относительно замкнутыми сегментами одной из «исходных» областей науки. В этом смысле история не оказалась исключением, и мы попытаемся показать некоторые выгоды и издержки, обусловленные таким выбором.

Однако проблема междисциплинарности применительно к истории отличается и явно выраженной спецификой. В последние полвека историки практически не производят собственно «исторических» теорий. Примеры важных исключений, появившихся, впрочем, уже довольно давно немногочисленны: «Два тела короля» Эрнста Канторовича (1957), положившая начало «церемониалистскому» направлению в историографии; теория трех уровней социальных изменений Фернана Броделя (1958); теория детства в эпоху раннего Нового времени Филиппа Арьеса (1960); из относительно недавних — «долгое Средневековье» Жака Ле Гоффа (1985). В основном же историки, создавая крупные концептуальные работы, решали проблему методологического обновления, обращаясь к теориям разных социальных и гуманитарных наук (позднее этот процесс получил название «стратегия присвоения»).

1. «Стратегия присвоения»

С середины 1950-х годов появляются работы нового поколения о месте истории среди социальных наук. Преимущественно это были рассуждения о роли социальных наук в исторических трудах, так как речь в них шла скорее о возможностях, связанных с использованием социальных теорий. Затем, в 1960-е годы, наступает период реализации этих возможностей, отмеченный энтузиазмом и уверенностью в совершенно новых перспективах, открывающихся перед историками. Казалось, стоит только задаться целью и овладеть теориями и методами социальных и гуманитарных дисциплин, и история приобретет достойный «научный» облик, а главное — ее ожидает нескончаемая череда открытий. Факт активного вторжения социальных наук в историю зафиксировали три специальных выпуска «Times Literary Supplement» в 1966 г., в которых ряд молодых социальных историков (Ричард Кобб, Эдвард Томпсон и др.) провозгласили трансформацию своей дисциплины с помощью теорий и методов антропологии, социальной теории и статистики.

Активное экспериментирование историков с современными социологическими теориями — социальной стратификации, модернизации, власти, конфликта и др. — началось с появлением «новой» социальной истории во Франции, Англии, Германии, США. В результате обнаружили совершенно иные возможности для анализа исторического материала. Методология новой социальной истории во многом была инспирирована марксистской историографией, но в результате дала модели ее «ревизионистского» преодоления. Более того, на базе некоторых важных работ, созданных, например, английскими историками-марксистами, стали возможны дальнейшие прорывы в области социальной истории, истории низов и даже культурной истории (рабочей культуры, плебейской культуры).

В итоге достаточно тесного союза истории с социальными дисциплинами, который реализовали ведущие западные историки, 1960-е годы становятся водоразделом в развитии научного исторического знания. Социальная и экономическая истории, почти не встречая сопротивления, завоевывают передовые позиции в историографии, опираясь на социологические и эконо-

мические макротеории, структурный анализ и количественные методы работы с источниками. Вслед за их становлением и по тому же образцу начинается «экспроприация» историками достижений других социальных и гуманитарных наук.

Одной из самых востребованных историками областей знания становится культурная антропология. На ее теориях и во многом методах строится историческая антропология, история ментальности, история повседневности и даже «новая» политическая история. В немалой степени популярность антропологов среди историков можно объяснить тем, что антропологи, как и историки, повествуют о Других. И еще историкам явно импонирует, что, по необъяснимому стечению обстоятельств, ведущие современные антропологи, говоря словами Лоуренса Стоуна, «писали и пишут, словно ангелы», чего не скажешь о представителях других социальных наук.

Займствования теорий из разных социальных наук, как отмечает американский историк Ричард Эванс, принесли много хороших результатов:

«Например, без марксистской теории городская и рабочая история была бы в огромной степени обеднена, и такая классическая работа как книга Томпсона “Формирование рабочего класса в Англии” никогда не была бы написана. Без современной экономической теории историки не понимали бы индустриализации и не знали бы, как читать или использовать количественные и другие источники»¹.

В основе «стратегии присвоения», как называли этот процесс французские историки, имплицитно заложена идея, что история, которую можно рассматривать как социальную науку, анализирующую прошлые, уже несуществующие общества, естественным образом может опираться на теоретический аппарат социальных наук, занимающихся современностью. Начиная с 1960-х годов, обновление историографии происходит в высоком темпе, и повсеместно в ней складывается следующая модель взаимодействия: социальная дисциплина — соответствующая историческая субдисциплина — выбор макро- (позднее и микро-) теории — ее применение к историческому материалу.

¹ *Evans R. J.* In Defence of History. London: Granta Books, 1997. P. 83.

Эта модель перевернула те отношения истории с социальными науками, которые существовали в позитивистской парадигме. Если в XIX в. предполагалось, что история должна собирать эмпирический материал для социальных наук, чтобы они на его основе могли создавать теории, то теперь, наоборот, социальные науки становятся «поставщиками» теоретических концепций для истории. В 1974 г. Эмманюэль Ле Руа Ладюри писал:

«Представителей более сложных дисциплин мы пропускаем вперед, в разведку, часто с угрозой для жизни, через минные поля, лежащие на общем пути. Что же касается нас, историков, то мы широко пользуемся богатствами, накопленными отраслями знания, обладающими количественными характеристиками, а именно: демографией, экономикой, даже эконометрикой. Мы без стыда заимствуем — хотя и возвращаем сторицей... из кладовой этнологии»².

«Стратегия присвоения» осуществляется в исторических исследованиях в разных формах. Осмысливая использование историками концепций других наук о человеке и обществе, Андре Бюргер привел несколько характерных вариантов теоретического заимствования, реализованных в известных работах по исторической антропологии (см. *Вставку 1*).

В последние десятилетия резко возрос престиж исторических работ, апеллирующих к той или иной социальной теории. Если до второй половины XX в. историки четко делились на теоретизирующее меньшинство и эмпирическое большинство, то сейчас

«Лексика исторических исследований кишит знаками показного коленопреклонения перед загадочными письменами полубогов. Ныне эти ученые цитируются в предисловиях ко многим книгам или статьям, как будто само упоминание их священных имен придаст ореол и смысл тому, что авторы подобных работ довольно помпезно предпочитают сейчас называть своим “дискурсом”. Среди западных историков ссылки на авторитеты сегодня почти в такой же моде, как в свое время в России при Сталине. Например, автор статьи, опубликованной недавно в одном из британских исторических журналов, умудрился враз упомянуть следу-

²Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история [1974] // THESIS. 1993. Вып. 2. С. 157–158.

Вставка 1. Варианты «стратегии присвоения»

«В зависимости от темперамента историка можно выделить несколько стилей заимствования, несколько типов междисциплинарных обращений к этнологии, например, модель Дюби, который стремится акклиматизировать экзотический концепт, заимствованный у этнологии, что придает историческому анализу необычный колорит. Само заимствование необходимо при этом лишь для решения одной проблемы или создания одной книги... В “Обществе Макконэ в XI–XII вв.” используются структуры родства Леви-Строса, согласно которым появление родовых связей и родового сознания можно считать основой складывающейся системы господства. В исследовании “Воины и крестьяне” Дюби заимствует у Мосса понятие дара и показной щедрости. В книге “Тройственное устройство общества, или Мир воображаемого в эпоху феодализма” он, как об этом говорит уже заголовок, применил к своему историческому материалу сетку анализа трехчастного деления Дюмезиля.

Модель Ле Руа Ладюри, в том виде, в каком она представлена в “Монтайю”, книге-эмблеме, покорившей широкую публику, наоборот, носит эклектический и энциклопедический характер. Книга не только предлагает перечень тем, которые будет включать в себя историческая антропология, но и без всякого предубеждения черпает необходимый материал из классической и новейшей литературы по этнологии. Документальный материал монографии — исторический, тема уже менее исторична (анализ проводится не на региональном уровне, а на материале жизни деревни). Сетка анализа — полностью этнологическая: Рэдклифф-Браун, а также Ван Геннеп, Лич, Эванс-Притчард. Для интерпретации привлекаются такие авторитеты, как Мосс, Поланьи, Чаянов, Бурдьё, Леви-Строс.

Недавно в результате развития микроистории появилась третья модель заимствований, которую я назвал бы имитационной, поскольку она заимствует у этнологии как концепты, так и способ изложения. Ограничимся лишь одним наиболее удачным примером модели третьего типа взаимоотношений между историей и этнологией — оригинальным экзотичным описанием одного происшествия в Париже XVIII в. в работе “Великая кошачья резня” Роберта Дарнтона, где до полного подражания имитируется техника анализа Клиффорда Гирца в его “Петушином бою в Байи”³.

³ Бюргьер А. Историческая антропология и школа «Анналов» // Антропологическая история: подходы и проблемы. Материалы российско-французского научного семинара. М.: РГГУ, 2000. С. 8–9.

ющие имена: Соссюр, Барт, Лиотар, Деррида, Альтюссер и Лакан из Франции; Ницше и Хайдеггер из Германии; Стэнли Фиш, Хейден Уайт и ЛаКапра из Америки»⁴.

Подобной «легкости мыслей» способствует институциональный механизм «стратегии присвоения» в историографии, который чаще всего выглядит следующим образом: один-два историка действительно осваивают какую-то теорию и начинают использовать ее в своих работах, а все остальные отталкиваются уже от этого вторичного изложения. Поэтому формально к тем или иным теориям в наши дни отсылается множество авторов исторических трудов, однако далеко не все из них используют эти теории по существу, не говоря уже об их творческом развитии.

Повышение популярности теоретического знания и степени знакомства историков с современными социальными концепциями (сколь бы поверхностным иногда оно ни было) объясняется целым комплексом очевидных предпосылок. Сами социальные и гуманитарные науки должны были не только установиться, но и достаточно развиться, чтобы из них можно было с большей определенностью выбирать теории, обещающие новые перспективы в изучении прошлого. Кроме того, разработанные в обществоведении теории и их авторы должны были стать достаточно известными или даже популярными. И, наконец, должна постоянно воспроизводиться необходимая для создания нового знания неудовлетворенность, ощущение очередного эпистемологического «кризиса» — разочарование в старых подходах, чувство исчерпанности возможностей.

Процесс обращения историков к тем или иным социальным теориям не всегда легко объяснить, если иметь в виду только познавательные задачи, поставленные научным сообществом. Здесь действует и такой фактор, как научная мода, в данном случае — мода на ту или иную школу, концепцию, автора. Иногда мода отражает важность научных результатов, полученных в других дисциплинарных областях, иногда же возникает без видимых эпистемологических причин.

⁴ Стоун Л. Будущее истории // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 168.

На волне моды могут возникать как устойчивые направления, так и фантомы. Так, внедрение в историографию подходов постмодернистской социальной философии, которое по времени почти совпало с социологизацией истории, дало скорее внешние, чем реальные результаты (отсутствие четкости мысли и изложения, использование модных словечек — текст, контекст, интертекст, гипертекст, дискурс, различение, тело и т. д.).

В науке существует своеобразная мода не только на теории и термины, но и на имена. Как справедливо отмечает Питер Бёрк:

«Мы живем в век расплывчатых линий и открытых интеллектуальных границ, век одновременно волнующий и приводящий в замешательство. Ссылки на Михаила Бахтина, Пьера Бурдьё, Фернана Броделя, Норберта Элиаса, Мишеля Фуко, Клиффорда Гирца можно найти в работах археологов, географов и литературных критиков, так же как и в работах социологов и историков»⁵.

Историческая наука и в этом смысле не представляет исключения. Надо отдать должное Бёрку, который ограничил свой реестр действительно достойными мыслителями и не включил в него целый ряд весьма популярных, но спорных, с точки зрения позитивного вклада в социальную науку, имен. Впрочем, полагаем, что и у перечисленных Бёрком ученых есть лимит на доверие: далеко не все идеи «классиков» оказываются бесспорными. При использовании «классических» концепций следует учитывать временную дистанцию и исторические условия (в том числе и политические) их создания.

Не всегда, впрочем, научная мода оказывает на историографию лишь поверхностное воздействие. В качестве примера можно привести одно «неповоротное», но очень влиятельное историографическое направление — контрфактическую историю, которая в 1960–1970-е годы казалась весьма многообещающей. Контрфактическая история представляла собой попытку использования методов экономико-математического моделирования, применяемых для прогнозирования будущего. Это направление в историографии стало возможным на стадии кон-

⁵ *Burke P.* History and Social Theory. Ithaca (NY): Cornell Univ. Press, 1993. P. 21.

струирования исторических моделей, хотя его прообразом можно считать анализ прошлой социальной реальности по принципу «если бы ... то». Но, в отличие от такой конструкции, контрфактическая модель строится не столько для определения степени неизбежности исторических событий, сколько для анализа *значимости* конкретных процессов и явлений в истории.

Суть контрфактического подхода состоит в том, что историк, исходя из той или иной идеи, имитирует контрфактическую ситуацию, строит ее модель и, сравнивая полученные конструкции с действительностью, заключает, что именно влияло на историческое развитие. Конструируются модели, основанные на допущении того, что не случилось, или исключении того, что на самом деле случилось в истории. При этом модель нередко выступает как критерий для оценки исторической реальности, т. е. имеет аксиологический характер.

Мотивы для создания и анализа контрфактических моделей различны. Первый — это имитация альтернативной исторической ситуации. В этом случае дает о себе знать известный историкам соблазн определить значимость того или иного события или процесса. Действительно ли железные дороги сыграли во второй половине XIX в. важную роль в стимулировании экономического роста (Роберт Фогель)? На самом ли деле институт рабства в США был препятствием для экономического развития (Роберт Фогель и Стенли Энгерман)? Правда ли, что наличие помещичьего землевладения негативно сказывалось на развитии российского сельского хозяйства (Иван Ковальченко и Леонид Милов)? Действительно ли массовая иммиграция ирландцев-католиков в США в XIX в., со всеми вытекающими из нее последствиями для американской политической культуры, была вызвана картофельным голодом в Ирландии (Кевин О'Рурке)? Предполагалось, что если в качестве доводов выдвигаются не умозрительные рассуждения, а математические расчеты, то новые ответы на старые вопросы заслуживают большего доверия.

Второй мотив, ведущий к построению контрфактических моделей, как нам представляется, лежал уже отчасти за пределами научных задач. Речь идет о стремлении к парадоксальным результатам, некоем вызове со стороны более «передовых», т. е. умеющих строить математические модели, историков. Впрочем,

подобные соображения сильно потеряли в привлекательности в последние десятилетия, ибо оказалось, что использование математических методов не внесло коренных изменений в возможности исторического анализа.

2. Издержки заимствования

Сформировавшаяся в историографии в последние полстолетия «стратегия присвоения» сталкивается с несколькими опасностями, каждая из которых связана с утратой «чувства времени».

Прежде всего, в работах историков зачастую наблюдается своего рода «теоретическое запаздывание», объясняемое использованием достаточно давних и уже не вполне адекватных, с точки зрения современной науки, теорий. Бывает, что в центре внимания историков оказываются теории «классиков», утратившие актуальность в контексте своей дисциплины. Там могут царить уже совсем другие кумиры, а историки часто идут по старым следам. Не говоря уже о непреходящей популярности Карла Маркса, теоретические исторические работы насыщены отсылками к сочинениям Зигмунда Фрейда, Эмиля Дюркгейма, Макса Вебера, Люсьена Леви-Брюля, ранним работам Норберта Элиаса и т. д.

Причины для подобного временного лага разные: информационный отрыв; трудности, естественным образом связанные с ориентацией в «чужой» дисциплине и возможностями оценки потенциала новых теорий; профессиональная неготовность к усвоению сложных концепций и др. Но это уже, насколько мы можем судить, не специфика истории. Во многих междисциплинарных направлениях из-за неточного выбора концепции возникает «плохая смесь».

Типичный пример из области исторического знания — психоистория, возникшая в 1960-е годы и полагавшаяся на теорию Зигмунда Фрейда. Вначале это направление быстро возвысилось благодаря таланту Эрика Эриксона, выступившего с работой «Молодой Лютер: психоаналитическое историческое исследование» (1958). Области, где потенциально мог использоваться психоанализ, выглядели достаточно разнообразно: исследование

выдающейся личности, анализ культурной традиции, изучение социальных групп с отклоняющимся поведением. Психоанализ оказал большое влияние и на жанр исторической биографии.

Вскоре, однако, проявилась ограниченность возможностей психоанализа для исторической дисциплины, и в целом расцвет психоистории оказался непродолжительным. Прежде всего выявилось важное теоретическое препятствие: безусловная трудность использования методов Фрейда по отношению к умершим, психоанализ *документов*, а не *людей*.

Кроме того, возникло и эмпирическое препятствие: психоанализ во фрейдистском духе основывается на изучении детства пациента, а такие материалы у историка, как правило, практически отсутствуют. Не случайно психоистория в книгах Эриксона заметно ушла от Фрейда, в том отношении, что Фрейда интересовало главным образом детство, а Эриксона в его героях занимали прежде всего поиски более зрелой идентичности, духовные кризисы, которые они переживали во взрослом возрасте.

Но главным препятствием оказалась устарелость теорий самого Фрейда, особенно его ранних идей. Основанное им направление интенсивно развивалось в XX в., и в итоге сформировалось множество новых, достаточно разнообразных и во многом конкурирующих концепций «глубинной психологии» — неофрейдизм, аналитическая психология, индивидуальная психология, экзистенциальный анализ и т. д. Историки были, как правило, или не знакомы с этими новыми течениями, или плохо различали их.

Адепты другого «психологического» направления в историографии — «исторической памяти» — вообще проигнорировали современную социальную психологию, избрав в качестве теоретической основы концепцию «коллективной памяти» Морица Хальбвакса, разрабатывавшуюся им в работах «Социальные рамки памяти» (1925), «Легендарная евангельская топография Святой земли: этюд по коллективной памяти» (1941) и «Коллективная память» (1950 посм.).

Не вдаваясь в анализ эволюции взглядов Хальбвакса на коллективную память, отметим, что, с одной стороны, он одним из первых показал, что социальная среда ограничивает и упоря-

дочивает воспоминания в пространстве и во времени, служит источником как самих воспоминаний, так и понятий, в которых они фиксируются. Даже личные воспоминания имеют социальное измерение, поскольку на самом деле являются сложными образами, возникающими только через коммуникацию и взаимодействие в рамках социальных групп. Эти идеи вполне укладывались в русло передовой психологической науки межвоенного периода.

С другой стороны, как с сожалением замечает Ян Ассман, автор известной книги «Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности» (1992), Хальбвакс не ограничился анализом «социальных рамок» памяти, а «пошел еще дальше, объявив коллектив субъектом памяти и воспоминания, создав понятия «групповая память» и «память нации», в которых понятие памяти оборачивается метафорой»⁶. Вообще, в своих работах Хальбвакс развивал представления о социальной психологии, которые выглядели архаично даже в первой половине прошлого века. Во-первых, он размышлял в русле существовавшей в XIX в. традиции антропоморфизации социальных групп («коллективов»), наделяя их чертами индивидуальной психики. Во-вторых, он продолжал жестко делить психику (в том числе «коллективную») на части по типам психической деятельности — разум, рассудок, воображение, память и т. д.

Антропоморфизация коллективного субъекта постоянно воспроизводится при использовании понятия «коллективная память» в современной литературе, в том числе путем переноса на массовое сознание ряда понятий из психоанализа начала XX в. («травма» и др.), а также различных психических расстройств, выражающихся в нарушении памяти — амнезия, гипермнезия и т. д.

В то же время имеется достаточно много примеров «быстро реагирования» историков на новации в социальных и гуманитарных науках. Например, в свое время в исторические исследования практически без промедления «проникли» теория мо-

⁶ Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2004 [1992]. С. 37.

дернизации, миросистемный анализ, концепция символической власти. Столь же оперативно осваивались историками некоторые теории современной социальной и культурной антропологии, то же можно сказать и о «лингвистическом повороте» в историографии. Сегодня мы имеем немало интересных примеров конструирования микроистории по образу и подобию микросоциологии и микроэкономики с применением соответствующих концепций.

Помимо «теоретического запаздывания» в рамках «стратегии присвоения» потенциально существует (и зачастую реализуется) угроза анахронизмов, обусловленных применением теорий, ориентированных на функционирование общества одного типа (одного времени), к обществам другого времени.

Характерным примером служит все та же психоистория, которая не учитывала исторической изменчивости «базисной» личности, очевидно варьирующейся не только от общества к обществу, но и от одного периода к другому. Еще Люсьен Февр говорил о невозможности использовать для изучения ретроспективной психологии заключения психологов, пользующихся данными, поставляемыми им современной эпохой. Анализ эмоционального развития у Фрейда в высшей степени культурно обусловлен: он основан на опыте воспитания детей и анализе установок (особенно в отношении к сексу) средних слоев городского общества конца XIX в. Применение выводов Фрейда (и даже любой современной школы психоанализа) к людям, удаленным во времени, представляет собой чистейший анахронизм.

Такого рода анахронизмы наблюдались и в других областях. В результате многих историков, пытавшихся совместить проверенные способы работы с историческим материалом и теоретические модели социальных наук, постигли неудачи (как впрочем и целый ряд социологов, выступивших с макротеориями исторической социологии). В тех разделах историографии, где вначале были получены впечатляющие результаты, со временем встал вопрос о границах применимости теорий, созданных для объяснения современного общества, к обществам прошлого. В целом оказалось, что очень *немногое* из социальных теорий можно было с *успехом* применить к изучению прошлых обществ.

В свою очередь историческая антропология часто демонстрирует «анахронизм с обратным знаком». Поскольку, в отличие от антрополога, историк не имеет возможности получить непосредственные свидетельства способов мышления давно ушедших из жизни людей, он использует другие методы, позволяющие ему, говоря словами Роберта Дарнтона, «сновайт между текстом и контекстом». Историк, полагающийся на антропологические штудии, постоянно должен задавать себе вопрос: до какой степени теории, разработанные на материале существующих ныне примитивных культур, можно применять к более развитым обществам?

В целом надо отметить, что энтузиазм по поводу возможностей социальных теорий и разочарования в них шли рука об руку. Уже с конца 1960-х годов из лагеря самих приверженцев «новой научной истории» начали раздаваться призывы к умеренности в пользовании социальными теориями. В 1969 г. американский историк Дэвид Поттер, подтвердив, что «социальные науки больше, чем что-либо другое способствуют исправлению недостатков современной историографии», заговорил о предпочтении платонических, а не интимных отношений с социальными науками. В 1976 г. Лоуренс Стоун прямо призвал к отступлению на «исторические» рубежи. А в 1981 г. Джойс Эпплби начала свой полемический обзор последних работ Баррингтона Мура и Теды Скокпол провокационным вопросом: «Не наступило ли время освободить себя от социальных наук?». К тому же обращение историков, не обладающих специальным образованием, к новейшим социальным теориям тоже довольно рискованно, ибо мы знаем, как формируется корпус «современных классиков».

3. Специализация по времени

Тему взаимодействия истории с другими социально-гуманитарными науками обычно рассматривают с точки зрения «стратегии присвоения» историей теорий из других дисциплин. Но полезно посмотреть на нее и в другом ракурсе: социальные науки также обладают собственными областями исследования, связанными с прошлым.

В принципе, при возникновении междисциплинарного направления в нем задействуются две дисциплины, и его создание и функционирование может либо автономно проходить в рамках каждой из двух дисциплин, либо только в одной из них. Разделение труда в смежных науках между специальностями и специалистами, в данном случае историками и не-историками, происходит очень по-разному. Поясним свой тезис на примере такой пары дисциплин, как социология и история, разрабатывающими, соответственно, социальную историю и историческую социологию.

Историческая социология возникла как раздел социологии гораздо раньше, чем социальная история — как часть истории. Представители этого направления либо делают конкретные исторические проблемы предметом социологического анализа, либо предлагают теории синтеза социологии и истории, продолжая в известном смысле дело первого поколения социологов в XX в. или даже традиции, заложенные еще в XIX в.⁷

Историческая социология возникает в первой половине XX в., прежде всего в трудах немецких социологов — «Протестантская этика и дух капитализма» (1904–1905) Макса Вебера; «Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека» (1913) Вернера Зомбарта; «Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристократии» (1933) и «О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования» (1939) Норберта Элиаса и др. После Второй мировой войны исследования по исторической социологии распространяются уже во многих странах. В качестве известных примеров разработки исторической проблематики и создания на этой базе обобщенных моделей власти, социальных революций, коллективных действий и т. д. можно назвать оригинальную теорию предпосылок диктатуры и демократии Баррингтона Мура; анализ политического механизма революций, предложенный Тедой Скокпол; исследования Майкла Манна о происхождении власти в обществе и многие другие работы.

⁷В рамках социологии, помимо исторической социологии, возможно выделить еще и «ретроспективную социологию», которая использует в социологии данные о прошлом, например, исследования по исторической демографии или социальной мобильности в XIX в.

Как остроумно заметил Питер Бергер:

«Считается, что социологи делятся на два подвида. Большая группа образуется из людей, состоящих в близких отношениях с компьютером и другими вычислительными устройствами; эти люди осуществляют дорогостоящие обследования очень специфических областей социальной жизни; о результатах своих исследований они сообщают на варварском английском языке; время от времени их выводы имеют отношение к тому или другому вопросу публичной политики. Меньшая группа состоит из людей, которые попали в социологию вследствие биографической ошибки (им следовало бы оказаться в философии или литературе); эти люди в основном пишут книги о теориях, предложенных давно почившими немцами; к публичной политике их теоретизирование не имеет никакого отношения — и хорошо, что это так»⁸.

Однако, несмотря на отмеченную Бергером нетипичность, это меньшинство пользуется почетом в своей корпорации и не стремится присоединиться к цеху историков. Интересно, что даже в отдельных известных нам случаях, когда с крупной теоретической концепцией выступал ученый, имевший историческое образование (например, Иммануэль Уоллерстайн, Шмуэль Айзенштадт, Герман Дилигенский), он плавно (и охотно) переходил в ряды социологов. Мы можем только предполагать, что здесь играло большую роль: чувствительность теоретизирующего историка к признанию социологическим сообществом или недооценка его вклада историческим цехом, или что-то еще, но это факт. Сам же процесс подобной инициации в нескольких строчках описан французским историком Филиппом Арьесом. Он замечает, что после выхода в свет его исследования «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке» (1960),

«социологи, психологи и даже педиатры переориентировали мою книгу, увлекая меня вслед за ней. В Соединенных Штатах журналисты называли меня “французским социологом”, а в один прекрасный день для известного парижского еженедельника я стал “американским социологом”!»⁹

⁸ *Berger P.* In Praise of Particularity: The Concept of Mediating Structures // *Review of Politics.* July 1976. Vol. 38. N 3. P. 399–400.

⁹ *Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999 [1960/1973]. С. 12.

Процесс «пересечения границы» отдельно взятыми перебежчиками объективно облегчается тем, что размежевание по дисциплинарным областям на уровне результатов, т. е. готового исследования, часто на самом деле выглядит искусственно. О том, насколько условно деление на разные варианты историко-социологического синтеза, можно судить, посмотрев на работы Нила Смелзера «Социальные изменения в индустриальной революции» (1959), Чарльза Тилли «Вандея» (1964), Шмуэля Айзенштадта «Революция и трансформация обществ» (1978) и уже упомянутые исследования Элиаса, Мура, Манна. Они и многие другие с достаточными основаниями могут быть отнесены к любой категории, хотя в целом социальная история от исторической социологии отличается меньшей степенью концептуальной эксплицитности и систематизации. Социальная история может быть больше ориентирована на период и страну, историческая социология — на концепцию и проблему. Отчасти это вопрос ориентации ученого: является ли его задачей вклад в историю или в социологию со всеми вытекающими отсюда нормативными ограничениями.

Точно так же часто нелегко разобраться с принадлежностью многих известных антропологических исследований, если не знать других сочинений автора или его профессиональной принадлежности. В качестве примера можно привести такие глубоко историчные исследования, как «Хризантема и меч» Рут Бенедикт (1946), сочинения Маршала Салинза (например, «Экономика каменного века», 1972), работы Джека Гуди о браке и семье или об умении читать и писать в традиционных обществах.

Своеобразное разделение труда в историко-экономических исследованиях сложилось между историками и экономистами. История народного хозяйства, государственной экономической политики, а также институциональная история и история бизнеса выступают в основном предметом историков (точнее тех, кто получил историческое образование), в то время как анализ экономической динамики и проблем эффективности в разные исторические периоды стал вотчиной экономистов. Иными словами, историко-экономические исследования разделены на два типа: экономическую *историю* и историческую *экономику*. К со-

жалению, эта дистинкция, основанная на степени использования экономической теории, часто продолжает выступать в качестве барьера, разделяющего историко-экономическую дисциплину на две относительно самостоятельные части.

В способах размежевания междисциплинарного поля существуют и различия между национальными научными школами. Так, например, экономическую историю в США разрабатывают преимущественно экономисты, т. е. ученые с экономическим образованием, а в России — историки, и друг друга им не понять. Область взаимопонимания ограничивается в основном советологией, в рамках которой экономическую историю СССР в США, так же как и в России, теперь изучают прежде всего историки.

Надо сказать, историки далеко не всегда признают результаты вторжения «чужих» в традиционную область их компетенции. Так, если исторические работы Роберта Мёртона, Нила Смелзера, Иммануэля Уоллерстайна, Шмуэля Айзенштадта в целом были приняты и использованы историками, то, например, работы Дэвида Макклелланда и Сеймура Липсета вызывали массу нареканий из-за необоснованной периодизации, неполного или слишком избирательного использования источников и вообще а-историзма. Точно так же, например, социологическая история философии Рэндалла Коллинза вызывает бурные протесты со стороны профессиональных историков философской мысли.

* *
*

Метаморфозы, происходившие с исторической наукой на протяжении последней половины века, подробно изучены, в том числе и российскими историками. Интерпретация развития исторической науки последних десятилетий как череды «поворотов» стала общим местом. Однако возникает опасение, что за границами анализа в этом случае остаются какие-то очень важные тенденции в развитии исторической науки, которые не укладываются в господствующую модель. Они не то чтобы игнорируются, а просто остаются незамеченными.

В частности, при таком подходе в фокусе многочисленных

историографических обзоров, и даже вообще в поле зрения, оказываются только новации, связанные со «сменой парадигм» и формированием новых исторических направлений или субдисциплин. В результате, по существу, мы очень мало знаем о том, что происходит за пределами «новой научной истории», например, в компаративной историографии или, тем более, «перекрестной» истории (*histoire croisée — фр.*, *entangled history — англ.*), возникающей в ответ на вызов глобализма. Незамеченными остаются многие достижения «консервативной» или традиционной исторической науки. Однако она никуда не исчезла. Продолжаются широкомасштабные проекты многотомных «Всеобщих историй», издаются истории государств, войн и международных отношений, в огромном количестве выходят исторические биографии — и в этих многочисленных трудах мы находим очень мало следов методологического переоснащения и связанных с ней понятий: «национальная идентичность», «аккультурация», «ментальность», «гендер», «образец», «актёр» и др.

Оба аспекта нынешнего состояния дел в предметной специализации исторической науки отражает, в частности, тематика исторических журналов¹⁰. Если проанализировать только названия периодических изданий по истории, то можно обнаружить и новые веяния (история женщин), и долгую инерцию когда-то новаторских, но уже ставших привычными тем (экономическая история), и «крепкую» традицию (военная история). По количеству специализированных исторических журналов на Западе эти темы лидируют и примерно сопоставимы между собой (на первом месте с большим отрывом журналы по истории экономики и бизнеса).

Продукция «старой научной истории» весьма значительна, во всяком случае, по трем параметрам: по объему, тематике и популярности у читателей. Однако каково приращение нового знания в этих областях? Как оно транслируется в «новую» историю, и в какой степени? Да и, вообще, так ли традиционна эта «традиционная история»? Ответы на эти вопросы затруднены тем обстоятельством, что историки-эмпирики практически не принимают участия в методологических дискуссиях.

¹⁰См.: <http://www.historians.org/pubs/free/journals/>

В целом, хотя отношения истории с другими социальными науками в разные периоды складывались по-разному, крупнейшие представители историографии всегда верили в «общий рынок» общественных наук. Эта вера сохраняется и сегодня, поубавилось только эйфории по поводу «неограниченных» возможностей универсальных законов, исторического синтеза, математических методов, сильной теории и т. д. Изменилось представление о характере нашего знания о прошлом, да и о самом прошлом, которое теперь уже не то, «что было на самом деле», и даже не «реконструкция», а «образ», «репрезентация» или «конструкция». Многократно увеличилось количество тем и сюжетов, интересных и доступных историку. Началось и активно продолжается конструирование более причудливых, не очевидных ранее, связей между элементами разных подсистем прошлой социальной реальности. Хотя междисциплинарное взаимодействие не является односторонним — исторический подход сохраняется как общенаучный метод, да и сама историческая реальность ощутимо присутствует во всех социальных и гуманитарных науках — именно история остается главной дисциплиной, создающей научное знание о прошлом.

Раздел IV

**ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
В ОБЩЕСТВЕ**

Глава 11

ФУНКЦИИ ИСТОРИИ

Содержание исторического знания и, соответственно, создаваемой в рамках этого знания картины прошлого определяется признанными в данном обществе функциями истории, которые задают цели конструирования прошлого, и правилами такого конструирования, являющимися локальными критериями «истинности» той или иной панорамы исторической реальности. Эти два аспекта исторического знания тесно связаны между собой — соответствие принятым установкам (целям, функциям) является одним из критериев «правильности». В свою очередь создание «истинной» картины прошлого всегда считалось одной из важнейших функций истории.

Большинство рассуждений о функциях исторического знания относится к тем смыслам термина «история» и, соответственно, к тем временам, когда она понималась как род литературы или как обществоведение в целом. В связи с тем, что в XX в. радикально изменяется характер исторического знания и история отделяется от социальных наук, логично предположить, что должны были произойти какие-то новации и подвижки в «назначении истории». В этой связи возникает вопрос: насколько вообще применимы предшествующие многовековые размышления по поводу функций истории к современной ситуации? Акцент на новых аспектах этой проблематики позволяет, как нам кажется, наметить подходы, более адекватные современному состоянию исторической науки, и переформулировать традиционную тему.

Говоря о том, что ныне общество выделяет на исследование прошлого ограниченные (по сравнению с дисциплинами, изучающими современность) людские и финансовые ресурсы (гл. 6), мы лишь констатировали сложившееся положение дел. Попытаемся теперь объяснить причины такой ситуации. Иными словами, зададимся вопросом, зачем современное общество вообще выделяет ресурсы для занятий историей, но при этом финансирует эти исследования существенно скромнее, чем изучение настоящего, и заведомо недостаточно для разработки социальных концепций, применимых ко всему множеству разнообразных «прошлых»?

Один из подходов к решению этого вопроса связан с уяснением роли исторической науки в общей системе знания, т. е. с анализом ее функций. В этом случае вопрос формулируется иным образом: для чего люди изучают историю, т. е. вырабатывают знание о прошлом, в том числе научное?

1. Уроки прошлого

Конструирование социальной реальности включает в качестве необходимой составляющей установление отношений с определенными событиями прошлого. Важность прошлого для настоящего хорошо понимали уже древние общества, приписывая истории целый ряд задач, связанных с культурно-политическими функциями, функциями накопления и обобщения социального опыта. Утилитарное отношение к прошлому унаследовала и средневековая историография. Иоанн Солсберийский в XII в. в «*Historia Pontificalis*» дал почти исчерпывающий перечень функций истории.

«Зрелище прошлого помогает нам, во-первых, понять планы и намерения Бога; оно наполняет сердца людей спасительным страхом перед Господом, показывая примеры кар и наград за действия людей и побуждая их следовать путями справедливости. . . Во-вторых, как выражаются языческие писатели, чужая жизнь является для нас наставницей, и тот, кто не знает прошлого, будет чувствовать себя среди современных ему событий подобно слепому. . .

В-третьих, записи хроник служат для утверждения новых и отмены старых постановлений, для укрепления или ликвидации привилегий»¹.

Историю издавна использовали для легитимизации власти, доказательства благородства происхождения, нахождения общего языка между разными социальными или национальными общностями или утверждения национального превосходства. С помощью истории обосновывали необходимость реставрации прошлого, оправдывали настоящее и прогнозировали будущее. Кроме того, особенно на любительской стадии, до второй половины XIX в., история служила развлечением для тех, кто ею занимался, и это тоже немаловажная функция.

Таким образом, функции, выполняемые историей, перечень которых мы обнаруживаем во многих трудах по историографии, обеспечивали удовлетворение многочисленных социальных потребностей. На протяжении столетий в рефлексиях по поводу истории вопрос о функциях был одним из центральных. При этом, если на протяжении веков способы исторического познания эволюционировали достаточно заметно, то в трактовке функций истории наблюдалась удивительная стабильность, длящаяся почти до конца XX в. В последние десятилетия в западной исторической науке этот вопрос практически не обсуждается. Отчасти, по нашему мнению, интерес к данной проблеме угас потому, что функции, издавна приписываемые истории, в какой-то мере обнаружили свою неэффективность, и это всем очевидно. Этот тезис, однако, нуждается в развитии.

Общественная роль истории в эпоху Нового времени описывается по следующей модели: становление исторического сознания; стремительное развитие исторического знания и высокий общественный престиж профессии — процесс, достигающий апогея к середине XIX в.; профессионализация истории и становление исторической науки, сопровождающееся относительным падением социальной роли историков (конец XIX — начало XX в.); утверждение за историей статуса науки в середине XX в. и нарастающий к его концу скептицизм в отношении способно-

¹John of Salisbury. *Historia Pontificalis* / Ed. and transl. by M. Chibnall. London: Nelson & Sons, 1956 [ca. 1163]. P. 3.

сти истории «давать уроки» при одновременном росте массового интереса к прошлому, не совсем точно именуемого как «историческая память».

Становление исторического сознания в Новое время привело к тому, что в XVIII в. история превратилась в важный социокультурный фактор. С этим связан и высокий общественный авторитет истории, и интерес к историческим знаниям, ставший чуть ли не обязательной характеристикой любого образованного человека. В 1772 г. один немецкий ученый подсчитал, что из почти 5000 сочинений, появившихся в Германии с 1769 по 1771 г., примерно пятая часть была по истории. Во Франции они составляли около четверти, другие страны еще сильно отставали (в Англии лишь девятая часть всех сочинений относилась к историческим), но обнаруживали ту же тенденцию.

Назначение истории было не просто образовательным. До конца XIX в. история выполняла прежде всего прикладную функцию — поставляла знания, которые можно использовать в настоящем. Согласно нашей концепции, это свидетельствовало о возрастающей роли общественно-научного знания, которое во многом аккумулировалось в сочинениях по истории.

В XVIII–XIX вв. (а в принципе, уже начиная с Никколо Макьявелли) история была поставлена на службу государству, и многие известные историки занимали высшие государственные должности. В Англии ведущие историки (Арчибальд Алисон, Генри Галлам (Hallam), Томас Маколей) активно влияли на политическую жизнь, конструируя прошлое, основанное на концепциях «вигов» и «тори». В Германии малогерманская школа, крупнейшие представители которой были депутатами Рейхстага (Георг фон Зибель, Генрих фон Трейчке), создавала концепцию национальной истории. Особенно показателен пример Франции середины XIX в., где два популярнейших историка, Луи-Адольф Тьер и Франсуа Гизо, возглавляли соперничающие политические партии, а затем их «сбросили» другие историки — Луи Блан, Алексис де Токвиль и Наполеон III. Характеризуя исключительное положение представителей своей профессии в этот период, французский историк Анри-Иренн Марру писал:

«Историк стал королем, вся культура подчинялась его декретам: история решала, как следует читать *Илиаду*; история решала,

что нация определила в качестве своих исторических границ, своих наследственных врагов и традиционной миссии. . . Под объединенным влиянием идеализма и позитивизма идея прогресса была навязана в качестве фундаментальной категории (христианство было признано “устаревшим”, христиане были низведены до небольшого меньшинства. . . Современная “мысль” стала суверенной). . . Владеющий секретами прошлого историк, как генеалог, обеспечивал человечество доказательствами знатности его происхождения и прослеживал триумфальный ход его эволюции. Только история могла дать основания для доказательства осуществимости утопии показывая, что она. . . укоренена в прошлом»².

Заклучений, подобных приведенному выше, немало, и они тоже свидетельствуют о том, что в этот период историки вовсе не были специалистами лишь по прошлому, а исполняли роль обществоведов в целом, прежде всего, политологов. Видимо, именно обществоведческой функцией тогдашней истории объясняется ее отчетливая партийность (идеологизированность) или национализм, признанные неотъемлемой частью истории Нового времени. А, как точно заметил современный французский историк Жорж Дюби, «идеология — это не отражение действительности, это проект воздействия на нее»³.

Прошлая реальность, создаваемая по лекалам партийных или националистических проектов естественно выглядела по-разному, но это мало кого смущало, ибо соответствовало общепринятым критериям исторического знания. Ни одно идейное направление или движение XIX в. не обходилось без «своей истории».

В XIX в. продолжало расти и общеобразовательное влияние истории. Знание прошлого, чтение исторических сочинений стало ключевым показателем образованности уже весьма широких слоев населения. XIX век сделал историю поистине «всемирным» достоянием. Возникали разнообразные исторические общества, журналы, по-прежнему популярным оставалось коллекционирование древностей. При этом вплоть до начала прошлого

² *Marrou H.-I.* De la connaissance historique. 6th ed. Paris: Editions du Seuil, 1954. P. 11.

³ *Дюби Ж.* Трехчастная модель или представления средневекового общества о самом себе / Пер. с фр. М.: Языки русской культуры, 2000 [1978]. С. 17.

столетия история оставалась в большей степени элементом культуры, чем науки. Достаточно сказать, что непрофессиональная история доминировала до упрочения «немецкой исторической школы».

Однако на исходе XIX в., когда история находилась в зените общественного признания, началось падение ее авторитета, предопределенное в первую очередь процессом профессионализации истории. Историки стали писать для историков, популяризаторов отгеснили профессионалы.

Во второй половине XIX в. один за другим появляются профессиональные исторические журналы, предназначенные не для широкой публики, а для специалистов. Профессионализация в целом проходила по немецкой модели. Не случайно первый выпуск «English Historical Review» открывался статьей лорда Актона «Немецкие исторические школы», а Леопольд фон Ранке был избран первым почетным членом Американской исторической ассоциации. Понятно, что в целом профессионалы ориентировались в первую очередь на следование критериям научности и признание коллег, а не на успех у читателей или достижение прагматических политических целей. Они больше не обращались к образованной публике и пользовались уже другим языком. Литературное мастерство перестало рассматриваться как необходимый элемент профессии, выбор сюжетов и проблем также мало зависел от читательского интереса. В большинстве своем представители исторической науки отказались от претензий на роль философов и наставников в повседневной жизни и были достаточно безразличны к массовой аудитории.

В силу указанных обстоятельств между трепетным отношением к моральным урокам истории, характерным для прошлых поколений, и взглядами современников на полезность исторических познаний образовался большой разрыв. Историки уже не представляли особого интереса для власти, а власть — для них, поэтому историки не участвовали столь активно в политической жизни. Правильнее будет сказать, что они, если хотели, «подыгрывали» власти, хотя эти «игры» время от времени могли быть весьма серьезными, примером чему служит, например, пангерманская историография.

На самом деле отмеченная многими историками професси-

онализация была не первичным, а производным фактором, повлиявшим как на цеховое сознание историков, так и на общественные представления о задачах дисциплины. Главное же в том, что историческое знание специализировалось как научное знание о *прошлой* социальной реальности, дифференцировавшись от обществознания в целом. С появлением социальных наук прагматическая часть знания о настоящем и даже о прошлом, необходимая для понимания настоящего, отошла к общественным наукам. Как мы уже отмечали, в одних областях обществоведения знание о прошлом играет более, в других — менее существенную роль. Но в любом случае, главное дело социальных наук — изучение настоящего, и весь «прикладной», практический эффект связан с решением этой задачи.

Соответственно, как только история перестала быть обществоведением, она неминуемо должна была потерять часть своего прагматического влияния, связанного с задачами, которые она решала на протяжении многих веков. За приобретение дисциплинарного суверенитета пришлось расплачиваться падением общественного престижа.

Итак, мы акцентируем внимание на том, что исторический опыт XX в. свидетельствовал не о невозможности учитывать уроки истории, как полагали и до сих пор думают многие историки (хотя именно об этом как раз свидетельствовал исторический опыт любого из предшествующих веков), а о востребованности экспертных оценок других социальных наук, анализирующих современность.

В ареале господства марксистской идеологии социальные науки на уровне теории не были столь дифференцированы — теория была для всех одна — и история на самом деле в гораздо большей степени сохраняла свое традиционное, обществоведческое назначение. Последнее обстоятельство объясняет многочисленные попытки осмыслить исторический «путь» России, подъем националистических историографий и многое другое, разительно отличающее жизнь нашего академического сообщества от интересов западного исторического мейнстрима в последнее десятилетие.

Уступив значительную долю своего влияния социальным наукам в решении прагматических задач, связанных с необходимо-

стью осмысления настоящего, история тем не менее не выглядит лишенной общественного признания. Часть ее функций, напротив, активизировалась, отвечая иным общественным запросам, а именно: потребностям в знании о Другой (альтернативной) реальности, которую история тоже традиционно удовлетворяла наряду с религией (начиная с мифов) и искусством.

Ограничение презентистских задач исторического знания, произошедшее за последний век, конечно, не означает, что его традиционные функции полностью экспропрированы другими социальными науками. Задача конструирования прошлого с целью объяснить или усовершенствовать настоящее в широком смысле по-прежнему решается в том числе и с помощью исторического знания, но уже совсем не в той пропорции, что век назад.

Длинный и довольно пестрый список функций истории мы сводим к четырем ключевым понятиям: *поддержание образцов, легитимация, идентификация, открытие Другого*. Такой подход дает возможность концептуализировать старую тему роли истории на уровне современной социальной теории и осмыслить, что произошло с функциями исторического знания именно в XX в.

2. Поддержание образцов

Попытаемся показать, какие из традиционных функций истории можно суммировать под рубрикой «поддержание (задание) образцов». Прежде всего сюда можно отнести морализацию и накопление социального опыта. Смысловое поле истории индуцируется нравственными практиками, общими понятиями о том, что «хорошо» и что «плохо», что «допустимо» и что «неприемлемо». Морализаторские задачи понимались как создание и закрепление в исторической памяти образцов моральной доблести, или преподнесение воспитательных уроков (этот список можно продолжить, открывая одно за другим сочинения «о пользе и вреде истории»).

Жизнеописания царей, полководцев, поэтов стимулировались стоической философией, так как она позволяла наставлять людей с помощью примеров добродетельной жизни. Задачи мо-

рально-политического воспитания решались и при обращении античных историков к истории преступлений и злодеяний. В этих случаях пафос направлялся на обличение негативных «образцов», чтобы способствовать воздержанию от подобных поступков в настоящем и будущем. Тацит писал:

«Я считаю главнейшей обязанностью анналов сохранить память о проявлениях добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве»⁴.

Со времен Тацита морализаторская тенденция преобладает в античной историографии, о чем свидетельствует сочинение его младшего современника Светония Транквилла «Жизнеописание двенадцати цезарей», а также «Параллельные биографии» Плутарха и «Деяния» Аммиана Марцеллина.

От античной историографии и от библейской традиции страсти к морализированию унаследовали средневековые историки. У римских историков заимствовались и приемы поучения, путем драматизации действия, вставных речей и т. п. В средневековых сочинениях сохранилась и традиция «назидания и устрашения». Как поучал Беда Достопочтенный:

«Ведь если история повествует о добрых деяниях добрых людей, то вдумчивый ее слушатель побуждается подражать добру; если же она говорит о злых делах нечестивцев, то религиозный и набожный слушатель или читатель ее учится беречься от того, что есть зло и порок, и следовать тому, что признается добрым и угодным Богу»⁵.

Способность давать воспитательные уроки приписывали истории и в дальнейшем. Так, гуманистами готовность соответствовать образцам творчества выдающихся деятелей античной культуры была возведена в ранг достоинств человека Ренессанса.

Не стоит забывать и о том, что именно история обеспечивала «славу и бессмертие» тем, кто мог себе это позволить. Как известно, в Греции Клио была музой не только и не столько истории, сколько гимнической, т. е. прославляющей, поэзии. Этой

⁴ Тацит. *Анналы* III, 65.

⁵ Беда Достопочтенный. *Церковная история народа англов* / Пер. с лат. СПб.: Алетейя, 2001 [ок. 731]. С. 5.

функции истории придавалось самое серьезное значение в эпоху Ренессанса. Например, Анджеоло Полициано серьезно предупреждал в 1491 г. короля Португалии Жуана II, чтобы он своевременно позаботился о славе и бессмертии и переслал ему во Флоренцию «для обработки» материалы, связанные с открытиями в Африке.

Античные образцы морального поведения в культуре Европы оказались столь устойчивыми, что стремление следовать им обнаруживается в европейских странах и в Новое время, став составной частью представлений о национальной доблести. Именно в определенных периодах римской истории находили примеры для подражания революционеры XVIII–XIX вв.

Другим историческим источником моральных образцов в эпоху современности становятся анналы национальной истории. Например, французы накануне революции 1789 г. искали модели героизма не только в античности, но и в собственном прошлом, создав пантеон героев, которые символизировали победоносные моменты в жизни народа. Фаворитами в этом смысле были Вильгельм Завоеватель, Людовик IX, Людовик XII и Генрих IV. Важным событием в создании пантеона исключительно французских героев стала публикация исторической антологии «Иллюстрированные портреты великих людей Франции». Главным критерием для включения в список были патриотизм и вклад в развитие государства. За выдающиеся проявления патриотизма в издание включались и женщины. Галерея историко-литературных портретов национальных героев прошлого на протяжении XIX в. создается во всех странах Европы в основном усилиями историков-романтиков (и, конечно, литераторов и художников).

Поскольку рационалистическая историография трактовала человека а-исторически, как статического героя исторической драмы, то исторические труды этого времени представляют собой просто кладезь примеров героического поведения и «моральных уроков» («упадок и падение», прежде всего, Римской империи — очень модная тема такой историографии). Во второй половине XIX в. морализирование в истории приобрело прямотаки государственный характер.

Традицию морализаторства в полной мере наследовала идео-

логизированная история, где установление отношений с прошлым подчинялось еще и партийным целям. Национальное и социальное угнетение, существующее в настоящем, до сих пор стремятся обнаружить и в области исторической памяти и знания, в которых принижена и искажена роль низов, женщин, этносов, меньшинств. В такой «восстанавливающей историческую справедливость» литературе важен элемент героизации не только главного коллективного персонажа, но и рассказ о выдающихся представителях тех или иных социальных групп. Усилиями увлеченных соответствующей тематикой историков уже созданы необходимые «портретные галереи», и политическим активистам понятно, на каких предшественников «равняться» и ссылаться.

Вторую древнейшую функцию истории — практическую, т. е. накопление социального и, прежде всего, политического опыта — также можно трактовать как поддержание или задание образцов, выполняющие обучающие функции. На протяжении многих веков бытовало мнение, что, «если совершать такие-то социальные действия, то результат будет таким-то», хотя всегда существовали и скептики. В циклических концепциях исходным был тезис о повторяемости истории: поскольку история повторяется, то искусство политической деятельности воспроизводимо. В линейных — акцент делался на неизменную природу человека, которая снова и снова одинаково проявляет себя в аналогичных обстоятельствах (или воспроизводит сами обстоятельства). Выполняя функцию накопления политического опыта, история непосредственно выступала в роли политологии.

История, удовлетворявшая потребность в политической мудрости, начиная с «прагматической истории» Никколо Макьявелли, предназначалась в основном для представителей власти. Например, в 1559 г. в Англии было опубликовано «Зерцало для правителей» — собрание стихотворных трагедий на исторические темы. И каждая трагедия, в основе которой лежала судьба какой-либо исторической личности, сопровождалась полезным прозаическим комментарием, указывавшим, какой исторический урок из нее можно извлечь.

В XVIII в. политическая история представлена уже именами Вольтера, Габриэля-Бонно де Мабли, Эдуарда Гиббона, истори-

ками шотландской школы, а Французская революция дает политической истории «зеленый свет». От ее современников Антуана-Пьера Барнава и Константина Вольнея и через весь XIX в. из-под пера историков — Франсуа-Доминика де Монлозье, Огюстена Тьерри, Франсуа Гизо, Франсуа Огюста Минье, Алексиса де Токвиля, Луи-Адольфа Тьера и многих других — выходят «Истории Французской революции», осмысливавшие именно *опыт* революции, ее уроки. Если к этому добавить историографию вигов и тори в Англии и произведения «немецкой исторической школы», то понятно, почему XIX в. называют веком политической истории (и почему так ощутим был политический вес самих историков).

Значение знаний о прошлом, позволяющих поддерживать образцы в настоящем, различно. В военной истории (опыт битв) удельный вес исторических знаний был традиционно велик, а в экономической — незначителен. Может быть, это связано с тем, что разные элементы социальной реальности меняются с разной скоростью — военная стратегия мало изменилась до Первой мировой войны, а экономика — очень сильно. Некоторые аспекты прошлого сохраняют свою важность для понимания социальных действий и связей в настоящем, не случайно историческая социология временами демонстрирует настоящие «прорывы» в прошлое, результатом чего становятся мощные и влиятельные объясняющие теории. Можно привести примеры успешного использования знаний о прошлом политических подсистем для интерпретации настоящего в политологии (например, для построения типологий режимов власти, революций и т. д.). Есть феномены настоящего, которым, как считает немецкий философ Герман Люббе, вообще невозможно дать никакого истолкования кроме исторического⁶. Однако в целом возможности *исторических* объяснений настоящего сегодня существенно уступают потенциалу других социальных наук.

⁶ Люббе Г. Что значит: «Этому можно дать только историческое объяснение»? [1973] // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 213–222.

3. Легитимация настоящего

К задачам легитимации социального и культурного порядков, конечно, относится *потребность в самоутверждении*, которую издавна удовлетворяет история. Великие *exempla* истории, в воспоминании о которых мы утверждаем самих себя, издревле культивировало каждое общество. Самые распространенные способы легитимации в исторических исследованиях: героизация прошлого или, наоборот, его забвение и преодоление.

Национальные движения в Европе использовали историческое мифотворчество, культ национальных героев как свое главное орудие. Становление национальных государств, формирование национального самосознания, подъем национализма — все эти процессы стимулировали легитимизирующую функцию истории.

Когда в XIX в. в историографии утвердился вариант исторического исследования, в котором обосновывалась положительная роль государства и власти и политическая история надолго стала бесспорным лидером историографии, задача легитимации государственных интересов формулировалась совершенно открыто. Свое классическое решение она нашла в немецкой исторической школе, а наиболее откровенное — в пангерманизме начала XX в. Пангерманисты пытались исторически обосновать внешнеполитические цели империалистических кругов Германии в конце XIX — начале XX в. Так, например, немецкий историк Дитрих Шефер (1845–1929) был одним из самых деятельных пропагандистов в Пангерманском союзе, во флотском Ферейне, в Военном союзе и других подобных организациях. Шефер стремился, как он писал позднее в своей автобиографии, подготовить немецкий народ к войне «планомерно от первого до последнего человека», и этой цели подчинялись его исторические труды. В 1897 г. он опубликовал написанную по заказу Министерства морского флота работу «Германия на море», обосновав необходимость создания мощного военно-морского флота. В дальнейшем его основные работы доказывали, что главной целью Германии должно стать участие в борьбе за мировое господство.

«Давно я вынашивал мысль написать историю Нового времени, начиная с эпохи великих географических открытий, когда взгляд европейца простерся на весь земной шар во имя его раздела. Имперским морским ведомством было высказано настоятельное пожелание иметь такую краткую историю. Так мысль стала делом... Немцы в 1870 г. наконец-то создали империю. Мне было ясно, что их роль в будущем будет зависеть от участия в борьбе за господство над миром... Помочь этому — такова была цель, которую я преследовал при написании “Мировой истории Нового времени”»⁷.

Примат государства и политики, характерный для господствующей школы в немецкой историографии конца XIX — начала XX в., тоже имел идеологическую подоплеку. Для Шефера именно государство являлось средоточием истории, и именно немецкое государство, созданное Бисмарком, было прототипом современного государства. Отсюда вытекала уже методологическая посылка о том, что исследование, не сфокусированное на государстве и государственной политике, неизбежно будет ущербным.

Исторические интерпретации придают убедительность не только государственной политике. Они используются и для обоснования идеологических проектов будущего общественного устройства. Необычайно высоко оценивается роль исторической легитимации в идеологиях, траектория социальных концепций которых прочерчена от прошлого через настоящее к будущему. В силу своей темпоральной конструкции идеологии вообще не могут обойтись без собственных интерпретаций прошлого. Это касается и прошлого в целом (история государства), и истории отдельных социальных и этнических общностей, и трактовки конкретных ключевых событий (например, истории революций, реформ, войн).

Редко, но случалось, что прошлое последовательно реинтерпретировалось в рамках одной идеологии. Так, в СССР во время Великой Отечественной войны возникла потребность мобилизовать для победы над врагом героические образцы прошлого, до того, в соответствии с марксистской догмой, преданного забвению как «предыстория». В исторической и художественной

⁷ *Schäfer D.* Mein Leben. Berlin; Leipzig: Teubner, 1926. S. 149.

литературе, по указанию Сталина, началось возрождение фигур русских полководцев и отдельных царей, «сыгравших прогрессивную роль в истории». Вождь, однако, мыслил намного масштабнее, понимая необходимость создания такого прошлого, которое легитимизировало бы претензии на всемирно-историческое значение всего происходящего в СССР. На совещаниях историков с участием секретарей ЦК ВКП(б) в 1943–1944 гг. формулируется установка, согласно которой

«Россия должна отныне восприниматься миром как исторически наиболее прогрессивная страна, игравшая во все переломные моменты исторического развития Европы ключевую роль: она остановила реакционную экспансию немецких и шведских феодалов; она спасла Европу от нашествия татаро-монголов; она ограничила османскую агрессию и затем сыграла важную роль в освобождении балканских народов; она разгромила армии Наполеона; она внесла решающий вклад в срыв империалистических планов Германии в годы первой мировой войны и, наконец, избавила мир от фашизма. Естественно, отсталая и реакционная империя не могла бы справиться с подобными задачами. Поэтому перед историками встает проблема существенного изменения исторического облика России и славянского мира в целом»⁸.

С функцией исторической легитимации тесно увязаны такие задачи, как «историческое оправдание». Его обновленная версия — «преодоление прошлого», процесс, в котором активно участвуют историки. Это важная прагматическая социально-политическая задача: «преодоление» необходимо для легитимации настоящего. Это понятие появилось в 1960-е годы в Германии, но сама функция существовала задолго до того. Например, в Англии уже в XVII в. возникает концепция «национального греха».

Во Франции «преодолевали» угнетающие итоги Семилетней войны, а затем — и Франко-Прусской войны. После поражения во Франко-Прусской войне французские историки сформулировали задачу идейного обеспечения национального единства. В частности, в 1876 г. основатель и главный редактор журнала «Revue historique» Габриэль Моно писал: «Изучение прошлого Франции... имеет ныне национальное значение. С его помощью

⁸Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в 1944 году // Вопросы истории. 1996. № 2. С. 46.

мы можем вернуть нашей стране единство и моральную силу, в которых она нуждается»⁹.

Во второй половине XX в. в немецкой историографии важной стала тема «преодоления фашизма». Продолжавшийся несколько десятилетий процесс морального освобождения от нацистского прошлого изобиловал эмоциями и ожесточенными дискуссиями как среди историков, так и в обществе в целом. Относительный консенсус был достигнут только в 1990-е годы после падения Берлинской стены и выдвижения на первый план проблем, связанных с объединением Германии.

В России конца 1980-х — начала 1990-х годов именно социальный заказ на новое историческое знание с целью преодоления прошлого на какое-то время сделал занятие историей чрезвычайно популярным. Характерно, что в то время одни историки полагали возможным вернуться к некоей точке в прошлом, чтобы пойти по альтернативному пути, который они пытались спроектировать, а другие были больше озабочены моральными проблемами: покаянием, организацией «Нюрнбергского процесса» над КПСС, поисками «дороги к Храму» и т. д. Сегодня российская власть привлекает историков к поискам в прошлом истоков «национальной идеи».

4. Идентификация

Задачу идентификации очевидно решает, например, такая известная функция истории, как удовлетворение потребности личности и общества, вплоть до «человечества», в самопознании. Приведем лишь два высказывания на эту тему, сделанные с интервалом примерно в двести лет (см. *Вставку 1*), хотя подобных изречений выдающихся мыслителей можно привести множество.

Изучение собственной истории издавна было не только познавательным, но и сугубо прагматическим занятием. Римские историки второй половины II — I в. до н. э. писали, исходя из политической и идеологической доктрины, согласно которой рим-

⁹ *Monod G.* Du progrès des études en France depuis le XVI^e siècle // *Revue historique.* 1876. Т. 1. P. 5.

Вставка 1. История и человеческое самопознание

Лорд Болингброк: «Любовь к истории кажется неотделимой от человеческой природы, потому что она неотделима от любви к самому себе. Именно эта первопричина влечет нас вперед и назад, в будущее и к прошлым векам»¹⁰.

Робин Коллингвуд: «... Для чего нужна история? Для человеческого самопознания... Ценность истории поэтому и заключается в том, что благодаря ей мы узнаем, что человек сделал, и тем самым — что он собой представляет»¹¹.

ский народ (*populus Romanus*) един в своих целях и возвышается над всеми другими народами благодаря свойственной ему доблести (*virtus*). Эта патриотическая установка соответствовала политическим амбициям государства, уверенно шедшего к созданию мировой империи. Стремление прославить Римское государство, его обычаи и законы приводило к пренебрежительной оценке других народов. А желание представить римский народ сплоченным в осуществлении исторических целей заставляло закрывать глаза на социальные и политические конфликты эпохи гражданских войн, а также предшествующего времени.

С утилитарными целями испокон веков изучались соседи и враги. Обращение к «своему» и «чужому» прошлому со времен архаики и античности выполняло разные функции (с точки зрения познания «себя» и «их») формирования образа «своего» и «их» настоящего. Создаваемые с этой целью описания жизни народов уже в Римской империи служили пособием для властей по вечно актуальному «национальному вопросу», а также по приграничной политике. Традиция такого целенаправленного изучения из соображений политических была доведена до совершенства в Византии, в частности в сочинении императора Константина Багрянородного «Об управлении империей».

Максима «*Nosce te ipsum*» (познай самого себя) применительно к задачам идентификации народа и государства оказалась более всего востребованной для решения задач формиро-

¹⁰ *Болингброк Г.* Письма об изучении и пользе истории / Пер. с англ. М.: Наука, 1978 [1735/1752]. С. 10.

¹¹ *Коллингвуд Р. Дж.* Идея истории [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 13–14.

вания национальной идентичности в период становления национальных государств.

Главной отличительной чертой исторического сознания Нового времени стала его «национализация». Как и многие другие политически актуальные темы, «нация» проблематизировалась совокупными усилиями представителей искусства, философии и общественных наук, но мы обратим внимание на особую активность и специфическую роль историков XIX и начала XX в. в становлении национального сознания и национальной идентичности.

Задача эта была совсем не так проста, как может показаться сегодня. Когда в 1864 г. инспектор образования задал вопрос детям в деревенской школе в горах Лозера: «В какой стране расположен Лозер?» — ни один из детей не знал ответа. «Вы англичане или русские?», — спросил он. Они не знали. Этот случай, произошедший в отдаленной части Франции, показывает, что французы лишь очень постепенно начали осознавать свою национальную принадлежность.

Убеждение в продолжении национального прошлого и идентификация с ним, увековечение национальных героев, событий национальной истории — революций, военных побед, освобождения — все это входило в число задач обучения национальной истории. Вклад историков начинается с творения самого понятия «нация» и соответственно ее прошлого. Задействованность историков в изучении этой проблемы определяется, как минимум, двумя особенностями объекта исследования. Нация — это макрообъект, охватывающий социальную и культурную систему на значительном географическом пространстве и в большом интервале времени. Основные аспекты национальной проблематики — социальные и культурные факторы формирования национального государства, язык, этнос, культура, историческое сознание. Осознание территориальных границ, связи с предками всегда присутствовали в поле зрения историков, а сама традиционность, консервативность, долговременность феномена делает его «историчным» и тем самым интересным для исторической науки.

В то же время «большие темы» национальной истории: дух нации, исторические корни нации, исторические судьбы нации, национальный характер — находятся в поле зрения национализ-

ма. Историзация национального сознания проходила в соответствии с политическими задачами создания национальной идентичности, воспитания чувства национальной гордости, мобилизации нации для решения государственных задач, которые нередко так и называли «историческими».

В каждой национальной истории есть свои герои, у каждого народа — свой Пантеон, а национальная принадлежность некоторых исторических личностей — такой же предмет спора, как и приграничные территории. Свод национальных побед и список национальных героев в исторической литературе, наряду с художественной, — основа конструирования национального характера и материал для воспитания национальной гордости, уроков патриотизма. Именно национальные истории, отражая самим фактом своего появления процесс образования национальных государств, послужили основой и для массовых образовательных программ, и для политической пропаганды, предлагая версии исторических судеб нации и ее политических задач.

Тенденциозность национальных историй проявляется уже в трактовке вопроса о происхождении нации. И приходится констатировать, что ангажированные историки без видимых мук преодолевали такую известную коллизию, как объективная современность наций в глазах историка против их субъективной древности в глазах националиста. Создание национальных историй не обходится без мифологического дискурса в целом, а тем более когда речь идет о поисках корней, уводящих в далекие времена. Нередко конструирование «начала» осуществляется с помощью различных теорий особого происхождения «своего народа», надо сказать поражающих изобретательностью и одновременно какой-то первобытной наивностью.

В становлении национально-государственного сознания большую роль играл этнический фактор («крови», расы) как биологической основы общности. По сути в националистической историографии XIX в. на базе расовых теорий произошло возрождение архаики (свои—чужие, мы—они). Апелляция к прошлому в целях формирования национальной или этногрупповой идентичности почти всегда опирается на конструкцию этногенетического мифа, который выполняет важную компенсаторную функцию, когда этнической группе грозит утрата культуры и языка,

когда этнические меньшинства борются против дискриминации и ее последствий, когда два соседних народа предъявляют права на одну и ту же территорию, которую оба они издавна занимали и т. д.

Особенное значение создание образа нации имело для стран, пребывавших в состоянии национальной раздробленности (Германии, Италии) и угнетенных народов европейских империй. Там изучение и возрождение национального прошлого, фольклора, мифов возводилось нередко в ранг национальных приоритетов и предельно политизировалось.

Тема национального величия была ведущей темой европейских историков до 1914 г. Эта тенденция в целом ослабевает после Первой мировой войны, но не везде. В Германии после поражения националистические идеи пропагандировали даже очень известные историки, убежденные, что история должна служить «национальной вере», а «истина» определяется через нацию и через «немецкость».

До сих пор от исторической интерпретации очень сильно зависит система международных отношений, особенно если речь идет о неудовлетворенных территориальных притязаниях той или иной страны (наглядный пример — Курильские острова). Точно так же вопросы: «кто когда на кого напал» или «кто первый начал», в свете аксиологической дихотомии «справедливого — несправедливого» исхода исторического соперничества, до сих пор страстно обсуждаются не только на политических форумах, но и на исторических конгрессах. А в критические для национального существования моменты историки нередко участвовали в прямой политической пропаганде. Так, беспристрастность «научной» позитивистской историографии была разоблачена уже на этапе ее становления, во время франко-прусской войны, когда «тяжелые орудия» обеих сторон — французский историк Ньюма Фюстель де Куланж и немецкий историк Теодор Моммзен — были привлечены к доказательству того, что Эльзас, соответственно, принадлежал французам и немцам.

Образы прошлого определяют поведение индивидов разных национальностей. Американские еврей и ирландец, например, по-разному могут реагировать на одни и те же события в мире, даже если никогда не жили на исторической родине. Групповая

идентификация особенно активизировалась в западных странах в последние десятилетия. Если раньше в центре внимания были процессы аккультурации, то ныне на первый план выдвинулись концепции культурного и социального разнообразия, которые поддерживаются стремлением к «политической корректности». Отсюда идет своеобразный бум историй различных меньшинств, иницируемый, в первую очередь, представителями самих этих меньшинств, хотя и не только ими.

Формальная универсальность нации как социокультурного понятия делает ее весьма достойным предметом для историка. В то же время политизированность и во многих случаях болезненность национальной проблемы в настоящем превращает национальную историю в один из самых конъюнктурных сюжетов, весьма пригодных для демонстрации типичных грехов исторического знания. Происходившее во второй половине XX в. отступление политической истории, а затем и ее кризис, который преодолевается уже в рамках «новой политической истории», во многом связывались именно с пристрастностью, партийностью и тем самым вненаучностью государственной и национальной истории.

Если взглянуть на панораму социальных наук, то очевидно, что основные политические проблемы современности сегодня перешли в ведение политологии, этнологии, отчасти социологии. Модными становятся такие проблемные дисциплины, как глобализм или мультикультурализм. Преобразившаяся политическая история наконец-то не претендует на трансляцию актуального опыта. Если кто-то ныне изучает структуры и механизмы власти в Средневековье, то вовсе не с целью предложить образцы для воспроизведения, а скорее для того, чтобы определить, насколько они отличны от современных (или сходны с ними). «Национальных задач и обязанностей» у представителей «новой политической истории» сегодня нет.

5. Открытие Другого

Утрата историей некоторых традиционных функций сопровождалась усилением значимости других, почти столь же традиционных. Прежде всего, речь идет о такой функции истории, которую мы называли *открытием Другого*.

Потребность в знании о другой реальности может существовать как в связи, так и вне связи с историей или прошлым вообще. Известен такой феномен, как стремление переместиться в иную реальность. Это как давно освоенный уход «из мира» в иное географическое или социальное пространство — на чужбину, в пустынь, скит, в коммуны, в народ и т. д. Эскапизм в форме «ухода в прошлое» в явном виде известен, как минимум, уже человеку Ренессанса. Еще Петрарка поставил прошлое над настоящим, он пытался бежать от настоящего, забыть «эти места, эти времена и эти обычаи» и возродить римское прошлое. (И не только возродить, но и прожить его, как видно из его писем.) А человеку, который устремляется в прошлое, неважно по каким мотивам, знание о нем необходимо, хотя бы в качестве предпосылки и ориентира. Поскольку в Новое время историческое прошлое постепенно приобрело статус Другого, человек XX в. знает, что бессмысленно писать письма Титу Ливию. Но, движимый по сути той же потребностью, он взаимодействует с прошлым не активно, а пассивно, погружаясь в сочинения о Другой (прошлой) реальности. Так «спасались» от действительности не принимавшие буржуазные ценности люди XIX в., зачитываясь сочинениями романтиков и подражая соответствующим типажам, так же и в советской реальности на личностном уровне могли сохраняться предпочтения всего дореволюционного (искусства, моральных норм и даже «тургеневских барышень», которые воспроизводились вопреки всему).

В то же время потребность в знании о прошлой реальности может объясняться не «бегством от действительности», а обыкновенной любознательностью, желанием знать, как жили Другие. Такой интерес к истории Другого сродни интересу широкой публики к работам профессиональных этнографов и культурных антропологов, который был необычайно велик в конце XIX — первой половине XX в. По существу эти же темы, но применительно к прошлому (не к «дикарям», а к предкам), увлекают читателя исторических сочинений в XX в.: «история повседневности», быта, частной жизни — и мы наблюдаем, что современная историческая наука все больше ориентируется на удовлетворение этой общественной потребности.

Конечно, конструирование прошлого как другой, качествен-

но иной реальности имеет давнюю традицию, возникшую еще в рамках мифического знания. В большинстве известных нам культур создается образ некоего прошлого, существенно отличающегося от настоящего. Прежде всего, это так называемое «мифическое время» (время первотворения), которое позднее дополняется «героическим временем», лежащим на границе между «мифическим» и «эмпирическим» временем. Эти представления о времени первотворения и времени «героев» переходят в развитые мифические системы (Греция — Гесиод и др.), а затем и в христианскую религию, в которой, впрочем, «мифическое» прошлое сокращается до нескольких дней или даже часов.

Подобная же конструкция «другого» прошлого существует, например, в сказках и отчасти в легендах. В рамках более специализированных систем знания «другое» прошлое описывается, в частности, у Платона (Атлантида), и это описание уже выступает не чисто мифическим, но, с некоторой условностью, может быть отнесено к философскому или протоидеологическому знанию. Наконец, конструирование альтернативной прошлой реальности было вполне узаконено в искусстве (литературе, драматургии, живописи, скульптуре и т. д.).

История традиционно удовлетворяла потребность в знании об иной реальности, наряду с религией (начиная с мифов) и искусством. Так, историки-романтики объясняли интерес к прошлому тем, что оно — другое. Однако конструирование «другого» прошлого в рамках научного знания до последнего времени было мало распространено. Скорее искалась связь с современностью, прошлое актуализировалось, его образ приближалась к конструкции сегодняшней реальности или различался совершенно определенными отдельными элементами, которые наглядно демонстрировали, чем *настоящее* отличается от прошлого.

Прорыв был совершен медиевистами — специалистами по ранним Средним векам. Именно они первыми начали конструировать иную прошлую реальность — варварскую, а не христианскую. В основе этого подхода лежала фундаментальная посылка о том, что в прошлом люди иначе *действовали*, потому что иначе *думали*. Затем такой подход распространился и на позднее Средневековье, и на раннее Новое время.

Надобность в знании об иной реальности имеет совершенно особый характер. Уход от настоящего, возможность расширить пространство, задаваемое жизненным опытом, погрузиться в мир прошлого и т. д. не является сугубо прикладной потребностью, соответственно, возникает нужда не столько в объяснении иной реальности, сколько в ее описании. Как мы уже отметили, эта потребность, безусловно, присутствует давно, именно она объясняет огромный интерес к историческому роману или историческому детективу. Однако надо отметить, что историческая художественная литература выполняет несколько иную задачу, ее продукт определяется как вымысел, а в научных исторических работах непрофессиональный читатель ценит именно достоверность, документальность. Отсюда интерес к научным историческим биографиям, увлекательно написанным научным историям и даже к публикациям исторических документов. Все это может быть прочитано без всякого намерения «учиться жизни», «брать уроки морали», «преодолевать прошлое», а с единственной целью узнать о прошлом как о Другом или перенестись в другую реальность (здесь возможна аналогия с притягательностью научной фантастики *vs.* фэнтэзи или виртуальной компьютерной реальностью).

По мере дифференциации истории от других социальных наук баланс в ее функциях в пользу открытия Другого, удовлетворения потребности в знании о нем становится все более отчетливым, особенно в последние десятилетия. Отсюда — интерес профессионалов и непрофессиональных читателей не к «Истории», а к историям, конструируемым во множестве новых исторических субдисциплин. Такое переупорядочивание никак не способствовало возрастанию общественно-политической роли истории, зато вызвало к жизни феномен нового исторического бестселлера — научного сочинения на «узкую» тему «другого прошлого»: одной деревни или одного человека. Подобные сочинения бесспорно поднимают публичный престиж исторической науки, хотя удовлетворяют при этом совсем не «актуальные» потребности.

Вышесказанное, конечно, не отменяет других причин заинтересованности общества в развитии исторического знания, а также политических амбиций самих историков. Часть влиятельных историков тоскует об утраченных общественных позициях и, видимо, считает неадекватной роль представителей своего цеха в принятии политических решений. Однако речь теперь идет прежде всего не о способности истории «учить жизни» на опыте прошлого, а о состоятельности ее экспертных оценок. Как пишет американский историк Лоуренс Стоун,

«только продемонстрировав политикам и общественности, что нам есть что сказать важного, интересного и полезного, мы, профессиональные историки, сможем добиться процветания в обществе, все более обращающемся к технике за рецептами быстрого решения своих проблем, и к мифотворцам, левым или правым, за уверенностью и надеждой»¹².

Назовем три главные причины настойчивого желания историков оставаться экспертами по «настоящему», невзирая на конкуренцию социальных наук: роль традиции (они давно этим занимаются); невозможность абстрагироваться от данной социальной реальности (стремление продлить прошлое в настоящее, а настоящее в прошлое — поиски в прошлом прежде всего тех следов, которые как цепь причинно-следственных связей прямо ведут к настоящему); стремление к более сильным социальным позициям (оруэлловское «прошлое — важнее» — слабое утешение для тех, кто хочет быть причастным к принятию решений).

Важнейшим источником приобретения и систематизации исторических знаний является образование, прежде всего школьное. Историки не только обеспечивают общество знанием, на котором базируется обучение, они участвуют в создании образовательных программ, в написании учебников и, конечно, в преподавании истории. (Правда, многочисленные опросы социологов свидетельствуют, сколь причудливое «знание» запечатлевается в итоге всех этих усилий в индивидуальной памяти обычных людей.)

¹² *Стоун Л.* Будущее истории // THESIS. 1994. Вып. 4. С. 175.

За пределами системы образования историки выполняют более общие «просветительские» функции, участвуя в создании музейных экспозиций, комплектовании библиотек, организации юбилеев, принятии решений о реставрации зданий и памятников (или их сносе). Указанные виды активности историков в немалой степени определяют содержание массовых представлений о прошлом.

Упомянутые выше острые дискуссии о забвении, преодолении, возвеличивании прошлого тоже вносят немалый вклад в формирование коллективных представлений. И здесь важно подчеркнуть не только содержательные моменты актуальных для общества исторических дебатов. Следствием являются попытки, в том числе и специалистов по политическим технологиям, применить научные знания, накопленные в этой области, для более осмысленного влияния на общественные настроения. По отношению к событиям прошлого индивиды выступают в качестве реципиентов готовых исторических формул, которые весьма разнообразны — от примитивных пропагандистских лозунгов до изощренных политических технологий, учитывающих психологические особенности каждой адресной группы.

Еще раз подчеркнем, что историческое знание далеко не всегда усваивается непосредственно. Оно транслируется в другие области знания, а затем в какой-то части становится доступным через них. Например, одни литературные произведения сами служат источником знаний о другом времени, так как принадлежат ему, а другие — «исторические» — опираются на освоенное художником историческое знание. Во всех подобных случаях историк выполняет функцию посредника, но на результат повлиять не может (если, конечно, не выступает в качестве научного консультанта кинофильма, спектакля или перфоманса).

Таким образом, существует масса мотивов для конструирования прошлого и, соответственно, сохраняется множество функций истории. Хотя специализация истории как знания о прошлой социальной реальности объективно сильно дезавуирует «практическую значимость» исторических трудов, тем не менее интенция легитимизировать (объяснять, оправдывать) настоящее, опираясь на знание о прошлом (прославлять, «преодолевать» или обвинять прошлое), остается востребованной. Когда

«болезненные» проблемы настоящего объясняют историки, это понятнее «народу», чем когда то же самое делают социологи или экономисты с их категориальным аппаратом, специфическим языком и т. д.

Устойчивая вера в то, что в прошлом можно найти ответ на любой нерешенный вопрос реальной жизни (поддержание образов) — источник соответствующих запросов историческому знанию. Сохраняется особая роль историков в становлении национального сознания и национальной идентичности там, где существует соответствующая потребность и политический заказ. При этом некоторые историки занимаются не только изучением национального характера, но и претендуют на участие в его формировании. И то, и другое оказывается вполне возможным и в рамках науки, и за ее пределами. Проблема идентификации решается с помощью исторических сочинений и вне национального или этнического поля. История, позволяющая в определенном смысле «жить в прошлом», может быть важным элементом идентификации не только с национальным государством, но и с определенной группой или стратой общества.

Понятно, что во всех этих случаях речь идет о воздействии на массовое сознание (политическое, национальное). В этой зоне история взаимодействует с внеучеными формами знания о прошлом: идеологией, философией, искусством, религией. Бесспорно, работа на публику видоизменяет облик исторической профессии, предъявляя иные требования к форме исторических сочинений (риторике). С одной стороны, они должны быть доступны по форме, увлекательны и понятны; с другой — совсем неплохо иметь приметы «тайного знания», недоступного непосвященным. Поэтому в одних сочинениях культивируется доступность, а в других — эзотерическая таинственность «научного» жаргона, заменяющего научную терминологию.

И все же не следует, как нам кажется, акцентировать «возвращение» историка в современность. Основное изменение состоит, по нашему мнению, в том, что общество сегодня не столько требует от историка объяснений настоящего через прошлое (их, не очень докучая прошлым, предлагают другие социальные науки), сколько ждет описаний иной реальности, «хороших и разных», но исполненных по канонам исторической профессии.

Глава 12

ПРОБЛЕМА ПРЕЗЕНТИЗМА

Презентизм (*англ.* presentism, от present — настоящее, современность) как концептуальное направление в историографии сформировался в конце XIX — начале XX в. прежде всего в рамках американской исторической школы, но в несколько меньших масштабах он получил распространение и в европейских странах. Исходно презентизм был тесно связан с философией прагматизма, которая наиболее отчетливо была представлена опять-таки в работах американцев — Чарльза Пирса (1839–1914), Уильяма Джеймса (1842–1910) и Джона Дьюи (1859–1952). Из этого совершенно не следует, что презентизм как методологическая основа историографии оправдывает прагматический подход к прошлому. Напротив, один из первых последовательных теоретиков исторического презентизма, итальянец Бенедетто Кроче, вообще выводил «практическую» историю за рамки «достоверной» истории.

В более общем смысле презентизм — это попытка осмыслить сложность исторического времени, в котором прошлая социальная реальность не может быть объективно «реконструирована», а может только конструироваться заново. В рамках презентизма, в противоположность позитивистскому подходу, история рассматривается не как познание объективной прошлой реальности, а как мысленная картина прошлого, создаваемая в настоящем и тем самым становящаяся частью этого настоящего.

Осознание роли настоящего в репрезентациях прошлого произошло в Новое время в связи с появлением разных и даже про-

тивоборствующих версий истории. Как показал Райнхарт Козеллек, с одной стороны, в Новое время утверждается понятие «истории» в единственном числе, трактуемой как процесс развития человечества во времени, причем процесс, на который можно и нужно влиять (ускорять, тормозить, менять его направление). С другой стороны, тогда же формируется представление о том, что существует множество конкретных «историй» (рассказов о прошлом) и что эти истории могут и должны постоянно переписываться, отражая изменение настоящего.

Факт социальной обусловленности исторических оценок стал очевиден историкам уже в середине XVIII в. Немецкий мыслитель Иоганн Хладениус писал тогда, что

«то, что происходит в мире, воспринимается различными людьми по-разному, в зависимости от состояния их тела, их души, и всей их личности». Соответственно, если к какому-либо событию, например к мятежу, выразят свое отношение верноподданный, мятежник, иностранец, бюргер или крестьянин, то результаты будут неодинаковы. Ибо существуют «разнообразные точки зрения на один и тот же предмет» и «из понятия точки зрения следует, что лица, рассматривающие предмет с различных точек зрения, должны иметь и разные представления о предмете»¹.

Позднее стало очевидным, что к точкам зрения, зависящим от индивидуального «состояния тела и души», следует добавить еще государственную, этническую, партийную, интеллектуальную и другие формы групповой идентификации.

Произошедшее осознание пристрастности, политизированности истории стало характерной чертой историографии Нового времени. В Новое время история была темпорализована и в том смысле, что с течением времени она модифицировалась в соответствии с данным настоящим и по мере дистанцирования изменялась также прошлая социальная реальность. Редко кто уже из историков Просвещения не разделял мнение, что все исторические репрезентации зависят от авторского отбора. Отсюда

¹ *Chladenius J. M.* Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften. Düsseldorf: Stern-Verlag Janssen, 1969 [1742], S. 185, 188ff; ср.: *Koselleck R.* Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Cambridge (MA); London: The MIT Press, 1985 [Germ. ed. 1979]. P. 96ff.

следовало представление, что истина в истории не едина. Историческое время приобрело качество, производное от актуального опыта, и это свидетельствовало о том, что прошлое в ретроспективе можно интерпретировать по-разному. События утратили свой исторически защищенный характер, стало возможно и в определенной степени даже обязательно пересматривать одни и те же события по ходу времени и в зависимости от «исторических задач». Более того, занятия историей стали связываться с обязанностью занимать определенную идейно-политическую позицию, дающую возможность действовать политически и в конечном счете отстаивать интересы тех или иных групп, классов, наций.

Эти представления, возникшие в эпоху Просвещения, в первой половине XIX в. закрепляются историками-романтиками, которые уже в явном виде начинают отстаивать тезис о том, что прошлое — это порождение настоящего. За этим последовало несколько десятилетий господства исторического позитивизма, стремившегося к поиску единственной «объективной» истины и беспристрастному расследованию того, «как это было на самом деле». Речь в данном случае идет, конечно, лишь о заявляемом подходе, т. е. о методологических манифестациях. «На самом деле» в сочинениях многих историков-позитивистов «дух времени» проявлялся еще более отчетливо, чем в работах историков-романтиков. Не случайно именно в рамках позитивистского подхода расцветает националистическая и партийная история.

В конце XIX в. устами Фредерика Тёрнера презентистский подход к историописанию открыто продекларировала «молодая» американская историография. Тёрнер заявил, что каждый век пытается сформулировать свою концепцию прошлого и заново пишет историю, соотнося ее с главной темой своего времени. Представители «новой истории» американцы Джеймс Робинсон и Чарльз Бирд в предисловии к учебнику «Развитие современной Европы» (1907–1908) подчеркивали, что они сознательно подчинили прошлое настоящему, чтобы читатель мог идти в ногу со своим временем, с пониманием просматривая международные новости в утренней газете. А американский историк Карл Беккер в 1932 г. писал своему коллеге: «Некоторые члены

нашей гильдии находят идею о том, что каждому поколению историков приходится переписывать историю, разочаровывающей. Признаюсь, что я так не думаю»².

1. Презентизм и «история современности»

В презентистском истолковании реальным признается только настоящее. Единственный источник познания прошлого — опять-таки субъективное сознание историка, т. е. современность. Таким образом, все существенное для человечества в настоящем, в том числе и имевшее место в прошлом, полагается современным. Известное философское обоснование презентизма дал Кроче, в построениях которого настоящее рассматривается как источник и цель истории. Он последовательно проводил идею укорененности любой истории в настоящем:

«... В строгом смысле “современной” должна именоваться только та история, которая вершится прямо на наших глазах и в нашем сознании... История же “несовременная”, история “прошлого” имеет дело с уже свершившимся... Однако, по здравому размышлению, свершившуюся историю, что именуется... “несовременной”, историей “прошлого”, если, конечно, это в подлинном смысле история, а не переливание из пустого в порожнее, тоже можно без оговорок назвать *современной*... Современная история возникает непосредственно из жизни, отсюда же происходит и несовременная история, ибо очевидно, что лишь интерес к настоящему способен подвинуть нас на исследование фактов минувшего: они входят в нынешнюю жизнь и откликаются на нынешние, не былые интересы»³.

Исторические события актуализируются лишь потому, что для каких-то групп людей в настоящем они сохраняют свое значение, причем совсем не обязательно то, которое приписывалось им в прошлом (хотя их значимость в прошлом в большинстве случаев бесспорна, ибо о них сохранились упоминания). Поэтому для презентистской историографии характерна тенденция

²Цит. по: *Kammen M. Selvages & Biases: The Fabric of History in American Culture*. Ithaca (N.Y.); London: Cornell. Univ. Press, 1987. P. 18.

³*Кроче Б.* Теория и история историографии / Пер. с итал. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917]. С. 9.

недооценивать различия между прошлым и настоящим и переносить в прошлое проблемы современного общества, категориальный и понятийный аппарат и в конечном счете способы мышления.

Во второй половине XX в. возникает еще одна форма презентизма, выражающаяся в стремлении к созданию «современной истории» или «истории современности». Важную роль здесь сыграли, в частности, постструктуралистские концепции «дискурсивных практик» и «власти дискурса». Представление о том, что подход к событиям прошлого столь же субъективен, как и подход к текущим событиям, крепло по мере усиления исторического релятивизма и «открывало» настоящее для исторического анализа. В частности, постмодернисты выдвинули идею «прошло-настоящего» как примирения с историей и заменили перманентную войну с прошлым своеобразным психоанализом культуры и истории, трансформировавшим крочеанский принцип «все современно» в девиз «все современно, исторично и относительно».

Помимо философских оснований (и еще до них) важную роль в реабилитации текущей истории во второй половине прошлого века сыграли политические факторы, прежде всего связанные с необходимостью осмысления трагического опыта Второй мировой войны. Не удивительно, что именно в Германии *Zeitgeschichte* (история современности) стала признанной областью для приложения сил историков, которые не могли оставаться «незаинтересованной стороной». Примерно в это же время аналогичное направление со своими журналами и институциями утвердилось и в США, и в Англии (например, основанный левыми английскими историками в 1952 г. журнал «*Past and Present*»).

В 1960-е годы дискуссия о современной истории еще больше активизировалась, и в ней приняли участие очень известные ученые. Помимо спора о границах между прошлым и настоящим, современностью и текущим моментом, обсуждались и проблемы, связанные с возможностью применения методов исторического анализа к современности, и задачи собственно исторического исследования в отличие, скажем, от журналистского расследования или политической аналитики. Например, задачей истории современности объявлялось обнаружение в текущих со-

бытиях проявления основных структурных изменений или глубоких исторических трендов.

Во Франции сторонники «истории настоящего» группировались в 1970-е годы вокруг Школы политических наук. Одним из наиболее известных представителей этого течения стал Пьер Нора. Он еще в 1974 г. позиционировал себя в качестве «историка настоящего», который «сознательно выявляет прошлое в настоящем», и отвергал мысль о том, что в рамках современной истории существует четкая граница между прошлым и настоящим. Позднее этот подход будет применен Нора в вышедшей под его редакцией 7-томной работе «Места памяти» (1984–1993), где он по существу выступил против традиционной истории, основанной на работе с архивными источниками, и принципа объективности суждения, который «навсегда приговорил историка к отдаленности во времени от своего сюжета».

Удивительно, что реабилитация современности как предмета истории состоялась тогда, когда в историко-методологических исследованиях происходила концептуализация прошлого как *Другого* и окончательно складывалась спецификация истории именно как знания о другой (прошлой) социальной реальности. Столь противоречивый параллелизм свидетельствует о крайне неравномерном теоретическом развитии исторического знания и тем самым о разнообразии методологических ориентаций отдельных историков.

Еще в 1960-е годы некоторые исследователи начали говорить об изменении отношения к настоящему, его релятивизации. «История современности», которая стала активно развиваться в последние десятилетия XX в., явилась своеобразным ответом на подобные настроения, еще одним способом придать устойчивость настоящему путем его «историзации». Как писал тот же Нора, на исходе XX в. история современности (*histoire contemporaine*) переживает превращение в историзированное настоящее (*présent historique*).

2. Различие между прошлым и настоящим

Историческое исследование всегда представляет собой некий синтез прошлого и настоящего (на самом деле и представления о

будущем оказывают важное влияние на репрезентации прошлого, особенно в прагматической историографии). «Время историка» вообще весьма специфично. В нем одновременно присутствует прошлое и настоящее, и историк психологически не испытывает особых трудностей, позиционируя себя в разных эпохах (во «Времени-1»). Уже Иоганн Гердер замечательно высказался по этому поводу:

«...В известном смысле сама история уготовила нам тенистые сени, где проводим мы время свое в обществе рассудительных и справедливых людей самых разных времен. Вот предо мною — Платон, а вот я слышу дружелюбные вопросы Сократа и разделяю с ним судьбу его последних дней. Марк Антонин тихо беседует со своею душой, а вместе с тем беседует и со мной; и повелевает нищий Эпиктет, он — могущественнее царей. Туллий-мученик и злосчастный Боэций обращаются ко мне иверяют мне свои судьбы, печаль и утешение своей души»⁴.

Сходные размышления можно найти у самых разных историков Нового времени вплоть до современных.

Кроме того, в истории, как в грамматике, существует множество сложных времен: будущее в прошлом, прошлое в прошлом, настоящее в прошлом и т. д. Отрезок прошлого, избранный историком для исследования, в определенном смысле приобретает для него смысл настоящего, но одновременно историк знает, что произошло потом (в будущем) и что этому предшествовало (являлось прошлым). Что предшествовало, он знает иногда даже лучше, чем современники исследуемых событий, а иногда много хуже; иногда он лучше знает детали, а иногда — тенденции. Что произошло потом, знает только историк — современники не знают, что *произойдет*. Кроме того, историк, даже если его совсем не интересуют события, которые состоятся за пределами изучаемого им периода, все же мысленно выходит за него, читая профессиональные труды своих предшественников.

Взаимодействие прошлого и настоящего можно рассмотреть и в таком ракурсе: историк в определенном смысле противоре-

⁴ Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. с нем. М.: Наука, 1977 [1784–1791]. С. 455–456.

ит современнику того настоящего, которое для историка является прошлым. Ведь современников нельзя рассматривать как вполне компетентных свидетелей своего времени. Они представляли свое настоящее, опираясь лишь на собственное знание о нем. Зачастую с течением времени пределы осведомленности о событиях прошлого расширяются. Конечно, зависимость осведомленности от удаленности во времени далеко не всегда является прямой. В основном такое утверждение справедливо для периода Новой и новейшей истории. Но в любом случае изменение степени осведомленности меняет историческую интерпретацию. Например, крупнейшие события XX в. — мировые войны, становление биполярной системы, распад колониальной системы — сегодня рассматриваются иначе, чем 30 лет назад, в том числе и потому, что появились новые, неизвестные ранее материалы. Но, может быть, гораздо важнее то, что теперь мы знаем *последствия* этих событий.

Причинно-следственный подход, который присутствовал в исторических сочинениях с момента их появления, всегда выступал в качестве существенного компонента исторического знания. Удельный вес этого компонента сильно варьировался в разные эпохи и от одного исторического сочинения к другому. Своего апогея он достигает во второй половине XIX — первой половине XX в., после чего его роль начинает уменьшаться, но даже теперь его присутствие в историографии остается вполне ощутимым. При этом, разумеется, причинно-следственный подход к истории может использоваться в качестве основания как антипрезентистских, так и презентистских взглядов.

По сути антипрезентистская позиция была четко выражена Василием Ключевским еще до появления понятия «презентизм». Дойдя в своем изложении курса русской истории до момента подготовки реформ об освобождении крестьян и введения земских учреждений, Ключевский пишет, что эти события в тот момент (1880-е годы) «не могут быть предметом исторического изучения», потому что, зная их происхождение и свойства, он еще не знает их последствий.

«Теперь нельзя историку изложить ни той, ни другой реформы: для этого еще нет достаточных исторических данных, по которым он мог бы судить о значении той или другой реформы; ни та, ни

другая не обнаружили своих последствий, а исторические факты ценятся главным образом по своим последствиям»⁵.

В рамках причинно-следственного презентистского подхода, который прослеживается в простейших версиях историзма, настоящее является следствием прошлых причин. Это порождает, в частности, «иллюзию ретроспекции», о которой мы поговорим чуть ниже.

В целом же временная дистанция позволяет взглянуть на прошлое «со стороны», выделить наиболее существенные его характеристики (хотя во многих случаях, и в этом правы сторонники презентистского подхода, существенные прежде всего с точки зрения настоящего). В этом отношении историческое знание имеет определенные преимущества перед знанием о настоящем. Ведь, как заметил Фернан Бродель,

«... Чего не отдал бы наблюдатель настоящего за возможность углубиться в прошлое (или, скорее, уйти вперед — в будущее) и увидеть современную жизнь упрощенной, лишенной масок, вместо той непонятной, перегруженной мелочами картины, которая является вблизи?»⁶

Взаимоотношения прошлого и настоящего в восприятии историка определяются также неодинаковостью происходящих в обществе изменений. В данном случае имеется в виду, что в одном и том же времени и даже в одном и том же историческом пространстве разные аспекты исторического бытия отличаются разной степенью приближенности к настоящему. Одни особенности менталитета и образа действий, типичные для какого-то отрезка прошлого, изменились мало, они остаются близкими и понятными наблюдающему их историку, другие изменились радикально, и их осмысление требует специальных усилий, в том числе и мобилизации воображения.

С этой ситуацией сталкивались многие историки, и в XX в. она была достаточно четко проблематизирована. Показательно,

⁵ *Ключевский В. О.* Курс русской истории: В 5 ч. [1880/1921] // Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М.: Мысль, 1989. Т. 5. С. 258–259.

⁶ *Бродель Ф.* История и общественные науки. Историческая длительность [1958] // *Философия и методология истории / Сост. И. С. Кон.* М.: Прогресс, 1977. С. 131.

например, то, как Фернан Бродель объяснял свой интерес к истории «материальной цивилизации»:

«Конечно, мы могли бы отправиться к Вольтеру в Ферне (это воображаемое путешествие ничего не будет нам стоить) и долго с ним беседовать, не испытав великого изумления. В плане идей люди XVIII в. — наши современники; их дух, их страсти все еще остаются достаточно близки к нашим, для того чтобы нам не ощутить себя в другом мире. Но если бы хозяин Ферне оставил нас у себя на несколько дней, нас сильнеешим образом поразили бы все детали повседневной жизни... Между ним и нами возникла бы чудовищная пропасть, в вечернем освещении дома, в отоплении, средствах транспорта, пище, заболеваниях, способах лечения...»⁷.

У большинства профессиональных историков, конструирующих прошлую социальную реальность, всегда есть ощущение дистанции — во времени, пространстве, культуре, взглядах. В процессе преодоления разрыва во времени складываются разные формы взаимодействия прошлого с настоящим, но объект исследования всегда находится в прошлом, а изучающий его субъект — в настоящем.

Тем не менее удельный вес «настоящего» в исторических интерпретациях очень велик из-за влияния на историка текущих проблем. Одно из самых очевидных проявлений власти настоящего — тематика исторических исследований. Еще полтора века назад Иоганн Дройзен отметил, что не всё, происходившее в прошлом, достойно одинаково пристального изучения и выбор должен быть продиктован потребностью углубить понимание того, как прошлое повлияло на настоящее. Интересы историков зависят от крупных исторических событий и проблем настоящего, от характера достижений и трагедий современного историкам общества.

В качестве примера приведем буржуазно-либеральную историографию Франции 1820-х годов — «великого десятилетия французской историографии». В 1820 г. Огюстен Тьерри опубликовал первую серию своих «Писем об истории Франции». В

⁷Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. / Пер. с фр. В 3 т. М.: Прогресс, 1986–1992 [1979]. Т. 1. С. 38.

1822–1823 гг. вышли «Опыты по истории Франции» Франсуа Гизо и первый том истории французской революции Луи-Адольфа Тьера. В 1824 г. — «История бургундских герцогов» Амабля де Баранта и «История французской революции» Франсуа Минье. В 1825 г. Тьерри издал свою следующую крупную работу — по истории завоевания Англии норманнами. В 1826–1827 гг. Гизо опубликовал «Историю Английской революции» в 2 т. В 1827 г. Тьерри закончил издание «Писем об истории Франции», а Тьер завершал работу над четырехтомной историей революции.

В этих работах, в большинстве своем вышедших из-под пера романтиков, легко обнаруживается противоречивость между политизированным временем, предопределявшим тот или иной выбор гражданской позиции, и пониманием того, что на прошлое нельзя смотреть, руководствуясь стандартами текущего момента. Тем не менее содержание этих трудов показывает, что крупнейших историков Франции в первой половине XIX в. не случайно в прошлом интересовало то, что было актуально в настоящем: революции, происхождение неравенства, формирование буржуазии, истоки парламентаризма (становление муниципалитетов, муниципальные революции XII в.). Именно от этой литературы ведут свое начало идеи о классовой борьбе, и понятно, почему Маркс, собирая исторический материал, обращался в первую очередь к сочинениям французских либералов, а не к трудам своих современников-соотечественников, которые прославили немецкую историографию и почти на столетие утвердили ее в качестве образца. Господствовавшая в Германии во времена Маркса историческая школа задавала прошлому другие вопросы и находила в нем другое содержание, прежде всего, историю становления институтов государственной власти или национальной идеи.

Историкам, даже самым академичным из них, до конца не удавалось забывать ни о своем времени, ни о своем месте (родине). Даже тем, чьи исторические штудии были очень далеки от настоящего. Как заметил Бенедетто Кроче,

«Дройзен облакает свою тягу к сильному централизованному государству в форму истории Македонии — своего рода древнегреческой Пруссии; для Грота символом возжеланных демократических институтов являются Афины; Моммзен ратует за импе-

рию, воплощенную в личности Цезаря; Бальбо страстно сражается за итальянскую независимость на полях всех итальянских битв, начиная ни много, ни мало с битв италиков и этрусков против пеласгов; Тьерри прославляет буржуазию, рассказывая историю третьего сословия»⁸.

Конечно, интересы историков определяются отнюдь не только их политическими взглядами и прагматическими интересами, поэтому, как замечает Кроче далее, «де Барант в своей истории герцогов бургундских упивается дамами, рыцарями, схватками и любовью». Но здесь мы концентрируемся на том, как в исторических сочинениях проявляются групповые интересы, а не индивидуальные склонности историков.

О влиянии настоящего на интерпретации прошлого свидетельствует масса примеров. Один из наиболее ярких — тяжелый кризис, который пережила во Франции либеральная историческая школа в середине XIX в. из-за влияния текущих событий. Удар, нанесенный революцией 1848 г., буквально «сломил» одних историков и радикально преобразовал взгляды других. Огюстен Тьерри после 1848 г. уже ничего не писал, объясняя свое молчание тем, что он больше не понимает историю Франции, так как настоящее ниспровергло его представления и о прошлом, и о будущем.

Но можно привести и более тонкие примеры, например, «Общество и хозяйство в Римской империи» (1925) Михаила Ростовцева. Эта вполне научная работа пронизана характерным для европейской интеллигенции межвоенного периода (и особенно для русских эмигрантов) ощущением кризиса современной культуры, о чем наглядно свидетельствуют ее заключительные строки:

⁸Кроче Б. Теория и история историографии / Пер. с итал. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917]. С. 23.

Прим. авт. Иоганн Дройзен (1808–1885) — немецкий историк, здесь речь идет о его «Истории эллинизма» (3 т., 1833–1843), которая начинается с истории Александра Македонского. Джордж Грот (1794–1871) — английский историк, автор «Истории Греции» (12 т., 1846–1856), которая заканчивается правлением Александра Македонского. Теодор Моммзен (1817–1903) — немецкий историк, автор знаменитой «Римской истории» (5 т., 1854–1885; 4-й том опубликован в 1992 г.). Цезаре Бальбо (1789–1853) — итальянский историк и политик, активный участник движения Рисорджименто. Огюстен Тьерри (1795–1856) — французский историк.

«То развитие, которое претерпел Древний мир, означает для нас и поучение, и предостережение. Нашей культуре суждена недолгая жизнь, даже если ее носителем будет не один-единственный класс, а массы... Следующий урок заключается в том, что попытки насильственного нивелирования никогда не приводили к возвышению масс. Они погубили высшие классы и привели лишь к ускорению процесса варваризации. Но, словно призрак, назойливый и неотступный, преследует нас главный вопрос: возможно ли приобщить низшие массы к высокой культуре, не снижая ее уровня, не ухудшая ее качества до полного обесценивания? И приговорена ли к упадку всякая культура, как только она начнет проникать в массы?»⁹

В периоды войн резко повышается интерес к военной истории и биографиям великих полководцев прошлого. Точно так же деяния Цезаря для современного общества с развитым политическим сознанием или жизнь протестантской семьи для общества, озабоченного перспективами европейской нуклеарной семьи, или пределы самостоятельности средневековой женщины для сторонников женской эмансипации — становятся объектом исторических исследований, потому что они важны, а значит интересны кому-то сегодня.

Презентистская позиция характерна и для мейнстрима, и для маргинальных историографических школ. Но все-таки, кажется, чаще к презентизму склонны представители леворадикальной историографии. Значение настоящего особенно акцентируют историки-марксисты, для которых во временном ряду главным является будущее, затем настоящее и только потом — прошлое. Не случайно в нашей стране в диссертациях на соискание ученой степени по историческим наукам требуется обосновать *актуальность* темы, и нужна некоторая интеллектуальная изворотливость, чтобы доказать этот тезис применительно к исторически отдаленным периодам.

Из пристрастности, характерной для исторического знания, непосредственно вытекает проблема «объективности» историка. Уже Наполеон сказал: «История — это согласованные небылицы» (*fable convenue — франц.*), но в то же время в XIX в. суще-

⁹Ростовцев М. И. Общество и хозяйство в Римской империи / Пер. с нем. В 2 т. М.: Наука, 2000–2001 [1925/1928]. Т. 2. С. 245.

ствовала вера в возможность получения достоверного знания о прошлом путем познания «объективных» исторических законов, использования критического метода и научных приемов исследования. Ньюма Фюстель де Куланж, читая публичные лекции, говорил своей аудитории: «Не меня вы слушаете, это (моими устами — *И. С., А. П.*) говорит сама история»¹⁰.

В связи с «исторической истиной» проблема объективности и история этого вопроса рассмотрены нами в главе 7. Там же мы упомянули о дилемме, возникающей между философской «объективностью» и психологической «субъективностью», которую современная теоретическая социология разрешила с помощью концепции «интерсубъективности», т. е. механизмов, обеспечивающих взаимодействие между субъектами, в том числе символическое. Однако историки продолжают обсуждать эту проблему, прежде всего с позиций правомерности вынесения оценочного суждения о прошлом.

В целом в послевоенной историографии утвердилась позиция, которую можно определить как «объективную субъективность». Например, Эдвард Карр предлагал называть объективным такого историка, который применяет «правильные» стандарты значимости к прошедшему. Эти стандарты связаны не с моральными ценностями, не с поглощенностью текущим моментом, а с «чувством направленности истории». «Историк, изучающий прошлое, может приблизиться к объективности, только если он приближается к пониманию прошлого»¹¹. Примерно в том же духе высказывался английский историк Эдвард Томпсон:

«Только мы, живущие теперь, можем придать “смысл” прошлому. Конечно, восстанавливая его, мы должны держать свои ценности в узде. Но как только мы его восстановили, мы свободны предлагать свое суждение»¹².

¹⁰Цит. по: *Conkin P. K., Stromberg R. N.* The Heritage and Challenge of History. New York: Dodd, Mead & Co., 1971. P. 79.

¹¹*Carr E. H.* What is History? London: Macmillan, 1961. P. 123.

¹²*Thompson E. P.* The Poverty of Theory, or An Orrery of Errors [1965] // *Thompson E. P.* The Poverty of Theory and Other Essays. London: Merlin Press, 1978. P. 234–235.

Очевидно, что разница между «объективным» и «заинтересованным» взглядом на прошлое весьма условна. Претензии на «объективность» предполагают следование некоторым конвенциям, установленным в профессии. Эти конвенции меняются со временем, вернее, меняются, отражая реалии своего времени. Например, в XVII в. ученые повсеместно руководствовались этическими и эстетическими соображениями, иначе и быть не могло, если учесть ту религиозную и нравственную атмосферу, в которой они работали. В XVIII–XIX вв. в процессе формирования государств-наций и становления национального самосознания историки так или иначе выражали «национальные интересы», что существенно влияло, в частности, и на характер создаваемой ими истории Средних веков и Древнего мира. Вторая половина XIX — начало XX в. характеризовались настоящим бумом партийной историографии, в этот период быть идеологизированным было естественно.

Однако уже в XIX в. по мере превращения истории в науку к историческому знанию для определения его научности все чаще начинают применять критерий объективности, ибо знание в «образцовых» естественных науках не могло ведь зависеть от партийной принадлежности или национальности того, кто его производил. Многие известные историки XIX в. высказывались по поводу власти настоящего над историком, оправдывая тем самым «необъективность» или, наоборот, осуждая ее и предлагая рецепты «оздоровления» исторической науки. Как ни странно, но презентизм в некотором смысле тоже можно рассматривать как стремление к «объективации» истории, что четко сформулировал все тот же Бенедетто Кроче. По его мнению, в презентистском подходе

«сразу бесследно и неотвратимо исчезают сомнения относительно *правдоподобия* и *пользы* истории. Может ли быть *неправдоподобным* то, что *сейчас* рождено нашим духом? Может ли быть *бесполезным* знание, разрешающее проблемы самой жизни?»¹³.

Презентизм правомерно рассматривать как предшественника конструктивизма, и в этом случае на фоне исторического

¹³ Кроче Б. Теория и история историографии / Пер. с итал. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917]. С. 11.

знания своего времени он выглядит как методологически сильная позиция. Поэтому говорить о «пользе» презентизма можно, но о «вреде» — тем более. Если исключить намеренные фальсификации истории, характерные для жестко идеологизированной историографии, то к неизбежным абберациям, вносимым презентизмом, следует отнести, например, ориентацию на исторический опыт как на значимый для настоящего; исторические анахронизмы; установление причинно-следственных связей от настоящего к прошлому, вследствие чего историк выступает в роли «пророка, предсказывающего назад».

3. Актуализация прошлого

Одним из самых распространенных следствий презентистского подхода к истории является взгляд на прошлое как на источник опыта. Причем важно подчеркнуть, что исторический опыт играет двоякую роль: используется для политической ориентации и принятия политических решений, а также для оправдания и объяснения этих решений и связанных с ними действий.

В истории Нового времени беспрецедентным явлением в этом смысле стала для Франции, да и для всего европейского ареала, Великая французская революция, которая определила «дух» первой половины XIX столетия. Память о ней вдохновляла революционную традицию, оказывавшую прямое воздействие на политику Франции по меньшей мере до Парижской коммуны 1871 г. Кроме того, Французская революция 1789 г. служила самой настоящей моделью для революционеров XIX в. и в Европе, и в Латинской Америке. Попросту говоря, они «знали», как подготовить революцию, как ее начать и что будет потом. Революции готовились и планировались по «учебнику истории», и если «призрак коммунизма» «бродил», то революции вполне осмысленно распространялись по Европе, а затем и по миру — с учетом «исторических уроков».

Во Франции и в XX в. «трудно было говорить о Французской революции, не заняв определенную позицию по отношению к живой традиции, хранившей память об этом событии»¹⁴. Даже

¹⁴Хаттон П. История как искусство памяти / Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003 [1993]. С. 305.

накануне двухсотлетнего юбилея для большинства современных французских ученых Французская революция оставалась резервуаром исторического опыта, из которого в любой момент можно было извлечь ответ на любой нерешенный вопрос в текущей политической жизни Франции.

Точно так же опыт революции 1917 г. в России использовался революционерами более отсталых стран; «отсталость» перестала восприниматься как препятствие для скачка в «социализм», потому что на вопрос «что делать» существовали исторически проверенные ответы. Значение этого опыта было поистине и *всемирным*, и *историческим*. В XX в. каждый школьник знал, как важна революционная организация для подготовки революции и что следует в первую очередь занять здание парламента и захватить мосты, вокзалы и почтамт (а теперь еще и телецентр). Столь же важен для политических сил азиатских и африканских государств XX в. исторический опыт государственных переворотов (пусть даже на практике приходится импровизировать).

В рамках презентистского подхода история используется и для обоснования будущего. Эта позиция была четко выражена историком-марксистом Михаилом Покровским: «Знать — значит предвидеть, а предвидеть — значит мочь или властвовать. Знание прошлого дает нам, таким образом, власть над будущим»¹⁵. Правда, использование прошлого для описания будущего характерно не столько для самих исторических работ, сколько для различных вненаучных дискурсов, и в этом одно из главных негативных последствий презентизма.

Модели прошлого, которым необходимо «следовать» или к которым необходимо «вернуться», особенно активно пропагандируются в периоды кризисов, когда общество оказывается в ситуации сложного политического выбора. 1930-е годы в США или 1990-е годы в России дали огромное количество таких актуализированных конструкций «прошлого ради будущего», причем не только в историко-политической публицистике, но и в научно-исторической литературе.

¹⁵ Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. 15-е изд. М.: Учпедгиз, 1934 [1920–1923]. С. 6.

Прагматические функции истории в рамках презентистского подхода могут иметь и более сложную форму. Например, опора на прошлое может придавать обществу чувство уверенности. Так, Люсьен Февр писал вскоре после окончания Второй мировой войны: «Да, заниматься историей нужно. В той мере, в какой она — и только она — помогает нам жить в теперешнем мире, потерявшем последние остатки устойчивости»¹⁶. Стремление стабилизировать общественные настроения с помощью истории, как отмечалось выше, реализовалось и в последние десятилетия XX в. с помощью изобретения «истории современности», которая стала способом историзации настоящего.

Интересами настоящего во многом руководствуются и представители контрфактической истории, когда они выстраивают альтернативное будущее от зафиксированного в прошлом события. Хотя интерес к тому, как иначе могло бы пойти развитие, может быть чисто умозрительным, чаще он связан с исторической практикой.

«Если мы хотим прочесть страницы истории, а не бежать от нее, нам надлежит признать, что у прошедших событий могли быть альтернативы. Некоторые из них можно расценивать как реакцию на совершенные ранее ошибки, которые будущее дает шанс исправить. Эти альтернативы — не отголоски человеческих чаяний и желаний, а упущенные по тем или иным причинам объективные возможности: иногда из-за отсутствия героя, иногда — коня, иногда — подковы, но в большинстве случаев — из-за недостатка ума...»¹⁷.

Очевидно, что если мотивация альтернативной истории связана с преодолением в настоящем или будущем негативного опыта прошлого, модель выступает как критерий для оценки исторической реальности, т. е. имеет аксиологический характер. Не случайно поиски альтернатив в прошлом чрезвычайно активизируются, когда происходит переоценка недавнего прошлого. Тогда и начинаются мучительные раздумья по поводу того, каким «путем» можно было пойти, на каком «перекрестке» не

¹⁶ Февр Л. Лицом к ветру [1946] // Февр Л. Бои за историю / Пер. с фр. М.: Наука, 1991. С. 45–46.

¹⁷ Хук С. «Если бы» в истории [1943] // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 214–215.

туда свернули. Нет ничего удивительного в том, что подобной ревизией прошлого увлекаются «властители дум» и политические публицисты, но альтернативной историей соблазняются и историки, бывает, даже очень маститые.

Следствием презентизма является не только перенос прошлого в настоящее, но и трансплантация настоящего в прошлое. Однако предполагать, что «настоящее», перемещаясь в «прошлое», тем самым меняет свой онтологический статус, значит не понимать ни прошлого, ни настоящего. Квинтэссенцией искажающего влияния настоящего на конструируемые историками картины прошлого являются анахронизмы.

Под историческим анахронизмом имеется в виду отнесение какого-либо события или явления к другому времени, внесение в изображение какого-либо периода черт, ему не свойственных. На более ранних этапах развития исторического знания анахронизм был результатом недостатка исторического сознания и избытка исторического невежества. Вследствие первого — отсутствовала идея качественной дифференциации исторического времени и все прошлое совмещалось в сознании с настоящим. Вследствие второго — описание исторических событий оказалось весьма произвольным.

Историческое сознание и историческое знание Нового времени постепенно свели роль этих факторов на нет. Однако анахронизмов от этого не убавилось. На месте анахронизма стихийно возник вполне сознательный *методологический* анахронизм. Его появление во многом как раз и было связано с формированием исторического сознания, отделившего современность историка от прошлого, которое он изучает. Ведь, как сказал Робин Коллингвуд,

«историк — не Бог, глядящий на мир сверху и со стороны. Он человек, и человек своего места и времени. Он смотрит на прошлое с точки зрения настоящего, он смотрит на другие страны и цивилизации с собственной точки зрения»¹⁸.

Общий уровень знаний, текущие интересы и возможности других социальных и гуманитарных дисциплин играют роль на-

¹⁸ Коллингвуд Р. Дж. Идея истории [1946] // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории: Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980. С. 105.

учно-методологического прецедента: из них историки черпают темы, гипотезы, методы, способы доказательства и верификации. В более общем смысле всякое изучение и осмысление прошлого осуществляется в контексте современности, определяющем познавательный горизонт истории (естественно, например, что научное событие такого масштаба, как создание теории биологической эволюции, разработанной в трудах Чарльза Дарвина, Герберта Спенсера, Томаса Хаксли, не могло не затронуть область исторических исследований). Как заметил все тот же Коллингвуд, «в историческом выводе мы не переходим от нашего современного мира к миру прошлого: любое движение в опыте всегда оказывается движением в границах современного мира идей»¹⁹.

В еще большей степени, чем презентистскими настроениями, которые в данном случае следует признать неизбежным злом, методологический анахронизм определяется стремлением придать истории научный характер путем использования общественнонаучных моделей, разработанных применительно к современности. В этом плане особенно опасными оказались крупномасштабные социологические теории. От попыток приспособить их к предшествующим историческим эпохам и пошла представления о капитализме в Древнем Риме, тоталитарном режиме Ивана Грозного или тоталитаризме в идеале якобинства, и т. д. Например, в уже упоминавшейся книге Михаила Ростовцева на трех взятых наугад страницах мы встречаем и «отдельных энтузиастов, в основном интеллигентов» времен Юлия Цезаря, и ветеранов «революционных армий» периода гражданских войн, и «крупных капиталистов Рима», и «богатых представителей муниципальной буржуазии». Другой тип анахронизмов, которые, кстати, благополучно используются до сих пор, связан с народными движениями. Например: «движение рабов под руководство Секста Помпея», «христианское движение», «исламское движение». Вместо крестьянских восстаний или войн в исторических трудах появляются «крестьянские движения» Средневековья, не говоря уже о бесчисленных антифеодальных движениях вплоть до «движения смердов» и «движения холопов» в России.

¹⁹ Там же. С. 148.

Речь в данном случае, конечно, не о том, что некорректно употреблять понятия, неизвестные в те времена, к которым относится исследование. Без абстрактных неологизмов вроде «феодализм» и «капитализм» мы не можем осмыслить прошлое, и потому пользование ими вполне оправданно. Речь идет об отсутствии в определенные эпохи *явлений*, обозначаемых этими понятиями.

Методологический анахронизм возникает не только как следствие неразборчивой любви к социальной теории, но и как результат политических пристрастий. Так, английский историк Эрик Хобсбоум заметил, что французские либералы 1970–1980-х годов, пересматривая историческое значение Великой французской революции, критикуют на самом деле Октябрьскую революцию 1917 г. в России и именно поэтому используют такие слова, как «Гулаг», постоянно упоминают тоталитарные режимы, подчеркивают роль агитаторов и идеологов в революции.

«Зло анахронизма» окажется не столь велико, если согласиться с тем, что любой историк живет в настоящем времени. Содержание исследовательского процесса в истории состоит в том, чтобы идти от настоящего к прошлому или, по меньшей мере, от следствия к причинам. При таком способе постижения прошлого, конечно, не застраховано от вторжения настоящего. А некоторые авторы призывают увидеть в методологическом анахронизме определенные плюсы, ссылаясь на то, что вторгаясь в прошлое, внося в него атмосферу своего времени и свою концепцию истории, историк может найти ключ для оригинальной интерпретации. Но в целом современные историки более сознательно, чем их предшественники, противостоят соблазнам трансплантации понятий и явлений настоящего в прошлое. В частности, история ментальности, новейшая история культуры, история быта нацелены как раз на то, чтобы по возможности очистить былое от представлений настоящего, показать уникальность тех или иных феноменов прошлого.

В числе «вредных» последствий презентистского подхода следует назвать поиски в прошлом прежде всего тех следов, которые как цепь причинно-следственных связей прямо ведут к настоящему, когда то, что происходит, кажется после свершившегося события единственно возможным будущим, заключен-

ным в прошлом и predetermined им. Суть этого подхода, очень типичного для исторического знания современности, состоит в том, что коль скоро некоторое событие воспринимается самими современниками как значимое для истории — иначе говоря, коль скоро ему придается значение *исторического факта*, это заставляет увидеть в данной перспективе предшествующие события как связанные друг с другом (при том, что ранее они могли и не осмысляться таким образом). Итак, с точки зрения *настоящего* производится отбор и осмысление прошлых событий — постольку, поскольку память о них сохраняется в коллективном сознании. Прошлое при этом организуется как текст, прочитываемый в перспективе настоящего.

История как рассказ об упущенных возможностях, о которой мы говорили выше, — это тоже прогнозирование будущего в прошлом. И этому искушению поддавались многие историки, озабоченные настоящим. Ретроспективный взгляд неизбежно приводит к выводу, что реально происшедшее не только наиболее вероятное, но и единственно возможное. Если же исходить из представления о том, что историческое событие — всегда результат осуществления одной из альтернатив и что в истории одни и те же условия еще не означают однозначных последствий, то потребуются иные приемы подхода к материалу. Реализованные пути предстанут в окружении неосуществленных возможностей. Располагаясь в прошлом как в настоящем, историк рассуждает о последующем как о будущем (но при этом знает, «как это было на самом деле»), он видит причинно-следственные связи в последующем как в будущем. Поэтому историки, и это понятно, больше интересуются процессами, которые имели долгосрочное значение, чем теми, последствия которых не прослеживаются вообще. Подчеркивая разнообразие исторических интерпретаций будущего в прошлом, немецкий философ Эрнст Трёльч в работе «Историзм и его проблемы: Логическая проблема философии истории» (1922) писал:

«... Установление начала всегда будет восходить к важным в их созерцаемости цезурам, но оценка значения такой цезуры будет зависеть от того, как мыслятся основные черты дальнейшего продвижения. . . Протестант, который исходит из утверждения в будущем умеренно ортодоксальной теологии, увидит решающий

фактор, определивший будущее, в Реформации. Гуманист и сторонник классицизма увидит это в Возрождении, а исследователь политической истории и государственного права — в возникновении национальных, вводящих новое бюрократическое управление государств, знаменующих конец Средневековья и зарождение системы крупных держав. Социолог и историк духовной культуры увидит решающий фактор в критическом индивидуализме и культе науки, заступающей место основанной на авторитете религии. Здесь в самом деле все зависит от понимания грядущих событий. . . »²⁰.

Метод «исторической ретроспекции» особенно часто используется в конструировании национального прошлого, отчего у нации и «вырастают» удивительно длинные корни.

«Поскольку у нации нет Творца, ее биография не может быть написана по-евангельски, “от прошлого к настоящему”. . . Единственная альтернатива — организовать ее “от настоящего к прошлому”: к пекинскому человеку, яванскому человеку, королю Артуру. . . Вторая мировая война порождает Первую мировую; из Седана является Аустерлиц; а предком Варшавского восстания становится государство Израиль»²¹.

Полезность этого метода для создания «правильного» взгляда на настоящее, кстати, была оценена в нацистской Германии. Там, как рассказано у Марка Ферро в книге «Как рассказывают историю детям в разных странах» (1986), было введено педагогическое новшество: история в младших классах рассматривалась в обратном порядке — удалялась вглубь веков. С Адольфа Гитлера, таким образом, история начиналась. Затем следовал Лео Шлагетер, участник «сопротивления» французам во время «оккупации Рейнской области», расстрелянный французами в 1923 г., «национальный герой и жертва версальского диктата». Потом появлялись Бисмарк, Фридрих II, Лютер, Карл Великий и т. д. И, наконец, Арминий, который наголову разбил мощную римскую армию «в сумрачных германских лесах».

²⁰ *Трёлъч Э.* Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994 [1922]. С. 605.

²¹ *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001 [1983/1991]. С. 223.

* *
*

Мы отметили лишь некоторые очевидные следствия для исторического знания, заключенные в презентистском подходе. Конечно, уважаемые историки стремились по возможности сохранить беспристрастность и, по крайней мере, пытались дистанцироваться от сиюминутных обстоятельств. Сегодня практически все авторитетные исследователи признают, что попытки конструировать прошлое, руководствуясь текущими интересами, делают несостоятельными претензии на научность. Но они уже в массе своей согласны с тем, что речь идет не о реконструкциях, а о конструкциях прошлого.

Учитывая, что, с позиций современной социологии знания, прошлая социальная реальность всегда конструируется в настоящем, преодоление негативных следствий презентизма возможно при разграничении прошлого и настоящего через введение понятия *Другого*. Именно эта категория игнорируется в презентистской теории, и именно взгляд на прошлое как на *Другое* составляет специфику научного исторического знания и накладывает на профессионального историка целый ряд самоограничений, обеспечивающих определенную свободу от влияния ситуации настоящего.

Осознание прошлого как *Другого* и спецификация истории как отдельной науки о прошлом, в определенном смысле позволили историку не быть заложником настоящего. Именно в определенном, потому что сам процесс исторического исследования можно представить себе как отношение культуры настоящего к культуре прошлого, и сколько бы ни отворачивался историк от современности как от эфемерного, сиюминутного, не поддающегося «объективному», «непредвзятому», «бесстрастному» и т. д. анализу, он остается пленником своего времени.

На протяжении большей части Нового времени история выполняла функции обществоведения и поставляла знания для настоящего, тем самым она участвовала в решении актуальных задач. В XIX в., когда история только становилась наукой и не была еще специализированным знанием о прошлом, настоя-

щее, определяемое идеологическими и социально-политическими факторами, играло в историческом дискурсе намного более важную роль. История была пристрастной, партийной или, как тогда говорили, субъективной (при том что, как правило, все претендовали на объективность), и мотивы текущего времени были очень значимыми в труде историка.

Влияние настоящего ощутимо присутствовало и в XX столетии. Оно заявляло о себе и в принципе деления историографических направлений по идеологическому признаку (консервативная, либеральная, радикальная, марксистская историография), и в выборе предметных областей (политическая история, история международных отношений, история социальных движений и т. д.). В презентистском типе историографии Нового времени историки особенно остро осознают свою зависимость от настоящего, сознательно реагируют на проблемы своего времени и пытаются, как минимум, «словом» воздействовать на способы их решения.

Глава 13

ВНЕНАУЧНЫЕ ФОРМЫ ЗНАНИЯ О ПРОШЛОМ

В последние десятилетия знание о прошлом является объектом активного обсуждения в самых разных аспектах — от проблем эпистемологии и национальной идентичности до школьного образования и «культурной памяти». Под «историей» иногда понимают все знания о прошлом, вместе с тем очевидно, что «прошлая реальность» во всем многообразии ее подсистем, элементов и связей — это объект не только исторической науки, но и других видов научного и вненаучного знания, прежде всего религиозного, философского, идеологического и эстетического (художественного).

В современном обществе «историей» обозначается общественнонаучное знание о прошлой социальной реальности. В настоящее время этот тип знания играет доминирующую роль в общей совокупности представлений о прошлом, и именно история в значении научного знания выступает основным объектом данного курса. Однако роль других символических универсумов в формировании образа прошлого очень велика, особенно когда речь идет о досовременных обществах, в которых, строго говоря, вообще не существовало общественных наук как самостоятельного типа знания, а смыслы слова «история» разительно отличались от современных. Более того, и в настоящее время вненаучные формы знания о прошлом занимают важное место в создании общей картины мира. Они воздействуют не только на массовые представления, но и на профессиональное историческое знание.

Предлагаемый подход к анализу знания о прошлом базируется на использовании и развитии концепций, разработанных в рамках социологии знания. В этой концепции ключевыми понятиями являются историческое знание и историческая реальность в их социологической интерпретации, согласно которой формирование знания является социальным процессом, а под «реальностью» понимается все, что считается реальностью в том или ином обществе. При этом знание о социальной реальности одновременно конструирует саму эту реальность, включая ее прошлое, настоящее и будущее.

Переход от философии познания к социологии знания «уравнял в правах» разные типы знания. Согласно этому подходу, все виды знания могут рассматриваться как производные от социальных интересов и социального контекста развития знания в целом, а методы социологического анализа науки (включая содержание естественнонаучных теорий и математического знания) ничем не отличаются от исследовательских подходов к таким феноменам культуры, как миф, религия, мораль и т. д. Соответственно, объективность знания имеет прежде всего социальный характер и выражается в имперсональности, независимости от личных предпочтений субъекта. Такой расширительный и комплексный подход к анализу знания получил развитие в известных работах Дэвида Блура, Клиффорда Гирца, Нельсона Гудмена, Хельмута Шпинера и др.

Линии демаркации разных видов знания ныне являются весьма расплывчатыми и довольно подвижными. Тем не менее отсутствие четких границ между ними, присутствие элементов одного типа знания в дискурсах, считающихся принадлежащими к другому типу, не снимают проблемы различий между видами знания, в том числе и по функциям, которые они выполняют в обществе. С эвристической точки зрения, признание наличия разных типов знания, их специфичности и несводимости одного к другому дает гораздо более широкие возможности для понимания и объяснения прошлой социальной реальности, чем представления об аморфном и недифференцированном образе прошлого.

В данной главе мы рассматриваем те типы знания, в рамках которых активно конструируется прошлая социальная реаль-

ность. В каждом из них можно выделить, как минимум, два среза — узкопрофессиональное «высокое» знание и «популярное», своего рода полупрофессиональное знание (хотя его носители и распространители во многих случаях являются профессионалами). «Популярное» знание (популярная религиозная, философская, научная литература, так же как и массовое искусство) связано с «высоким» знанием, но отнюдь не тождественно ему.

Что касается общественнонаучного знания, то ситуация, характерная для него, до некоторой степени схожа с остальными — практически во всех общественных науках наряду со знанием о настоящем присутствуют элементы знания о прошлом (хотя бы на уровне информации) и о будущем (прогнозы). Но, кроме того, в общественных науках существует отдельная специализированная дисциплина, изучающая прошлую социальную реальность, — история.

Социологическая теория знания восходит к высказанной Карлом Марксом в 1859 г. идее о существовании «форм общественного сознания», и становление этого направления приходится на конец XIX — начало XX в. Прежде всего объектом анализа ученых стали архаичные («примитивные») представления (Эдвард Тайлор, Марсель Мосс, Арнольд ван Геннеп, Люсьен Леви-Брюль и др.). Отталкиваясь от этнологических исследований, Эмиль Дюркгейм вводит понятие «коллективные представления». Появляются первые работы по социологии отдельных типов знания (символических систем): искусства (Ишполит Тэн, Эмиль Геннекен), религии (Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм), права (Рудольф фон Йеринг, Георг Еллинек), естественнонаучного знания (Анри Пуанкаре).

Второй этап формирования данного направления приходится на 1920–1930-е годы, когда Макс Шелер вводит само понятие «социология знания». В сферу социологического анализа наряду с архаичным знанием, религией, правом, искусством включаются идеология (Карл Манхейм), наука (Томас Знанецкий, Роберт Мёртон) и, наконец, обыденное знание (Альфред Шюц).

Третий этап — 1960–1970-е годы. В этот период появляются обобщающие теоретические работы по социологии знания (Питер Бергер и Томас Лукман, Дэвид Блур, Барри Барнс, Карен Кнорр-Цетина). Одновременно резко активизируются исследо-

вания по социологии отдельных символических систем: прежде всего науки, искусства, обыденного знания, а также религии, идеологии и даже философии (Рэндалл Коллинз). Кроме того, в сферу социологического анализа знания включаются проблемы властных и имущественных отношений: речь идет о концепциях «власти–знания», «символического капитала», «символической власти» и т. д. (Мишель Фуко, Пьер Бурдьё).

В результате формулируется достаточно четкое социологическое определение знания:

«Для социолога знание — это то, что люди считают знанием. Оно состоит из тех представлений (beliefs), которых люди уверенно придерживаются и с которыми живут. В частности, социолог должен заниматься представлениями, которые воспринимаются как данные или институционализированные, или наделенные авторитетом группами людей»¹.

Как пишут Питер Бергер и Томас Лукман,

«Можно сказать, что социологическое понимание “реальности” и “знания” находится где-то посередине между пониманием их рядовым человеком и философом. Рядовой человек обычно не затрудняет себя вопросами, что для него “реально” и что он “знает”, до тех пор, пока не сталкивается с проблемой того или иного рода. Он считает свою “реальность” и свое “знание” само собой разумеющимися. Социолог не может сделать этого хотя бы только вследствие понимания того факта, что рядовые люди в разных обществах считают само собой разумеющимися совершенно различные “реальности”. . . В свою очередь философ в соответствии со своей профессией вынужден. . . стремиться к достижению максимальной ясности в отношении предельного статуса того, что рядовой человек считает “реальностью” и “знанием”. . . <т. е.> будет исследовать онтологический и эпистемологический статус этих понятий»².

Как отмечают Бергер и Лукман, ключом к пониманию различий между обыденным, философским и социологическим

¹ Bloor D. Knowledge and Social Imagery. London: Routledge & Kegan Paul, 1976. P. 2.

² Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с англ. М.: Медиум, 1995 [1966]. С. 10–11.

подходом к определению «реальности» и «знаний» является употребление кавычек. Рядовой человек, говоря о реальности и знании, мысленно всегда обходится без кавычек. Философ стремится решить, где кавычки нужны, а где их можно спокойно опустить, т. е. отделить обоснованные утверждения о мире от необоснованных. Наконец, социолог, говоря о «реальности» и «знании», всегда подразумевает кавычки, и тем самым — социальную и культурную относительность этих понятий.

В классической философии познания социальный, коллективный аспект знания практически не рефлексировался.

Во-первых, знание всегда понималось как продукт человеческой психики, связанный с некой мыслительной деятельностью. При этом «знание» вплоть до XIX в. концептуализировалось как «правильные представления» о мире, возникающие в рамках индивидуального сознания, и все концепции знания были связаны в первую очередь с психологией.

Во-вторых, в рамках философии познания к знанию относились отнюдь не все представления о мире, а только некоторые из них. Селекция основывалась как на особенностях мыслительных операций, так и на характеристиках объекта осмысления. В современных терминах можно условно говорить о различении по методу и по предмету, т. е. «знанием» считались представления, полученные только определенным методом (с помощью специфических мыслительных процедур) и относящиеся только к некоторым объектам.

В-третьих, для классической гносеологии было характерно устойчивое представление о существовании абсолютного знания (абсолютной истины), которое активно использовалось даже в марксистско-ленинской философии. Абсолютное знание могло отождествляться с внеположенными идеями, Божественным разумом как носителем абсолютного знания, универсалиями, трансцендентальностями и т. д. Другой стороной этих представлений была трактовка знания как результата процесса познания — или внешнего мира (и приближения к абсолютному знанию), или непосредственно самого абсолютного знания (его постижения).

Социология знания отказывается от установок классической философии познания, рассматривая знания как продукт чело-

веческой деятельности, формирующийся в процессе социальных взаимодействий и включающий *все* виды социально признанных представлений.

Переход от философии познания к социологии знания в значительной мере ликвидировал и проблему классификации знаний, которой ранее придавалось огромное значение. На смену многообразным классификационным схемам, создававшимся со времен античности и достигшим к началу XX в. умопомрачительной сложности, пришло старое доброе задание типов знания простым перечислением через запятую. Начиная с Маркса возникла замечательная, на наш взгляд, традиция: давать не исчерпывающий список типов знания, а оканчивать его словами «и т. д.», «и др.», «и проч.». Мы полностью поддерживаем этот подход и лишь напомним, что в число самостоятельных типов знания обычно включаются философия, религия, общественные науки, естественные науки, идеология, литература и искусство (эстетическое знание), техническое и практическое знание, мораль и право (этическое знание), обыденное знание и др.

Обратной стороной процесса «уравнивания в правах» всех типов знания стало повышенное внимание к проблеме демаркации или различения отдельных типов знания, решение которой в рамках философии познания считалось самоочевидным. Еще в начале XX в. вопрос решался на удивление просто: наука отличалась, например от религии, тем, что первая была знанием, а вторая — верой (не-знанием или ложным знанием). Признание эпистемологического равноправия всех символических универсумов потребовало более тонких способов демаркации и стало полем для многочисленных дискуссий. Возникшие концептуальные сложности привели к появлению крайней позиции, сводящейся к тому, что поскольку формирование всех типов знания происходит в целом одинаковым образом, различиями между ними можно пренебречь, например определяя их все как «верования». Однако различение и демаркация знаний и соответствующая экспертная специализация являются одним из важнейших условий прогресса знания и усовершенствования конструкции социальной реальности.

Большинство типов знания и создаваемая в них картина реальности имеют некие темпоральные характеристики, т. е. пред-

ставления о прошлом, настоящем и будущем, о процессе изменений объекта знания во времени, о состоянии и характеристиках «реальности» в разные моменты времени и т. д. Задача данной главы — продемонстрировать, как именно прошлая социальная реальность конструируется в разных типах знания. В качестве объектов анализа мы выделяем, во-первых, архаичное знание, во-вторых — основные формы специализированного знания: религию, философию и идеологию. Механизмы формирования образов прошлого в обыденном знании мы рассмотрим в следующей главе.

1. Архаичное знание

Анализ архаичных представлений позволяет понять не только «истоки и корни» современных моделей организации мира во времени, но и некоторые общие принципы их построения.

Многие основные образы темпоральной картины мира, сформировавшиеся еще в рамках примитивных, недифференцированных систем представлений, используются вплоть до сегодняшнего дня в специализированных типах знания — религии, философии, общественных науках, идеологии, равно как и в исторической науке. Существование этих образов обусловлено, на наш взгляд, простейшими мыслительными операциями, с одной стороны, и использованием при конструировании темпоральной картины социальной реальности *природных образов*, которые устойчивы просто в силу фактической неизменности природной среды обитания человека, — с другой.

Коротко остановимся на общих характеристиках архаичного мышления.

Во-первых, в архаичной картине мира практически отсутствуют границы между божественной, социальной и природной реальностями.

Во-вторых, примечательной особенностью архаичной «реальности» является предметность. Мир осмысливается прежде всего через физические предметы, вначале это — элементы мира природы, позднее добавляются предметы, изготовленные людьми. При этом в рамках установки на целостность, взаимосвязанность мира возникает тенденция к уменьшению, размыва-

нию различий между предметами. Отсюда — известные явления антропо- и зооморфизации растений и неживой природы, с одной стороны, и отождествления живых существ с растениями и элементами неживой природы — с другой.

Еще одной характеристикой архаичных представлений является особый тип мышления, выражающийся в слабом развитии системы понятий и активном использовании простейших сравнений или уподоблений (эти уподобления иногда именуются метафорами, но прилагать теорию литературных тропов к архаичным представлениям некорректно). С «допонятийным» мышлением тесно связано отсутствие правил формальной логики, в частности, правила «исключенного третьего». Эти особенности архаичного мышления многократно обсуждались в литературе, начиная с работ Люсьена Леви-Брюля, обозначавшего примитивное мышление как «дологическое», и кончая работами о доминировании правополушарного мышления у примитивных народов.

С точки зрения нашего исследования существенными представляются три аспекта архаичных представлений: образы времени, представления о прошлом и, наконец, уже на уровне высоких культур древности простейшие образы («модели») развития общества.

Образы времени

Как отмечалось в главе 2, уже в архаике формируются два основных образа времени. Первый основан на представлении о времени как подобии пространства; второй — как о некой материальной субстанции, чаще всего движущейся (отсюда — время летит, течет, бежит, несется и т. д.). Как и обычное пространство, архаичное время-пространство не является абстрактным, пустым, оно всегда заполнено или временем-материей, или чем-то иным — событиями, явлениями и т. д. Отсюда, как показал известный лингвист Бенджамин Уорф, возникают такие лингвистические конструкции, как «период времени», аналогичные выражениям типа «чашка чая», «буханка хлеба» и т. д. Развивая идеи Уорфа, можно сказать, что время-пространство делится на некие периоды или отрезки (части), заполненные временем-

материей. Идея о разном «наполнении» и, соответственно, качественном различии отдельных частей времени-пространства лежит в основе разделения прошлого, настоящего и будущего.

В рамках представлений о времени-пространстве использовались по меньшей мере два типа пространственной ориентации: вертикальная и горизонтальная. В каждой из них в свою очередь возможно разное «местонахождение» прошлого и будущего. В архаичных культурах обычно прошлое располагалось или «наверху» (при вертикальной ориентации) или «впереди» (при горизонтальной ориентации), что свидетельствует об аксиологических предпочтениях прошлого настоящему и будущему (как известно, «наверху» считалось и по сей день считается лучше, чем «внизу», а «спереди» — лучше, чем «сзади»). В частности, образ генеалогического древа задается в рамках вертикальной временной ориентации, оно «растет» сверху вниз.

Судя по данным исторических и этнологических исследований, эти первичные аксиологические структуры постепенно начинают меняться на противоположные. Вначале это происходит в рамках вертикальной ориентации: уже будущее помещается наверху, отсюда — идея «восхождения» (по ступеням и т. д.) как форма «движения» в будущее. Что касается горизонтальной ориентации, то здесь смена установок происходит позднее: по мнению некоторых исследователей, лишь с утверждением христианства «человечество» начинает «двигаться» в будущее (т. е. будущее становится более ценным, чем прошлое).

Прошлое

Главный структурообразующий принцип в архаичной картине прошлого — это разделение так называемого «мифического» и «эмпирического» прошлого (времени).

«Мифическое время есть время “начальное”, “раннее”, “первое”, это “правремя”, время до времени, то есть до начала исторического отсчета текущего времени. Это время первопредков, первотворения, первопредметов. . . сакральное время в отличие от последующего профанного, эмпирического, исторического времени. Мифическое время и заполняющие его события, действия предков и богов являются сферой первопричин всего последующего,

источником архетипических прообразов, образом для всех последующих действий. Реальные достижения культуры, формирование социальных отношений в историческое время и т. п. проецируется мифом в мифическое время и сводится к однократным актам творения. Важнейшие функции мифического времени и самого мифа — создание модели, примера, образца. Впоследствии, в эпических памятниках мифическое время преобразуется в славную героическую эпоху единства народа, могучей государственности, великих войн и т. д. В мифологиях, связанных с высшими религиями, мифическое время преобразуется в эпоху жизни и деятельности обожествленных пророков, основателей религиозной системы и общины»³.

На наш взгляд, впрочем, точнее говорить о дифференциации «мифических времен», а не об их превращении в героические. В рамках такой дифференциации «мифические времена» начинают делиться на, условно говоря, «доисторические», «предысторические» и «героические». В «доисторических временах» еще нет людей, они фактически появляются только в «предысторические времена», но играют в этом периоде незначительную роль. В свою очередь «героические времена» оказываются связующим звеном между «мифическими» и «эмпирическими». «Доисторические времена» имеют вселенский характер («мир»), «предысторические» — универсально-социальный («люди»), наконец, «героические времена» обретают отчетливо выраженный «национальный» (племенной, родовой) характер («мы»). Существенно при этом подчеркнуть, что в архаичном знании как «мифические времена» в целом, так и их более дифференцированные типы, уже отчетливо выступают в качестве прошлого, «другого» по отношению к настоящему.

Существуют две основные классификации архаичных повествований о прошлом. В первом случае дискурсы делятся на мифы и легенды, в свою очередь легенды делятся на собственно легенды и предания. Во втором случае дискурсы делятся на мифы и эпос, в свою очередь эпос делится на архаический и классический. В обеих системах подразумевается постепенное вы-

³ Мелетинский Е. М. Общее понятие мифа и мифологии // Мифологический словарь / Ред. Мелетинский Е. М. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 634–640 (С. 635).

теснение сакрально-фантастических представлений о прошлом «историческими» или эмпирическими, хотя различие между типами дискурсов, повествующих о прошлом, является не слишком четким и в любом случае не универсальным для всех архаичных культур.

Модели мира

Можно выделить основные типы архаичных моделей мира, задающих его темпоральную организацию. Заметим, что приводимая ниже типология достаточно условна, поскольку в рамках архаичных систем знания разные образы не были жестко разделены между собой и во многих случаях фактически сливались в сознании.

Одними из наиболее распространенных являются **циклические космологические модели**, связанные с представлениями о влиянии космических тел на человеческую жизнь. В развитых архаичных культурах исходные космологические модели темпоральной организации преобразуются в достаточно сложные концепции циклического развития мира в целом (различные вариации «Великого года») и общества в частности. В качестве наиболее известного примера можно привести концепцию циклов форм правления, которая была впервые предложена Платоном в «Государстве», усовершенствована Аристотелем в «Политике» и законченное выражение получила у Полибия во «Всеобщей истории».

К числу преимущественно природных относится и **модель «возрастов жизни»**. В рамках простейших представлений, основанных на физиологических характеристиках живых организмов — изменении физической силы и репродуктивных способностей, в данном случае задается \cap -образная картина развития («улучшение» от рождения до зрелости, «ухудшение» от зрелости до смерти). Поскольку как период до рождения, так и после смерти можно рассматривать как «небытие», эта модель часто преобразуется в циклическую (появление из небытия — цикл развития — уход в небытие). Именно поэтому в современной лексике данная модель часто именуется «циклом жизни» или «жизненным циклом» (life cycle).

В высоких культурах древности принцип индивидуальных «возрастов жизни» начинает переноситься на коллективный уровень. По-видимому, одним из первых эту идею реализовал в IV в. до н. э. ученик Аристотеля Дикеарх из Мессины (Сицилия), но широкое распространение модель «возрастов жизни» в приложении к истории государства получает в Древнем Риме (она присутствует в сочинениях Варрона, Цицерона, Аннея Флора, христианского писателя Лактанция, Аммиана Марцеллина и др.).

К числу древнейших относятся и **семейно-родовые модели**, которые также широко применялись для темпоральной организации мира. Издавна история семьи (рода) в «эмпирическом времени» периодизировалась по смене глав рода. «Семейная» трактовка поколения перешла и в исторические исследования — речь идет о периодах правления, которые издревле использовались в качестве единицы времени. Период правления властителя часто отождествлялся с поколением — такую трактовку можно найти уже у Геродота.

Из семейного времени концепция поколений переходит в описания истории общества, утрачивая при этом персонифицированный характер. Идея смены социальных поколений встречается в работах самых разных авторов, в частности, Гесиода⁴, Гераклита, Геродота, Платона, Аристотеля, Зенона из Китиона, Полибия, а также Варрона, Лукреция, Вергилия, Горация, Овидия, Плутарха, Цензорина и др. При этом у большинства авторов, апеллировавших к процессу смены поколений, концепция развития общества обычно имела регрессивный характер.

Наконец, в развитых архаичных культурах возникает еще один тип моделей темпоральной организации мира, связанный уже не только с природой, но и с деятельностью человека. Речь идет прежде всего о различных **концепциях «золотого века»** (поколения, периода, эпохи и т. д.), где каждый период «истории» ассоциируется с неким металлом или минералом (золото, серебро, бронза, медь, железо, камень). Впервые, насколько нам известно, такой подход предложил Гесиод. В разных вариантах

⁴Напомним, что знаменитые «пять веков» Гесиода (золотой, серебряный и т. д.) — это на самом деле не что иное, как пять «поколений» (γένος).

он обнаруживается как в последующих работах древнегреческих авторов, а затем и римских писателей, так и в древнеиудейских текстах Ветхого Завета (Книга пророка Даниила), и в некоторых других архаичных культурах. Например, в германо-скандинавской мифологии не существовало развернутой модели смены «веков», но все же в начальный период после творения боги-асы живут в мире, где все сделано из золота.

К этому же классу принадлежат модели, основанные на ассоциации отдельных исторических периодов с разными видами **хозяйственной деятельности** человека (или отсутствием таковой). Прежде всего речь идет о классификациях типа «охота-скотоводство-земледелие». Первая известная нам классификация такого рода была предложена упоминавшимся Дикеархом из Мессины, который выделил три ступени в истории человечества: первобытную, пастушескую, земледельческую; эту схему использовал и Варрон (I в. до н. э.), у которого она имеет явно выраженную прогрессивную окраску. Не удивительно, что подобные модели вновь обрели необычайную популярность в период доминирования идей прогресса, в конце XVIII — XIX в.

Наконец, для историка необычайно интересна **модель «пути»**, которая конкретизировалась в образах «дороги» и «лестницы», акцентирующих горизонтальное и вертикальное движение. Эти образы широко использовались в мифах о культурных героях, а затем постепенно стали переноситься с индивидуального на коллективный уровень. «Путь» связан с человеческим действием, во многих случаях — с целеполаганием, т. е. обладает телеологичностью. Он может «вести» в будущее, к Богу, к совершенству, познанию самого себя, но также в ад, в тупик, в никуда. Телеологические характеристики одновременно играют аксиологическую роль: цель движения во многом определяет его ценность, соответственно формируются представления о «правильном», «верном» или «праведном» пути, и наоборот. В соответствии с аксиологией пространственной ориентации, о которой речь шла выше, движение вверх, вперед и вправо считалось предпочтительнее движения вниз, назад и влево.

Универсалия «пути» особенно варьируется в рамках «топографического» подхода, где «путь» («дорога») имеет разнообразную горизонтальную структуру — повороты, развилки, пере-

крестки, распутья, — уподобляющие его горизонтально лежащему дереву, он может быть «прямым» и «кривым» и т. д. Кроме того, «путь» связан не только с рельефом, но и с общим характером местности, по которой он проходит (через лес, поле, мост через реку или пропасть). Наконец, сам «путь» имеет разные качественные характеристики — торная тропа, тернистый путь, накатанная или мощеная дорога (например, дорога в ад, вымощенная благими намерениями). «Путь» («дорога») размечается «вехами», «придорожными столбами», у «дороги» есть «обочины», здесь существуют «тупики», а в XX в. возникают даже исторические «магистральные пути» и «улицы с односторонним движением».

Примерно такую же эволюцию претерпел образ «лестницы», исходно связанный с образом дерева и представлениями о вертикальной структуре мира. Первоначально вертикальное движение по «лестнице» было прерогативой относительно узкого числа мифических персонажей и имело более сакральный характер, чем движение по «дороге». По «мировой лестнице» могли двигаться шаманы (в низших мифологиях), мифологические трансцендентные существа (боги, ангелы и т. д.) и, наконец, души людей, как умерших, так и живущих героев. Образ «духовной лестницы» материализовался в погребальных сооружениях (пирамиды, зиккураты), и даже в чётках, перебирание которых символизировало восхождение по ступеням лестницы. Но постепенно образ «лестницы» генерализируется и социализируется, переносится с индивидуального на коллективный уровень. Возникают модели социального движения по «ступеням лестницы», отражающие изменение коллективного духа, разума и т. д.

2. Специализированные формы знания

Религия

Говоря о религиозной форме знания, мы будем опираться только на примеры из христианства, чтобы не усложнять изложение. Христианское религиозное знание играло в Европе доминирующую роль в формировании образа прошлого человечества

на протяжении более чем тысячелетнего периода — по крайней мере с V до XV в. Более того, в Западной Европе в этот период религиозное знание было практически единственным типом специализированного знания, в том числе и об обществе.

Хотя в настоящее время роль религиозного знания в конструировании прошлой социальной реальности сравнительно невелика, анализ формирования образа прошлого в религиозном знании представляет не только исторический интерес: религия оказала колоссальное влияние на те типы знания о прошлом, которые возникли в Новое время — прежде всего историософию и идеологию.

В современной литературе религиозное знание о прошлом обычно подразделяется на теологию истории (под «историей» здесь понимается процесс бытия человечества во времени) и христианскую историографию.

1. Теология истории. Темпоральная картина мира в христианстве выстраивалась постепенно и подверглась существенной эволюции. Первый этап концептуализации состоял в отделении настоящего от прошлого.

«Заимствованную у иудаизма модель апокалиптического ожидания скорого пришествия Иисуса Христа как “конца времен” полностью заменила эллинистическая концепция, берущая начало в двух трудах Луки (Евангелии и Деяниях Апостолов), в которой Иисус Христос трактовался как “середина времен”: *воочеловечивание Бога в Христе рассматривалось как поворотный пункт мировой истории*, понимаемой как драма, разыгрываемая между Богом и миром»⁵.

В результате период до Воплощения начинает трактоваться как прошлое, а после Воплощения — как настоящее. На концах мирской истории размещались два особых периода: Сотворение мира и пребывание Адама и Евы в раю, с одной стороны, и царствование Антихриста (или период второго пришествия Христа) — с другой. При этом мирская «история» или бытие человечества во времени с обеих сторон было окаймлено «вечностью» или «встроено» в вечность.

⁵ Кюнц Г. Великие христианские мыслители / Пер. с нем. СПб.: Алетейя, 2000 [1994]. С. 100.

В пределах этой общей схемы использовался набор более конкретных представлений или моделей, разделявших мирскую историю на отдельные периоды. Особой популярностью пользовались трех-, четырех- и семичастные схемы, предложенные еще Августином в сочинении «О граде Божиим».

Трехчастное деление «истории» основывалось на двух основных схемах, восходящих к Новому Завету. В первом варианте трем частям истории соответствовали периоды от Сотворения мира до Авраама или до Моисея (период «естественного состояния» или «естественного закона»), от Авраама или от Моисея до Рождения Христа (период Старого или «Ветхого» завета/договора, или «закона») и от Христа до конца света (период Нового завета или «закона» или «Божией милости»). Эта схема была разработана Евсевием Памфилом и Аврелием Августином и неоднократно использовалась впоследствии. В частности, в первой половине XII в. ее популяризировал французский каноник-августинец Гуго Сен-Викторский.

В другом варианте трехчленной периодизации истории первый этап относился к периоду от Сотворения мира до Рождества Христова (прошлое), второй — от Христа до Страшного суда (настоящее), а третий — уже к трансцендентному будущему или небесному «Царству Божию», долженствующему наступить после Страшного суда. В XII в. эта схема стала связываться с ипостасями Святой Троицы. Радикальную модификацию этой схемы осуществил в конце XII в. Иоахим Флорский, который концептуализировал тысячелетнее земное будущее человечества, которое качественно отлично от настоящего и должно наступить после непродолжительного «царства Антихриста».

Эта идея относительно секуляризованного (насколько это возможно в рамках религиозного знания) будущего стала не только основой для разнообразных ересей и различных реформаторских и революционных политических движений, но и явилась прообразом многих историсофских схем XVIII–XIX вв., в том числе марксистской.

При объединении этих двух типов трехчастных схем возникла четырехчастная модель (более отдаленное прошлое, более близкое прошлое, настоящее, будущее). Но самостоятельный тип четырехчастных схем основывался прежде всего на идее

четырёх царств. Отталкиваясь от Книги пророка Даниила, а также от «Истории Филиппа» Помпея Трога (начало I в.), а позднее — ее краткого изложения, сделанного Юстином (начало III в.), раннехристианские авторы разрабатывают модель «четырёх царств» — Ассиро-Вавилонского, Мидийско-Персидского, Греко-Македонского и Римского. Впервые она встречается в «Толковании на книгу пророка Даниила» Ипполита Римского (II в.), затем в комментариях на книгу Даниила, написанных Иеронимом (конец IV в.), и, наконец, в «Истории против язычников» (начало V в.) ученика Августина Павла Орозия.

Концепция «четырёх царств» была дезавуирована после распада Римской империи, факт гибели которой достаточно отчетливо осознавался современниками этого события. Возрождение идеи четырех монархий начинается в конце X в., когда создается Священная Римская империя (с конца XV в. — Священная Римская империя германской нации). При формальном следовании каноническому представлению о вечности «последнего царства» — Римской империи, оно дополнено идеей «*translatio imperii*» — так называемого «переноса» имперской власти сначала из Рима в Византию, затем на Запад — к Карлу Великому, преемниками которого объявили себя германские императоры.

Развитием этой модели стали возникшая на Руси в XV в. после падения Константинополя доктрина «Третьего Рима» (где к четырем «царствам» добавлялось два новых «Рима» — Константинопольский и Московский) и появившаяся в XX в. в Германии концепция «Третьего Рейха» (где к четырем царствам добавлялись три новых: Священная римская империя германской нации, Германская империя 1871–1918 гг. и фашистская Германия).

Если же говорить о самостоятельных 7-частных схемах всемирной истории, то они также существовали в двух вариантах. Первый основывался на аллегорическом толковании семи дней творения, включая субботный день отдыха. Неделе Творения должно было соответствовать семь тысячелетий истории человечества. Как и в случае с «тремя эпохами», первоначально седьмое тысячелетие относилось к периоду после Страшного суда, а затем — к земной истории. Но в силу множественности датировок Творения и отсутствия значимых событий на ты-

сячетлетних рубежах эта схема актуализировалась лишь спорадически.

Гораздо более широкое распространение получила модель семи возрастов или веков, предложенная Августином и основанная на некоем содержательном, а не арифметическом делении истории. В работе «Об истинной религии (ок. 389/391) Августин уподобил историю человечества жизни отдельного человека, но если у римских авторов обычно использовалась схема из четырех возрастов, то Августин нарастил ее, увеличив число возрастов до семи. Позднее, в заключительной главе «О Граде Божием» (ок. 427), Августин предложил другой вариант этой схемы, заменив «возрасты» на «века». Августиновская концепция «семи возрастов/веков» встречается у самых разных авторов. Ее воспроизводит Исидор Севильский (VII в.), развивает Беда Достопочтенный (VIII в.), в XII в. ее использовали французский монах Гуго из Флери; Оттон, еп. Фрейзингенский и др.

В Новое время христианские схемы исторического развития постепенно начинают секуляризоваться. Существенную роль в этом сыграла развернувшаяся со второй половины XVI в. «историографическая война» между протестанскими и католическими историками Церкви, результаты которой реализовались в конце XVII — начале XVIII в., в том числе в виде схем церковной и всемирной истории. В XIX–XX в. религиозная мысль в основном ограничивается периодизацией истории Церкви. При этом как в католической, так и в протестантской литературе церковная история в целом так или иначе соотносится с принятой ныне периодизацией истории гражданской. Разница заключается лишь в том, что «древняя» церковная история не простирается, естественно, ранее I в. н. э.

Уже в ветхозаветном иудаизме (точнее, яхвизме) сформировалась достаточно сложная картина прошлого–настоящего–будущего. В современных терминах ветхозаветные представления об историческом процессе можно условно обозначить как чередование регрессивного и прогрессивного видения истории. Представления о будущем имели и некоторые циклические или повторяющиеся мотивы, поскольку были связаны с идеей возрождения, восстановления иудейской государственности и величия и могущества иудейского народа времен Давида.

С утверждением христианства характер переплетения прогрессивных и регрессивных представлений о развитии мира еще больше усложняется. В рамках формально единой доктрины оказываются совмещенными разные подходы, что обусловило многие из последующих теологических дискуссий, взаимных обвинений в ереси и церковных расколов.

К традиционным иудейским представлениям о динамике исторического развития добавились и *статичные модели* бытия человечества, частично заимствованные из греческих пространственных концепций космоса. Подобные статичные или «экстемпоральные» представления об истории мира сформулировали еще первые христианские теологи — Тертуллиан (ок. 160 — после 220), Ориген и др. В дальнейшем стремление утвердить статичный образ мира распространяется и на некоторые элементы общественной жизни. Речь идет, в частности, о введенном Августином и развитом позднее Фомой Аквинским промежуточном между «временем» (*tempus*) и «вечностью» (*aeternitas*) понятием «век» (*aevum*), которое открыло возможности для утверждения непреходящего характера и постоянства некоторых общественных институтов, прежде всего Церкви, а затем и института королевской власти.

В христианстве можно также выделить и отчетливые *циклические концепции* исторического движения, имеющие в своей основе как минимум четыре компонента.

Первый из них — это циклические мотивы, унаследованные от иудаизма и связанные прежде всего с трактовкой будущего конца света как возвращения к исходному божественному состоянию.

Другой вариант «циклизма» христианство заимствовало от греческой философии. Циклические концепции исторического движения, выражавшиеся обычно в идее последовательной смены «миров» или «эонов», разрабатывали главным образом раннехристианские теологи.

Третья основа циклических воззрений в христианстве связана с влиянием астрологических систем, издревле популярных на Ближнем и Среднем Востоке. В период становления христианского учения влияние астрологических циклических концепций и различного рода «сакральных чисел» особенно заметно про-

являлось (наряду с эллинистическими образами космоса) в трудах гностиков II в. — Валентина, Василида и др. Новый всплеск интереса к астрологическим циклам возник в XII–XIV вв. благодаря влиянию арабов, которые принесли с собой в Европу не только тексты древних авторов, прежде всего Аристотеля, но и восточную астрологию.

Наконец, четвертая основа «циклизма» в христианстве уже не связана с посторонними влияниями, представляя собственное изобретение христианских теологов. Речь идет о сопоставлении двух частей Библии — Ветхого и Нового Завета — и поиске так называемых «параллельных мест», которым занимались многие христианские авторы, начиная с Оригена и Евсевия.

Что касается прогрессивного видения истории, то следует напомнить, что уже в Новом Завете содержится идея его превосходства над Старым, соответственно, настоящего над прошлым. В наиболее явном виде прогрессистские (точнее, девелопменталистские) идеи выражены в августиновской концепции возрастов мира. «Прогрессистское» восприятие исторического процесса проявлялось и в упоминавшихся выше трехчастных схемах всемирной истории, а также в работах византийских теологов от Псевдо-Дионисия Ареопагита (V в.) и Максима Исповедника (VII в.) до Григория Паламы (XIV в.), которые постулировали превосходство «будущего века» над «нынешним». В Западной церкви попытки бросить вызов прошлому и дать надежду на будущее особенно активизируются в XII–XIII вв.

Вместе с тем теологические рефлексии по поводу истории зачастую были пронизаны глубоким пессимизмом. Та же модель возрастов мира часто использовалась для обоснования тезиса о дряхлении, упадке, умирании мира при концептуализации настоящего как последнего «возраста».

Существенное влияние на формирование образов прошлого, настоящего и будущего оказала Реформация. Если в Средние века в христианских историко-теологических схемах главную роль играло будущее, то в Новое время в протестантизме, и особенно в кальвинизме, акцент в значительной мере был перенесен на прошлое и настоящее. Идеалом служило «доисторическое» прошлое времен раннехристианских общин; более близкое прошлое — это период «папистского безумия»; наконец, настоящее, т. е. Рефор-

мация, рассматривалось как центр темпоральной структуры мира. Идея Страшного суда отходит на задний план, и второе пришествие начинает связываться с установлением господства на всей земле истинно христианского общества.

2. Христианская историография. Христианская историография тесно связана с проблематикой конкретной, условно говоря, «эмпирической» реализации Божественного Промысла. В самом общем виде предмета христианской историографии — действия людей и трансцендентных субъектов (и, естественно, результаты этих действий) в их соотнесенности с общим Божественным планом в отношении человечества. Таким образом, христианская историография в строгом смысле охватывает лишь те работы, в которых картина социальной реальности включает прямые упоминания о Божественных действиях или прямо соотносит действия людей с Провидением или Божиим Промыслом.

Главной отличительной чертой христианской историографии является трансцендентное присутствие. В конструкциях социальной реальности оно фигурирует в двух основных формах — на уровне описания и объяснения. На уровне описания к трансцендентным элементам относятся явления (события), трактуемые как присутствие или проявление Провидения — откровения в узком смысле и чудеса. Вместе с тем трансцендентные факторы могут использоваться и для объяснения происходящих мирских событий: например, некто сделал то-то или произошло то-то, поскольку на то была воля Божия, людей попутал дьявол и т. д.

По времени описываемых событий христианская историография может быть условно разделена на две части: *Древнюю* и *Новую* историю. Формальным рубежом между ними является Рождение или Воскрешение Христа, но фактически в качестве историографического водораздела выступает рубеж I–II вв. Иными словами, к *Древней* истории по сути относится период, сопряженный со Священной историей, т. е. охватываемый как Ветхим, так и Новым Заветом, к *Новой* истории — послебиблейские времена. Эти две части христианской историографии соотносятся с двумя относительно самостоятельными частями теологии —

соответственно, экзегетической (библейской) и экклезиологической (церковной).

В Новое время складывается три основных направления христианской Древней истории, которые условно можно обозначить как *текстологическое*, *археологическое* и *христологическое*. Подавляющая часть исторических работ относится, естественно, к Новой истории, их в свою очередь можно разделить на три относительно самостоятельных направления: *агиографию*, *историю Церкви* и *историю догмы*.

Говоря о христианской историографии, прежде всего следует иметь в виду, что работы, обозначаемые нами этим термином, довольно долго не были «историческими» в современном значении. Христианская «историография» не ограничивалась только конструированием прошлого, и почти всегда включала картину настоящего. Принцип *usque ad tempus scriptoris* (вплоть до времени пишущего) использовался в исторических сочинениях на протяжении всех Средних веков. Более того, в течение длительного времени (по крайней мере с V по XIV в.) в христианской «историографии» абсолютно доминирующие позиции занимало именно конструирование настоящего и «актуального прошлого», охватывающего период жизни одного–двух предшествующих поколений.

Что касается более отдаленного прошлого, выходящего за рамки «актуальной памяти», то здесь обычно использовались предшествующие работы, также бывшие когда-то, в момент их написания, конструкциями настоящего. Существенно, что история не переписывалась каждый раз заново, с позиций сегодняшнего дня, а в буквальном смысле списывалась у предшественников, чей авторитет не подвергался сомнению. Но это не означает, естественно, что конструкция «прошлого» в границах христианского «Нового времени» оставалась абсолютно неизменной. «Переделка» прошлого была весьма распространена, особенно, в агиографиях: существует множество примеров того, как видоизменялось житие того или иного святого с каждым последующим описанием.

Вначале конструирование прошлого было связано с борьбой за утверждение христианства и противостоянием язычеству. Но на рубеже I–II тысячелетий в связи с развитием новых обще-

ственных институтов — политических, социальных, экономических — возникает потребность и в обосновании различных статусных и имущественных претензий. С этой целью начинают активно использоваться «исторические» свидетельства и доказательства различных претензий отдельных монастырей, епископств и Церкви в целом, как в случае с «Исидоровыми декреталиями» и «Константиновым даром», созданными во второй половине IX в. Существенную роль играли и религиозно-групповые интересы, связанные со схизмами: Восточной (1054–1204), Западной (1378–1417), а затем и с появлением протестантизма. Наконец, этому способствовали и групповые интересы различных школ, течений и т. д., где к традиционным интересам добавились статусные (авторитет, позиции в клерикальном сообществе и т. д.).

Первоначально картина прошлого в христианской историографии отличалась гораздо большим произволом, чем описания настоящего. Но осознание важности прошлого для настоящего, с одной стороны, и столкновение различных групп интересов — с другой, способствовали постепенной выработке общепринятых правил конструирования прошлого. Решающую роль здесь, безусловно, сыграла «историографическая война» между протестантами и католиками, начавшаяся во второй половине XVI в. и по сути продолжающаяся по сей день. Начало конфессиональному противостоянию церковных историй положила протестантская «Церковная история, изложенная по столетиям» в 13 томах (1559–1574), составленная под руководством жившего в Магдебурге (поэтому данная работа обычно именуется как «Магдебургские центурии») Матвея Флация Иллирика (иллирийского славянина Матвея Власича). Ответом католиков стали написанные под руководством директора папской библиотеки кардинала Чезаре Баронио едва ли не столь же объемные «Церковные анналы» в 12 томах (1588–1607), а за этим последовало множество других противостоящих версий церковной истории.

Прошлое в христианской средневековой историографии было сильно персонифицировано, что проявлялось, в частности, в преобладании агиографии. Лишь в Новое время происходит сдвиг от деяний (истории личностей) к институтам. Возникает

тенденция к деперсонификации церковной истории, начиная с института папства, Вселенских соборов и т. д. Подобная деперсонификация проявляется и в истории догмы, что выражается в переходе от обсуждения ереси Маркиона — к маркианству, от ереси Ария — к арианству и т. д.

Общий принцип конструирования социальной реальности в христианстве условно можно обозначить как «историзм» (хотя этот термин возник лишь в позднее Новое время). Христианская историография во многом следовала библейской традиции, в соответствии с которой изложение ведется по законам временной последовательности. Этот принцип соблюдался во всех разновидностях христианской историографии — Древней истории (что прямо диктовалось структурой Библии), но также в агиографии (в биосах), истории Церкви, а позднее и в истории догмы. Изложение последовательности событий во временной непрерывности имплицитно порождает ощущение преемственности и даже каузальности: «после этого — вследствие этого».

Примерно с XVII в. христианская историография в ее классическом «трансцендентном» смысле практически прекращает свое существование и сохраняется только в форме агиографии. В настоящее время в «серьезной» христианской историографии трансцендентные компоненты практически не используются ни на уровне описания, ни для объяснения тех или иных событий. Главным трансцендентным объектом Новой истории в христианской историографии становится Церковь как Божественный институт, в котором и реализуется Божественное присутствие. В целом сегодняшняя христианская историография занимает весьма скромное место в системе знаний о прошлом. Но летоисчисление мы по-прежнему ведём от Рождества Христова. . .

Философия

Философские размышления о прошлом обычно именуется «философией истории» или «историософией». Первый термин ввел Вольтер в работе «Философия истории» (1765), обозначив им подход, ориентированный на извлечение «полезных истин» из прошлого — не столь возвышенный и умозрительный, как «истинная» философия, но и не столь приземленный и де-

тальный, как «настоящая» история. В свою очередь термин «историософия» был впервые использован польским философом Августом Цешковским в изданной в 1838 г. в Берлине работе «Пролегомена к историософии».

Во избежание терминологической путаницы следует подчеркнуть, что термин «философия история» мы употребляем здесь только для обозначения так называемой субстанциальной (онтологической, спекулятивной) философии истории, где слово «история» фигурирует в значении «бытие человечества во времени». Эта оговорка необходима, поскольку в XX в. «философией истории» стали обозначать и философию исторического знания, которая не связана непосредственно с конструированием темпоральной картины мира.

В свою очередь философия исторического знания обычно подразделяется на «критическую», представленную работами конца XIX — первой половины XX в. (Вильгельм Дильтей, Фридрих Ницше, Георг Зиммель, Бенедетто Кроче, Вильгельм Виндельбанд, Генрих Риккерт, Робин Колллингвуд, Карл Поппер) и «аналитическую», возникшую в 1930–1940-е годы и активно развивавшуюся во второй половине XX в. (снова Поппер, Карл Гемпель, Эрнст Нагель, Уильям Дрей, Морис Мандельбаум, Мортон Уайт, Артур Данто и др.). Замыкает (пока) этот ряд «новая философия истории», представленная прежде всего работами Франклина Анкерсмита.

Элементы или зачатки философского осмысления бытия человечества во времени бесспорно присутствовали уже в античности, а то и раньше. Точно так же и религия, особенно христианская, содержит подобные размышления. В этом смысле можно говорить о существовании философии истории и в Древней Греции, и в средневековой Европе. Однако первые попытки философской рефлексии по поводу социального прошлого и настоящего, не растворенные в общем знании о мире, как в античности, или в представлениях о трансцендентной реальности, как в Средние века, обнаруживаются лишь в эпоху Возрождения.

Если же говорить о философии истории как о некоей относительно самостоятельной области знания, то в этом смысле она формируется только в век Просвещения, а конец XVIII в. ознаменован уже настоящим бумом историософских сочинений. По-

казательно в этом смысле, например, название работы Иоганна Гердера «Ещё одна философия истории для воспитания человечества. Новый опыт в дополнение к множеству опытов нашего века» (1774).

В XIX — начале XX в. историософия занимает доминирующие позиции как в осмыслении настоящего и будущего, так и в конструировании прошлой социальной реальности. В XX в. в связи с развитием научно-исторического знания роль философии истории несколько уменьшается, однако и поныне она продолжает играть важную роль в формировании представлений о прошлом, в том числе оказывая влияние на общественные науки. Так, все основные «культурно-исторические эпохи» — античность, Возрождение, Просвещение, романтизм и т. д. — в первую очередь являются философскими, а не научными понятиями, что не умаляет значимости этих концептов в общей системе представлений о прошлом.

Центральными для субстанциальной философии истории являются понятия «современность» и «историческое развитие». Осмысление «современности» или «настоящего» автоматически влечет за собой концептуализацию прошлого как некоего предшествующего состояния социального мира, от которого и отличается «настоящее». Затем «прошлое» также начинает делиться на качественно различные периоды, образуя ведущую к «настоящему» последовательность этапов исторического развития. Наконец, естественным логическим завершением подобных рефлексий становятся поиски признаков окончания «настоящего» или «современности» и концептуализация наступающего или грядущего социального будущего. Таким образом, основную задачу, для решения которой создаются философские концепции исторического процесса, можно обозначить как определение «времяположения настоящего» между прошлым и будущим.

Философия истории унаследовала от архаичного недифференцированного знания базовый способ репрезентации социального мира через природные и материальные образы: например, дерево (рост, корни), река (течение, истоки), колесо (качение, вращение), маятник (качание) и т. д. К числу древнейших относятся и антропоморфные образы социальных общностей; отсю-

да широко распространенные пространственные метафоры «исторического движения»: восхождение по ступеням лестницы и путь/дорога, со всей сопутствующей «дорожной» лексикой (исторические перекрестки, тупики, развилки и т. д.).

Исходно философия истории представляла собой радикальный разрыв с христианской теологией, но в XVIII–XIX вв. историософия возродила многие традиции теологии истории в ее патристическом варианте. Прежде всего, это стремление к кафоличности, «вселенскости», попытка объяснить бытие «человечества» в целом. Далее, историософия восприняла от теологии истории темпоральную целостность, стремление охватить прошлое, настоящее и будущее в их неразрывной связи. У патристической теологии историософия заимствовала и некоторые базовые схемы или модели исторического процесса — «возрасты», эпохи, стадии, равно как и августиновскую идею развития человечества. Наконец, во многих историософских работах присутствуют традиционные для христианской теологии идеи телеологичности истории человечества, равно как и проявления действия неких «внешних» по отношению к социальному миру сил, граничащих с трансцендентными.

Наконец, от естественнонаучной традиции философия истории унаследовала страсть к поиску «законов», неизменных правил, «механизмов» и «движущих сил» исторического процесса. Во многих случаях историософы прямо заимствовали терминологию, понятийный аппарат и даже целостные теории из естественных наук. В первую очередь это была классическая физика, со второй половины XVIII в. — химия, а в XIX в. их дополнила и отчасти вытеснила биология. Соответственно общество уподоблялось то механизму (по типу «небесной механики» или искусственных механических устройств), то веществу, то живому организму. Так же как и в естествознании, в классической философии истории не было места для человека — главными объектами анализа были «общество» или «культура».

Связь классической философии истории с естествознанием отчетливо проявляется и на уровне терминологии. Еще со времен античности для характеристики социального мира использовался термин «движение», связанный с миром физическим. С XVII в. под влиянием классической механики утверждается

термин «динамика». В XVIII в. благодаря успехам химии укореняется понятие «процесс». В XIX в. к ним добавилось еще и «изменение», соответственно возникают теории социальных, политических, экономических и т. д. изменений, а под влиянием биологии лексикон пополнили «рост» и «развитие» (последнее стало подразделяться на «революционное» и «эволюционное»).

В сущности, философы оперируют всего тремя базовыми образами исторического процесса (или в лучшем случае их несложными комбинациями), которые можно обозначить как «прогресс», «регресс» и «повторение». Каждый из этих образов задает свой тип соотношения между прошлым, настоящим и будущим.

«Прогрессивные» концепции исторического процесса предполагают, что настоящее превосходит (по некоему критерию или параметрам) прошлое, а будущее будет по тому же критерию превосходить настоящее. «Регрессивная» концепция отражает пессимистический взгляд на историю: настоящее уступает (по некоему критерию или параметрам) прошлому, а будущее будет по тому же критерию уступать настоящему (по крайней мере, если всё будет идти так, как оно шло раньше). Наиболее сложной является концепция «повторения», которая может реализовываться как в жестких механистических циклических моделях, так и в достаточно аморфных образах «воспроизведения» неких предшествующих состояний социального мира. В рамках концепции «повторения» возможны и весьма различные взгляды на соотношение прошлого, настоящего и будущего в зависимости от того, о «воспроизведении» каких именно состояний социальной системы идет речь.

Важнейшей характеристикой философского подхода можно считать монистический взгляд на историю, что в явном виде было отражено в названии известной работы Георгия Плеханова. Современные исследователи выделяют в историософии два вида монизма: социологический (термин Мориса Мандельбаума) и хронологический (термин Перри Андерсона). Общей для всех вариантов социологического монизма является посылка о том, что любой элемент общества связан с другими элементами таким образом, что он может быть понят только через понимание всех остальных элементов и данного общества в целом.

Наряду с принципом полного социологического монизма Мандельбаум выделяет две формы «частичного» монизма. Первая из них выражается немецкими понятиями *Denkenstil* (образ мыслей, стиль мышления) или *Zeitgeist* (дух времени) и может быть обозначена как «культурный монизм», который распространяется на все формы «духовной» составляющей социальной системы (искусство, мышление, вкусы и т. д.). Вторая форма — «институциональный монизм» — охватывает социальную подсистему, включая экономическую организацию, семью, систему образования, политический контроль и право.

Однако, на наш взгляд, точнее говорить не столько о «монизме» или «холизме» историсофских осмыслений прошлого, сколько о стремлении определить некую доминанту, характеризующую ту или иную эпоху. Такие доминанты могут выделяться как в социальной подсистеме общества, так и подсистеме культуры, реже — в подсистеме личности.

Основные принципы построения историсофской картины прошлого наиболее наглядно проявляются в схемах «всемирной истории». В дополнение к социологическому монизму эти схемы ориентированы также на конструирование «хронологического монизма», т. е. решение проблем синхронии и диахронии, многообразия и единства исторического развития. По способу достижения «хронологического монизма» все схемы «всемирной истории» можно условно разделить на три группы, которые мы обозначим как: 1) выделение ядра; 2) десинхронизация синхронии; 3) синхронизация асинхронии.

1. Выделение ядра. В данном случае мы пользуемся терминологией известного социолога Иммануэля Уоллерстайна, предложенной им при разработке концепции «мира-системы» (*World-system*). Ключевую роль в этой концепции играет понятие «ядра», т. е. наиболее развитых, «центральных» регионов (стран и народов), задающих облик и ключевые параметры «мира-системы» в целом. Хотя Уоллерстайн и его последователи (за некоторыми немногочисленными исключениями) используют ее лишь для анализа истории Нового времени, т. е. начиная с XVI в., это понятие весьма точно отражает суть первого типа историсофских схем «всемирной истории».

В такой интерпретации «всемирная история» оказывается историей «ядра», которое и отождествляется с «миром». Состав «ядра» может изменяться, но все происходящие в нем события упорядочены на шкале реального исторического времени. Подобная схема, увековеченная в сатириконовской «Всеобщей истории», до сих пор фигурирует в большинстве школьных учебников, в которых последовательно рассматриваются Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим, средневековая Европа и европейская «Новая история».

Конкретный способ выделения «ядра» отчасти зависит от исторических и географических знаний того или иного автора, но практически всегда в качестве основы выступает некий «идеологический» компонент. История некоторых стран и народов объявляется всемирной, а все остальные рассматриваются как периферия или не рассматриваются вообще (варвары, иноверцы, нецивилизованные народы и т. д.). В качестве такого ядра могут выступать христианский мир, европейская цивилизация, «народы, принадлежащие к осевому времени» (Карл Ясперс) и т. д.

Естественно, что «ядро» также является неоднородным и состоит из отдельных общностей (наций, государств и т. д.). Но обычно в историософских схемах эта проблема игнорируется, и в пределах ядра исторические события, происходящие в отдельных его сегментах, рассматриваются как общие, имеющие универсальное значение для всего ядра, а тем самым и для «мира» в целом.

2. Десинхронизация синхронии. Второй тип схем «всемирной истории» тесно связан с ростом географических и этнографических знаний. Столкновение представителей «ядра» с другими народами порождает стремление упорядочить страны по уровню развития, разместив их на единой шкале времени. Но, как правило, и в этом случае в качестве стандарта все равно используется исторический опыт некоего «ядра», прежде всего европейского. В результате история каждого народа рассматривается не столько в реальном историческом времени, сколько по некоторой условной шкале стандартного «времени по Гринвичу».

Известным примером такой модели является возникшая еще в античности триада охота–скотоводство–земледелие. В Новое время ее первым реанимировал Анн Тюрго («Рассуждения о всемирной истории», 1750), в конце XVIII—начале XIX в. она встречается у Клода Гельвеция, Дени Дидро и у многих других просветителей. Адам Смит в «Богатстве народов» (1776) вслед за охотничьей, пастушеской и аграрной ввел «торговую» стадию. В развитие этой схемы в XIX в. представителями немецкой исторической школы в экономике был предложен целый ряд более изощренных стадийальных экономических моделей (Фридрих Лист, Бруно Гильдебранд, Густав Шмоллер, Карл Бюхер и др.).

Адам Фергюсон в работе «Опыт истории гражданского общества» (1765) предложил новые названия исторических эпох: дикость, варварство и цивилизация, и деление по этому критерию также получило продолжение, например, в работах Льюиса Моргана «Древнее общество, или Исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации» (1877) и Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884).

Новый всплеск интереса к подобным историческим схемам возник уже после Второй мировой войны. Стимулом послужили работы в области экономической и социальной истории, в частности, теории индустриализации и модернизации. На сей раз «всемирная история» предстала как последовательная смена разных типов общества: доиндустриального (аграрного, традиционного) — индустриального (модернизированного) — постиндустриального (информационного, технологического и т. д.). Наиболее детально разработанной концепцией такого типа является модель «стадий экономического роста» Уолта Ростоу (1961).

3. Синхронизация диахронии. Третий тип схем «всемирной истории» в некотором смысле противоположен предыдущему по способу достижения «хронологического минимума». В схемах второго типа он достигается за счет диахронизации синхронных событий и расположения всех обществ на единой шкале условного исторического времени, исходя из уровня их разви-

тия, а в схемах третьего типа «хронологический монизм» устанавливается благодаря синхронизации диахронной истории разных обществ. Предполагается, что каждое общество (культура, цивилизация) проходит одни и те же этапы (фазы, периоды) развития, поэтому историю каждого общества можно нанести на унифицированную временную шкалу, разделенную на этапы, единые для всех обществ.

Наиболее представительными для класса историсофских схем, ориентированных на «синхронизацию диахронии», можно считать «биологические» модели, уподобляющие обществу живому существу (переживающему младенчество, детство, юность, зрелость, старость, дряхлость и смерть) или растению. Другим вариантом служат ассоциации с годовым аграрным циклом, поэтому для «ботанических» моделей характерно использование терминов типа «ростки», «расцвет», «плоды», «увядание» и т. д., или обозначения сезонов («весна», «лето», «осень»).

Напомним, что модель «цикла жизни» человека прилагалась к обществу еще Цицероном, Варроном, Флором и другими римскими историками, а затем она была необычайно популярна в теологии истории, начиная с Августина. Но у них, равно как и у использовавшего позднее этот подход Гегеля с его «четырьмя возрастами мира», история была уникальной или монистичной — схема «возрастов» прилагалась к истории одного «мира». По сути лишь в XIX в. укореняется идея множественности социальных «миров», каждый из которых проходит свой «цикл жизни» — зарождение, подъем, упадок, гибель и т. п.

Активное развитие моделей такого рода начинается с середины XIX в. Во Франции к их числу можно отнести сочинения Шарля Фурье и Жозефа де Гобино; в Германии — Генриха Рюккерта, в России — сочинения Николая Данилевского и Константина Леонтьева. В прошлом веке эта модель была особенно популярной в межвоенный период, когда заметно усилились кризисные процессы в обществе (Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби).

Наконец, третий раунд появления моделей «циклов жизни» относится к концу 1950-х — началу 1960-х годов. Отчасти интерес к подобным концепциям был стимулирован завершением публикации работы Тойнби, но в большей степени — реакцией

на распространение в этот период линейных моделей развития, основанных на «стадиях роста», «модернизации» и т. д. После этого поток подобных сочинений идет на убыль, хотя время от времени они появляются в различных модификациях: упомянем в качестве примера работы Льва Гумилёва.

В последние десятилетия XX в. принципиально новых моделей «всемирной истории» практически не появлялось, но это не означает исчезновения этого направления в целом. Классические историософские схемы (условно говоря, вплоть до «модернизационных» моделей 1960-х годов) по-прежнему входят в современный «социальный запас знания». Прежде всего они включены в систему высшего образования во всех странах. Классические историософские произведения продолжают переиздаваться и переводиться на другие языки. Выходят работы, посвященные анализу философии истории. Наконец, публикуется множество сочинений, воспроизводящих, развивающих, комбинирующих классические историософские схемы. И хотя эти работы в абсолютном своем большинстве являются по сути вторичными, они также обеспечивают сохранение позиций моделей «всемирной истории» в системе знаний о прошлом.

Идеология

Термин «идеология» ввел французский философ и экономист Антуан Дестют де Траси в своей четырехтомной работе «Элементы идеологии» (1801–1815) для обозначения *учения об идеях*, устанавливающего твердые основы для политики, этики и т. д. Ныне идеологии играют особенно важную роль в формировании образа прошлого. Это объясняется даже не столько значимостью данного типа знания в современных обществах, сколько местом, которое, как показали еще Карл Манхейм и Ханна Арендт, формирование образа прошлого занимает в идеологических конструкциях.

Идеологии — *не одинаковы* для всего общества, и социальные универсумы, которые они конструируют, партикулярны. Идеологии создают для своих приверженцев политически детерминированную *групповую* социальную реальность. Чтобы чувствовать себя в ней как дома, надо ощущать себя демократом, проле-

тарием, патриотом и т. д. При этом, как правило, партикулярные интересы выдаются за всеобщие, и идеологии охватывают весь мировоззренческий спектр — от понимания отношений людей к действительности и друг к другу до интерпретации социальных проблем и конфликтов, включая цели и программы социальной деятельности.

Все классические (общие) идеологии имеют философскую основу. Либерализм, консерватизм, социализм существуют и как философские, и как идеологические системы. Все идеологии касаются проблем авторитета, власти, властных отношений, моделей «устройства» общества и способов их практического воплощения. Однако в отличие от политической философии идеология больше ориентирована на реальный политический процесс и «массового» потребителя. Как пишет современный немецкий философ Герман Люббе:

«... философия истории, превращенная в политическую идеологию, обладает той особенностью, что — в силу характерного для нее рассмотрения истории как последовательности эпох — она позволяет разъяснить историческим субъектам этого рассмотрения, почему они благодаря их положению в историческом процессе впервые и исключительно способны постичь этот самый исторический процесс. На этом основано их право приписать себе роль партии, которая уже сегодня представляет авангард человечества будущего, а также право, даже обязанность, делать грядущие события политически обязательными»⁶.

Важнейшим фактором формирования идеологий было осознание наличия процесса социальных изменений. Большинство идеологов активно применяет историософскую терминологию, характеризующую изменения во времени: прогресс, революция, движение, развитие. Использование этих понятий свидетельствуют о важности категории времени в идеологических построениях. Траектория идеологических концепций социума прочерчена от прошлого через настоящее к будущему. Движение истории и логический процесс развертывания идеологии предполагаются соответствующими друг другу так, что все происходящее случается согласно логике одной *идеи*.

⁶ Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем [1992] // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 99.

Носители разных идеологий накапливают разный опыт, соответственно у них разные ретроактивные ожидания. Темпоральные отличия идеологических систем коренятся прежде всего в типе *соотношения* опыта и ожиданий. Для носителей одних взглядов важнее восстановление отношений с прошлым, для других — установление отношений с будущим.

Для большинства европейских стран идеологическое знание о прошлом неизбежно. Если европеец оглядывается на прошлое своей страны, он видит поразительное идеологическое и социально-политическое разнообразие, которое релятивизирует господствующие идеологии. Прошлое для политиков всегда источник и опоры, и опасности, ибо любая идеология находит там свои «хорошие» и «плохие» времена. К темпоральным компонентам идеологий вполне можно отнести и понятие ритма (способа) социальных изменений, которым они оперируют.

Концептуальное разделение между прошлым и настоящим в *либерализме* вело к созданию специфических конструкций прошлого как серии последовательных триумфов прогресса. «Исторические интересы» либеральной идеологии концентрировались вокруг становления демократических институтов и ценностей, развития «прогрессивных» социальных процессов, действий передовых личностей и вдохновляемых ими масс. Либералов в истории привлекают такие явления, как парламентаризм, городское самоуправление, классовая борьба и революции, секуляризация общества, развитие науки и философии и многие другие, на примере которых зарождение и развитие демократических институтов и либеральных идей рассматривается как код или закон общественного развития. Соответственно в либеральной истории действуют «предшественники», «основоположники», «пионеры», «основатели», т. е. герои, с именами которых связываются успехи демократии, экономики, науки, культуры. В прошлом идентифицируются идеи, события или люди, открывшие путь к новому и конструируются последовательности из личностей, будто бы передающих эстафету прогрессивных идей или поступков из прошлого в настоящее.

Консерватизм может представлять собой как апологию существующих порядков, так и ностальгию по утерянному социальному миру. Однако для консерватора всегда важно значение

времени, создающего ценности. В то же время главная причина, по которой консерватор стремится сохранить прошлое, состоит в том, что он ощущает его единство с настоящим, воплощенное в принципе континуитета, жизненно важной связи между прошлым, настоящим и будущим.

Английский специалист по истории политической мысли Майкл Оукшот в статье «Что значит быть консерватором?» (1956) акцентировал тот факт, что, с одной стороны, именно «неустроенность настоящего» пробуждает у консерваторов тягу к прошлому и обращает их к восстановлению утраченных устоев, но, с другой стороны, консерватизм процветает прежде всего в устойчивом, благоденствующем обществе, причем наиболее сильными его позиции оказываются там, где процветание сочетается с опасениями его утраты.

Общественные институты и ценности в глазах консерватора — результат естественного отбора: веками сохраняются те, которые эффективны, и их устойчивость в свою очередь — доказательство их полезности. «Охранительная» тенденция консерватизма вводит прошлое во всем его объеме в настоящее. И не случайно, что наиболее серьезное интеллектуальное усилие консервативной идеологии было осуществлено в области исторического анализа с целью реабилитации прошлого и изучения преемственности как противоположности революции.

Социалистическая идеология, больше чем любая другая, отмечена безусловной устремленностью в будущее, которое вытесняет настоящее и стирает прошлое. В социалистической доктрине с самого начала присутствовали две концепции перехода от капитализма к социализму: «социальная» (культурная) и «политическая», подразумевающая захват власти с последующим проведением преобразований. Социал-реформистский социализм, отрицающий насильственное преобразование мира, на протяжении XX в. сближался с либеральным реформизмом. Революционное же отношение к социальной реальности преобладало в марксистском социализме, который с конца XIX в. занимает господствующие позиции в социалистической мысли.

Для идеологов марксизма социальное развитие — это перманентный разрыв с прошлым, радикальные трансформации и сдвиги (хотя Маркс признавал, что и после социальных револю-

ций элементы прежних формаций продолжают частично сохраняться в качестве постепенно отмирающих пережитков). «Традиции всех мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых» — известная и не случайная формулировка Маркса. Такая оценка роли прошлого совершенно немыслима ни в либеральной, ни в консервативной мысли.

Столь же уникальным является характерное для марксистской идеологии стремление оценивать все происходящее в настоящем с позиций представлений о будущем. Очень показательно, что для Маркса вся история человечества была лишь предысторией. «... Буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества»⁷, — писал он. Подлинная же история, по его мнению, должна была наступить с утверждением коммунистического общества. При этом будущее, с позиций марксистской концепции, детерминировано, оно как бы заключено в настоящем, ибо знание законов исторического развития дает возможность не только понимать прошлое и настоящее, но и предсказывать будущее, опираясь на знание этих законов. Отсюда важное место пророчеств в трудах марксистов, причем пророчеств активизирующих.

У идеологии *национал-социализма* в целом складывались весьма непростые отношения со временем. Не случайно столь мудрый политик, как Уинстон Черчилль, долгое время полагал, что фашизм несет с собой угрозу возвращения в темное и далекое прошлое. Но в 1940 г. Черчилль предупреждал уже не об угрозе возврата в Средневековье, а об опасности гигантского прыжка *вперед*, в *новый* темный век.

Фетиш прошлого (и в смысле недавно пережитого национального позора, и в смысле жизнеутверждающего мифа о национальном величии) очень многое определил в содержании немецкого национал-социализма. Как считает немецкий историк Эрнст Нольте, 30 января 1933 г. победил в первую очередь не столько Гитлер, сколько взгляд на историю и историческая легенда, характерные для националистической Германии.

Будущее, согласно фашистской политической программе,

⁷ Маркс К. К критике политической экономии [1859] // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. / Пер. с нем. М.: Госполитиздат, 1959. Т. 13. С. 8.

должно было быть завоевано путем обращения к прославленному, сословно-народному прошлому. Идеолог нацизма Альфред Розенберг в «Мифе XX века» писал:

«Расовая история является . . . историей природы и мистикой души одновременно, а история религии крови — наоборот, это великое мировое повествование о подъеме и крушении народов, их героев и мыслителей, их изобретателей и художников. . . “Характер мировой истории”, исходящий с Севера, распространился по всей земле с помощью белокожей и светловолосой расы, которая несколькими мощными волнами определила духовное лицо мира»⁸.

Что касается настоящего, то в национал-социализме оно соединилось с прошлым. С одной стороны, в избытке был пессимизм «асфальтовой цивилизации», противопоставленный «почве», прославлению полуархаического народа крестьян и воинов. Но с другой — в национал-социализме присутствовало стремление к модернизации, достижению технического превосходства, созданию самой современной технологии (при отрицании «асфальтовой цивилизации» — строительство автомобильных дорог, которому придавалось «историческое» значение). Да и крестьянские идиллии должны были осуществляться на территориях, завоеванных с помощью самой передовой военной техники.

Еще одна специфическая идеологическая доктрина современности, сыгравшая ключевую роль в политической мобилизации масс и, в отличие от «классических» идеологий, продолжающая набирать обороты на рубеже XX–XXI вв. — *национализм*. Эта идеология отличается от идеологий, рассмотренных нами выше, и, соответственно, от инспирируемых ими политических движений. Она дает национальным движениям особые символы, образы и понятия (например, «народ», «родина», подлинность, судьба и независимость), которые придают национализмам их мобилизующую привлекательность и направленность.

Французская революция с идеями *la nation, la patrie* и *le citoyen*, новым французским флагом, *Национальным* собранием и другими атрибутами явила собой не только политический,

⁸ Розенберг А. Миф XX века. Оценка духовно-интеллектуальной борьбы фигур нашего времени / Пер. с нем. Tallinn: Shildex, 1998 [1930]. С. 21, 24.

но и «национальный» прорыв в бытии европейских народов. Ее внутиполитические предприятия резко ускорили процесс формирования национальной идентичности во Франции, а внешнеполитические акции в конечном счете положили начало созданию современной европейской геополитической системы. Само понятие «государство-нация» возникает именно в ходе Французской революции.

Английский историк Эрик Хобсбоум отметил, что «уравнение нация = государство = народ» (а тем более суверенный народ), несомненно связывало нацию с определенной территорией, поскольку структура и понятие государства стали по существу территориальными. С возникновением национальных государств

«должна была быть изобретена историческая преемственность, например, путем создания древнего прошлого, не связанного с действительной исторической преемственностью, при помощи полувывымысла (Бодикка, Верцингеторикс, Арминий Херуск) или подделки (Оссиан, чешские средневековые рукописи)»⁹.

Двум основным концепциям нации, этнокультурной и государственно-политической, соответствуют два типа национальной идеологии, в которых по-разному выглядит соотношение прошлого, настоящего и будущего. Там, где не было государства, националисты конструировали из мифов прошлого и перспектив будущего идеальное отечество, которое не было укоренено в настоящем и должно было реализоваться политически когда-нибудь в будущем. Там, где государство уже было, создавалось менее мифологизированное былое, но зато оно было больше наполнено политическими символами и ценностями и увязано с политической историей. В этом случае важную роль играло конструирование прошлого, связанное с доминантой настоящего, господствующими идеями и институтами, например, свободы, демократии, индустриализма, парламентаризма и т. д.

Националисты создают то прошлое, которое легитимирует их притязания на государство и территорию, свою или чужую,

⁹ *Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / Eds. E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983. P. 7.*

на политическое доминирование и обладание культурным капиталом. Их темпоральные представления очень зависят от конкретных национальных задач. Они могут почти всецело определяться политическим моментом, а могут — и призрачным идеалом будущего, но во всех случаях прошлое является важнейшим фактором формирования национальной идентичности и политической мобилизации.

Глава 14

МАССОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ

В европейской культуре Нового и новейшего времени историческое знание считается одним из важнейших элементов культуры общества. По меньшей мере в XIX в. сформировалось убеждение, что знание истории — неперенный атрибут образованного человека, что нашло отражение и в начавших формироваться в этот период программах обязательного школьного образования. Эта установка сохранилась по сей день, более того, во второй половине XX в. она была усилена некоторыми политическими и идеологическими факторами.

Прежде всего это активное формирование самых разнообразных общественных объединений и групп. Как мы уже говорили, для любой социальной группы прошлое и история играют ключевую роль с точки зрения самоидентификации и выражения групповых интересов. Для большинства социальных групп или, по крайней мере, их лидеров характерно стремление к акцентировке определенных событий прошлого, связанных с формированием данной группы или ее сегодняшними задачами. В свою очередь политические оппоненты заинтересованы в создании своего, альтернативного образа прошлого, в котором роль тех же групп или важных для них исторических событий, наоборот, преуменьшается.

Существенным оказалось и такое новое явление, как институционализация групп участников или жертв тех или иных исторических событий XX в. — прежде всего войн и этнических и политических репрессий.

Конечно, содержание современных социальных представлений о прошлом связано отнюдь не только с событиями относительно недавнего прошлого и воспоминаниями их участников. Массовые знания о более отдаленном и даже очень давнем прошлом также служат формой интеграции или дезинтеграции отдельных групп общества и нации в целом.

К указанным факторам можно добавить и несколько причин концептуального характера. Прежде всего, это ставшее общим местом в самых разных дисциплинах теоретическое положение о том, что прошлое — это конструкт, который создается в настоящем, а отнюдь не то, «что было на самом деле». В идеологизированной трактовке, которую активно развивают представители французского и американского постмодернизма, отсюда следует, что прошлое (равно как и настоящее и будущее) является объектом манипуляций и выступает как одна из форм «властного дискурса», навязывающего массам темпоральные образы, выгодные интеллектуальным и политическим элитам.

Но если в работах постмодернистов процесс конструирования прошлого выступает как объект исследования, то отдельные политические группы и организации давно взяли его на вооружение как практическое руководство к действию. Борьба за групповые политические интересы стала включать в себя и активное предложение обществу партикулярного образа прошлого — например, «истории народа», «истории пролетариата», «женской истории», «истории черных» и т. д.

В результате не только само прошлое (история как процесс), но и знание о нем привлекает повышенное внимание интеллектуалов, представителей образовательного сообщества и политических деятелей. При этом особое внимание уделяется именно массовым представлениям о прошлом — проблемы развития экспертного знания, т. е. исторической науки, волнуют общество в гораздо меньшей степени. Тема исторических представлений широко обсуждается в средствах массовой информации и в политических кругах. Например, в США в последние десятилетия в конгрессе несколько раз проводились слушания по поводу качества и содержания исторического образования в школах, колледжах и университетах. Столь же активно дискутируется и сильно политизированная проблема «исторической памяти».

При изучении механизмов формирования массовых исторических представлений возникает несколько принципиальных вопросов.

Самый общий вопрос состоит в том, действительно ли знание прошлого и историческое знание, в частности, столь важны и обязательны для широких масс населения, являются ли они приоритетными по сравнению со всеми другими типами и видами знания? В основном в ведущейся дискуссии пока просматриваются только ценностные и идеологические установки и общие рассуждения о пользе знания истории.

Отсюда следуют новые вопросы: во-первых, насколько представления элиты о важности исторического знания разделяются широкими слоями населения? Во-вторых, и это ключевой вопрос, *для чего* вообще нужны массовые знания о прошлом?

Подавляющая часть всех алармистских выступлений по поводу «исторического невежества» основана на результатах относительно небольшого числа тестов и опросов, в которых выяснялось знание конкретных дат и фактов (все время цитируются одни и те же немногочисленные результаты). Однако насколько важно знание дат и фактов в системе общих знаний о прошлом? Ответ на этот вопрос хорошо сформулировали еще в 1917 г. Карлтон Белл и Дэвид МакКаллам — фактически первые американские специалисты в области образования и социальной психологии, занявшиеся проблемами массового исторического знания (они же, кстати, провели в 1915 г. первый массовый тест на знание истории среди школьников старших классов и студентов колледжей).

Белл и МакКаллам полагали, что задачей школьного исторического образования является выработка «чувства истории» (*historic sense*), которое включает пять элементов:

1) способность понимать современные события в свете прошлого;

2) способность «просеивать» (фильтровать) исторические источники — газетные статьи, слухи, партийные дискуссии, политическую публицистику — и конструировать «из этого спутанного клубка четкое и правдоподобное суждение о том, что произошло»;

3) способность воспринимать исторический нарратив;

4) способность давать осмысленные и компетентные ответы на умозрительные вопросы по поводу той или иной исторической ситуации;

5) способность отвечать на фактологические вопросы об исторических личностях и событиях.

Как справедливо писали авторы, последний пункт является самым уязвимым и менее всего свидетельствует о наличии «чувства истории», но именно он, как правило, и тестируется.

Отсюда возникает еще один вопрос: *что* именно должны знать широкие массы о прошлом (если не даты и факты), который в свою очередь связан с пониманием того, *для чего* они должны это знать — и тем самым мы снова возвращаемся к первому вопросу.

В самом общем виде можно сказать, что знания о прошлом должны обеспечивать ориентацию во времени и социальном пространстве. С этой точки зрения знание или незнание исторической конкретики (дат, событий, личностей) само по себе не может рассматриваться как свидетельство неинструментальности обыденных представлений о прошлом в целом.

Поясним свою мысль на примере естествознания. Подавляющая часть взрослого населения любой страны вряд ли сможет воспроизвести законы Ньютона, но при этом в современном обществе все понимают, почему брошенный камень падает на землю, а Земля не улетает от Солнца. Наличие общих представлений об электричестве и работе бытовых электроприборов не связано с точным знанием закона Ома. Это же относится и к массовым знаниям в области химии, биологии, медицины и т. д., позволяющим ориентироваться в современной жизни.

Иными словами, хотя после окончания школы большинство людей в современных обществах быстро забывает конкретные формулы, законы и т. д., полученные естественнонаучные знания позволяют в течение всей оставшейся жизни ориентироваться в физической реальности и понимать базовые принципы ее устройства в соответствии с относительно современными научными представлениями (хотя бы на уровне естествознания XIX — начала XX в.). Благодаря усвоенным знаниям значительная часть населения может воспринимать и некоторые новейшие

научные теории, популяризируемые печатными изданиями, телевидением и радио.

Гипотетически можно предположить, что такая же ситуация существует и в области массовых представлений о социальной реальности, в том числе и о прошлом. Незнание дат и конкретных исторических фактов вполне может сосуществовать с наличием функциональных знаний об устройстве социального мира, его историческом развитии и, соответственно, о «временном положении настоящего». Если эта гипотеза верна, то отсюда следует гораздо большая, чем принято считать, познавательная значимость как школьного общественнонаучного образования в целом и исторического, в частности, так и важность всех других источников знания о прошлом.

1. Групповое прошлое

Обыденное знание о прошлом складывается, по меньшей мере, из двух компонентов. Во-первых, это знания, основанные на личном опыте индивида. Речь идет об образах, возникающих на базе прошлой жизни человека и воспоминаний о ней. Во-вторых, это социальное знание, т. е. информация, получаемая человеком из самых разных источников и отражающая представления, существующие и признанные в данном обществе. В этом случае характер получаемой, воспринимаемой и усваиваемой информации о прошлом самым существенным образом зависит от принадлежности индивида к тем или иным социальным группам. Поэтому одним из наиболее перспективных направлений исследования является изучение групповых представлений.

Понятно, что существует множество разных типов социальных групп — семейные, этнические, локально-территориальные, статусно-сословные, профессиональные, религиозные, партийно-политические и т. д. Не пытаясь охватить все это многообразие, отметим лишь некоторые существенные концептуальные моменты.

Во-первых, анализируя групповое прошлое, необходимо отличать представления о групповом прошлом и групповые представления о прошлом. Под групповым прошлым мы имеем в виду некие события или социальные действия, в которых при-

нимали участие члены данной группы, нынешние или позиционируемые ныне как таковые в прошлом. Сюда же относятся события или действия, прямо влиявшие на положение группы и ее членов (нынешних и прошлых), т. е. непосредственно значимые для данной группы и ее интересов. Помимо этого члены каждой группы имеют свое специфическое представление и о прошлом в целом. Хотя, конечно, степень однородности групповых представлений не следует преувеличивать.

Во-вторых, знание о групповом прошлом, равно как и групповые представления о прошлом в целом, нельзя отождествлять с обыденным знанием членов группы. Прошлое почти любой группы или группового институционального образования (от племени, местной общины или организации до наций и государств) изначально конструируют «эксперты», специализирующиеся в такого рода деятельности (в данном случае мы не обсуждаем вопрос о качестве экспертных знаний, а лишь подчеркиваем факт разделения труда и специализации). И лишь затем это «экспертное» знание в той или иной мере воспринимается и усваивается остальными членами группы, превращаясь в обыденное знание о прошлом.

Групповое прошлое (нынешних и бывших членов группы) имеет разную значимость для различных сообществ. В некоторых случаях роль этих представлений относительно невелика (например, для современных профессиональных объединений), в других — прошлое оказывается едва ли не ключевым элементом групповой идентификации. Прежде всего это относится к первичным (и древнейшим) общностям — семейно-родовым и этнотерриториальным, но также и ко многим группам, возникающим в современных дифференцированных обществах.

Сведения о семейной истории в дописьменных культурах играли ведущую роль в содержании темпоральных представлений, будучи едва ли не единственным источником информации о событиях, выходящих за пределы индивидуальной человеческой памяти. Семейная история выполняла функцию накопления и передачи информации, знаний и опыта от поколения к поколению. В дописьменных культурах семейное прошлое и память о нем непосредственно влияли на настоящее и будущее членов рода или семьи: повышая уровень знаний, они обеспечивали адап-

тацию к внешней среде, облегчали условия существования и способствовали развитию общества.

В примитивных культурах одной из главных функций представлений о семейном прошлом было поддержание знаний о системе родства, прежде всего по социальным причинам, в том числе для предотвращения инцестов. Родственные связи играли определенную роль и при регулировании простейших правовых отношений. Например, у варварских племен родство учитывалось при получении вергельда за убитого, при уплате выкупа за невесту, при участии в коллективной помощи родне и т. д.

Но особое значение семейное прошлое приобрело в Европе периода позднего Средневековья, когда сословность превратилась в доминирующую характеристику социального устройства. При этом внутрисословная семейная стратификация была характерна не только для дворянства, но для всех слоев феодального общества: духовенства, городского сословия и даже средневекового крестьянства, для которого критериями благородства были имущественный и социальный статус, авторитет в общине, наследственное отправление должностей в общинном управлении и т. д. Семейное прошлое каждого человека едва ли не полностью определяло всю его жизнь уже при рождении — род занятий, достаток, брачный круг, а то и конкретного супруга.

Принципиальные изменения в представлениях о прошлом, образующихся на основе семейной истории, начали происходить лишь с началом Нового времени, но активизировались эти процессы только в эпоху современности.

С одной стороны, роль семейного прошлого в формировании темпоральных представлений индивида начала уменьшаться. С распространением грамотности, а затем и всеобщего образования постепенно сходит на нет значение семейной истории как источника информации о прошлом в целом. Ликвидация сословий и увеличение социальной мобильности в западных обществах уменьшили влияние семейной истории на судьбу человека и его жизненные планы. Доминирование городской культуры и дальнейшая нуклеаризация семей также содействовали ослаблению семейных связей и уменьшению роли семейного прошлого.

С другой стороны, распространение грамотности и средств аудио- и видеозаписи способствовало развитию семейной исто-

рии, которая ныне фиксируется не в устных преданиях, а в виде документов, писем, фотографий, видеофильмов. Как правило, большинство современных семей располагает документированной историей двух–трех, а то и более поколений. (Это характерно и для России, несмотря на то что интерес к семейному прошлому был в значительной мере подавлен в советский период.) Сохраняется и влияние семейного прошлого на жизнь человека, а тем самым и на его представления о своем настоящем и будущем.

Роль прошлого необычайно велика и для такой древнейшей разновидности социальных групп как различного рода этнические и локально-территориальные сообщества. Мифические предки, история происхождения и другие компоненты прошлого являются важнейшей основой племенной идентификации, определяя различия в тотемах, ритуалах и т. д. Одновременно возникает и обратное явление — групповая (племенная) самоидентификация влияет на отношение к «своему» и «чужому» прошлому в рамках межгрупповых отношений.

По мере развития и усложнения обществ из первичной этнотерриториальной групповой идентификации развиваются два относительно самостоятельных, но достаточно тесно связанных между собой вида групп и соответствующих типов прошлого: этнокультурные и локально-территориальные.

Роль прошлого в этнической идентификации акцентируется многими современными авторами. Например, известный американский этнопсихолог Джордж Де Вос вообще рассматривает этническую идентичность как воплощенную в культурной традиции и обращенную в прошлое в отличие от других форм групповой идентичности, ориентированных на настоящее и будущее. Эту же мысль, пусть в более мягкой форме, проводят и многие российские исследователи: отмечая, что в современных условиях унификации этнических культур наряду с неуклонным сокращением этнодифференцирующих признаков возрастает роль общности исторической судьбы как символа единства народа.

Точно так же знание о прошлом своего места обитания (области, города или деревни) обеспечивает фундамент для идентификации жителей соответствующей местности. Например, выражение «моя страна» (*my country*) долго означало в Америке

«моя колония» или «мой штат», пока не приобрело национальное значение. Даже в начале XIX в. для американских президентов Джона Адамса и Томаса Джефферсона оно все еще означало соответственно Массачусетс и Виргинию.

Наконец, прошлое выступает одним из ключевых параметров национальной идентификации, которая складывается в XIX в. из двух базовых компонентов — этнокультурного и территориально-государственного, «смешивающихся» между собой в разных пропорциях.

В дифференцированных обществах прошлое начинает выступать как важный фактор идентификации не только семейных и этнотерриториальных, но и других социальных групп, возникающих по мере усложнения социальной структуры. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты исследований немецких медиевистов, посвященных средневековому феномену *memoria*, который в узком смысле обозначает память об умерших, их литургическое поминовение: участвуя в подобных ритуалах, поминающие таким образом манифестировали себя как группу. В группах, членами которых были крестьяне, ремесленники, торговцы — словом, люди, объединенные на основе общности рода занятий, роль «великого предка», давшего начало истории группы, часто исполнял святой-патрон, осуществляя функции не только небесного покровителя группы, но и объекта сословной, профессиональной самоидентификации ее членов.

В XX в. роль прошлого для профессиональных групп начинает уменьшаться, зато появляется новый тип носителей коллективной «памяти» — это группы участников или жертв тех или иных исторических событий. Раньше люди, пережившие эпидемию чумы, или участники, например, одного из Крестовых походов, или выжившие жертвы очередной резни, подобной Варфоломеевской ночи, впоследствии не образовывали никакой социальной группы и не имели возможности выразить свои воспоминания. В лучшем случае оставались письменные мемуары одного-двух грамотных участников этих событий, таких как Жоффруа де Виллардуэн и Жан де Жуанвиль или Анна Комнина и Никита Хониат, Маргарита Наваррская или Теодор Агриппа д'Обинье (который, кстати, вообще не был в Париже 24 августа 1572 г.), или краткие записи в хрониках какого-

нибудь монаха. Теперь же фиксация, хранение и воспроизведение большого числа индивидуальных воспоминаний участников или свидетелей какого-либо события стали обычной практикой.

В целом в групповом прошлом на первом плане, с одной стороны, оказывается групповой консенсус, с другой — противопоставление «своей» группы другим. Для конструкций любого группового прошлого, как и для описаний индивидуального прошлого, характерно стремление к приукрашиванию и ретушированию, наличие пустот (пропусков), связанных с «неудобными» для данной группы событиями. Отсюда возникают и распространённые в последние десятилетия претензии отдельных групп участников (реальных или мнимых) тех или иных исторических событий на то, что именно их воспоминания дают «правильную» картину этих событий, вплоть до активных протестов и попыток запрета иных, в том числе научных и художественных, описаний и трактовок происходившего.

2. Источники знаний о прошлом

Изучение источников формирования обыденных знаний о прошлом во многом опирается на методы культурной антропологии, которая ввела в арсенал современной науки новые способы исследования социальных представлений и привлекла внимание к формам их «бытования». Культурно-антропологический подход и методика исследований позволяют вовлечь в сферу анализа традиции, ритуалы, фольклор и вообще любое коллективное творчество. Благодаря этому, в частности, в последние десятилетия применительно к современным обществам начали активно разрабатываться такие темы, как «символика праздников», «устная история», «семейная память» и т. д. Важным направлением исследований стала и своего рода «топосемантика», связанная с изучением «мест памяти»: природных и искусственных пространственных объектов, напоминающих или символизирующих прошлое и поддерживающих культурную преемственность.

Характер и относительную роль основных источников формирования обыденных знаний о прошлом в современном обществе характеризуют результаты опросов взрослого население

ния России, проводившихся Социологическим центром РАГС (табл. 1).

Таблица 1. РФ: Из каких источников Вы получили знания об истории России?

(выбор из списка, возможно несколько вариантов ответа, % опрошенных)

Источники знаний	2001	2003
<i>Научные и научно-популярные источники</i>		
Учебники	70	77
Музеи и экскурсии	31	36
Специальная историческая литература	24	23
<i>Аудиовизуальные источники</i>		
Кинофильмы	60	70
Телепередачи	55	66
Радиопередачи	20	24
<i>Массовые печатные издания</i>		
Журналы и газеты	41	45
Мемуары, художественная литература	43	43
<i>Устные и семейные источники</i>		
Рассказы людей старшего поколения	31	35
Семейные архивы	5	6
Другое	2	3

Источник: опросы Социологического центра РАГС, РФ, 2001 г. N = 2400, 2003 г. N = 1950;

http://www.rags.ru/s_center/opros/istoriya/opros.shtm;

http://www.rags.ru/s_center/opros/25.02.2003/index.htm.

Из таблицы видно, что формально большинство населения когда-то получило информацию о прошлом из учебников (в рамках всеобщего школьного образования) и считает этот источник самым значимым, но фактически основными *текущими* источниками являются кино и телевидение, затем следуют популярные и художественные печатные издания, потом — музеи, экскурсии и устные рассказы, наконец — радио и специальная историческая литература. Этот вывод подтверждается, в частности, результатами опроса, проведенного в США в 1997 г. (табл. 2).

Остановимся подробнее на трех основных типах источников формирования социальных (массовых, обыденных) представлений (знаний) о прошлом: устных, визуальных и письменных.

Таблица 2. США: На протяжении последних 12 месяцев Вы...
(выбор из списка, возможно несколько вариантов ответа, % опрошенных)

Виды занятий	%
Смотрели какие-либо кинофильмы или телевизионные программы о прошлом	81
Посещали какие-либо исторические музеи или исторические места	57
Читали какие-либо книги о прошлом	53
Изучали историю Вашей семьи или составляли семейное генеалогическое древо	36
Принимали участие в деятельности каких-либо групп, занимающихся изучением, сохранением или представлением прошлого	20

Источник: США, телефонный опрос 1997 г., N = 800; *Rozenzweig R., Thelen D. The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life.* New York: Columbia Univ. Press, 1998, tab. 1.1.

Устные источники

Устные источники являются необычайно разнообразными — речь идет о различных мифах, легендах, преданиях, эпосах и т. д., в течение многих тысячелетий служивших основным «поставщиком» обыденного знания о прошлом. К сожалению, только в рамках прямых этнологических наблюдений, которые на серьезном научном уровне проводятся лишь со второй половины XIX в., можно делать какие-либо выводы (и то достаточно условные) о роли этих устных источников в формировании обыденных представлений о прошлом.

В принципе различные мифы, легенды, предания и т. д. начали довольно рано фиксироваться в письменном виде. Так, самая ранняя из дошедших до нас версий записи аккадского эпоса о Гильгамеше относится к первой четверти 2 тыс. до н. э.¹ Однако

¹ Согласно современным представлениям, Гильгамеш — реальное историческое лицо, предположительно пятый правитель I династии города Урука в Шумере, конец XXVII — начало XXVI в. до н. э. Легенды о Гильгамеше существуют как в собственно шумерском, так и в аккадском эпосе. Поскольку аккадские тексты сохранились в более полном виде, обычно используется аккадское имя Гильгамеш; шумерский вариант, по-видимому, восходит к форме Бильга-мес, что, возможно, значит «предок-герой» (Мифы народов мира. Энциклопедия / Ред. С. А. Токарев. В 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 302).

обычно историкам очень мало известно об ареале распространения и степени популярности того или иного повествования о прошлом, а также о том, в какой мере письменная запись отражает устную традицию, в частности, какова была творческая роль автора записи. Здесь возможны лишь косвенные оценки, основанные, например, на наличии разных вариантов записей, сделанных разными людьми, в разное время и в разных местах.

Подчеркнем, что к легендам, преданиям и эпосам следует подходить лишь как к потенциальному *источнику формирования* обыденных представлений о прошлом, а не как к источнику сведений о самих этих представлениях. Как отмечал известный антрополог Бронислав Малиновский:

«... Мы не сможем полностью понять ни значение текста, ни социальный смысл рассказа, ни отношение к нему туземцев, если будем изучать его изложение на бумаге. Эти сказания живут в памяти человека, в способе их передачи и даже в еще большей мере — в совокупном интересе, который не дает им умереть, который заставляет рассказчика пересказывать их с гордостью или печалью, который заставляет слушателя внимать им с нетерпением и завистью, пробуждает надежды и амбиции. Таким образом суть *легенды*, даже еще больше чем суть волшебной *сказки*, невозможно постичь при простом ее прочтении, эта суть открывается только при изучении повествования в контексте социальной и культурной жизни туземцев»².

Как известно каждому специалисту по современному фольклору, в любой деревне подавляющее большинство жителей, за исключением одного–двух признанных сказителей или сказительниц, не только не могут сколько-нибудь связно *рассказать* хоть какую-нибудь местную историю или легенду, но как правило даже не знают их содержания. Поэтому любые зафиксированные устные предания, легенды и т. д. в значительной мере являются авторскими произведениями, и вопрос о степени знания этих легенд «широкими массами» остается открытым и требует специальных исследований.

Наряду с различными мифами, легендами и т. д. в европейской культуре в эпоху античности и Средневековья можно вы-

² Малиновский Б. Миф в примитивной психологии [1926] // Малиновский Б. Магия, наука, религия / Пер. с англ. М.: Рефл-бук, 1998. С. 103–104.

делить и несколько других важных типов устных нарративов, которые могли служить источником для формирования обыденных представлений о прошлом у соответствующих групп слушателей.

В античности — это прежде всего различного рода речи и риторические дискурсы. В Средние века существенную роль в формировании обыденных знаний о прошлом играла религиозная устная традиция. Христианство собственно и возникает как устная проповедь, и эта традиция устного общения клириков с прихожанами поддерживается и по сей день. Несмотря на постепенное распространение письменных религиозных текстов, в том числе содержащих исторические сведения, сохранялась традиция их чтения вслух или устного изложения и пересказа. Уже в III–IV вв. появляются своды рассказов, которые читались на так называемых синаксах — сходках христиан, происходивших не в богослужбных целях, а для чтения избранных мест из сочинений христианских авторов. Различного рода собрания агиографических сведений — синаксарии, минеи и т. д. — по сей день поддерживаются в том числе и в устной форме, являясь одним из главных источников обыденного религиозного знания о прошлом.

В последние десятилетия внимание исследователей, в частности, привлекает такой вид информации о прошлом, как *Libri memoriales* — книги памяти, т. е. литургические тексты из монастырей и церквей, использовавшиеся во время богослужения и представлявшие собой списки поминаемых на литургии людей (не только умерших, но и ныне здравствующих). В частности, в работах немецких историков на материале этих поминальных литургических списков было детально исследовано такое характерное для средневекового массового сознания явление (существовавшее вплоть до XVI–XVII вв.), как формирование «нерасторжимого сообщества живых и мертвых».

Вообще, как показано во многих исследованиях о взаимодействии устной и письменной традиции, начиная с высокого Средневековья устное творчество (по крайней мере то, которое дошло до нас в записанном виде) уже испытывало сильное влияние письменных источников. Типичный пример в этом отношении — французские эпические жесты, начавшие распростра-

няться в больших количествах в XII в. (первые жесты появились, по косвенным данным, во второй половине XI в., а первые дошедшие до нас копии записанных эпосов относятся ко второй половине XII в.). Конечно, как отмечал Марк Блок, было бы вопиющим неправдоподобием представлять себе жонглеров этикими книгочеями, роющимися в библиотеках, но, скорее всего, они получали косвенное знакомство с историческими текстами через монахов, и на многих эпических легендах стоит монастырское клеймо.

Но, скажем, в Германии, где героические поэмы появляются лишь в конце XII в., наряду с сюжетами, явно почерпнутыми из хроник, часто повествуется о более глубокой древности вплоть до варварских времен и эпохи переселения народов. Это, по мнению Блока, свидетельствует о большем, чем во Франции, влиянии народной устной традиции на авторов песен.

Подчеркнем, что даже в нынешний век всеобщей грамотности устная информация о прошлом продолжает активно распространяться в обществе, будь то предания, воспоминания и рассказы очевидцев или пересказы прочитанного. В наибольшей степени это характерно для общения вне рамок повседневной городской культуры — в деревнях, летних лагерях для школьников, в туристических походах, в колониях для заключенных и т. д. — словом там, где есть время для непосредственного устного общения и ограничен доступ к иным источникам информации. Активно поддерживается устная традиция и в религиозном знании. Наконец, те или иные обрывки сведений о прошлом по-прежнему содержатся в политических речах, произносимых на различного рода митингах и собраниях.

Все формы поддержания устной традиции в некотором смысле стали даже более широко распространенными благодаря радио. Но еще более значимыми для формирования обыденного знания о прошлом являются визуальные источники информации.

Визуальные и аудиовизуальные источники

В рамках этой обширной группы можно выделить по меньшей мере три достаточно самостоятельных подвида: мемориаль-

ные сооружения, коммеморации и, наконец, аудиовизуальные источники с «художественным» или научно-популярным оттенком — театральные представления, кинофильмы и телепередачи.

1. Мемориальные сооружения. В исследованиях, посвященных массовым представлениям о прошлом, используется много пространственных метафор: «места», «рамки», «пространства», и это не случайно. С размещением объектов в пространстве со времен глубокой древности связано искусство запоминания — мнемотехника, возникающая в связи с необходимостью сохранять информацию (в памяти). В европейской традиции изобретателем мнемотехники считается греческий поэт Симоид Кеосский (556–468 до н. э.). Именно он ввел два основных принципа запоминания: создание символических образов и установление их порядка (организации) в пространстве.

Пространственные приемы мнемотехники были отчасти унаследованы и христианской традицией: например, Августин писал о «равнинах и обширных дворцах памяти, где находятся сокровищницы, куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято». Но особую популярность пространственные мнемотехнические приемы получают в эпоху Ренессанса. Мыслители той эпохи, испытывавшие сильное влияние герметизма, каббалистики и других оккультных систем, видели в мнемонических схемах зашифрованные парадигмы космических сил, отражение образов трансцендентного мира. Техническое мастерство запоминания, созданное древними, мыслители Ренессанса пытались использовать как магический метод раскрытия тайной гармонии земной и трансцендентной сфер.

Отзвук этих представлений можно обнаружить, в частности, в разработанной в 1930-е годы теории психологического поля Курта Левина, который в свою очередь был близок к школе гештальт-психологии. В работах «Динамическая теория личности» (1935) и «Принципы топологической психологии» (1936) он представил психологическое «пространство» с помощью графических символов, как имеющее границы и барьеры, разделенное на районы, изменяющие свои формы.

Пространственные объекты, игравшие столь важную роль в организации индивидуальной памяти, воздействуют и на фор-

мирование социальных представлений о прошлом. Однако если искусство запоминания работает с воображаемым пространством, то «помнящая культура» — с расстановкой знаков в естественном пространстве. Исторические объекты, размещенные в пространстве (памятники, здания, улицы и площади, целые городские кварталы), а зачастую и само пространство наделяются специфическими культурными смыслами, семиотизируются. В таких случаях пространственные объекты и пространство в целом в самом прямом смысле представляют собой «места памяти», которые музеефицируются и ритуализируются.

Надо сразу сказать, что мемориальные сооружения сами по себе не могут выполнять роль источника информации о прошлом — их «смысл» должен расшифровываться в рамках или устной, или письменной традиции. Проще говоря, для «понимания» любого мемориала вам нужен или «экскурсовод», или табличка с надписью. Тем не менее в сочетании с устными и письменными источниками мемориалы оказываются одним из действенных факторов формирования исторических представлений.

Древнейшими мемориальными комплексами, призванными напоминать о прошлом, были места захоронений и различные сооружения, возводившиеся в память об умерших, от языческих капищ до египетских пирамид. Постепенно появляются и другие виды скульптурных и архитектурных объектов, призванные напоминать о прошлом. По крайней мере со времен античности наряду с изображениями богов и мифических существ начинают устанавливаться статуи правителей, священнослужителей, военачальников и т. д. Тот же Геродот пересказывает рассказ Гекатея Милетского о посещении им фиванского святилища, в котором каждый верховный жрец ставил себе статую еще при жизни. О прошлом напоминают и различного рода настенные изображения как в культовых, так и гражданских зданиях — барельефы, фрески и т. д. Наконец, в Древнем Риме возникает такая чисто «историческая» форма мемориального сооружения, как триумфальные арки.

Все эти виды мемориальных сооружений активно распространяются в Новое время — например, в России триумфальные арки возводились в честь военных побед, начиная с петровского

времени. Но настоящий бум возведения триумфальных арок и памятников возникает в XIX в. Наряду с традиционными статуями действующих или недавно почивших правителей в большом количестве появляются принципиально новые «исторические» памятники, символизирувавшие общность национального прошлого.

Так, например, с конца 1830-х годов началась череда открытия памятников в немецких землях: в 1838 г. был заложен памятник Арминию под Детмольдом; в 1839 г. открыт памятник Шиллеру в Штутгарте; в 1840 г. состоялось торжественное открытие статуи Дюрера в Нюрнберге и реставрированной Арки Роланда на Рейне; в 1842 г. заложили памятник Моцарту в Зальцбурге и статую Бонифация в Фульде; в 1843 г. — памятник Баху в Лейпциге, в 1844 г. — памятник Гёте во Франкфурте и т. д. Устроители таких торжеств умело вкладывали в них национально-политический смысл, и именно так они воспринимались населением, которое пользовалось каждым удобным поводом, чтобы устроить такую сходку и продемонстрировать свою принадлежность к национальному сообществу.

Мемориальные сооружения — это не просто «места памяти», но и места национальной гордости (или унижения), и вокруг них может вестись политическая борьба. Когда Европейский парламент предложил в 1984 г. переименовать вокзал Ватерлоо, «потому что тот звучит постоянным напоминанием о злосчастных наполеоновских войнах», британцы возражали, что «французам только на пользу пойдет постоянное напоминание о великой победе Веллингтона», и выразили беспокойство, не собираются ли Британию лишить также колонны Нельсона, Трафальгарской площади и Бленхеймского дворца.

Весьма любопытен в этом отношении пример России, где с 1917 г. и по сей день ведется непрерывная борьба вокруг сноса и возведения памятников, — достаточно вспомнить ту же Триумфальную арку в честь победы над Наполеоном, сначала снесенную, а затем вновь возведенную на Кутузовском проспекте в Москве, не говоря уже о памятниках историческим личностям.

Даже целые местности способны формировать социальные представления о прошлом. Они могут размечаться памятниками, а могут сами возводиться в ранг символа, семиотизировать-

ся. Пример первого случая — Бородинское поле, место конкретного исторического события, с памятниками, часовней, восстановленными редутами и траншеями. Это — историческая площадка, на которой регулярно воспроизводятся определенные исторические действия, театрализованные представления (там все еще «гремят пушки»). Еще любопытнее, что как зримое воплощение «Времени-1» на Бородинском поле «гремят пушки» и другой Отечественной войны — 1941–1945 гг. Памятники героям обеих войн находятся рядом: около Бородинского музея, открытого в XIX в., стоит музей, посвященный Отечественной войне XX в.

Пример второго типа, когда пространство не размечено и воспринимается как «место памяти» само по себе — Беловежская пуца. Как показано в работе Саймона Шамы «Пейзаж и память» (1995), это пространство осмысливалось, в том числе и исторически, по-разному этносами, жившими в его пределах: литовцами, немцами, евреями, белорусами.

2. Коммеморации. Важным источником формирования массовых представлений о прошлом являются коммеморации, т. е. празднование *исторических* событий. Так, уже у древних иудеев исторические праздники, наряду с Библией, были одним из главных инструментов формирования национального сознания в условиях отсутствия государственности. Античные государства отличались высокоразвитой культурой праздников, в их числе были и коммеморации (например, дни основания города). Средневековые праздники были преимущественно религиозными (или народными, связанными с языческими ритуалами), профанные исторические события почти не «вспоминались». Однако в Новое время, параллельно с формированием государств-наций, складывается целая система праздников-коммемораций, которые во многом и формируют компендиум важнейших событий и Пантеон великих деятелей национальной истории.

Введением новых и ликвидацией старых праздников сопровождаются радикальные смены политических режимов. С необычайным рвением «политику памяти» проводили деятели Французской революции. Статья 1 Конституции 1791 г. провозглашала: «Для сохранения памяти о Французской революции

будут установлены национальные праздники». Столь же активную политику государства в области создания новых и отмены старых праздников мы наблюдаем в России после революций 1917 и 1991 гг.

Но исторические праздники играют весьма важную роль и в других странах, например в США, несмотря на то, что национальная история там является очень короткой и не слишком богатой событиями по сравнению с европейскими странами. В настоящее время в США существует 10 ежегодных федеральных праздников (в скобках — год их введения конгрессом): Новый год, День независимости, День благодарения, Рождество (1870), День рождения Вашингтона (1879), День труда (1894), День ветеранов (1954, ранее — День перемирия (1938)), День поминовения (1971, ранее — День украшения могил (1988)), День Колумба (1971), День рождения Мартина Лютера Kinga (1986)³. Все эти праздники, за исключением Нового года и Дня труда, по крайней мере исходно, являются историческими.

Но эти праздники являются общенациональными лишь потому, что в каждом штате был отдельно принят соответствующий закон. В дополнение к праздникам, по которым решения штатов совпадают, имеется по крайней мере 50 других дней, признанных в качестве официальных или общественных праздников в одном или более штатов. Большинство из них относится к числу исторических, например: дни рождения Роберта Ли, Авраама Линкольна, Эндрю Джексона, Томаса Джефферсона и др., День независимости Техаса, День битвы при Банкер-Хилле, День битвы при Беннингтоне, День поминовения конфедератов и т. д.

Вообще история праздников и различных мемориальных дат складывается, как правило, крайне запутанным образом и почти всегда обрастает мифами. Наглядный пример — 4 июля, Национальный праздник США (см. *Вставку 1*). Мифологизация большинства «исторических» праздников приводит к тому, что зачастую они не столько проясняют, сколько еще больше размывают массовые представления о связанных с тем или иным праздником исторических событиях (см. ниже).

³ Кроме того, существует 11-й федеральный праздник, действующий раз в четыре года только для федеральных служащих столичного муниципалитета округа Колумбия — День инаугурации (1957).

Вставка 1. Праздник 4 июля в США⁴

Считается, что 4 июля 1776 г. 55 представителей 13 штатов подписали в Филадельфии Декларацию о независимости, о чем миру было объявлено звоном колокола на филадельфийской ратуше, который впоследствии был назван Колоколом свободы.

На самом деле 4 июля 1776 г. континентальный конгресс только принял декларацию, подготовленную Томасом Джефферсоном (а еще за два дня до этого, 2 июля, он же принял аналогичную декларацию, подготовленную Ричардом Генри Ли). Одновременно было принято решение о необходимости подписания декларации представителями штатов, что должно было символизировать своего рода присягу на верность, а также утверждение решения конгресса. Тогда же текст Декларации был разослан по штатам, а само подписание растянулось едва ли не на несколько месяцев. Документы, отражавшие ход подписания, были опубликованы по решению Конгресса только в 1821 г., но к этому времени миф о 4 июля уже утвердился.

В течение нескольких десятилетий после 1776 г. празднование этой даты носило хаотический характер — она то праздновалась, то не праздновалась разными политическими партиями (федералистами, республиканцами) и отдельными штатами; при этом зачастую отмечались разные даты. Праздник окончательно утвердился лишь после полувекового юбилея революции в 1826 г., при президенте Джоне Куинси Адамсе (сыне второго президента США Джона Адамса), в том числе и из-за драматического совпадения: через несколько дней после юбилея стало известно, что 4 июля того года одновременно скончались Томас Джефферсон и Джон Адамс.

Что касается колокола, то выражение «Колокол свободы» (безотносительно к революции и Филадельфии) сначала стало использоваться в качестве политического лозунга в 1830-е годы в рамках развернувшегося в этот период движения против рабства. Легенду же о филадельфийском колоколе придумал журналист Джордж Липшард, изложив ее сначала в серии газетных очерков «Легенды о революции», которые он публиковал в 1840-е годы в филадельфийской газете «Сатердей курьер», а затем и в книге «Вашингтон и его генералы, или Легенды Американской революции» (1847). А окончательно легенда визуализировалась и утвердилась после выхода в 1850–1852 гг. роскошного альбома «Иллюстрированная полевая книжка о Революции» Бенджамина Лоссинга.

⁴См.: *Бурстин Д.* Американцы: В 3 т. / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993 [1958–1973]. Т. 2: Национальный опыт. С. 478–489.

Особо следует упомянуть о *юбилейных коммеморациях*, приуроченных к «круглым датам». Традиция таких коммемораций восходит, по крайней мере, к Древнему Риму, где праздновались так называемые секулярные игры (*лат. ludi saeculares*) — праздник, заключающий *saeculum* (столетний цикл — от принятой в эти века даты основания Рима в 749 г. до н. э.).

Юбилейные коммеморации широко распространяются в XIX в., а в XX в. такого рода празднования начинают доходить до абсурда (примеры приводить не будем, ибо они у всех перед глазами). Весьма показательны, что французский историк Пьер Нора, который в существенной мере способствовал возникновению интереса к «исторической памяти» и много лет посвятил подготовке многотомного издания «Места памяти» (1984–1993), завершил последний том этой работы разочарованным заключением «Эра коммемораций», где с явной горечью констатировал:

«Удивительна судьба этих “Мест памяти”: по своему демаршу, методу и даже названию они замышлялись как тип истории, направленный против коммемораций, но коммеморации захватили их... Власть памяти сегодня настолько сильна, что коммеморативный аппетит эпохи подчинил себе все, вплоть до стремления управлять этим феноменом. Так что выражение “места памяти” — орудие, созданное для того, чтобы критически осветить этот феномен, — было тут же превращено в инструмент коммеморации по преимуществу»⁵.

3. Аудиовизуальные формы искусства. Особую роль в формировании социальных представлений о прошлом играют аудиовизуальные формы искусства, а ныне — и средств массовой информации: театр, кинематограф и телевидение.

Согласно правилам античной поэтики, основной предмет трагедии составляло именно изображение *прошлого* (которое делилось на три вида — мифологическое, сказочное и историческое). Трагедии начинают публично исполняться очень рано, и можно предположить, что театральные постановки служили важным источником информации о прошлом уже для древнегреческих театралов. Хотя нам трудно судить о тогдешней посещаемости театров, однако нам известно о силе эмоционального

⁵ Нора П. Эра коммемораций [1993] // Нора П. и др. Франция–память / Пер. с фр. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999 [1984–1993]. С. 95–96.

воздействия театральных постановок. Например, как писал Геродот,

«Фриних сочинил драму “Взятие Милета”, и когда он поставил ее на сцене, то все зрители залились слезами. Фриних же был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы»⁶.

В Средние века большой популярностью пользовались различные религиозные театрализованные действия, инсценировавшие новозаветную историю (литургии, пасхальные и рождественские игры, мистерии, пасхальные карнавалы). Эти театрализованные действия едва ли не в большей степени, чем проповеди, служили источником сведений о христианской истории для неграмотного населения.

Наконец, в XX в. огромное воздействие на историческое сознание стал оказывать кинематограф. Опыт гитлеровской Германии и сталинской России полностью подтвердил правильность ставшего классическим высказывания Ленина: «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Впрочем, и в других странах кино играло весьма заметную роль в качестве источника представлений об истории: например, для многих американцев фильм «Унесенные ветром» (даже в большей степени, чем книга) формирует образ Гражданской войны.

Особое значение имело развитие телевидения, которое, во-первых, воспроизводит игровые и документальные фильмы, созданные в кинематографе, во-вторых, само активно создает их, в-третьих, транслирует различные научно-популярные исторические передачи (справедливости ради отметим, что некоторые из них отличаются довольно высоким качеством).

Появление технических средств видео- и аудиозаписи, начиная с первых дагерротипов и фонографов и кончая современными цифровыми устройствами, равно как и развитие аудиовизуальных форм искусства, существенно повлияло на формирование представлений о прошлом. Как образно пишет американский историк Дэниел Бурстин, до конца XIX в.

⁶ Геродот. История VI, 21.

«жизнь была цепью невозвратимых, неповторимых эпизодов. Время было последовательностью единственных в своем роде мгновений — каждое приходило и никогда уже не повторялось. Прошедшее было чем-то, что уже было не воскресить. . . Неповторимость мгновения была сокровенным смыслом жизни — и смерти. Говорить о ней было все равно что иными словами говорить о том, что человек смертен. Поскольку только лишь Бог вездесущ, он мог одновременно быть везде и всюду. Он не был ограничен пространством и временем, так же как он не был ограничен погодой или временем года. Только лишь Бог мог видеть события так, будто бы они все еще происходили или будто они все произошли одновременно. Только Бог мог видеть движущиеся тени умерших и слышать их голоса. Теперь все это мог делать человек»⁷.

Письменные источники

В последние десятилетия довольно много исторических работ было посвящено проблеме взаимодействия устной и письменной традиции в разных обществах и культурах, начиная с высоких культур древности и кончая относительно недавним прошлым. Однако эти исследования почти не проливают света на роль письменных источников в формировании массовых исторических представлений, и здесь во многом приходится опираться на косвенные данные.

Первый и самый очевидный фактор — доля грамотного населения, т. е. тех, кто вообще мог что-то прочесть. В Западной Европе показатель доли грамотного населения составлял, по некоторым оценкам, в XI в. не более 1–3%, к концу XVI в. преодолел отметку в 10% и лишь к началу XIX в. в наиболее развитых странах превысил 50-процентный уровень.

Второй ключевой фактор — это количество имеющихся письменных текстов, в частности, число копий, доступных для чтения. Даже после изобретения книгопечатания тиражи книг были ничтожно малы, и лишь с конца XVIII в. можно говорить о сколько-нибудь массовых книжных изданиях и, соответственно, об относительной доступности книг для населения.

⁷ Бурстин Д. Американцы: В 3 т. / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1993 [1958–1973]. Т. 3: Демократический опыт. С. 469, 468.

Наконец, третий и основной фактор — это характер, степень распространенности и интенсивность использования литературы, содержавшей сведения о прошлом.

В Средние века популярность исторических сочинений среди *элиты* оценивается как относительно высокая. Во времена Возрождения история вообще начинает превозноситься как вершина интеллектуальных занятий. «Хвала истории» (*encomium historiae*) — наиболее престижная топка гуманистической литературы этого времени. Собирание древностей — одно из самых уважаемых занятий, которому посвящают себя состоятельные люди. Непременное для образованного человека владение историческими сведениями, в том числе и блестящие познания в области античной истории, стали устойчивой традицией раннего Нового времени. Исторические знания политической и интеллектуальной элиты европейского общества XVII и особенно XVIII в. поражают своей разносторонностью.

Яркий пример общественного интереса наиболее образованной части населения к прошлому — полупрофессиональное антикварное движение в Великобритании в XVII–XIX вв., развивавшееся за пределами университетов в форме различных антикварных, археологических, литературно-философских, публикаторских и т. п. небольших обществ любителей истории, которые к тому же активно участвовали в создании общественных музеев и библиотек.

Гораздо хуже обстояло дело в XVIII–XIX вв. с *массовым* потреблением литературы, содержавшей сведения о прошлом. Очевидно, что наиболее распространенным и абсолютно доминирующим письменным источником по истории была религиозная литература. Затем, видимо, шла мемуарная, а позже — и художественная (исторические романы). И лишь последней в этом ряду была популярная литература собственно по истории.

Наглядной иллюстрацией служат проанализированные Хансом Медиком (1997) данные по вюртембергской деревне Лайхинген, где с середины XVIII и до начала XIX в. были зарегистрированы едва ли не самые высокие в Европе показатели количества книг в домашних библиотеках. В деревне, в которой около 1800 г. насчитывалось 364 домохозяйства, среднее число книг на одно домохозяйство составляло 10,6 в середине XVIII в. и 12,8 —

в начале XIX в., причем книги были в абсолютно подавляющем большинстве домов. При таких рекордных для того времени показателях в 92% домашних библиотек вообще не было ни одной светской книги! Что касается популярных исторических книг, то в описях зарегистрированы буквально единицы.

Согласно имеющимся данным, в немецких городских домашних библиотеках доля светских книг в то время была существенно выше: например, в Шпейере в 1780–1786 гг. — 20%, в Тюбингене в 1800–1810 гг. — 22%, поэтому можно предположить, что там было больше и число книг по истории. Тем не менее исторические книги явно не относились к разряду очень распространенных.

Перенесемся теперь во Францию. По данным, приводимым Роже Шартье в книге «Культурные истоки Французской революции» (1990), в домах у французских крестьян до 1789 г. в лучшем случае можно было видеть только часословы, религиозную литературу, календари-справочники, колдовские книги, сказки Голубой библиотеки. В городах ситуация была не многим лучше. В начале XVIII в. в Париже только 13% описей имущества умерших рабочих содержат упоминания о книгах, к 1780 г. эта цифра вырастает до 35%. Согласно данным о разрешениях на печатание книг, в Париже религиозные сочинения составляли в конце XVII столетия половину всей печатной продукции, а к 1780-м годам их доля уменьшилась до 1/10. Это относительное сокращение происходит за счет увеличения доли книг, посвященных наукам и искусствам, в то время как доля книг по праву, истории, художественной литературе на протяжении столетия почти не изменяется, хотя общий объем книжной продукции с начала века до 1780-х годов вырос в три–четыре раза.

Конечно, сведения о прошлом содержались не только в собственно исторических книгах, да и не только в книгах. Характерный пример — одно из воззваний, расклеивавшихся в Париже на стенах домов в 1768 г., когда свободная торговля зерном привела к повышению цен на хлеб:

«При Генрихе IV хлеб был дорог, потому что в ту эпоху шли войны, зато Францией правил настоящий Король; во времена Людовика XIV тоже были высокие цены на хлеб — виной тому были то войны, то неурожаи, но все-таки Францией еще правил насто-

ящий Король; нынешняя же дороговизна хлеба не связана ни с войной, ни с неурожаем, но только с тем, что у нас нет настоящего Короля, потому что наш Король — Торгаш»⁸.

Только в XIX в. появляется принципиально новый литературный источник формирования действительно массовых представлений о прошлом — исторические романы. Признанным родоначальником жанра по праву считается Вальтер Скотт, и в позапрошлом столетии в Англии его ценили не меньше, чем Шекспира и Байрона. В Германии была велика популярность исторических поэм Иоганна Гёте и Фридриха Шиллера, а во второй половине XIX в. — и многих других авторов исторических сочинений. Во Франции читающая публика весьма благосклонно относилась к историческим романам Александра Дюма, Виктора Гюго, Альфреда де Виньи.

Точно так же и в России большой популярностью пользовались исторические сочинения Михаила Загоскина, Ивана Лажечникова, Александра Пушкина. Достаточно вспомнить хрестоматийную сцену из «Ревизора» (действие 3, явление VI), когда Хлестаков, наряду с «Женитьбой Фигаро», «Нормой» и другими сочинениями, приписывает себе (с подачи жены городничего) авторство романа Загоскина «Юрий Милославский». О непреходящей популярности исторических романов в нашей стране свидетельствуют и данные современных социологических опросов — более 40% взрослого населения России именно из них черпает знания о прошлом.

Важнейшим источником формирования социальных представлений о прошлом теоретически является школьное историческое образование и *школьные учебники истории*. На протяжении XIX в. система школьного образования охватила подавляющую часть населения западноевропейских стран и США, а в XX в. образование приобрело едва ли не стопроцентно массовый характер. Переход ко всеобщему школьному обучению среди прочего означал, что и историческое образование стало общедоступным. Информация о прошлом начинает поступать

⁸Цит. по: *Шартье Р.* Культурные истоки Французской революции / Пер. с фр. М.: Искусство, 2001 [1990]. С. 131.

молодежи в виде унифицированных и систематизированных исторических знаний.

Учебники пишутся, как правило, историками и на основе данных исторической науки, но в них конструкция прошлого с неизбежностью редуцируется до определенного объема и начинает выполнять прежде всего прагматические функции. Вопрос о том, в какой степени школьное историческое образование играет роль каркаса представлений о прошлом, в который встраиваются впоследствии знания, почерпнутые из других областей, нуждается в дальнейшем изучении.

В значительной мере школьные программы истории остаются событийными, а не «процессуальными». Пропуски, наличествующие в учебниках, — это прежде всего пропуски определенных событий. Естественно, что умолчания и пропуски имеют идеологизированный характер. Конечно, они объясняются и методическими соображениями, но чаще — целевыми установками формирования национальной идентичности в той ее части, которая опирается на знание о прошлом.

Школьное историческое образование неизбежно представляет собой «краткий курс», вопрос лишь в том, за счет чего достигается эта краткость. Выразительный пример — параграф из инструкции Совета по образованию в Великобритании о преподавании истории в средней школе (1909):

«Желательно очень сжато освещать те периоды, история которых отмечена плохим правлением, например, правление Эдуарда II, или те, которые заполнены сложными и неблагоприятными политическими интригами, которые интересны и поучительны для зрелых студентов, но мало полезны для более молодых учащихся. . . Поэтому как правило желательно пропускать почти без упоминания большую часть отечественной истории XVIII в. (борьбу внутри партии вигов. . .) многое из политической истории правления Карла II, историю периода Ланкастеров, гражданскую войну периода правления Стефана. . . для того чтобы освободить больше времени для изучения таких событий как Крестовые походы, Гражданская война, правление Елизаветы и великие войны за колониальное превосходство»⁹.

⁹Цит. по: *Samuel R. Continuous National History // Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity / Ed. R. Samuel. 3 vols. London; New York: Routledge, 1989. Vol. 1. P. 13.*

В превосходной работе французского историка Марка Ферро «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» (1986) на материалах школьных учебников начальных классов показано, как уже в раннем возрасте закладываются стереотипы обыденных исторических представлений. При этом Ферро убедительно продемонстрировал, что во всех странах базовые программы по истории эклектично совмещают в себе разноплановые и подчас противоречащие друг другу сведения о прошлом. И цель, которая преследуется при этом, носит не столько познавательный, сколько идеологический характер: обучение истории, воспитывающей чувство гордости за национальное прошлое.

3. Содержание представлений

Содержание массовых/групповых представлений о прошлом изучается представителями нескольких дисциплин. Прежде всего эта проблема исследовалась в работах антропологов, изучавших представления примитивных племен и народов, и здесь были получены самые разнообразные результаты. С одной стороны, было обнаружено много «обществ без истории» (без истории для себя...). Типичный пример — племя горных арапешей на Новой Гвинее, культуру которых изучала Маргарет Мид в 1930-е годы:

«...Для арапешей нет прошлого, помимо прошлого, воплощенного в стариках... Чувство вневременности и всепобеждающего обычая, которое я нашла у арапешей, ...представляется тем более странным, что эти люди не изолированы, как жители отдельных островов, не отрезаны от других народов... Это чувство тождества между известным прошлым и ожидаемым будущим тем более поразительно, что небольшие изменения и обмены между культурами происходят здесь все время»¹⁰.

С другой стороны, в примитивных сообществах иногда может, наоборот, наблюдаться очень активный интерес к прошлому: например, члены племени нуэр, которое изучал английский

¹⁰ Мид М. Культура и преемственность: Исследование конфликта между поколениями [1970] (гл. 1–2) // Мид М. Культура и мир детства. 1988. С. 326–327.

исследователь Эдвард Эванс-Причард, обычно могли назвать имена девяти–одиннадцати поколений своих предков¹¹. В результате говорить о некоем едином стандарте или уровне быденных представлений о прошлом на уровне примитивных народов, конечно же, невозможно.

В последние десятилетия массовые представления о прошлом, существующие в современных обществах, стали объектом социологического анализа. Изучение этой проблемы в социологии опирается на данные опросов общественного мнения. Как показывают результаты этих исследований, исторические знания, во-первых, необычайно сильно различаются по странам, поскольку в основу исторического образования в любой современной стране кладется в первую очередь национальная история. Во-вторых, даже внутри одной страны представления о прошлом необычайно сильно дифференцированы по различным социальным стратам (даже простейшим — по полу, возрасту, уровню образования, месту поселения). Наконец, эти представления довольно быстро меняются во времени.

Тем не менее при всех отличиях можно констатировать существование ряда общих элементов в современном массовом историческом сознании. Во-первых, оно в значительной мере опирается на знания, полученные в школе, которые все же образуют костяк или основу представлений о прошлом. Во-вторых, представления о прошлом имеют весьма отрывочный и фрагментарный характер, они прежде всего концентрируются вокруг определенных персонажей, событий и периодов истории, значимых для данной страны в целом или для более узкой социальной группы. При этом наиболее значимыми для массового сознания по-прежнему являются события политической истории. В-третьих, массовые представления в большинстве случаев эмоционально окрашены, отношение к прошлому обычно имеет не нейтральный характер.

Следуя примеру антропологов и социологов, в последние годы историки начали пытаться изучать представления о прошлом, существовавшие, например, в культурах древности и в

¹¹ *Evans-Pritchard E. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press, 1940.*

европейском Средневековье. Однако в большинстве случаев историки все равно вынуждены работать с письменными источниками, что существенно сужает возможности изучения массовых представлений.

В исторических исследованиях для реконструкции обыденного знания о прошлом используются два основных источника: во-первых, сведения о ритуальных практиках, особенно религиозных; во-вторых, различного рода эпика.

При этом обычно предполагается, что ритуальное действие обеспечивает высокую вероятность того, что его участники разделяют связанные с этим ритуалом представления. Однако, как показывает опыт современных социологических обследований, участие в празднествах, связанных с событиями мирской или священной истории, ничего не говорит нам об объеме и содержании представлений об этих событиях.

Рассмотрим в качестве примера празднование 23 февраля в России. По данным опросов Фонда «Общественное мнение», в 2003 г. 47% респондентов, т. е. почти половина взрослого населения страны, отмечали этот праздник¹². Каковы же обыденные представления о 23 февраля? Большинство отмечающих этот праздник не знало, как он в этот момент назывался¹³. При ответе на вопрос: «Что в первую очередь приходит вам в голову, когда вы слышите слова «23 февраля»?» (опрос 2003 г.) были получены следующие результаты: День армии и флота — 35%, День защитников Отечества — 22%, праздник всех мужчин — 18%, просто праздничный день, выходной — 14%¹⁴.

Исторический контекст, который в настоящее время мобилизуется в связи с 23 февраля, довольно расплывчат. На всех фокус-группах возникали более или менее похожие диалоги, свидетельствующие о том, что представления респондентов о «происхождении» этого праздника более чем туманны (см. *Вставку 2*).

¹²<http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/holiday/of030101>.

¹³Напомним, что с 1918 г. он отмечался как «День Красной Армии», с 1946 г. — как «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». В 1995 г., этот праздник стал именоваться «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества», с 2006 г. праздник называется «День защитника Отечества».

¹⁴<http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/holiday/23february/d030712>.

Вставка 2. Представления россиян о празднике 23 февраля (обследование в фокус-группе, Москва)¹⁵

Модератор: Скажите, а вы знаете традицию возникновения этого праздника? Когда, откуда он пошел, в связи с чем?

1-я участница: Ой, это что-то такое. . .

2-й участник: Военно-морского флота что-то.

3-я участница: По-моему, с революции чего-то такое.

1-я участница: Да, это чего-то с гражданской войной.

3-я участница: Да, с гражданской.

4-й участник: В 18-м году.

1-я участница: Это какая-то победа была.

3-я участница: Колчак?

5-й участник: Насколько помню, немцев отогнали от Петербурга, что ли.

6-я участница: Это с Германией.

3-я участница: А, 14-й год?

5-й участник: Да, это Первая мировая. 17-й год.

4-й участник: 18-й год.

6-я участница: В 17-м — революция, а потом. . .

4-й участник: Какой-то указ все-таки был. Президентский указ.

1-я участница: Да, что этот день назначить.

7-я участница: Хотя там комиссар чего-то, по-моему.

4-й участник: О создании какой-то указ. Красная армия там официально начала называться.

1-я участница: Нет, но это было приурочено все-таки к какой-то победе. Как говорится, знал, да забыл. Я слышала вот этот момент.

Что касается использования эпических источников для реконструкции представлений о прошлом, то здесь возникает еще больше вопросов: насколько, скажем, исландские саги, записанные в XIII в., отражают «массовые представления» скандинавов первого тысячелетия нашей эры? Исследования социальных антропологов в XX в. показали, что представления о прошлом даже членов примитивных племен могут очень сильно варьироваться и не сводятся к какому-то одному мифу или легенде. Сами же мифы и особенно легенды воспринимаются членами племени достаточно дифференцированно и не могут безоговорочно считаться общепринятым знанием даже в рамках небольшого сообщества.

¹⁵<http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/holiday/23february/d030730>.

Если же говорить об эмпирических данных, добытых историками, то нам известно лишь одно наблюдение, позволяющее с уверенностью судить об обыденных представлениях о прошлом в Средние века. Оно содержится в работе Эммануэля Ле Руа Ладюри «Монтайю», написанной по материалам допросов в 1318–1325 гг. жителей деревни, обвиненных в катарской ереси представителем инквизиции епископом города Памье Жаком Фурнье. При этом жители деревни использовали, как и в глубокой древности, не абсолютную, а только относительную хронологию (столько-то лет тому назад. . .). Абсолютная датировка от Рождества Христова упоминается лишь два раза, и то в речи горожан из Памье. Как заключает Ле Руа Ладюри,

«. . . Древней и менее древней истории нет или почти нет места в монтайонской культуре. Место Клио и не в церкви: . . . со стороны католической традиции, как она понимается многими поселянами, едва ли известен даже тот временной период, который описывает Ветхий Завет. Если оставить в стороне два упоминания об Адаме и Еве (плоды просвещения сельских кюре), то в обычных беседах между домочадцами не было и речи о потопе или пророках. . . Католическое время в верхней Арьежи, таким образом, начинается с Марии, Иисуса и апостолов. . .

Что касается древней или недавней истории, то ее, как таковой, почти нет в наших текстах, как в чисто монтайонских, так и вообще в арьежских. Римская древность известна — все еще — только в <городе> Памье, где функционируют школы, где циркулирует текст Овидия. Земледельцы же почти не идут дальше предыдущего графа Фуа (ум. 1302). . . В общем свидетели, которых допрашивает Фурнье, не вспоминают десятилетия до 1290–1300 годов. В самом деле, среди свидетелей насчитывается не много стариков: демография и менталитет голосуют, таким образом, против исторического времени»¹⁶.

Таким образом, если не пытаться экстраполировать наблюдения современных этнологов на древние культуры и не отождествлять потенциальные источники формирования обыденного знания с самим этим знанием, приходится с сожалением констатировать, что нам почти ничего не известно об обыденном знании о прошлом, существовавшем до XX в.

¹⁶ *Ле Руа Ладюри Э.* Монтайю, окситанская деревня (1294–1324) / Пер. с фр. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001 [1975]. С. 342–345.

Глава 15

ИСТОРИК И ОБЩЕСТВО

Данная глава посвящена проблеме воздействия современного общества на содержание научного исторического знания. Как мы уже говорили, историки всегда испытывали на себе влияние общества, но в последние тридцать лет историческая наука столкнулась с целым рядом новых внешних вызовов. Претензии к истории начали предъявлять представители других социальных и гуманитарных наук, идеологи, философы, производители медийного знания, чиновники государственных структур и разные группы гражданского общества. Бурный интерес к проблемам исторического сознания, «исторической памяти», «народной истории» вовлек в зону дискуссии как непрофессионалов, так и профессионалов, ранее далеких от проблем историописания. В дискуссии об «использовании прошлого» обсуждались взаимосвязи между формированием национальной идентичности, переосмыслением важнейших для исторического познания концептов (человеческой личности и ее прав, государства, нации, разнообразия и взаимодействия культур) и обучением истории в школе и университете. Надо сказать, что лишь небольшая часть этих претензий была традиционной. В основном речь шла о довольно непривычных вызовах, на которые историки были вынуждены так или иначе реагировать.

Сначала мы обозначим внешние вызовы, обращенные к историкам в последние десятилетия прошлого века, а затем проанализируем последствия, которые они имели для исторической науки.

1. Общественные вызовы

Разнообразные вызовы, брошенные представителям исторического цеха, можно рассмотреть применительно к разным значениям понятия «история». Напомним, что на протяжении более чем двух с половиной тысячелетий слово «история» обладало тремя основными значениями: вид реальности (совокупность событий, процесс бытия); вид текста (в широком значении — дискурс, связный набор высказываний, нарратив и т. д.) и, наконец, вид знания (см. главу 1). Рассмотрим кратко сформировавшиеся в обществе к концу прошлого века представления о будущем и задачах истории в разных ее значениях: бытия, текста и знания.

«Конец истории» в значении бытия

Во второй половине прошлого века возникла специфическая трактовка истории в значении бытия. Основой для формирования новых представлений о прошлом и настоящем в послевоенный период послужили многочисленные работы первой половины XX в., в разных вариациях ставившие проблему «кризиса». После Второй мировой войны прежде всего получает развитие представление о конце капитализма, восходящее к трудам Карла Маркса, Вернера Зомбарта и Макса Вебера и многократно усиленное событиями 1930–1940-х годов. Во второй половине прошлого века типичными становятся работы, провозглашающие окончание некоей предыдущей «истории» — Нового времени или «модерности» (ср., например: Альфред Вебер «Прощание с прежней историей», 1945; Романо Гвардини «Конец Нового времени», 1950). Правда, «конец истории», как и «конец света» в Средние века, никак окончательно не наступал и постоянно отодвигался (ср.: Арнольд Гелен «Конец истории?», 1960; Анри Лефевр «Конец истории», 1970; Френсис Фукуяма «Конец истории?», 1989 и т. д.), но в данном случае нас интересует ощущение, а не эмпирическая данность.

Список философских работ о «конце истории» свидетельствует о том, что «финал» сложившегося миропорядка предполагали или констатировали и неомарксисты, и либералы, и консерваторы, и постмодернисты. «Конец истории» здесь озна-

чает разрыв исторической преемственности и, по существу, отказ от идеи историзма. В триаде прошлое–настоящее–будущее внимание переносится на настоящее. Как отмечает французский историк Франсуа Артог,

«мы вступили в эпоху презентизма — апофеоза настоящего. . . которое оказывается линией горизонта для самого себя. Оно или обходится без будущего и прошлого, или порождает — практически ежедневно — прошлое и будущее, необходимые для его насущных потребностей»¹.

В обществе также стало усиливаться ощущение «ускорения времени», точнее — возрастания темпа происходящих в обществе изменений. Настоящее все быстрее становится прошлым в смысле «другим» — недавнее прошлое воспринимается столь же отличным от настоящего, как прошлое вековой давности. Возникает явление, которое немецкий философ Герман Люббе назвал *рецепцией* (Präzeption) по аналогии с известным термином *рецепция*:

«Этим понятием обозначается зависимость будущей рецепции прошлого, которым некогда станет наше настоящее, от вида и способа, каким настоящее передается будущему. . . Настоящее, знающее, подобно нашему, что оно в качестве будущего прошлого станет в будущем объектом исторического сознания, рецептивно организует также и самопередачу будущему, ориентируясь на предположительную рецепцию прошлого в будущем»².

Об этом же пишет и Франсуа Артог:

«. . . Настоящее. . . претендует на исторический статус, стремится выглядеть уже прошедшим, если угодно, оборачивается на себя самое, предвосхищая тот взгляд, которым будут на него смотреть, когда оно полностью завершится, — как если бы оно хотело “предвидеть” прошлое и само стать прошлым еще до того, как оно истекло в качестве настоящего»³.

¹ Артог Ф. Время и история: «Как писать историю Франции?» [1995] // «Анналы» на рубеже веков: Антология / Сост. А. Я. Гуревич, С. И. Лучицкая; Пер. с фр. М.: «XXI век — согласие», 2002. С. 151, 153.

² Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем [1992] // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 103.

³ Артог Ф. Указ. соч. С. 155.

В результате общество оказывается заинтересованным в «запечатлении» настоящего, которое быстро превращается в прошлое. Историки наделяются своеобразной социальной миссией и ответственностью за отбор, сортировку и «упаковку» подлежащего сохранению/запоминанию материала. Кроме того, в условиях демократизации общества претензии на увековечение партикулярного прошлого начинают предъявлять самые разные социальные группы.

«Конец истории» в значении текста

Вызов истории в значении текста возник в связи с экспансией постмодернистов, прежде всего филологов (новый историзм) и философов (новая философия истории). При этом постмодернисты покушались как на исторические тексты, так и на исторический метод. С одной стороны, от историков требовали радикальной смены объекта, предлагая вместо реальности изучать тексты. С другой стороны, историкам фактически было предложено использовать методы постмодернистского литературного анализа.

Что касается исторических текстов, то попытки их филологического анализа вряд ли должны были вообще волновать историков. В конце концов филологи всегда занимались изучением исторических текстов. Постмодернисты лишь усилили это направление филологического анализа. Возросший интерес филологов к анализу исторических текстов привлек их внимание преимущественно к трудам литературно одаренных историков. Объектами как традиционных, так и постмодернистских исследований оказались сочинения очень известных авторов XIX в. — Огюстена Тьерри, Жюлья Мишле, Томаса Карлейля, Алексиса де Токвиля, Леопольда фон Ранке и Томаса Маколяя. Но подобные филологические штудии никак не нарушали автономии исторической науки.

Другое дело — попытки дезавуировать исторический метод, прежде всего историческую критику текстов, инициированные представителями «лингвистического поворота». По их мнению, занятие историей (как производство определенного знания) сводится к изучению и толкованию историй-текстов. Правда, в этом

случае следует говорить не «я занимаюсь изучением истории», а «я занимаюсь изучением историй», причем историй в значении текстов (сочинений, дискурсов, повествований, рассказов). Подобное понимание исторического знания восходит по крайней мере к поздней античности, и затем оно снова возникло в эпоху Возрождения. Но такое «историческое знание» является частью филологии или лингвистики, о чем писал еще Макс Вебер в начале XX в.:

«Толкование языкового “смысла” литературного объекта и толкование его “духовного содержания”, его “смысла” в этом ориентированном на ценность значении слова, пусть даже они часто — и с достаточным основанием — связываются, логически представляют собой различные в корне акты. . . Лингвистическое “толкование” — это (не по ценности и интенсивности духовной деятельности, но по своему логическому содержанию) элементарная предварительная работа для всех видов научной деятельности и научного использования “материала источников”. С точки зрения историка, это техническое средство, необходимое для верификации “фактов”, орудие исторической науки (а также и многих других дисциплин). . . В той мере, в которой “толкование” объекта является “филологическим” в обычном значении этого слова, например толкование языка литературного произведения, оно служит для историка технической вспомогательной работой. В той мере, в какой филологическая интерпретация, “толкуя”, анализирует *характерные черты* своеобразия определенных “культурных эпох”, лиц или отдельных объектов (произведений искусства, литературы), она служит образованию логических понятий»⁴.

«Конец истории» в значении знания

Еще более серьезными оказались вызовы, брошенные истории в значении знания. Заметим, что «подрывная работа» против истории как бытия и истории как текста велась преимущественно философами и филологами, т. е. «социально близкими». А вот претензии к *содержанию* исторического знания предъявили разные группы, представляющие гражданское общество,

⁴ Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // Вебер М. Избр. произв. / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 447, 460–461.

массовую культуру и власть. И они вовсе не подразумевали *конца истории*, а наоборот, исходили из востребованности знаний о прошлом, но при этом действительно могли нанести заметный ущерб научной истории.

1. Медийное историческое знание. В последние десятилетия прошлого века мы стали свидетелями бурного развития медийной культуры в целом, и исторической — в частности, с соответствующими изменениями в массовых исторических представлениях. Как мы говорили, «медийное историческое знание» содержится в разнообразных источниках информации о прошлом, таких как религиозные ритуалы и проповеди, праздники и коммеморации, памятники, мемориалы и музеи, художественная и научно-популярная литература, средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), различные формы визуального и перформативного искусства (живопись, театр, кинематограф) и т. д.

Конечно, медийное, т. е. создаваемое вне экспертной среды, историческое знание существовало и в другие эпохи, и на более ранних этапах современного общества. Исторические романы и драмы — лучший тому пример. До появления научного исторического знания (строго говоря, до появления позитивистской историографии) и профессиональные историки писали с ориентацией на «широко» образованного читателя. Напомним, что XIX в. еще не стал «веком масс», но зато он был «веком публики», временем, когда общественное мнение могло оказывать важное воздействие на политику, равно как и на многие другие области. Возможность апеллировать к публике, а не к экспертам, повлекла за собой литературизацию речи. Историки с конца XVIII в. использовали язык, ориентированный на имеющие успех литературные жанры, вплоть до мелодрамы. Поэтому особым влиянием пользовались те из них, кто отличался литературным талантом. (Это справедливо не только по отношению к историкам, но и к представителям других профессий, чувствительных к общественному мнению — юристам, политикам и, конечно, художественным критикам.)

В результате утверждения позитивистской парадигмы в историографии производство популярной истории практически

полностью переходит в руки «посредников» (литераторов, художников, а затем и кинематографистов), которые используют исторические сюжеты, создавая свои «образы прошлого».

В последние десятилетия в результате бурного развития масс-медиа производство «книг по истории» поставлено на поток; создается огромное количество исторических фильмов и сериалов, в том числе документальных, в связи с чем появились такие выразительные термины как *faction* и *docudrama*; ТВ предлагает тематические исторические программы и специализированные исторические каналы.

Нашествие медийной истории имеет разные последствия для формирования массовых представлений о прошлом и отношений историков с обществом. Безусловно, интерес к прошлому повышается, о чем свидетельствуют, в частности, социологические данные о чтении исторических книг. При этом увеличение доли медийного компонента в массовом историческом сознании, конечно, изменяет его содержание и конфигурацию. Можно предположить, что научные знания, хотя бы полученные в школе, занимают в нем все меньшее место. В каком соотношении научные знания, содержащиеся в школьных учебниках, находят с медийной информацией или как они с ней увязаны, судить сложно. Но здравый смысл позволяет предположить, скорее всего, наличие в обыденных представлениях неких невнятных синтетических образов событий и героев истории.

В то же время интерес к истории, спровоцированный ростом масс-медиа, и усвоение медийных версий прошлого в определенной мере приводят к дискредитации научного исторического знания. Связь здесь довольно сложная. С одной стороны, обычный человек чаще всего ждет от профессиональных историков «правды», т. е. одной согласованной версии истории, а от литераторов — выдумки, развлечения. Разместить между этими «понятными» для него полюсами популярную, «как бы научную» историческую продукцию ему вообще крайне трудно и, видимо, поэтому он относится к ней скорее как к достоверной, тем более, что такие версии обладают соответствующими признаками (документальными материалами, свидетельствами очевидцев, причинно-следственной аргументацией). Но при обилии подобных произведений у потребителя возникает проблема совме-

щения множественных интерпретаций. И это непонимание сути жанра относится не только к медийным произведениям, но и к профессиональным историческим работам, особенно, если они касаются актуальных для общества событий прошлого.

Дело в том, что профессиональным историкам общественное мнение отказывает в праве на переосмысление. Для публики во все не очевидно, что существование разных интерпретаций одних и тех же событий и явлений есть не только свойство исторического знания, но и одновременно свидетельство его научности.

2. Cultural studies. Определенный ущерб исторической профессии нанесло и развитие исследований культуры — cultural studies. В бурном развитии cultural studies очень важны были социальные обстоятельства: утверждение в обществе новых социальных групп и феномена политкорректности, становление массовой культуры и культурная агрессия постмодернизма. В итоге на академическом уровне произошли радикальные изменения в учебных планах за счет исторических дисциплин, а также сокращение числа студентов-историков. Так, в США в 1970 г. было 45 тысяч выпускников университетов по специальности «история», 20 лет спустя — всего 20 тысяч.

Популярность cultural studies привела к тому, что в настоящее время преподавание истории в университетах все дальше отрывается от модели классического исторического образования. Об этом свидетельствуют, например, результаты исследований, проведенных в начале нынешнего века весьма влиятельной в США организацией — Американским советом попечителей и выпускников (American Council of Trustees and Alumni — АСТА). Как показал проведенный АСТА анализ учебных программ, в последние годы в списках обязательных тем курсы по истории часто объединяются в одну группу с различными неисторическими курсами под рубриками «американская культура», «мировая культура», «текстовые и исторические исследования» и тому подобными «культурологическими» дисциплинами. Обычно студенты должны сдать в обязательном порядке лишь один из курсов, входящих в ту или иную тематическую группу.

Например, в Калифорнийском университете в Беркли в набор курсов по американской культуре была включена тема

«Альтернативные сексуальные идентичности и сообщества», в Дартмутском университете курсы «Музыка Юго-Восточной Азии» и «От руки до рта: письмо, еда и конструирование гендера» относились к рубрике «мировая культура». В университете Вашингтона в Сен-Луисе темы «Раса и этничность на американском телевидении» и «Американский феминизм и театр» относились к текстологическим и историческим исследованиям.

Многие американские университеты в последние десятилетия вместо набора предметов, которые давали бы масштабное представление о всемирной и американской истории, ввели обязательные курсы по проблемам расовой и этнической толерантности. Обязательный курс по мультикультурализму университета Уэллесли предусматривает один блок тем по африканским, азиатским, карибским, латиноамериканским, индейским и тихоокеанским народам, культурам или обществам, другой — по культуре американских меньшинств (расовых, религиозных, этнических, сексуальных и т. д.), третий — по расизму, дискриминации и кросскультурному взаимодействию. И хотя, по мнению авторов доклада АСТА, знание подобных сюжетов достойно похвалы, весьма прискорбным они считают сопутствующее этой установке невежество в области американской истории и неведение о «вкладе американцев в развитие свободы и демократии».

В целом, по данным АСТА, в 2002 г. только 10 из 50 ведущих национальных университетов и гуманитарных колледжей (по рейтингу журнала «U.S. News & World Report» 2002 г.) включали в число обязательных хоть какие-то курсы по истории (по сравнению с 22 — всего за два года до того).

3. Новые социальные группы. Происходившая в последние десятилетия прошлого века самоидентификация новых социальных групп (этнических, гендерных, жертв трагических событий, потомков жертв и т. д.) породила новые идеологические конструкты: гендеризм, мультикультурализм и т. д. Эти группы нуждались в идентификации, в которую были бы встроены соответствующие идеологии. Собственно речь идет даже не об идентификации — у членов большинства новых групп она была и раньше. Ведь женщины и прежде знали, что они женщины, лесбиянки — что они лесбиянки, а пострадавшие от религиоз-

ных или этнических «чисток» — что они жертвы, и т. д., но в последние десятилетия у разных групп возникла потребность в *легитимации*. Именно эта функция истории была востребована при обращении к прошлому. Задача для той или иной группы состояла не только в том, чтобы написать собственную историю, отличную от «истории верхов», «истории мужчин», «истории белых». То или иное партикулярное прошлое требовало пересмотра истории «города и мира». Историки получили социальный заказ.

Вместо давно привычных «пролетариев всех стран» достойными изучения были признаны «социальные маргиналы всех стран»: женщины и гомосексуалисты, прокаженные и безумные, иноверцы и иммигранты и т. д. Определения «потерянные», «забытые» применительно к социальным группам, слоям, народам и целым континентам замелькали в заглавиях программных исследований. Как ехидно заметил американский философ Джон Сёрл,

«... если бы существовала всеобщая враждебность (или если бы многие думали, что существует враждебность и дискриминация), направленная против голубоглазых или левшей, то — я совершенно в этом уверен — сегодня в американских университетах от нас бы требовали организовать кафедры по изучению голубоглазых и левшей и прикладывались бы огромные усилия, чтобы показать огромный вклад в культуру, сделанный голубоглазыми или левшами»⁵.

Особый случай представляют собой социальные группы, формирующиеся исключительно на основе прошлого: речь идет о непосредственных участниках тех или иных исторических событий. Институционализация групп такого рода — относительно новое явление, хотя потенциально она существовала всегда. Процесс формирования социальных групп по принципу участия в каком-либо событии совпал с переворотом, связанным с появлением новых электронных средств фиксации, хранения и воспроизведения информации.

Существует мнение, что борьба отдельных социальных групп за собственное место в истории активизировалась в связи

⁵ Сёрл Дж. Политика и гуманитарное образование [1999] // Отечественные записки. 2002 № 1. С. 84–85.

с укоренением постмодернистского тезиса о власти историографических дискурсов, которые утверждают «нужные» представления в качестве официальной истории общества. Действительно, в ряде постмодернистских сочинений представителей французской семиотической школы (Ролан Барт, Юлия Кристева, Жак Деррида и др.) утверждалось, что этническое, гендерное или социальное угнетение нередко распространяется и на область самого знания о прошлом, в котором, соответственно, оказывается принижена и искажена роль низов, женщин, этнических меньшинств и т. д.

Тезис о необходимости включения в образ прошлого истории новых социальных групп содержал в себе и другой вызов историкам. Речь идет о призывах к стиранию граней между профессиональным и массовым историческим знанием, о попытках «уравнять в правах» на репрезентацию прошлого профессиональных историков, дилетантов и даже широкие массы (трудящихся). В последние годы начали звучать левацкие лозунги о необходимости «демократизации» или, точнее, «обобществления» процессов производства исторического знания.

4. Память о прошлом. Еще одной сферой общественных интересов, связанных с прошлым, стало производство «исторической памяти». Одной из главных причин появления концепта «историческая память» и наполнения его тем или иным содержанием стало повышенное и во многом оправданное внимание к *воспоминаниям* жертв величайших трагедий XX в. — Холокоста, сталинских репрессий, других этнических и политических геноцидов, равно как и участников Второй мировой войны и разнообразных революций. Однако затем и термин «память» и связанные с ним политические инициативы стали быстро распространяться на самые разные аспекты социальных представлений о прошлом.

«Историческая память» — это новый конструкт в *идеологическом* арсенале современного общества. Об идеологизированном характере концепта «историческая память» свидетельствует тот факт, что во многих случаях он используется в связке с понятием «политика памяти». Само слово «политика» указывает на то, что речь идет либо об изучении способов идеоло-

гизации прошлого, либо о самом процессе идеологизации знания о прошлом. Не случайно во многих сочинениях о «политике памяти» мы обнаруживаем манифесты очередных «движений», на этот раз «движений за память» (жертв Холокоста, депортаций, Гулага), что уж точно выводит соответствующие тексты за пределы научно-исторического дискурса. При таком подходе в репрезентации этих сюжетов неизбежны (и во многом оправданы) моральные оценки, такие собирательные и понятные сегодня каждому интеллектуалу метафоры как «травма», «вина» и т. д.

На протяжении последних десятилетий возникла, по выражению американского историка Кервина Клейна, целая «индустрия памяти», в которой активно трудятся энтузиасты от политики, журналистики, искусства, музееведения и т. д. Естественно, ангажированные представители разных групп ожидали активного участия историков в работе по сотворению «памяти».

На наш взгляд, попытки привлечения историков к созданию «исторической памяти» и разработке сценариев «политики памяти» в современном обществе по существу отражают модификацию представлений о функциях истории. С XIX в. история в существенной мере обеспечивает социально-групповую идентификацию — национальную, партийную и т. д. Но эта функция осуществлялась в основном на уровне групповых элит. Нарастающее на протяжении всего XX в. внимание к проблеме масс породило убеждение, что функция идентификации, которую издавна выполняла история, теперь должна реализоваться на уровне массовых представлений о прошлом. Этот дискурс подразумевает, что профессиональное историческое сообщество должно трудиться над производством не просто научного знания, но и массового «знания о прошлом» — «исторической памяти».

5. Новый национализм. Совершенно неожиданно в 1990-е годы вновь возникла общественная потребность в формировании «национальных образов прошлого». На этот раз спрос на историю предъявили ставшие независимыми бывшие социалистические государства и советские республики, включая Россию. Активное обращение к прошлому как к одному из ключевых

параметров национальной идентификации в определенной мере диссонировало с послевоенным развитием исторической науки и политической истории, в частности.

Дело в том, что для развитых стран Запада процесс формирования национальных историй в целом завершился. Он происходил с начала XIX в., и на протяжении столетия с небольшим благодаря усилиям историков и при поддержке государства сложился принципиально новый тип историографии — национально-государственная, которая связывает и объединяет два базовых типа групповой идентичности — этнокультурный и территориально-политический. Конечно, опыт и итоги Второй мировой войны потребовали серьезного переосмысления прошлого от стран бывшего фашистского блока, особенно Германии. Этого ожидала и общественность стран, пострадавших от Германии, и сами немцы, особенно представители молодого поколения 1960-х годов. Тем не менее в целом в экономически развитых странах политическая история во второй половине прошлого века оказалась не очень востребованной.

Начиная с 1960-х годов возникает спрос на национальную историографию в развивающихся странах, в том числе в бывших колониях. Во многих случаях существовал прямой государственный заказ на создание исторических сочинений, имевших ярко выраженный националистический и антизападный характер. А в последние десятилетия к этому добавилось политическое давление со стороны различных борцов с колониальным наследием в самих западных странах, где к историкам, занимающимся историей «третьего мира», нередко предъявляются требования соблюдения политкорректности и демонстрации «язв империализма».

Что касается европейских историков, чьи страны после войны очутились в пределах соцлагеря, то их дважды мобилизовывали на создание нового образа прошлого. Сначала от них потребовали создания марксистского варианта национальной истории, основанной на идее классовой борьбы. А в 1990-е годы к профессиональным историкам обратились с заказом по переосмыслению десятилетий «строительства социализма». Кроме того, для многих государств актуальными стали поиски образов национального прошлого, которое легитимизирует притязания

ния тех или иных этносов на государство и территорию, свою или чужую, на политическое доминирование и обладание культурным капиталом. От историков ждали новых интерпретаций и новых учебников.

6. Уроки истории. Потребность современного общества в трансляции исторических знаний на массовый уровень объясняется прежде всего представлениями о важности социальных функций истории. Так сложилось исторически, и в процессе формирования общеобразовательной школы со второй половины XIX в. в европейских странах на протяжении десятилетий формировались «согласованные версии» идеологизированной истории, прежде всего национальной. Инструкции надзирающих за школой органов были вполне откровенными: учителям предписывалось, какие периоды пропускать, какие освещать бегло, а на каких событиях и личностях концентрировать внимание школьников. Формирующимся национальным государствам нужен был гражданин, ощущающий себя частью исторического, аксиологического и географического пространства своей страны. Именно эта задача и по сей день ставится в качестве приоритетной перед общеобразовательной школой.

В современном обществе практически каждый человек получает огромное количество конкретной информации о прошлом в процессе школьного образования, и содержание «уроков истории» привлекает повышенное внимание интеллектуалов, представителей образовательного сообщества и политических деятелей. Сегодня обсуждение этой темы во многих случаях имеет алармистский и даже несколько истерический характер — в основном говорится и пишется о том, что школьники плохо знают историю, недостаточно ее знают, знают хуже, чем раньше, не знают о ключевых событиях, и т. д. В представлениях политических и интеллектуальных элит история по-прежнему наделяется важной консолидирующей ролью. С начала XX в. это уже вторая волна общественной озабоченности качеством исторического образования в странах Европы и США, где ценой больших и продуманных усилий была создана система массового исторического образования.

В совокупности в последние десятилетия процессы развития гражданского общества сформировали представление, что

курсы истории, стандарты по истории, учебники истории более не являются областью исключительной ответственности общества историков и педагогов. Сейчас эта проблема находится в сфере интересов и активности самых разнообразных групп, и достижение сколько-нибудь согласованной позиции практически невозможно. Но реагировать приходится на всё, и вопрос о том, какой истории следует учить и как это делать в новой ситуации, подразумевает ответы, лежащие в самых разных плоскостях.

Очень условно их можно объединить в широких рамках модификации проекта идентичности. При этом важно различать, как минимум, два типа современных обществ: «устойчивые», перед которыми стоит задача *приспособления* достаточно укорененной в массовом сознании национальной версии истории к новым социально-культурным реалиям и формирования более гибкой идентичности, включающей представления различных меньшинств, и «транзитные», находящиеся в *поиске* собственного прошлого, обеспечивающего новую идентичность. К последним относятся все постсоциалистические страны. При этом они не могут механически ориентироваться на исторический опыт национального строительства развитых капиталистических стран, ибо одновременно сталкиваются со всеми вызовами, характерными для современного мира.

Изучение в школе истории как *научной* дисциплины при таких установках оказывается по-прежнему на втором плане, а главное — остается заведомо не очень эффективным, так как научной картине прошлой социальной реальности противостоят идеологизированные версии «согласованной истории».

2. Исторические ответы

Наблюдаемое в последние десятилетия бурное развитие исторической науки во всем мире, сопровождавшееся интенсивным расширением тематики исследований, формированием новых научных направлений, школ, журналов, было обусловлено целым рядом причин. Важнейшую роль сыграло расширение взаимодействия истории с другими социальными и гуманитарными науками, которое способствовало возникновению как но-

вых объектов, так и методов исторического исследования. Определенное значение имело и совершенствование техники изучения прошлого, вовлечение в научный оборот не известных прежде новых источников, выработка принципиально новых подходов к анализу источников традиционных, а также появление принципиально иных возможностей обработки информации. Но помимо этих факторов, обусловленных внутренними процессами в самой исторической науке, определенную стимулирующую роль в развитии истории сыграли и внешние вызовы, подталкивавшие историков к поискам адекватных ответов.

«Конец истории» и время историка

Историки не очень реагировали на причитания по поводу «конца истории», но все-таки они достигали их слуха. На исходе прошлого века возникает новая тенденция в трактовке исторической темпоральности, времени историка, соотношения прошлого, настоящего и будущего. Главным ответом стали размышления об «историзации настоящего», взгляд на культурную традицию модерна как на что-то завершившееся или завершающееся на наших глазах. «Историзация настоящего» как бы компенсирует быструю утрату значимости того или иного явления, происходящую в настоящем. Существенно, что новый подход не ограничивается полем теоретических исследований: скорее он подводит теоретическую базу под новые направления в историографической практике.

Первым таким направлением можно считать изучение историками совсем недавнего прошлого, получившее распространение, в частности, во Франции. Как отмечает Павел Уваров, «во французских университетах “новая история” охватывает период с 1500 по 1789 г. (в некоторых, наиболее новаторских, ее границы раздвинуты до 1815 г.), история “современная” распространяется на XIX в. и доходит до Второй мировой войны. Последующим периодом занимаются историки международных отношений. Но теперь появляется особая специализация: “история настоящего времени” (*histoire des temps présents*)»⁶. Это направление, ори-

⁶ Уваров П. История, историки и историческая память во Франции // Отечественные записки. 2004. № 5 (20), сноска 15.

ентированное на изучение совсем недавнего прошлого, сформировалось вокруг парижской Школы политических наук и в последние годы стало заметным явлением во французской историографии.

Одновременно во многих странах активизируется изучение истории (т. е. действительно прошлого) всего «уходящего». Как заметил английский историк Рафаэль Сэмюэл, «рабочая история процветает, когда рабочий класс перестал играть активную политическую роль, история семьи процветает, когда распадаются семейные связи»⁷.

Часть историков откликнулась и на призыв «запечатлеть настоящее для будущего». Если раньше историк спешил в архивы, чтобы «говорить с мертвыми», то теперь он спешит отнести туда «свидетельства живых». Прежде всего речь идет о различного рода мемуарах и воспоминаниях, активно используемых ныне при изучении индивидуальных и семейных представлений о прошлом, особенно в рамках истории повседневности. Как известно, мемуары начинают составляться разными представителями городского населения по меньшей мере с XVI в., но только в последние десятилетия прошлого века в дополнение к стихийному процессу производства мемуаров «снизу» возникла практика целенаправленного сбора индивидуальных воспоминаний профессиональными исследователями. Появилось, в частности, такое направление историографии, как «устная история» новейшего времени, отчасти смыкающееся с социологией и обеспеченное новыми способами обработки информации (звукозапись, перевод в машиночитаемую, а затем и электронную форму и т. д.).

Наконец, распространившийся в общественном сознании тезис о «конце истории» (Нового времени, модерности) отчасти спровоцировал уменьшение популярности среди историков «больших нарративов» и макромоделей, уход в микроисторию, историю повседневности, возрождение интереса к обычному человеку, отдельному самоценному событию и даже историческому казусу. Эта смена установок объяснялась не только интересом к альтернативным научным методам, но и идейным «разо-

⁷ *Samuel R. Continuous National History // Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity / Ed. R. Samuel. 3 vols. London; New York: Routledge, 1989. Vol. 1. P. 11.*

чарованием» в идолах эпохи (модернизации, технологическом и социальном прогрессе). Даже весьма ориентированные на методологические новации итальянские основатели микроистории начинали свои научные манифесты *ab ovo*: с критики политических и этических издержек «большой истории».

После битвы с постмодернизмом

Историки благополучно пережили постмодернистское наступление и вышли из этой ситуации с минимальными потерями. Это была «странная война». Шли годы, а исторических работ, выдержанных в постмодернистском духе, не появлялось. Все ограничилось дискуссиями о характере исторического знания, которые, надо заметить, оказались весьма плодотворными для самих историков. Никогда так активно, как в последние 30 лет, историки не обсуждали проблемы методологии истории. В работах многих ведущих историков (Питера Бёрка, Поля Вейна, Карло Гинзбурга, Роберта Дарнттона, Натали Земон Дэвис, Жака Ле Гоффа, Галины Зверевой, Юргена Кокки, Майкла Конфино, Майкла Оукшота, Жака Ревеля, Лорины Репиной, Лоуренса Стоуна, Чарльза Тилли, Роберта Фогеля, Франсуа Фюре, Эрика Хобсбоума, Роберта Элтона и др.) была предпринята попытка снова объяснить специфику предмета исторической науки, особенности исторического сознания и познания, а также четче обозначить нормы и конвенции, которыми ныне руководствуются профессиональные историки.

Не столь важно, что за пределами профессиональной исторической среды эти объяснения оказались плохо услышаны из-за необычайной голосистости постмодернистов, сторонников «лингвистического поворота» и противников «буржуазной идеологии». Важно, что сами историки в итоге очень выиграли от этой рефлексии. Правда, значительная часть историков вообще игнорировала методологические дискуссии, продолжая считать, как и два тысячелетия назад, что историческая реальность просто *отражается* в их текстах.

В конечном итоге тревога, связанная с постмодернистами, оказалась ложной. Вся дискуссия проходила исключительно в статьях *о* методологии, сама же методология развивалась в на-

правлениях, ничего общего с постмодернизмом не имеющих (в частности, в форме «историографических поворотов»). Единственным заметным исключением можно считать новый историзм (Стивен Гринблатт и др.), но это — направление литературоведческое и литературоведами созданное.

Развитие исторического знания

Вызовы, брошенные истории в значении знания, весьма заметно повлияли на облик исторической науки последних десятилетий. Реакцией на них стали и новые приоритеты в выборе предмета исследований, и методологические новации, и новые конфигурации в отношениях истории и идеологии.

1. Профессиональные историки и медийная культура. По отношению к процессу «омассовления истории» в исторической дисциплине сформировались разные стратегии. Первая, более очевидная, состояла в активизации деятельности профессиональных историков «на ниве народного просвещения». Многие специалисты стали чаще участвовать в производстве медийных знаний, особенно телевизионных. Известных историков нередко можно увидеть в качестве консультантов и комментаторов серьезных исторических передач на западном телевидении, в первую очередь в программах английской ВВС, американской PBS, спутникового канала Discovery–Civilization и т. д.

Новые веяния проявились и в исторических сочинениях. В историческом сообществе с конца 1970-х годов возрождается стремление писать литературно и сделать свои «главные» научные труды достоянием не только профессионалов, но и просто образованной читательской аудитории. Диверсификация предметного поля исторических исследований, тенденция к пересмотру эпистемологических принципов исторического знания сильно способствовали успехам в борьбе за внимание широкой читательской аудитории. Появилась новая волна исторических бестселлеров, созданных историками, способными писать «историю как роман». Среди них — Эммануэль Ле Руа Ладюри, Карло Гинзбург, Роберт Дарнтон, Натали Земон Дэвис, Роже Шартье и др. Эти авторы славятся своей сознательно беллетри-

стической манерой, могут свободно ставить себя на место своих героев, делать отступления, вставки и т. д. вплоть до написания вымышленных диалогов исторических героев с автором исследования. Надо сказать, что на долю такой исторической литературы выпал беспспорный издательский успех.

Сегодня существует также небольшая группа историков, которые экспериментируют с «творческим nonfiction». Например, известный историк Голо Манн, сын знаменитого Томаса Манна, написал биографию генерала XVII в. Альбрехта фон Валленштайна, используя для достижения научных целей метод потока сознания, и сам назвал свою работу «совершенно настоящим романом». Впрочем, английский историк Питер Бёрк, анализирующий это произведение, примечания Манна находит более убедительными, чем его текст. Конечно, литературно одаренных историков не так много, но, что гораздо важнее, их успех как в профессиональной, так и в читательской аудитории меняет (можно сказать, уже изменил) языковые стандарты исторических текстов.

Задачи историков в связи с наметившейся тенденцией к литературизации состояли в том, чтобы выработать четкое представление о профессиональных нормах, препятствовать их размыванию и соблюдать конвенции, существующие в научном обществе. Именно соответствие того или иного исторического произведения общепринятым правилам научного исследования позволяет определить его как научное.

Вторая стратегия, сформировавшаяся в профессиональном историческом сообществе, связана с пониманием различия в формах знания. Она предполагает отчужденное отношение к воздействию медийной продукции на массовые представления. В этом случае в качестве реакции на наступление массовой культуры историки выработали своего рода «асимметричный ответ». Вместо того, чтобы противостоять медийному знанию, они сделали его объектом изучения в рамках анализа обыденных представлений о прошлом. В результате распространение медийной исторической культуры и ее успех у потребителя, наряду с угрозой для профессиональной истории, оказались и мощным познавательным стимулом, способствуя обращению историков к проблеме массового исторического сознания, изучению содержания

и механизмов формирования представлений о прошлом в современном обществе.

2. «Культурная история» и историческая антропология. Cultural studies, как и многие другие внешние вызовы, произвели в исторической науке и негативные, и позитивные перемены.

С одной стороны, появление многочисленных кафедр, курсов, журналов и грантов по культурным исследованиям не сильно радовало традиционных историков, но и сопротивляться новациям в структуре гуманитарного знания было нелегко. Тем не менее книга Алэна Блума «Конец американского разума» (1987), призывавшая историков вернуться к настоящим книгам и важным проблемам, неожиданно стала бестселлером. За ней последовали другие работы о засилье cultural studies и беспомощности университетских академических историков перед политкорректностью. Артур Шлезингер писал, что «культ этничности» является атакой на «общую американскую идентичность», попыткой «повернуть поколение колледжей против европейской и западной традиции», разновидностью «культурного и лингвистического апартеида». Он призвал «молчаливое большинство» американских профессоров не молчать, а бросить вызов «модной глупости»⁸.

С другой стороны, академическая мода «на культуру в широком смысле» стимулировала развитие исторической антропологии. Историческая антропология, выдвигающая на первый план проблемы механизмов развития культуры, поставила вопросы о том, каким образом культура передается во времени (от поколения к поколению), как осуществляется процесс взаимодействия культур, каково содержание этого взаимодействия и куда направлен его вектор.

Благодаря достижениям антропологии, в историографии успешно развивается новый подход — культурологическая интерпретация повседневного поведения. Его адепты пытаются «прочитать» (и соответственно рассказать) историю карнава-

⁸Цит. по: Levin L. W. Clio, Canons and Culture // The Journal of American History. December 1993. Vol. 80. N 3. P. 852.

лов и праздников, торжественных церемоний и посиделок с той же пользой, что и дневник, политический трактат, проповедь или свод законов. Интересно, что едва ли не самые знаменитые исторические книги 1970–1980-х годов, о которых мы уже упоминали выше, — «Монтайю» Ле Руа Ладюри, «Сыр и черви» Гинзбурга и «Возвращение Мартена Герра» Земон Дэвис — это именно исследования повседневной жизни в контексте культуры прошлого.

3. Новые темы социальной истории. Институционализация новых социальных групп повлияла не только на содержание, но и на организацию исторической науки последних десятилетий. Настойчивые апелляции представителей разных групп к обществу привели к созданию кафедр по истории сексуальных и маргинальных групп, введению развернутых программ грантовой поддержки и другим институциональным практикам, сделавшим подобную специализацию весьма привлекательной.

В исследовании, основанном на изучении курсов по истории с 1910 по 1990 г. в США (6000 курсов в 24 американских государственных университетах (land-grant universities)), американские ученые показали, что еще в 1950-е годы курсов по истории или культуре субгрупп практически не было, по женской истории их не читали даже в 1970 г. В 1970 г. ни один факультет не имел программ по истории сексуальных групп, а в 1990 г. такие курсы читались уже во всех обследованных авторами университетах.

Таким образом, история, развивавшаяся на протяжении последних веков от истории замечательных людей к истории народа, сегодня приобрела еще один вектор: от истории народа (белых мужчин) — к истории разных групп. И если традиционные идеологизированные истории низов (трудящихся) ныне не в моде, хотя и по-прежнему создаются, то «нетрадиционные» истории, связанные с легитимацией новых социальных групп, поддерживаются академическим сообществом, проявляющим политкорректность по отношению к очередным «угнетенным».

Забавные метаморфозы происходили в этой связи с подзаголовком английского журнала «History Workshop», одной из задач которого является привлечение широкой, и не только профессиональной, читательской аудитории. Основанный в

1976 г., он вначале имел подзаголовок «журнал историков-социалистов». В 1981 г. в связи с появлением более восприимчивого сегмента аудитории подзаголовки изменили на «журнал историков-социалистов и феминистов (феминисток? — И. С., А. П.)». В 1995 г. подзаголовок тихо был ликвидирован. В передовой статье «Изменения и преемственность» редакторы журнала писали:

«Политические условия, в которых мы работаем, изменились почти до неузнаваемости за прошедшие 14 лет (с 1981 г.), когда мы последний раз дополнили нашу информацию на первой странице, включив «историков-феминистов» (феминисток)»⁹.

В весьма политизированной истории субгрупп, особенно на этапе их становления, важен элемент героизации главного коллективного персонажа, рассказ об угнетении и борьбе, определение вклада в историческое развитие. Так же как когда-то либеральные историки писали о созидательной роли буржуазии, а историки-марксисты предъявляли свидетельства славного прошлого пролетариата, женская история сегодня повествует о вкладе женщин в историю, история черных — об их влиянии на развитие Америки, история сексуальных меньшинств — о заслугах гомосексуалистов и лесбиянок, например в области искусства, и т. д. При этом исследование строится по известной модели: в прошлом идентифицируются в качестве предшествующих те аспекты, которые присутствуют в настоящем. Ход событий реконструируется таким образом, что с неизбежностью приводит в настоящее.

4. «Историческая память». Частным, но очень влиятельным вариантом ответа историков на запросы социальных групп, этносов и наций стало направление, известное как «историческая память». Возникнув в конце 1970-х годов, этот конструкт продемонстрировал необыкновенную способность к экспансии, которая, по мнению критика данного направления историка

⁹Change and Continuity // History Workshop, Spring 1995. P. iii–iv (цит. по: Iggers G. G. *Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge*. Hanover (NH): Wesleyan Univ. Press; University Press of New England, 1997 [Germ. ed. 1993]. P. 89–93).

Кервина Клейна, проявляется в двух формах. С одной стороны, «там где мы раньше говорили о народной истории, популярной истории, устной истории, публичной истории и даже о мифе, теперь мы используем “память” в качестве метаисторической категории, которая включает все эти понятия». С другой стороны, «потенциально бесконечным становится список относимых к памяти объектов . . . Любые культурные практики или артефакты, которые Гегель исключил бы из Истории, могут квалифицироваться как Память»¹⁰.

Эмпирические исследования по «исторической памяти» выглядят гораздо более согласованными в своих подходах. По существу термин начал использоваться при анализе *групповых (социальных) представлений о прошлом* в противоположность индивидуальным представлениям/знаниям. При этом чаще под «исторической памятью» подразумеваются *непрофессиональные* («обыденные», «массовые») представления о прошлом в противоположность профессиональным знаниям/концепциям/представлениям.

Наверное, самый массовый срез составляют работы, анализирующие память о «травмах» XX в.: о войнах, Холокосте, ГУлаге и т. д. В то же время появляется все больше исследований, сосредоточенных на изучении массовых обыденных представлений о прошлом («коллективной памяти») в разных исторических сообществах: «культурной памяти» Древности, знаниях о прошлом простых людей Средневековья и т. д. Как заметил французский историк Пьер Нора, один из первооткрывателей в этой области, проблема памяти поднимает сегодня перед историографией вопросы, которые прошлое поколение ученых связывало с ментальностью¹¹.

Интерес к теме «исторической памяти» реализуется не только в попытках определить *содержание* социальных представлений о прошлом, но и в стремлении выявить *механизмы* их формирования. Наиболее доступной для анализа оказалась политическая (точнее, властная) составляющая этого процесса. Имен-

¹⁰ Klein K. L. On the Emergence of *Memory* in Historical Discourse // Representations. Winter 2000. N 69. P. 128, 135–136.

¹¹ Nora P. Mémoire collective // La Nouvelle Histoire / Eds. J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. Paris: Retz-CEPL, 1978. P. 398.

но поэтому «политика памяти» выглядит самой разработанной в исторических работах, ориентированных на проблематику «исторической памяти».

Изучение «политики памяти», помимо бесконечных возможностей для анализа конкретных сюжетов, создает предпосылки для ответа на более общий теоретический вопрос: как создаются социальные представления о прошлом и формируются национальные символы?

В первую очередь эта тема связана с изучением роли политического проекта и, соответственно, заказа по формированию и закреплению достаточно конкретных знаний о прошлом, задающих определенные социально-политические цели и ценности. «Историческая память», в контексте «политики памяти», трактуется преимущественно как функция власти, определяющей, как следует представлять прошлое. Поэтому востребованность такого понятия, как «политика памяти», отражает и смену интересов в предметной области, в результате которой целый ряд историков переключился с изучения идеологически насыщенных *текстов* на пропагандистские *образы и символы*, с политической истории — на культурную политику.

5. Национальная история. Национально-государственная историография может выполнять разные прагматические функции. Прежде всего она может ориентироваться на конкретные внутривнутриполитические цели, например содействовать решению задач национально-государственного объединения. Точно так же национально-государственная историография может обосновывать внешнеполитические притязания, прежде всего территориальные (будь то Эльзас, Македония, Кашмир или Курильские острова). Но все же главные прагматические функции национально-государственной историографии связаны с задачами национальной самоидентификации и самоутверждения, т. е. формирования «образа нации».

В странах Запада уже с 1920-х годов «националистическая историография» становится объектом критики, и термин «национализм» в демократически ориентированной части профессионального исторического сообщества приобретает негативный оттенок. Формой реакции на доминировавшие национальные ис-

тории стало рождение в XX в. историй социальных (в своей первой лекции в Страсбургском университете в 1919 г. Люсьен Февр специально подчеркнул, что не желает становиться «миссионером национального Евангелия»).

После Второй мировой войны происходит радикальная переоценка «исторической роли» национализма и подавляющее большинство историков выступают с критикой национальной идеи, высказывая по отношению к ней скептицизм и даже враждебность. В результате националистическая историография постепенно выводится за рамки научной истории. Угасание интереса к традиционной национальной истории было связано с появлением множества других исторических субдисциплин, ориентированных на внедрение методов социальных наук. Наконец, в исторических исследованиях конца XX в. национальные истории сами сделались предметом исторического исследования.

Это общепринятое описание развития национальных историй имело, однако, важные отклонения.

Первое связано с тем, что для массового потребления странные истории и сегодня остаются очень важными. Об этом свидетельствует, например, огромное количество «историй Франции», появившихся в 1980-е годы. Именно в национальной форме история представлена по большей части и в школьных учебниках, а уж знают на массовом уровне практически только национальную историю.

Второе отклонение связано с появлением новых государств и их потребностью в собственных национальных историях («догоняющая» национализация прошлого). Историки «новых» государств активно участвуют в создании национальных историй, причем это участие может быть очень разным по содержанию: от создания идеологизированной, националистической истории до борьбы с мифотворчеством и крайностями национализма.

Третье, более общее отклонение связано с проблемами прошлого, неудобного для идентификации. Один из самых выразительных примеров — «немецкое прошлое», связанное со злодеяниями нацистов. Ключевыми для послевоенной историографии были два вопроса: являлся ли нацизм результатом особого исторического пути (*Sonderweg*) Германии и должен ли немецкий народ отвечать за преступления нацизма.

В 1960–1970-е годы прежде всего в исследованиях представителей социально-критической школы (Юрген Кокка, Вольфганг Моммзен, Ганс-Ульрих Велер) немецкую драму XX в. стали объяснять с помощью тезиса о запрограммированности истории. Это подразумевало конструкцию жесткой преемственности, ведущей от кайзеровской империи к германскому фашизму, от Бисмарка к Гитлеру. Нацизм в этих работах трактовался как неизбежный, но не универсальный, а специфически немецкий феномен.

Другое — универсалистское — объяснение нацизма было предложено Эрнстом Нольте: XX век в принципе был веком тоталитаризма и геноцида, немецкая специфика состоит только в форме, а Холокост был лишь одной из глав в книге насилия, террора и перемещения народов¹². Нольте поставил методологическую проблему «историзации» прошлого, которая в выступлениях его многочисленных оппонентов определялась и такими терминами как «нейтрализация» или «релятивизация» прошлого. Он отмечал, что отношение к прошедшему как к настоящему затрудняет анализ прошлого и лишает его преимущества «распознаваемости» в сравнении с настоящим.

Статьи Нольте и некоторых его сторонников, опубликованные в массовых печатных изданиях, вызвали бурную реакцию. Представители еврейской общественности заявили, что такой подход ставит под вопрос сингуляризацию (исключительный характер) массового убийства евреев и тем самым отрицает особый характер Холокоста. Против идеи историзации нацизма выступили и некоторые крупнейшие немецкие историки, и разгоревшаяся дискуссия получила название очередного «спора историков» (*нем.* Historiker-Streit).

В результате переход к историзации, т. е. отказ от морального подхода к нацистскому прошлому, во второй половине 1980-х годов не состоялся. Но, как отмечают многие авторы, он все же произошел десятилетием позже. «Нормализация» немецкой историографии, посвященной периоду Третьего Рейха, стала возможной в 1990-е годы, потому что произошли новые события

¹²Законченное выражение эти идеи получили в книге Нольте «Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм» (1989); русск. пер. М.: Логос, 2003.

и пришло новое поколение, для которого «актуальным» прошлым, «которое не хочет уходить», стала проблема разделения и объединения Германии.

Это наглядный пример того, как сложно устанавливается граница между прошлым и настоящим. В данном случае период национал-социализма оставался для немцев настоящим вплоть до 1990-х годов, поэтому его невозможно было историзировать.

6. Школьное историческое образование. Результаты проведенных в последние десятилетия опросов общественного мнения, ориентированных на выявление исторических знаний взрослого населения, стали неприятным сюрпризом для многих профессиональных историков. Выяснилось, что, несмотря на существование всеохватывающей системы школьного образования, которая, по идее, должна служить инструментом трансляции *научных* знаний в общество, массовые представления о прошлом сильно отличаются от профессиональных. Оказалось, что трансформация школьного знания в массовые представления о прошлом — это крайне сложный процесс.

В целом в сознании исторического сообщества проблема выглядит куда более сложной, чем в публичных дискуссиях, и далеко выходит за пределы споров о характере учебных программ или содержании массовых исторических представлений. Если общественность озабочена плохими знаниями прежде всего по национальной истории, то историков волнует проблема формирования у школьников исторического сознания и их слабое знакомство с основами исторической науки.

Если предлагать школьникам согласованную версию истории, то тогда непонятно, *что* согласовывать: групповое прошлое, национальное прошлое, европейское прошлое и т. д. Если формировать у школьников понимание прошлого как реальности, качественно отличной от настоящего (в терминологии историков — «прошлое как Другое»), и дать им серьезные знания об основах исторической дисциплины, то *как* это сделать?

В последние 15 лет пересмотрен целый ряд принципов, на которых более века основывалось преподавание истории в общеобразовательной школе, и в этом процессе самое активное участие приняли не только учителя и специалисты по школьному обра-

зованию, но и многие профессиональные историки. Наглядным примером может служить сборник, вышедший под редакцией Питера Стирнза, Питера Сейксаса и Сэма Уайнбёрга¹³, в котором историки и представители школьного образовательного сообщества утверждают, что наиболее важными для формирования новых подходов в историческом обучении признали следующие процессы и факторы.

Во-первых, «когнитивная революция» в интерпретации обучения и изучения, поставившая под вопрос «копирующую модель» процесса познания, согласно которой знание полагалось прямым результатом обучения, автоматически следующим из хорошо преподаваемого урока или толково написанного учебника. Когнитивный подход акцентировал неизбежные разрывы между обучающим и обучаемым, возникающие в результате склонности человека формулировать смыслы в ситуациях неполного и неточного знания. Сфокусировав внимание на актах осмысления, психологи привлекли внимание педагогов к мыслительным «образцам», убеждениям, заблуждениям, стереотипам учащихся, часто неожиданным образом определяющим содержание усвоенного материала.

Во-вторых, новый импульс преподаванию истории придали изменения, происходящие в самой исторической дисциплине. Обучение истории оказалось затронутым (или не затронутым) радикальными трансформациями исторической науки и прежде всего новыми представлениями о характере исторического знания. Эти новации, в соответствии с которыми прошлое полагается социальным конструктом, опирались на достижения социологии знания. Отсюда проистекала и дискуссия о «властном» характере исторического дискурса, о том, кто именно решает, каким должен быть транслируемый детям «образ прошлого».

В-третьих, происходящие в обществе дискуссии по проблемам нации, расы, гендера, культуры, идентичности вызывали бесконечные вопросы, зачем и как преподают историю в школах и университетах. И стандарты по истории, конечно, реагировали на процесс политизации прошлого, не только инкорпори-

¹³Knowing, Teaching and Learning History / Eds. P. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg. New York: New York Univ. Press, 2000.

руя сведения об истории различных маргинализованных групп (групповом прошлом), но и используя наработки культурологии, культурной антропологии, гендеристики и т. д.

* *
*

Непрофессиональная общественность не различает идеологическое и научное знание о прошлом как разные формы знания. Отсюда попытки представителей разных социальных групп влиять на содержание научного исторического знания, а на самом деле — прежде всего на его идеологическую составляющую.

Историки отвечали на вызовы общества, но их ответы не были симметричными. Чаще всего на первом этапе историки реагировали на вызов с гражданских позиций и пытались либо выполнить социальный заказ, либо отстоять интересы своей корпорации. Однако ремесло заставляло соотносить исследование с научными нормами, и через некоторое время отношение историков к той или иной актуальной проблематике менялось. В итоге многие ответы оказались неожиданными и, в частности, сильно деидеологизированными по сравнению с ожиданиями общественности.

Так, в качестве несимметричного ответа появилась концепция историзации вместо идеологизации, а участие историков в разработке программ школьного образования привело к постановке вопроса о более последовательном введении основ исторической дисциплины в школьные программы.

Конечно, каждый раз речь идет об определенных историках, которые «ввязываются» в бой. Есть и другие историки, которые начинают играть на общественных потребностях, используя новые возможности. Эти возможности, кстати, не обязательно ограничиваются стремлением к популярности или карьерному росту. Для некоторых они связаны с увлечением новыми идеями, расширением границ профессионального пространства, модой, возможностями увязать свои политические интересы с профессиональными. Если группы «нарушителей конвенции» оказывались достаточно влиятельными, то возникала дискуссия, которая становилась перманентной. Так, например, произошло

с «исторической памятью», у которой много сторонников, но постоянно растет число критиков.

В какой-то мере как реакция на вызовы извне происходило динамичное изменение предметного поля современной историографии (конечно, сама диверсификация предмета истории стала возможной благодаря заимствованиям теоретического багажа социальных наук). Историческая антропология, культурная история, «политика памяти», устная история, женская история и история других социальных групп — лишь некоторые наиболее явные примеры. Конечно, всякий раз смена предмета требовала и принципиально иного исследовательского аппарата, но в целом можно сказать, что *научное* обоснование метода очень часто было следующим шагом после *идейного* обоснования предмета.

Рекомендуемая литература

- Барг М. А.* Эпохи и идеи: становление историзма. М.: Мысль, 1987.
- Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с англ. М.: Медиум, 1995 [1966].
- Блок М.* Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Наука, 1986 [1942/1949 посм.].
- Вейнберг И. П.* Рождение истории (историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тыс. до н. э.). М.: Наука, 1993.
- Гене Б.* История и историческая культура средне-векового Запада / Пер. с фр. М.: Языки славянской культуры, 2002 [1980].
- Данто А.* Аналитическая философия истории / Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2002 [1965].
- Дройзен И. Г.* Историка / Пер. с нем. СПб.: Владимир Даль, 2004.
- История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени* / Ред. Л. П. Репина. М.: Кругъ, 2006.
- Коллингвуд Р. Дж.* Идея истории [1946 посм.] // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. М.: Наука, 1980.
- Кроче Б.* Теория и история историографии / Пер. с итал. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917].
- Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш.* Введение в изучение истории / Пер. с фр. 2-е изд. М.: ГПИБ, 2004 [1898].
- Немировский А. И.* Рождение Клио: У истоков исторической мысли. 2-е изд. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1986 [1979].
- Про А.* Двенадцать уроков по истории / Пер. с фр. М.: РГГУ, 2000 [1996].
- Репина Л. П.* «Новая историческая наука» и социальная история. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1998.
- Савельева И. М., Полетаев А. В.* Знание о прошлом: теория и история. В 2 т. Т. 1: Конструирование прошлого. Т. 2: Образы прошлого. СПб.: Наука, 2003, 2006.
- Савельева И. М., Полетаев А. В.* История и время: в поисках утраченного. М.: Языки русской культуры, 1997.
- Тош Дж.* Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.: Весь Мир, 2000 [1984/2000].
- Февр Л.* Бои за историю / Пер. с фр. М.: Наука, 1991 [1914–1950/1952].
- Философия и методология истории.* Сборник переводов / Ред. И. С. Кон. М.: Прогресс, 1977.

Именной указатель

- Августин (Аврелий Августин) 33, 62, 63, 70, 78, 82, 100, 177, 241, 242, 268, 422–425, 438, 462
Агесилай II 123
Агрикола (Гней Юлий Агрикола) 123
Агриппа, Генрих Корнелиус 39
Адамс Дж. 455, 467
Адамс, Дж. Куинси 467
Азимов А. 67
Айзенштадт (Эйзенштадт) Ш. 348–350
Актон, лорд (Дальберг Дж.) 292, 360
д'Аламбер Ж.-Л. 40, 227, 254, 306
Александр Македонский (Александр III Великий) 77, 79, 176, 296, 393
Алисон А. 358
Альтерматт У. 188
Альтюссер Л. 339
Амбруз 30
Аммиан Марцеллин 77, 249, 263, 363, 418
Андерсон Б. 172, 404
Андерсон П. 157, 434
Анкерсмит Ф. 49, 246, 287, 431
Анней Флор, Луций 77, 78, 418, 438
Ансельм Кентерберийский 177
Аппиан из Александрии 176
Арендт Х. 439
Арий, пресв. Александрийский 430
Аристотель 15, 18, 19, 21, 23, 26, 31, 40, 62, 63, 82, 83, 166, 235, 240–242, 277, 417, 418, 426
Арминий Херуск 404, 445, 464
Арним Л. А., фон 281
Арон Р. 50, 51
Артог Ф. 482
Арьес Ф. 334, 348
Ассман Я. 344
Афинея из Навкратиса 116
Байрон Дж. 473
Бальбо Ч. 393
Барант А.-Г.-П., де 125, 189, 392, 393
Барг М. 76, 78, 160, 275
Барнав А.-П. 366
Барнс Б. 409
Баронио, Чезаре 273, 429
Барт К. 55
Барт Р. 54, 56, 339, 490
Барт Ф. 329
Бах И. 464
Бахтин М. 340
Беда Достопочтенный 29, 36, 37, 177, 363, 424
Безансон А. 192
Бёк А. 297
Беккер К. 50, 287, 301–302, 308, 384
Белл К. 449
Бенедикт Р. 349
Бергер П. 102, 148, 348, 409, 410
Бергсон А. 64, 67, 68, 69, 70
Бёрк П. 77, 79, 80, 81, 170, 340, 497, 499
Бернгейм Э. 50, 85, 212, 215, 251, 301
Берр А. 288, 305, 306
Бессмертный Ю. 326
Бирд Ч. 50, 301, 308, 384
Бисмарк О., фон 368, 404, 506
Блан Л. 358

- Блок М. 50, 57, 114, 119, 120, 137, 178, 204, 205, 301, 302, 305–307, 317, 461
 Блум А. 500
 Блур Д. 408, 409, 410
 Боден, Жан 22, 39, 42, 43, 44, 45, 87, 100, 101, 266
 Бойль Р. 222
 Бокль (Бакль) Г. 169, 177, 297
 Болингброк, лорд (Сент-Джон Г.) 43, 88, 261, 371
 Бонифаций (Уинфрид) 464
 Борджа, Чезаре 124
 Боудикка 445
 Боэций (Аниций Манлий Торкват Северин Боэций) 63, 70, 388
 Браг Р. 183
 Брейзиг К. 48, 116, 127, 177, 305, 308
 Брентано К. 281
 Бродель Ф. 113, 115, 135, 140, 142, 154–156, 171, 173, 185–187, 193, 195, 218, 305, 307, 310–314, 318, 334, 340, 390, 391
 Бруни, Леонардо 30, 34, 45
 Брэдбери Р. 68
 Брюно Ф. 79
 Буке М. 210
 Булвер-Литтон Э. 47
 Бультман Р. 55
 Бурдье П. 105, 148, 338, 340, 410
 Буркхардт Я. 47, 114, 116, 138, 196
 Бурстин Д. 109, 122, 467, 469, 470
 Буше де Перт Ж. 43, 101
 Бьондо, Флавио 35, 87, 209, 272
 Бэкон, Фрэнсис 39, 40, 41, 42, 44, 45, 87, 101, 226, 227, 230, 235, 250, 261
 Бюргер А. 337, 338
 Бюхер К. 94, 111, 437

 Вазари, Джорджо 43
 Вайц Г. 291
 Валентин 426
 Валла, Лоренцо 35, 92, 121, 209, 210, 260, 262, 272
 Валленштайн, Альбрехт фон 499
 Ван Геннеп А. 338, 409
 Варрон (Марк Теренций Варрон) 77, 418, 419, 438
 Василид Александрийский 426
 Вашингтон Дж. 466
 Вебер А. 481
 Вебер М. 50, 90, 111, 223, 232, 233, 250, 299, 304, 317, 342, 347, 409, 481, 484
 Вебер Э. 224
 Вежбицкая А. 75
 Вейн П. 497
 Велер Г.-У. 115, 191, 223, 309, 316, 317, 506
 Веллингтон А. 464
 Вергилий Марон, Публий 21, 31, 418
 Верг Н. 192
 Верцингеторикс 445
 Веспасиан (имп. Цезарь Веспасиан Август) 209
 Видаль де Ла Блаш П. 170
 Вико Дж. 180
 Виллани, Джиованни 31
 Вильгельм I Завователь 364
 Виндельбанд В. 41, 88, 230, 231, 235, 301, 431
 Винкельман И. 120
 Виньи А., де 47, 473
 Виперано, Джованни Антонио 45
 Витрувий (Марк Витрувий Поллион или Луций Витрувий Мамурра) 116
 Вольней К. 366
 Вольтер (Аруэ М. Ф.) 48, 101, 114, 180, 241, 242, 365, 391, 430
 Вольф, Иоганн 38
 Вригт Г., фон 52
 Ваузен де Ла Попленьер, Ланселот 81
 Вулф В. 67
 Вульф Л. 184
 Вундт В. 146, 170

 Гавел В. 185
 Гай П. 54, 252
 Галилей, Галилео 41, 263
 Галлам (Холлэм) Г. 189, 358

- Гальфрид (Джоффри) Монмутский 260
 Ганди М. 129, 130
 Ганнибал Барка 124
 Гарнье Ж. 42
 Гаспаров М. 16
 Гвардини Р. 481
 Гвиччардини, Франческо 39
 Гегель Г. 222, 291, 297, 438, 503
 Гекатей Милетский 19, 463
 Гексли (Хаксли) Т. 229, 401
 Гелен А. 481
 Гельвеций К. 437
 Гельмольд 270
 Гемпель К. 52, 88, 244, 431
 Гене Б. 124, 135, 261, 264
 Геннекен Э. 409
 Генрих IV (Генрих Наваррский) (Бурбон) 364, 472
 Гераклит Эфесский 68, 418
 Гервасий Кентерберийский 29
 Гервасий Тильберийский 167, 186
 Гердер И. 48, 169, 180, 279, 388, 432
 Геродот из Галикарнаса 18, 19, 25, 87, 138, 166, 206, 226, 252, 259, 261, 418, 463, 469
 Гесиод из Аскры 377, 418
 Гёте И. 47, 143, 223, 464, 473
 Гиббон Э. 114, 191, 293, 365
 Гидденс Э. 140, 148
 Гизебрехт В. 291
 Гизо Ф. 47, 108, 114, 180, 182, 189, 279, 358, 366, 392
 Гильдебранд Б. 111, 437
 Гинзбург К. 324, 325, 497, 498, 501
 Гиральд Камбрейский 168
 Гирц К. 338, 340, 408
 Гитлер А. 129, 130, 404, 443, 506
 Гоббс Т. 40, 42, 44, 101, 227, 230
 Гобино Ж., де 438
 Гоголь Н. 161
 Гольбах П. 279
 Гомер 21, 22, 31, 62, 166
 Гонорий Августодунский 1777
 Гонорий Затворник 177
 Гораций Флакк, Квинт 418
 Гортензий (Квинт Гортензий) 77
 Госсмэн Л. 287
 Готхайн Э. 196, 305
 Гренди Э. 323
 Григорий Палама 426
 Григорий Турский 36
 Гримм В. 281
 Гримм Я. 281
 Гринблатт С. 498
 Грот Дж. 392, 393
 Гротефенд Г. 121
 Груссе Р. 180
 Гуго из Флери 424
 Гуго Сен-Викторский 33, 422
 Гуди Дж. 349
 Гудмен Н. 408
 Гумилёв Л. 439
 Гуревич А. 78, 166, 235
 Гуссерль Э. 64, 65, 243
 Гуч Дж. 190
 Гэлли У. 234
 Гюго В. 47, 473
 Даль В. 89
 Данилевский Н. 438
 Данте Алигьери 66, 124, 125, 129
 Данто А. 52, 234, 244, 431
 Дарвин Ч. 401
 Дарнтон Р. 338, 346, 497, 498
 Де Вос Дж. 454
 Декарт, Рене 41, 64
 Демосфен 23
 Деррида Ж. 54, 339, 490
 Дестют де Траси А.-Л.-К. 439
 Джеймс У. 243, 382
 Джексон Э. 466
 Джефферсон Т. 466, 467
 Джустиниани, Бернардо 273
 Дидро Д. 40, 101, 227, 254, 255, 306, 437
 Дикеарх из Мессины 116, 418, 419
 Дилигенский Г. 348
 Дильтей В. 41, 50, 84, 88, 102, 103, 230–232, 235, 299, 301, 431
 Диодор Сицилийский 98, 176

- Диоклетиан (имп. Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан Август) 36
- Дионисий Галикарнасский 31, 38
- Дионисий Малый 36
- Дионисий Петавий (Петавиус) 43, 81
- Донди, Джованни даль Оролоджо 209
- Допш А. 113
- Дрей У. 52, 88, 136, 244, 287, 431
- Дрепер Дж. 169
- Дройзен И. 41, 48, 50, 85, 88, 102, 190, 211, 212, 229–231, 275, 291, 295–302, 391–393
- Дьюи Дж. 382
- Дэвис (Земон Дэвис) Н. 497, 498, 501
- Дюби Ж. 338, 359
- Дюма А. 47, 473
- Дюмезиль Ж. 338
- Дюрер, Альбрехт 464
- Дюринг Е. 228
- Дюркгейм Э. 119, 148, 304, 315, 342, 409
- Дюэм (Дюгем) П. 225
- Евагор I 123
- Евклид 204
- Евсевий Памфил, еп. Кесарийский 29, 36, 37, 100, 266, 422, 426
- Елизавета I (Тюдор) 474
- Елизавета Петровна (Романова) 137
- Еллинек Г. 409
- Жак Э. 65
- Жан де Жуанвиль 455
- Жильсон Э. 55
- Жоффруа де Виллардуэн 30, 455
- Жуан II 364
- Загоскин М. 473
- Зверева Г. 497
- Зелдин Т. 139
- Зенодот из Эфеса 98
- Зенон из Китиона 418
- Зибель Г., фон 190, 191, 291, 358
- Зиммель Г. 50, 144, 431
- Зиновьев Г. (Радомысльский О.) 262
- Знанецкий Т. 409
- Зомбарт В. 111, 347, 481
- Ибн Сина (Авиценна), Абу Али 40
- Ибн Хальдун, Абдуррахман 168, 180
- Иван IV Грозный 160, 401
- Иггерс Дж. 502
- Иделер Х. 43
- Иероним из Кардии 176
- Иероним Стридонский (Евсевий Софроний Иероним) 78, 423
- Иоанн Солсберийский 29, 241, 242, 356, 357
- Иоахим Флорский 422
- Иордан 35
- Иосиф Флавий (Иосиф бен Матафие) 32
- Ипполит Римский 423
- Исидор Севильский 22, 33, 35–36, 177, 186, 262, 424, 429
- Исократ 123
- Йеринг Р., фон 409
- Кальвин, Жан 81
- Калько, Тристан 273
- Каммен М. 224, 385
- Кампанелла, Томмазо 42
- Кант И. 48, 70, 141, 242, 286
- Канторович Э. 334
- Карамзин Н. 109, 190
- Кареев Н. 50
- Карл II (Стюарт) 278, 474
- Карл Великий (Каролинг) 404, 423
- Карлейль Т. 47, 483
- Карнап Р. 242
- Карр Э. 192, 255, 257, 395
- Карсавин Л. 119
- Кассини Ж.-Д. 43
- Кассиодор (Флавий Магн Аврелий Кассиодор) 33, 35
- Катилина (Луций Сергий Катилина) 26, 79
- Квинтилиан (Марк Фабий Квинтилиан) 21, 24, 31, 45

- Келлер (Целлариус) Х. 44
 Келлнер Г. 287
 Кеплер, Иоганн 263
 Кинг М. Л. 466
 Кларендон, граф (Хайд Э.) 278
 Клейн К. 491, 503
 Ключевский В. 47, 190, 389, 390
 Книс К. 111
 Кнорр-Цетина К. 409
 Кобб Р. 335
 Ковальченко И. 341
 Козеллек Р. 48, 316, 383
 Козлов В. 262
 Кокка Ю. 115, 316, 497, 506
 Коллингвуд Р. 50, 51, 76, 123, 138, 176, 201, 220, 221, 226, 252, 257, 286, 287, 302, 371, 400, 431
 Коллинз Р. 350, 410
 Колумб, Христофор 466
 Колчак А. 478
 Коммейджер Г. 253
 Комнина, Анна 455
 Кон А. 264
 Конан Дойл А. 246
 Кондратьев Н. 313, 314
 Конкин П. 241, 242, 395
 Конрад А. 323
 Константин I Великий (имп. Цезарь Флавий Валерий Константин Август) 35, 44, 80, 209, 262, 272, 429
 Константин VII Багрянородный 371
 Конт О. 41, 90, 150, 228, 230, 289, 297, 304
 Конфино М. 497
 Конце В. 315–317, 324
 Косминский Е. 208, 270
 Крёбер А. 180, 181, 186
 Крейг Г. 109
 Кристева Ю. 54, 490
 Кромвель О. 125
 Кроче Б. 76, 89, 287, 292, 293, 382, 385, 392, 393, 396, 431
 Крузе М. 180
 Ксенофонт Афинский 18, 87, 123
 Кузен В. 180
 Кукарцева М. 52
 Кундера М. 185
 Купер Ф. 47
 Курно А. О. 228
 Кюнг Г. 421
 Лабрусс Э. 312
 Лавджой А. 117
 Лависс Э. 179
 Лажечников И. 473
 Лакан Ж. 339
 ЛаКапра Д. 287, 339
 Лактанций (Луций Цецилий Лактанций) 77, 418
 Ламбер Сент-Омерский 167
 Лампрехт К. 116, 127, 196, 305, 308
 Лангер У. 130
 Ланглуа Ш.-В. 212, 301
 Лаппо-Данилевский А. 50
 Ле Гофф Ж. 12, 56, 80, 129, 166, 235, 285, 325, 334, 497
 Ле Руа Ладюри Э. 138, 156, 166, 194, 196, 213, 311–312, 337, 338, 479, 498, 501
 Лев Диакон 241, 242
 Левассер Э. 114
 Леви Дж. 129, 196, 324–330
 Леви-Брюль Л. 119, 342, 409, 414
 Левин К. 462
 Левин Л. 500
 Леви-Стросс (Леви-Стросс) К. 76, 146, 182, 218, 338
 Лейбниц Г. В. 41, 63
 Ленин (Ульянов) В. 262, 469
 Лео Г. 191
 Леонар Э. 180
 Леонтьев К. 438
 Лето, Джулио Помпонио 273
 Лефевр А. 481
 Ли, Ричард Г. 467
 Ли, Роберт Э. 466
 Ливий (Тит Ливий) 19, 31, 87, 124, 376
 Линдаль Э. 66
 Линкольн А. 466
 Лиотар Ж.-Ф. 247, 339
 Липпарт Дж. 467

- Липсет С. 350
Лист Ф. 111, 437
Лич Э. 338
Лооне Э. 52
Лосев А. 16
Лоссинг Б. 467
Лотман Ю. 256
Лукач (Марк Анней Лукан) 31
Лукач Дж. 254
Лукиан из Самосаты 20, 24, 31, 38, 99, 241, 242, 249
Лукман Т. 102, 148, 409, 410
Лукреций Кар, Тит 77, 418
Люббэ Г. 366, 440, 482
Людовик IX Святой 129, 364
Людовик XII 364
Людовик XIV 472
Людовик XV 473
Лютер, Мартин 81, 130, 342, 404
- Мабильон Ж. 210
Мабли Г.-Б., де 43, 88, 365
Мавр (Маурис) Субиакский 40, 209, 210
Майминас Е. 214
МакКаллам Д. 449
Макклелланд Д. 350
Макнил У. 181–182
Маколей Т. 47, 114, 190, 358, 483
Максим Исповедник
Макьявелли, Никколо 39, 43, 87, 106, 124, 276, 277, 358, 365
Малиновский Б. 145, 459
Мальтус Т. 90
Мандельбаум М. 52, 287, 431, 434, 435
Мандзони А. 47
Манн Г. 499
Манн М. 347, 349
Манн Т. 67, 499
Манхейм (Маннгейм) К. 248, 409, 439
Маргарита Наваррская 455
Мариотт Э. 222
Маритен Ж. 55
- Марк Аврелий (имп. Цезарь Марк Аврелий Антонин Август) 388
Маркион Синопский 430
Маркс К. 90, 111, 138, 177, 280, 304, 342, 392, 409, 412, 442, 443, 481
Марру А.-И. 23, 358, 359
Мартен Герр 501
Матвей Парижский 167
Матвей Флаций (Власич) Иллирик 273, 429
Махони М. 264
Медик Х. 328, 471
Медичи, Козимо 33
Мейер Дж. 323
Мейнеке Ф. 281–283
Мелетинский Е. 416
Мендель Г. 263
Мериме П. 46, 47
Мёртон Р. 65, 146, 350, 409
Мечников Л. 174
Мид М. 475
Микеланджело Буонаротти 285
Милль Дж. С. 228
Милов Л. 341
Милош Ч. 185
Милье, Кристоф 42
Минь Ж.-П. 40
Минье Ф. 114, 189, 279, 366, 392
Мирабо, маркиз де (Рикетти В.) 184
Мишле Ж. 47, 108, 154, 189, 270, 284, 285, 483
Моммзен В. 203, 316, 506
Моммзен Т. 53, 191, 374, 392, 393
Монлозье Ф.-Д., де 366
Моно Г. 290, 369, 370
Монтескьё Ш. 169, 279
Монфокон Б., де 210, 211
Морган Л. 289, 304, 437
Мосс М. 119, 338, 409
Моцарт В. 464
Мур Б. 346, 347, 349
Мур У. 65
Мухаммед (Магомет) 79
Муций Сцевола, Публий 19
Мюллер И., фон 179
Мюрдаль Г. 66

- Мюре, Марк-Антуан 45
 Набоков В. 67
 Нагель Э. 52, 88, 244, 431
 Наполеон I (Наполеон Бонапарт) 125, 170, 211, 258, 369, 394, 464
 Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) 358
 Нельсон Г. 464
 Немировский А. 16
 Нибур Б. Г. 121
 Никита Хониат 455
 Николай из Дамаска 176
 Ниппердай Т. 191, 305
 Ницше Ф. 76, 288, 339, 431
 Нольте Э. 443, 506
 Нора П. 108, 128, 387, 468, 503
 Нортроп Ф. 180, 181
 Ньютон, Исаак 41, 63, 263, 450

 д'Обинье, Теодор Агриппа 455
 Овидий Назон, Публий 418, 479
 Олег 262
 Онкен В. 179
 Ордерики Виталий 36, 37, 274
 Ориген 32, 231, 425, 426
 Орозий (Павел Орозий) 37, 168, 177, 180, 423
 О'Рурке К. 341
 Оттон Фрейзингенский 168, 208, 424
 Оукшот М. 56, 83, 85, 86, 442, 497

 Павел Диакон 36, 37
 Павсаний 116
 Пайпс Р. 192
 Пакье, Этьенн 273
 Палгрейв Ф. 189
 Парентучелли, Томмазо 33
 Паррингтон В. 308
 Парсонс Т. 146
 Пётр I Великий 172
 Пётр III 137
 Петрарка, Франческо 124, 129, 209, 376
 Пикколомини, Энеа Сильвио (папа Пий II) 264
 Пиренн А. 113, 180
 Пирс Ч. 242, 382
 Платон 23, 61, 84, 106, 118, 166, 218, 377, 388, 417, 418
 Плеханов Г. 434
 Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд Младший) 62
 Плиний Старший (Гай Плиний Секунд Старший) 26, 99, 116, 166, 167
 Плотин 62, 63
 Плутарх 103, 123, 363, 418
 Подосинов А. 166
 Покок Дж. 277
 Покровский М. 398
 Поляньи К. 338
 Полибий 19, 24, 27, 43, 87, 99, 166, 176, 207, 249, 266, 270, 417, 418
 Полициано, Анджеоло 364
 Помпей Магн, Секст 401
 Помпей Трог 37, 176, 423
 Пони К. 324, 325
 Поппер К. 52, 242, 431
 Порк А. 52
 Посидоний из Апамеи 176
 Постан М. 257
 Поттер Д. 346
 Пропп В. 146
 Пруст М. 68
 Псевдо-Дионисий Ареопагит 426
 Псевдо-Фредегар 36
 Пуанкаре А. 409
 Пуссен Н. 81
 Пушкин А. 46, 473
 Пьеро делла Франческа 80

 Радзинский Э. 271
 Райт Дж. 167
 Рамбо А. 179
 Ранке Л., фон 109, 178, 179, 182–183, 191, 192, 210, 233, 241, 242, 283, 291, 294, 295, 298, 300–302, 360, 483
 Ранульф Хигден 103
 Рассел Б. 242
 Ратцель Ф. 170

- Ревель Ж. 327, 497
 Реизов Б. 54
 Ренан, Беат 273
 Ренувье Ш. 180
 Решина Л. 497
 Реформатский А. 146
 Риккерт Г. 41, 45, 50, 88, 223, 230–232, 235, 299, 301, 431
 Рише Д. 156, 314
 Робертсон У. 189
 Робинсон Дж. 308, 384
 Розенберг А. 444
 Роландино Падуанский 265
 Рорти Р. 245
 Ростовцев М. 113, 393, 394, 401
 Ростоу У. 437
 Роттек К., фон 179
 Рошер В. 111
 Руднев В. 243, 244
 Рэдклифф-Браун А. 145, 338
 Рюккерт Г. 180, 438
- Савиньи Ф. 282
 Саллинз М. 349
 Саллюстий Крисп, Гай 26, 77
 Самуэльсон П. 321
 Сарданапал (VI?) (Ашшурбанипал) 79
 Сартр Ж.-П. 243
 Светоний Транквилл, Гай 123, 210, 363
 Сейксас П. 508
 Сенека (Луций Анней Сенека) 62, 166
 Сеньобос Ш. 212, 249, 301
 Сёрл (Сёрль) Дж. 489
 Симиан Ф. 308, 312
 Симонд де Сисмонди Ж. 189
 Симонид Кеосский 462
 Скалигер, Жозеф (Йозеф) 43, 81
 Скокпол Т. 346, 347
 Скотт В. 38, 47, 285, 473
 Смелзер Н. 349, 350
 Смит А. 43, 90, 111, 437
 Смит Г. 236
 Сократ Афинский 388
- Сократ Схоластик 28
 Соловьёв С. 47, 190
 Сорокин П. 65, 180, 181
 Соссюр Ф., де 75, 145, 146, 150, 151, 339
 Спаркс Дж. 126
 Спенсер Г. 228, 289, 304, 401
 Спиноза, Бенедикт 41, 63
 Ставрианос Л. 182
 Сталин (Джугашвили) И. 129, 262, 337, 369
 Стефан Блуаский 474
 Стирнз П. 115, 508
 Стоун Л. 91, 128, 131, 235, 266–269, 336, 339, 346, 379, 497
 Стромберг Р. 242, 395
 Сэмюэл Р. 474, 496
- Тайлор (Тэйлор) Э. 409
 Тарский А. 242
 Тассо, Торквато 81
 Татищев В. 172
 Тахо-Годи А. 12
 Тацит (Публий Корнелий Тацит) 19, 25, 87, 123, 210, 363
 Теофраст (Феофраст) (Тиртам из Эреса) 26
 Тёрнер Г. 268
 Тёрнер Ф. 173, 308, 384
 Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан) 425
 Тилли Ч. 115, 175, 349, 497
 Тиллих П. 55
 Тимаген из Александрии 176
 Тимей из Локр 84
 Тимей Сицилийский 176
 Тойнби А. 180, 181, 288, 438
 Токвиль А., де 47, 280, 282, 283, 358, 366, 483
 Толстой Л. 123
 Томашевский Б. 146
 Томпсон Э. 335, 336, 395
 Топоров В. 259
 Тош Дж. 118, 257
 Тревор-Роупер Х. 267
 Трейчке Г., фон 190, 191, 358

- Трёлъч Э. 229, 230, 283, 403, 404
 Троцкий (Бронштейн) Л. 130
 Тьер Л. А. 189, 279, 358, 366, 392
 Тьерри О. 47, 108, 114, 189, 366, 391–393, 483
 Тэн И. 47, 116, 284, 305, 409
 Тюрго А. Р. Ж. 169, 437
- Уайнбёрг С. 508
 Уайт М. 52, 136, 234, 244, 287, 431
 Уайт Х. 55, 216, 252, 287, 339
 Уарте, Хуан 40
 Уваров П. 495
 Уильям Ньюбургский 260
 Уоллерстайн (Валлерстайн) И. 139, 156, 164, 348, 350, 435
 Уорф Б. 414
 Уэллс Г. 67, 180
 Уэскотт Р. 187
- Фалес Милетский 23
 Февр Л. 50, 51, 114, 119, 131, 135, 171, 256–258, 288, 302, 305, 306, 317, 318, 345, 399, 505
 Фёгелин Э. 180, 181
 Фейерабенд П. 203, 255
 Фельдман Дж. 268
 Фергюсон А. 437
 Ферекид Сирский 98
 Ферро М. 156, 314, 404, 475
 Филипп II Испанский 186, 195, 310
 Филипп II Македонский 423
 Финберг Г. 166, 195, 323
 Фихте И. 84
 Фиш С. 339
 Фогель Р. 341, 497
 Фома Аквинский 29, 63, 64, 425
 Фрейд З. 251, 342, 343, 345
 Фридрих I Барбаросса 208
 Фридрих II Великий 129, 137, 404
 Фримен Э. 212
 Фриних Афинский 469
 Фруассар, Жан 210
 Фуа, Роже-Бернар де 451
- Фукидид Афинянин 18, 24, 25, 43, 87, 99, 166, 206, 207, 226, 252, 274, 293
 Фуко М. 51, 52, 110, 118, 125, 131, 146, 245, 340, 410
 Фукуяма Ф. 481
 Фурнье, Жак 194, 479
 Фурье Ш. 438
 Фюре Ф. 156, 314, 497
 Фюстель де Куланж Н. 114, 306, 374, 395
- Хайдеггер М. 221, 234, 243, 339
 Хальбвакс М. 343, 344
 Хаттон П. 397
 Хёйзинга Й. 83, 119, 247, 288
 Хладениус И. 383
 Хобсбоум (Хобсбаум) Э. 108, 115, 305, 318, 402, 445, 497
 Хоманс Дж. 324
 Хоскинс У. 166, 195, 196, 323, 324
 Хук С. 399
 Хэгерstrand Т. 65
 Хэммет, С. Дэшил 244
- Цезарь (Гай Юлий Цезарь) 69, 138, 210, 393, 394, 401
 Цензорин 418
 Цешковский А. 431
 Цицерон (Марк Туллий Цицерон) 19, 20, 24, 27, 31, 45, 62, 77, 106, 207, 241, 242, 388, 418, 438
- Чайанов А. 338
 Чернышёв З. 137
 Черчилль У. 53, 443
- Шама С. 465
 Шампольон Ж.-Ф. 121
 Шартье Р. 472, 473, 498
 Шатле Ф. 56
 Шекспир, Уильям 38, 46, 67, 81, 125, 473
 Шелер М. 409
 Шеллинг Ф. 46, 281
 Шенк Ф. 184

- Шефер Д. 367, 368
 Шилз Э. 85
 Шиллер Ф. 46, 464, 473
 Шлагетер Л. 404
 Шлегель А. 281
 Шлегель Ф. 281
 Шлезингер А. 500
 Шлейермахер Ф. 231
 Шлёцер А. 108, 179, 189
 Шлоссер Ф. 179, 283
 Шмоллер Г. 111, 437
 Шнирельман В. 111
 Шоню П. 113, 156, 186, 314
 Шпенглер О. 76, 180, 181, 288, 438
 Шпинер Х. 408
 Шпитгоф А. 94
 Шэкл Дж. 66
 Шюц А. 102, 258, 409

 Эбрэхем Д. 268, 269
 Эванс Р. 336
 Эванс-Притчард Э. 338, 476
 Эдуард II (Плантагенет) 474

 Эйнштейн А. 274–275
 Эйхгорн К. 282
 Элиан (Клавдий Элиан) 22, 98
 Элиас Н. 65, 90, 105, 340, 342, 347, 349
 Элтон Р. 497
 Энгельс Ф. 228, 437
 Энгерман С. 341
 Эно Ш. 189
 Эпиктет из Гиераполя 388
 Эпллби Дж. 346
 Эриксон Э. 130, 342, 343
 Эфор из Кимы 176

 Юлий Африканский (Секст Юлий Африкан) 78
 Юм Д. 189
 Юревич А. 255, 256
 Юстин (Марк Юниан Юстин) 423
 Юстиниан I Великий (имп. Флавий Петр Савватий Юстиниан) 79

 Ясперс К. 49, 180, 181, 288, 436

Имена, упоминаемые в Библии

- Аврам/Авраам 33, 78, 134, 422
 Адам 421, 479
 Давид 424
 Даниил 36, 419, 423
 Ева 421, 479
 Енох 78
 Иаддуй 134
 Иаков 134
 Иисус Христос 36, 37, 43, 44, 69, 81, 92, 134, 152, 421, 422, 427, 430, 479
 Ирод I Великий 176
 Исмаил 134
 Лука 421
 Мария 479
 Марк 33
 Моисей 36, 78, 134, 422
 Навуходоносор II 134
 Павел 81
 Ревекка 81
 Соломон 134

Легендарные и литературные персонажи

- Артур 260, 404
 Брут 29
 Геракл 23
 Гильгамеш 458
 Дарес (Дарет, Дарий) Фригийский 22, 37, 260
 Диктис с Крита 22
 Елена 142
 Марпл, Джейн 244
 Мартин (Мартын) Армянин 262
 Мерлин 260
 Норма 473
 Оссиан 445
 Приам 29

Пуаро, Эркюль 244
Роланд (Орландо) 464
Фигаро 473

Хлестаков, Иван 473
Холмс, Шерлок 244, 246
Юрий Милославский 473

Мифические имена

Асклепий 23
Гесиона 23

Клио 363, 479
Фортуна 226

Научное издание

И. М. Савельева, А. В. Полетаев

ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Учебное пособие для вузов

Редактор *И. В. Буряк*

Обложка художника *Е. А. Соловьевой*

Корректор *И. А. Симкина*

Компьютерная верстка *Ю. Ю. Тауриной*

Подписано в печать 29.11.2007. Формат 60 × 90¹/16.

Гарнитура литературная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,75. Тираж 1000 экз. Заказ

Издательство СПбГУ. 199004, Санкт-Петербург, В. О., 6-я линия,
д. 11/21

Тел. (812)328-96-17; факс (812)328-44-22

E-mail: editor@unipress.ru

www.unipress.ru

По вопросам реализации обращаться по адресу:

С.-Петербург, В. О., 6-я линия, д. 11/21, к. 21

Телефоны: 328-77-63, 325-31-76

E-mail: post@unipress.ru

Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.